ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
ГБ5
В 745

V

ГБ5
В 745

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА

в России XIX и XX в.в.

Том II

Составил С. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
КНИЖНОГО СЕКТОРА ГУБОНО
ЛЕНИНГРАД—1924

ГБ5
В 745

ИНСТИТУТ В. И. ЛЕНИНА
№ 30578
БИБЛИОТЕКА

259469

~~010-1925~~ 259469

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Второй том книги для чтения составлен, в общем, по тому же плану, что и первый. Он охватывает пореформенную эпоху в истории России, т. е. период от 60-х до 90-х годов включительно, причем основным содержанием его является экономическое развитие страны и происходившая на почве этого развития классовая борьба.

Первые три статьи в нем, М. Н. Покровского, дают представление о подготовке, ходе и значении крестьянской реформы. Следующие статьи—П. И. Лященко, Р. Гвоздева, П. Маслова, В. И. Ленина, М. И. Туган-Барановского, А. Финна-Енотаевского и М. А. Мукосеева—знакомят с капиталистическим развитием страны в пореформенную эпоху и вытекающими из него социальными следствиями. Государственное хозяйство эпохи обрисовывается в статьях Н. А. Рожкова и М. Боголепова.

Дальнейшие статьи, М. Н. Покровского, М. Ольминского, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, Л. Мартова, В. И. Невского, П. Орловского Н. Батурина и В. Астрова, посвящены классовой борьбе, порожденной социально-экономическим развитием страны. Здесь составитель, в виду появления в свет Хрестоматии по истории революционного движения в России, выпущенной Истпартом, привел лишь выдержки из работ, характеризующих, главным образом, идеологию борющихся общественных классов и групп, их программы и тактику. Для изучения же конкретных проявлений классовой борьбы в указанный период читателю придется обратиться ко II тому вышеназванной хрестоматии.

Выпуская в свет параллельно настоящей книге для чтения статистический сборник: „Экономика России XIX—XX вв. в цифрах“, составитель во II т. хрестоматии статистических данных не поместил, а из материалов дал место Программе Северно-русского союза рабочих и „Credo“ Е. Кусковой.

С. Вознесенский.

Кризис барщинного хозяйства, как основа, и севастопольский разгром, как исходный момент крестьянской реформы.

(Из „Русской Истории“ М. Н. Покровского. Т. IV. Изд. 4-е. Москва. 1922 г. Стр. 44—67).

Тридцатипятилетняя пауза, отделяющая дворянское движение пятидесятых годов от эпохи тайных обществ, была политическим эквивалентом тех экономических условий, в какие было поставлено помещичье хозяйство с двадцатых по сороковые годы. Зажатому в тиски аграрным кризисом помещику было не до политики. Восставать против власти, являвшейся единственным кредитором всего дворянского сословия, было бы безумием в такую минуту, когда только кредит, и возможно более дешевый кредит, мог спасти помещичье хозяйство от гибели. Тот же кризис заставлял дорожить старыми социальными формами. Даровой крестьянский труд, как бы ни был он плох, казался единственным возможным базисом крупного сельского хозяйства: и в экономике, как в политике, приходилось жить по пословице—„не до жиру, быть бы живу“. Аграрный кризис сразу сделал николаевского дворянина и верноподанным, и крепостником.

Под этой совершенно застывшей, на первый взгляд, поверхностью уже давно, однако, происходило движение. Живая струя пробивалась в крепостное хозяйство с той именно стороны, где сосредоточивалась вся экономическая жизнь России в первую половину николаевского царствования: из обрабатывающей промышленности. „Постоянное уменьшение требований заграничными государствами главнейших продуктов нашего земледелия,—говорит автор заметки „О состоянии рабочих в России“,—так же, как более близкое изучение средств промышленных собственной страны, были главными причинами того, что помещики старались обратить часть своих людей в предприятия промышленные разного рода. Это—почти общее направление нынешнего времени; многие из подобных учреждений со стороны дворянства теперь украшают значительную уже промышленность России в важнейших ее частях“. Но владелец крепостной фабрики уже пришел к „манчестерской“ идее—о преимуществах „вольного“ труда перед крепостным. Через посредство дворян-предпринимателей „манчестерские“ идеи должны были постоянно проникать в дворянскую

массу: и нет факта, лучше обоснованного и более общеизвестного, чем дворянское манчестерство сороковых-пятидесятых годов. Барщинное хозяйство—одна из невыгоднейших форм сельско-хозяйственного производства, в один голос твердили едва ли не все „сознательные“ помещики конца николаевского царствования—твердили с таким же единодушием и упорством, с каким современники Михайлы Швиткова пели панегирик этому самому барщинному труду. „Взглянем на барщинную работу,—писал трезвый и расчетливый Кошелев в „Земледельческой Газете“ 1847 года:—придет крестьянин сколь возможно позже, осматривается и оглядывается сколь возможно чаще и дольше, а работает сколь возможно меньше,—ему не дело делать, а день убить. На господина работает он три дня и на себя тоже три дня. В свои дни он обрабатывает земли больше, справляет все домашние дела и еще имеет много свободного времени. Господские работы, особенно те, которые не могут быть урочными, приводят усердного надсмотрщика или в отчаяние, или в ярость. Наказываешь нехотя, но прибегаешь к этому средству, как к единственно возможному, чтобы дело вперед подвинуть. С этой работой сравните теперь работу артельную, даже у хорошего подрядчика. Здесь все горит; материалов не наготовишься; времени проработают они менее барщинного крестьянина; отдохнут они более его, но наделают они вдвое, втрое. Отчего?—Охота пуще неволи“. „Смело можно сказать,—писал в 1852 году псковский помещик Воинов,—что в хорошо управляемых барщинах три четверти барщинников отвечают и за себя и за других, т. е. что работы утягиваются, по крайней мере, на четвертую долю времени“. К концу пятидесятых годов подобные рассуждения становятся общим местом. Редакционные комиссий исходят, как из аксиомы, из положения, что вольнонаемный труд несравненно производительнее обязательного. Полемизируя с редакционными комиссиями, Унковский в основу своих расчетов кладет тот, по его мнению неоспоримый, факт, что наемных работников помещику, после эмансипации, понадобится лишь две трети сравнительно с числом барщинных крестьян. Многие утверждают, что помещики при этом обойдутся только половиной, говорит Унковский; лишь во избежание ошибки он принимает две трети.

Во времена редакционных комиссий доказывать подобного рода вещи значило ломиться в открытую дверь (X): буржуазная идеология сделала, за время кризиса, обширные завоевания в умах владельцев крепостных имений. Когда же кризис, к концу сороковых годов, начал слабеть, русское помещичье хозяйство оказалось лицом к лицу с условиями конкуренции, совершенно не похожими на то, что было в дни Александра I. Место России на европейском хлебном рынке оспаривалось целым рядом буржуазных стран,—европейских и внеевропейских,—и соперничество с ними вело неизбежно к тому же выводу: необходимости перехода к буржуазным отношениям и в самой России. „С уничтожением в Англии переменных пошлин с иностранного хлеба,—говорит один современный автор,—соперничество для русских портов вообще и в особенности для южных неимоверно усилилось, потому что даже страны, не принимавшие никакого участия

в хлебной торговле или мало занимавшиеся земледелием, с усилием принялись за этот промысел. Египет восстановил плодородие своей почвы и начал стремиться к сбыту хлебных продуктов; отпуск хлебов из дунайских княжеств еще более усилился; в Румелии жители принялись за земледелие для сбыта продуктов за границу; даже Северо-Американские Соединенные Штаты (очень хорошо звучит это „даже“ для читателя начала XX века...) стали с большею пользою сбывать свою муку и кукурузу в Западной Европе. При таких обстоятельствах, сердце русского человека невольно сжималось от опасений насчет будущей участи как здешних портов, так вместе с тем и самого благосостояния южной и западной России, преимущественно земледельческих“.

Сердце русского человека сжималось напрасно: на вновь открывшемся с конца сороковых годов хлебном рынке всем нашлось место— и конец аграрного кризиса открыл самые блестящие перспективы, именно перед южной и юго-западной Россией. Горизонт действительно омрачился только гораздо позже, лет тридцать спустя, когда случайно забредший на европейскую хлебную биржу чужестранец, янки, начал на этой бирже самодержавно царствовать, диктуя цены русскому помещику, как и прусскому юнкеру. Пока за ближайшую будущую участь русского сельского хозяйства опасаться не приходилось. Некоторое ослабление кризиса чувствовалось уже с конца тридцатых годов, как покажет следующая маленькая табличка:

Средняя ценность русского хлебного вывоза за 1824—1838 гг. (по Кеппену).	В Ы В О З:		
	1836 г.	1837 г.	1838 г.
30.171.000 руб. ассигн.	25.498.000 руб. ассигн.	38.929.000 руб. ассигн.	53.048.000 руб. ассигн.

Вывоз за 1838 год был слишком вдвое выше, по ценности, вывоза 1836 года и почти вдвое выше среднего за пятнадцать лет. Хлебные цены тоже окрепли: „цена на пшеницу в С.-Петербурге возвысилась от 22 р. до 31 рубля за четверть, в Риге от 22 р. 50 к. до 36 р., а в Одессе от 18 до 26 р. за четверть. Возвышение цен на рожь в С.-Петербурге и Риге также было значительно“. Но настоящую революцию на хлебном рынке произвели отмена хлебных законов в Англии и знаменитый неурожай в Западной Европе в 1846 и 1847 гг. С первого из этих фактов цитированный уже нами автор статьи о хлебной торговле в портах южной России начинает новый период своей истории. „Последний период,—говорит он,—начинается уничтожением или изменением в Англии, а после в Бельгии, Голландии и других государствах, переменных хлебных пошлин. Торговля этим продуктом становится прочною и может быть вернее рассчитанною, чем другими статьями ввоза. Закон этот обеспечивает не только самих торговцев хлебом, тех, у кого они покупают его, и тех, кому продают, но даже развивает обмен в таких размерах, какие до тех пор были неизвестны“. Катастрофическое значение 1847 г. покажет следующая таблица:

Года.	Цена четверти пшеницы в Одессе. Р.	К.	в Тамбовской губернии. Р.	К.	Цена четверти ржи в Одессе. Р.	К.	в Тамбовской губернии. Р.	К.
1846	5	93	4	37	3	44	1	94
1847	8	14	4	42	4	17	4	42
1848	5	42	6	34	3	50	3	65
1849	5	74	4	66	3	56	1	96
1850	5	57	6	10	3	28	2	12

(✕) Катастрофически-быстро вздувшийся в конце 40-х годов спрос на хлеб за границей произвел настоящий ураган на внутреннем хлебном рынке. Потрясение испытал даже такой национальный хлеб, как рожь, в один год поднявшаяся в Тамбове (мы нарочно выбрали этот медвежий угол) в два с половиною раза,—принимая цену 1846 года за 100, мы для 1847 имеем 228,—и лишь постепенно дошедшая снова до нормального уровня. Но по отношению ко ржи, несомненно, действовали „возмущающие факторы“: местный урожай или неурожай и внутреннее потребление. Скрещение этих „возмущающих факторов“ с влиянием заграничного спроса приводило к тому, что, например, в С.-Петербурге цены на рожь за весь конец 40-х годов только „держались твердо“, не показывая бо́льших колебаний ни в ту, ни в другую сторону; около 6 рублей серебром за четверть (тогда как средняя цена за пятнадцатилетие 1824—1838 гг. была 4 р. 25 к.). Что касается пшеницы, хлеба вывозного по преимуществу, колебания ее цены, в зависимости от заграницы, поражают своею правильностью: стоило Одессе поднять отметку, как Тамбов, с опозданием ровно на год (читатель не забудет, что железными дорогами между Тамбовом и Одессою тогда не пахло), реагировал на это отметками, повышенными, от полноты черноземного чувства, еще сильнее (✕).

Влияние катастрофы 1847 года могло бы быть проходящим—если бы она не была обострением кон'юнктуры, создававшейся более длительными и устойчивыми причинами. Оттого, хотя цены и упали несколько после первой горячки, раз данный толчок продолжал действовать и после того, как горячка миновала. Считая цены 30-х годов за 100, мы получаем для последующих десятилетий следующие прогрессивные повышения:

Десятилетия	Пшеница.	Рожь.
1831—40	113,84	115,70
1841—50	138,06	141,26
1851—60	174,14	190,13

Это—колебания цен на берлинской бирже: но как и в 1847 году, заграница продолжала революционизировать нашу хлебную торговлю, а за нею и наше сельское хозяйство. Русский хлебный вывоз рос со сказочной быстротой. 1838 год, как мы знаем, был исключительно хорошим годом по вывозу: однако-же в этом году было вывезено только 20 с небольшим миллионов пудов пшеницы. Тогда как в 1851 году было вывезено более 22 миллионов пудов, в 1852—с лишним 40 миллионов и, наконец, в 1853—64 миллиона. И, как это было и в области

цен, движение масс хлеба за границу сдвигало с места еще большие массы внутри России. По данным главного управления путей сообщения, было отправлено по водным путям России:

	В 1851 г.	В 1852 г.	В 1853 г.
	Тысячи четвертей.		
Пшеницы	2542	4761	6061
Ржи	1095	2454	2362

Этим цифрам нельзя, конечно, придавать абсолютного характера: одна и та же четверть ржи или пшеницы отмечена здесь по несколько раз—однажды в Саратове, например, другой раз в Рыбинске, третий—на Вышневолоцком канале. Но отношение они иллюстрируют отлично: за три года обороты с хлебом увеличились в два с половиною раза.

Из аграрного тупика Россия, наконец, вышла. Ее провиденциальное назначение,—быть „житницей Европы“,—наметившееся в первой четверти столетия и столь скомпрометированное потом, к началу третьей четверти не оставляло, повидимому, более никаких сомнений. Крепостное имение вновь заработало для рынка, энергичнее, чем когда бы то ни было; странно было бы, если бы это не отразилось на внутреннем строе этого имения,—притом не отразилось в совершенно определенном смысле. Крупное сельское хозяйство на крепостном труде становится все более буржуазным: в нем все большую и большую роль начинает играть капитал. Задолженность дворянского землевладения достигла уже очень значительных размеров во время кризиса: к 1833 году было заложено в различных кредитных учреждениях того времени (государственный заемный банк, опекунские советы и приказы общественного призрения) около 4 миллионов душ крепостных крестьян; под эти души было выдано казною до 950 миллионов рублей ассигнациями—около 270 милл. р. серебром. Этим путем дворянство добывало деньги, ставшие уже для него необходимостью, за невозможностью добыть их путем нормальным—посредством сбыта своего хлеба на рынке (X).

С возвышением цен на хлеб, в конце 40-х годов, помещичьи денежные затруднения, казалось, должны были-бы кончиться: и если-бы дворяне занимали исключительно с потребительными целями, как обыкновенно думают, это должно было-бы отразиться понижением их задолженности. Не тут-то было—она росла еще быстрее. С 270 миллионов р. (уже серебряных на этот раз) в 1833 г. она поднялась до 398 миллионов в 1855 г. и до 425 миллионов рублей—к 1859-му. К этому году уже 65% всех „душ“, принадлежащих помещикам, были в залоге, и были губернии, где незаложенное имение являлось редкостью. И это как раз были губернии черноземные, где в силу требований международного рынка имение все больше и больше превращалось в „хлебную фабрику“. На первом месте в списках стоят губернии: Казанская (84% заложенных душ), Орловская, Пензенская, Саратовская (80%), Тульская, Калужская, Рязанская, Тамбовская (все более 70%). Их ряд нарушается только одним исключением—но оно стоит правила: выше трех последних губерний, по задолженности,

стоит Пермская,—старинное гнездо горных заводов, работавших исключительно на крепостном труде. На черноземе и на Урале кредит был почти исчерпан,—а потребность в капиталах не только не уменьшилась, а с каждым годом оказывалась все более жгучею. Вопрос: откуда достать денег на дальнейшее ведение хозяйства—стал вопросом классового самосохранения русского дворянства. На такой почве возник первый практический план крестьянской реформы, исходившей не от юридических или моральных соображений, а от чисто экономического расчета. Этот план принадлежал крупнейшему, без сомнения, представителю старого крепостнического капитализма—богатому рязанскому помещику и откупщику Кошелеву. Мы видели далекого предтечу этого плана в декабристе Якушкине: но что тот делал или собирался делать по мелочам и кустарным способом, теперь проектировалось в грандиозном масштабе и должно было осуществиться силою государственной власти. Продать крестьянам свободу и вместе те наделы, которыми они пользовались при крепостном праве—и, этим путем расквитавшись со старым долгом, получить новый такой же капитал, уже не в долг, а без возврата: такова была основная идея этого гениального плана, под пером дворянских и буржуазных публицистов получившего красивое название—„освобождение крестьян с землею“ (X).

Правда, при этом помещики теряли право и на подневольный, барщинный труд крестьян: но этот труд ценили настолько низко, преимущества буржуазного способа ведения хозяйства настолько били в глаза, что—факт, неоспоримо засвидетельствованный с разных сторон—в черноземных губерниях имение без крестьян ценилось не дешевле, а иногда и дороже имения с крестьянами. Быть может, не ценя вовсе этих последних, дворяне манчестерского направления и ошибались: в этом желали бы нас уверить некоторые исследователи—хотя, нужно сказать, такая массовая ошибка явилась бы событием, в истории совершенно исключительным. Но для интересующегося историей, а не теорией хозяйства важен самый факт: все так думали и сообразно со своими убеждениями поступали.

Поперек дороги освобождения крестьян стояла теперь только косность наиболее отсталых слоев дворянства: сила их инерции была настолько велика, что вынудила ввести в реформу ряд оговорок, позволявших, местами, свести „освобождение“ на нет,—но все же не настолько, чтобы остановить реформу в принципе. Последняя была бы мыслима в 1854 году совершенно так же, как и в 1861: если понадобилось семь лет отсрочки и четыре года борьбы, для того, чтобы прогрессивная часть дворянства могла осуществить свой план, в этом виновато было не общество, а правительство, употребляя ходячую терминологию. Правильнее выражаясь, та социальная группа, которая стояла у власти с 1825 года и, не обнаружив больших политических талантов в предшествующее время, к пятидесятым годам кончила, как политическая сила, совершенным банкротством.

Между тем, кошелевский план предполагал непременное участие правительства во всей операции. Читатель, вероятно, давно уже задался вопросом: почему, если помещики находили „вольный“ труд

выгоднее барщинного, не освободили они попросту крестьян собственными средствами, пользуясь законом 1803 года. Юридически, никто им не мешал это сделать, но экономически предприятие было совершенно неосуществимо. Для ведения хозяйства на „вольном“ труде помещику нужны были деньги: не менее 50-ти рублей на „душу“ старого счета, по вычислениям того же Кошелева. Откуда бы достал эти деньги помещик? Владелец оброчного имения, где крестьяне, привыкшие ходить в отхожие промыслы, ценили свою индивидуальную свободу, мог заставить их путем всякого законного и вне-законного давления эту свободу выкупить. Но кризис как раз был в барщинных, а не в оброчных имениях; владельцы оброчных имений относились весьма безразлично к реформе, ничего не менявшей в их хозяйстве. Откуда бы достали денег барщинные, не ходившие в отхожие промыслы, мужики—даже предположив, что у них явилось бы массовое стремление купить себе свободу—в чем можно сомневаться: как увидим ниже, они, повидимому, предпочитали другие способы освобождения. Далее, как было их уверить, что земля, на которой они и их отцы сидели испокон веку, не их, крестьянская, а помещичья—и ее еще нужно купить у помещика? Как было перевести на крестьян долги землевладельцев,—долги государственным учреждениям,—не получив согласия государственной власти? С какой точки зрения ни подойти к вопросу—решить его можно было только при содействии правящего центра, совершенно независимо от размеров операции, далеко превышавшей средства не только частного лица, но даже, по тогдашним временам, любой частной компании или общества. Как ни отрицательно относились к „чиновникам“ помещики кошелевского типа, без „чиновников“ нельзя было двинуться с места. Но в начале пятидесятых годов оказалось, что николаевские чиновники, после двадцатилетней возни с проектами освобождения крестьян, никуда двигаться не желают: что пока власть остается в тех руках, в чьих она была до сих пор, никакого содействия от нее прогрессивные дворяне ждать не должны. (X).

Николаевское правительство отнюдь не было анти-буржуазным по своим тенденциям: оно, напротив, опиралось на буржуазию и служило ее интересам, насколько умело. Но оно делало это не даром: оно требовало, чтобы буржуазия служила ему—отказалась от либеральных тенденций, которые не были ей чужды в двадцатых годах, и сделалась „опорой порядка“. Что касается русской торговой и промышленной буржуазии, она выполнила это условие: облагодетельствованные запретительным тарифом, награждаемые медалями и чинами, наши буржуазные заводчики и фабриканты 30-х и 40-х годов не рассуждали более о конституции и ревностно насаждали благонамеренность в среде эксплуатируемых ими рабочих (X). Но буржуазия, как европейская сила, все более и более оказывалась в противоположном Николаю лагере: он мог в этом убедиться и во время польского восстания 1831 года, когда так ярко сказались симпатии французской буржуазии к полякам, и бесчисленное количество раз после. Даже не буржуазные европейцы, как Кюстин, несмотря на все попытки их „приласкать“, не поддавались очарованию и, вернувшись домой, писали и печатали о Николае вещи, которых не в силах были

опровергнуть тогдашние официозные публицисты: и тот колоссальный успех, каким пользовались их книжки (книга Кюстина „Россия в 1839 году“ выдержала в три года три издания, не считая контрафакций), еще резче подчеркивал отношение общественного европейского мнения к Николаю. Вот отчего тень мысли о зависимости от западной буржуазии была для Николая и для его окружающих совершенно невыносима (X). Страх перед вторжением в Россию европейских капиталов, с точки зрения тех, кто правил страною при Николае, имел хорошие основания: вся „система“ Николая Павловича могла держаться, как консерв, только в герметически закупоренной коробке. Стоило снять крышку—и разложение началось бы с молниеносной быстротой: эра буржуазных реформ 60-х годов доказала это на опыте.

Но в такой грандиозной финансовой операции, какой рисовалась выкупная, немыслимо казалось обойтись без заграничного кредита. А затем переход к капиталистическому сельскому хозяйству вел немедленно же к постройке железнодорожной сети—где снова без европейских капиталов было не обойтись. Как видим, реформы 60-х годов представляли собою органическое целое, и это целое было сплошным отрицанием предшествовавшей системы, основным положением которой являлась изоляция России от внешнего мира. Не Николаю было разрушать то, что он тридцать лет создавал. Европейская буржуазия—а с нею буржуазний строй вообще—могла проникнуть в Россию только через его труп (X).

Но об'яснение наше было бы далеко не полным, если бы, оценивая позицию Николая в ставшем практически с конца сороковых годов вопросе об освобождении крестьян, мы позабыли исходную точку всей его социальной политики вообще: поддержание „порядка“ во что бы то ни стало.

В бумагах Погодина сохранилось чрезвычайно характерное освещение крестьянского вопроса, именно, с этой стороны—принадлежащее одному из самых верных слуг николаевской системы, министру народного просвещения графу Уварову. Вот что записал, со слов Уварова, Погодин: „Вопрос о крепостном праве тесно связан с вопросом о самодержавии и даже единодержавии. Это две параллельные силы, кои развивались вместе. У того и другого одно историческое начало; законность их одинакова.... Крепостное право существует, каково бы ни было, а нарушение его повлечет за собою неудовольствие дворянского сословия, которое будет искать где-нибудь, а искать негде, кроме области самодержавия. Кто поручится, что тотчас не возникнет какой-нибудь тамбовский Мирабо или костромской Лафайет, хотя и в своих костюмах. Оглянутся тогда на соседей, и начнутся толки, что и как там устроено. Наши революционеры или реформаторы произойдут не из низшего класса, а в красных и голубых лентах. Уже слышатся их желания даже и без этого повода... Правительство не приобретет ничего посредством этого действия. Низший класс и теперь ему предан, а бояться его ни в каком случае нечего: крестьяне могут поджечь дом, поколотить исправника, но не более. Правительство не приобретет ничего, а потерять может много. Другая оппозиция опаснее ему“.

Это была, как видит читатель, целая программа—и не лишенная дальновидности с точки зрения той общественной группы, которая ее выработала. В этом можно было убедиться весьма скоро—в той записке 1855 года, которую мы цитировали выше, Кошелев говорил имп. Александру II: „Пусть царь созовет в Москву, как настоящий центр России, выборных от всей земли Русской, пусть он прикажет изложить действительные нужды отечества,—и мы все готовы пожертвовать собою и всем своим достоянием для спасения отечества“... Видите, мог бы сказать Уваров: не прав ли я был? По своему, повторяем, Николай и окружавшие его Уваровы были дальновидны; к их несчастью, только, поле их зрения было необычайно узко (X).

Накануне Крымской войны крестьянский вопрос находился в тупике, экономические интересы массы дворян требовали ликвидации крепостного права, политический интерес верхнего их слоя требовал совершенной неподвижности и сохранения „основ“ во всей неприкосновенности—в том числе и крепостного права. Налицо был в высшей степени любопытный, социологически, конфликт между „экономикой“ и „политикой“: как всегда, торжество осталось за первой (X).

Неудача войны, так самонадеянно начатой,—Николай рассчитывал вначале через месяц быть в Константинополе, и даже после вмешательства Англии и Франции, накануне высадки союзников в Крыму, был еще уверен, что Севастополь в совершенной безопасности—должна была сильно обескуражить правящую группу, к концу войны оставшуюся и без своего вождя, трагически погибшего, именно, вследствие военной неудачи. Всю глубину растерянности этой группы можно оценить, читая рассказ об известном совещании министров Александра II, доставшихся ему в наследство от Николая Павловича, перед началом мирных переговоров, после получения ультиматума из Вены: не решились даже спасти себя от формального унижения, обратившись непосредственно к Франции — соглашение с нею решало все дело,—и безропотно подчинились ультиматуму державы, которая сама в данный момент боялась войны не меньше, чем Россия. Вызвать на бой всю Европу—и в страхе убежать от картонного пугала, оба эти психологические полюса пережили, на протяжении двух лет, одни и те же люди. Страшно надменные еще вчера, сегодня они готовы были уступать за полверсты дорогу самому безобидному прохожему.

Само собою разумеется, что такой упадок духа не мог ограничиться географически—пределами заграничной политики. В политике внутренней должно было повториться то же: чем раньше бравировали, в том теперь готовы были видеть опасность, гораздо большую действительной. Благодаря этой психологической перемене то, что раньше задерживало реформу, политический момент, теперь должно было оказаться плюсом на ее стороне. Мы видели, с каким высокомерным пренебрежением относилась „знать“ к крестьянским волнениям: побьют исправника, сожгут усадьбу—экая беда, рассуждал Уваров около 1848 года. Десять лет спустя, для окружающих императора, сверстников того же Уварова, не было страха, страшнее крестьянских волнений...

II. Ход крестьянской реформы и борьба вокруг нее различных общественных групп.

(Из „Русской Истории“ М. Н. Покровского. Т. IV. Изд. 4. М. 1922 г. Стр. 64—95).

„Главное опасение“ Александра Николаевича, по его собственноручному признанию, состояло в том, чтобы освобождение крестьян „не началось само собой снизу“. Эта записка императора совершенно устраняет предположение, будто, говоря на ту же тему перед московскими дворянами 30 марта 1856 года, он только хотел попугать этих последних: прежде всех и больше всех боялся он сам. Отсюда его нетерпеливое отношение к медленности секретного комитета по крестьянскому вопросу—комитета, составленного из николаевских деятелей и работавшего темпом, усвоенным для крестьянского вопроса при Николае I. „Желаю и требую от вашего комитета общего заключения, как к сему делу приступить, не откладывая дела под разными предлогами в долгий ящик“; „буду ожидать с нетерпением, что комитет по делу этому решит. Повторяю еще раз, что положение наше таково, что медлить нельзя“; „надеюсь, что после этого дело будет подвигаться, и прошу, чтобы возложенная работа на министров вн. дел и госуд. имуществ была ими представлена без излишнего замедления“. Такими высочайшими отметками усеяны журналы комитета—причем в подлиннике они имеют вид еще более нетерпеливый, ибо Александр Николаевич подчеркивал почти каждое слово. Очень он боялся, как бы „дело не началось снизу“. Но в основе медленности комитета лежало то же самое психологическое состояние. Когда комитет, по настоянию императора, выработал известный рескрипт 20 ноября 1857 года, чем стяжал первое одобрение Александра II („благодарю г.г. членов за первый решительный приступ к сему важному делу“), председателем комитета, кн. Орловым, овладел панический ужас: он,—рассказывали тогда в Петербурге,—явился во дворец и, добившись аудиенции, стал „самым сильным и настойчивым образом“ говорить против опубликования документа, в составлении которого он только что принимал участие. „Почти на коленях“ он умолял государя „не открывать эры революции, которая поведет к резне, к тому, что дворянство лишится всякого значения и, быть может, и самой жизни, а его величество утратит престол. Александр Николаевич и здесь, как в знаменитом совещании после австрийского ультиматума, оказался все же храбрее слуг его покойного отца: тогда он настаивал на продолжении войны, теперь он настоял на опубликовании рескрипта. Но и долго после он был убежден, что рискнуть на освобождение крестьян можно только введя во всей стране осадное положение. Он горячо сочувствовал составленному его любимцем, Ростовцевым, проекту создания, на время реформы, генерал-губернаторов с чрезвычайными полномочиями и очень обижался, когда министерство внутренних дел, ревнивое к своей полицейской монополии, начало этот проект оспа-

ривать. Отчасти перспектива распыления его власти, отчасти влияние более трезвых буржуазных элементов, имевших на тогдашнее министерство внутренних дел влияние через Н. А. Милютина, сделали министра Ланского, тоже старого николаевского служаку, храбрее его коллег. „Народ не только не сопротивляется, но вполне сочувствует распоряжениям правительства“, писал по поводу ростовцевского проекта Ланской. На этом месте его доклада Александр II и положил свою знаменитую резолюцию: „все это так, пока народ находится в ожидании, но кто может поручиться, что когда новое положение будет приводиться в исполнение, и народ увидит, что ожидания его, т. е. свобода по его разумению, не сбылись, не настанет ли для него минута разочарования? Тогда уже будет поздно посылать отсюда особых лиц для усмирения. Надобно, чтобы они были уже на местах. Если бог помилует, и все останется спокойно, тогда можно будет отозвать всех временных генерал-губернаторов, и все войдет опять в законную колею“. Положение получалось прямо-таки отчаянное: не освобождать крестьян—они взбунтуются, и дело „начнется снизу“; освободить—они опять же взбунтуются, ибо нельзя их освободить „по их разумению“, т. е. так, как самим крестьянам нужно.

Это драгоценное признание самого верховного руководителя реформы в том, что „освобождение“ крестьян всегда придется писать в ковычках, стоит заметить: оно снимает тяжелое обвинение с бедных „крепостников“, якобы испортивших „великую реформу“. Александр Николаевич писал это в 1858 году—тремя годами раньше, нежели появилось то, что можно было портить. Освобождение без ковычек было немыслимо в обстановке николаевского режима,—а в первые годы царствования Александра II этот режим стоял еще во всем цвете и всей силе. Но если бы даже чья-нибудь смелая фантазия и могла представить себе такое чудо—создание миллионов свободных людей в стране, где государственный строй принципиально отрицал свободу кого бы то ни было,—этому чуду не дали бы осуществиться классовые интересы дворянства, которому нужна была замена барщинного труда наемным, крепостного крестьянина—батраком, а вовсе не создание свободного и экономически самостоятельного крестьянства. Что этот элементарный факт заранее предвидел Александр Николаевич, которого даже самые рьяные его панегиристы не решаются признать гениальным государем, показывает лишь, насколько ясно было дело уже для современников: читатель оценит, какая масса усилий потребовалась, чтобы затуманить его перед потомством. Но в тот момент, когда писалась цитированная нами высочайшая отметка, ответ крестьянства на „свободу не по его разумению“ был довольно отдаленным будущим. Было ли в настоящем конца пятидесятых годов что-нибудь, оправдывавшее панику Александра II и его министров? Главным условием—повторим еще раз—был толчок, данный Крымской войной. Одна записка, возникшая тогда в высших сферах Петербурга, прямо ставит необходимость крупных реформ, как средства загладить тот конфуз, который только что испытала Россия под Севастополем. Но в связи с этим же Севастополем современники отмечали факты, реально тревожные и напоминавшие начало только что неблагополучно окончившегося царствования. „Недовольство всех классов растет,—писал Ка-

велин Герцену в августе 1857 года,—в особенности озлоблена масса офицеров, высылаемых из гвардии и армии, по случаю усиленного сокращения войск, на голодную смерть. Какое-то тревожное ожидание тяготит над всеми, но ожидание бессильное: словом, все признаки указывают в будущем, повидимому недалеком, на страшный катаклизм, хотя и невозможно предсказать, какую он примет форму и куда нас поведет". Так оценивала положение петербургская интеллигенция; а вот как смотрели на дело в глухой провинции. „Неизвестно, что нас ожидает в будущем,—писал министру внутренних дел рязанский предводитель дворянства Селиванов,—тем более, что в Рязанской губернии войск, кроме двух батальонов, во всей губернии нет. Все распущенные из полков солдаты рассыпаны по деревням и при первом случае станут во главе всякого беспорядка. На земскую полицию положиться невозможно". После Севастополя нельзя было рассчитывать на вернейшую, с дней Петра Великого, опору абсолютизма — армию. В 1848 году можно было пренебрегать крестьянскими волнениями—послать роту-две солдат, и все придет в порядок. Теперь приходилось спрашивать себя: не будет ли от солдат еще большего беспорядка, да и офицеры—можно ли и на них вполне рассчитывать. Вот почему не бог весть какие серьезные крестьянские беспорядки 1854—1855 гг. (по случаю сначала „морского", а потом государственного ополчения) имели такое капитальное значение в истории крестьянской реформы (X).

Подготовка акта 19-го февраля 1861 г. происходила, как известно, почти параллельно, в губернских комитетах и редакционных комиссиях, в течение 1858—1860 годов. Но было бы ошибкой думать, что выработка основных принципов реформы началась только в это время, и что боровшиеся стороны—комитеты и комиссии—приступили к своему делу с пустыми руками. В значительной степени самый конфликт между комитетами и комиссиями был раздутым: не то, чтобы поводов для конфликтов вовсе не было, но они, эти поводы, лежали в чисто политической области; на экономической почве боролись „не чиновники" комиссий и „помещики" комитетов (первые сами были по большей части помещиками, а вторые по большей части были люди государственной службы), а две группы дворянства, интересы которых получили формулировку и обоснование еще в период действий секретного комитета, и отчасти даже до него—в 1855—1857 годах. В этот период два течения, возникшие среди самого землевладельческого класса, нашли себе выражение в записках, частного характера, но составлявших материал для суждений правительственного комитета. Одно из этих течений можно назвать феодальным, другое просто буржуазным. Первое заботилось главным образом о сохранении за помещиками земли—в максимальном количестве и во что бы то ни стало; второе ставило на первое место обеспечение землевладельцев капиталом и рабочими руками—хотя бы и ценою некоторых уступок в пользу крестьянства в земельном вопросе. Была и третья точка зрения, компромиссная между двумя первыми, надеявшаяся обеспечить помещиков нужными капиталами без уступки земли крестьянам—

или с уступкою чисто фиктивною. Наиболее обнаженно, а потому наиболее ярко выступает феодальная точка зрения в представленной секретному комитету записке кн. Гагарина. „Помещики, как поземельные собственники, составляют собою твердую опору престола и государства, следовательно, всякое стеснение их интересов и владельческих прав не может оставаться без влияния на быт империи“,—писал Гагарин: дотронуться до дворянской земли—значит потрясать основы. „Дарование помещикам права освобождать крестьян без условий и без земли есть мера самая благодетельная, так как она упрочивает за помещиками право земельной собственности и оставляет крестьян подтем влиянием, с которым они свыклись, и которое охраняло общий интерес в государстве“... Избежать пролетаризации крестьянства при безземельном освобождении было очень легко, по мнению Гагарина: стоило оставить им—в пользование—их усадьбы и дома. Впрочем, к вопросу о пролетариате князь вобще относился легко: „сельского пролетариата нигде не было и быть не могло,—думая он,—а в России количество земли так значительно, что землепахарь не может опасаться не иметь работы“. Под „пролетарием“ князь Гагарин, в простоте души, понимал „безработного“...

Простота души кн. Гагарина отнюдь не является только комическим дивертисментом: она чрезвычайно характерна, давая нам возможность оценить ту подготовку, с какой приступали к сложнейшей русской реформе XIX столетия николаевские сановники. Из министров Николая I, оставшихся в живых к 1857 г., кое-что понимал в крестьянском вопросе только гр. Киселев, в это время удаленный—по утверждению некоторых современников, удаленный намеренно—весьма далеко от театра действия: он был тогда послом в Париже. Но и он, нужно сказать, понимал именно только „кое-что“; „Я полагаю,—писал он тому же секретному комитету,—что даровать полную свободу 22 миллионам крепостных людей обоего пола не должно и невозможно. Не должно потому, что эта огромная масса людей не подготовлена к законной полной свободе; невозможно потому, что хлебопашцы без земли перешли бы в тягостнейшую зависимость землевладельцев и были бы их полными рабами или составили пролетариат, не выгодный для них самих и опасный для государства. Надел крестьян землею или сохранение за ними той, которую они имеют от помещиков, невозможно без вознаграждения, а вознаграждение едва ли доступно в финансовом отношении. Посему я полагаю, что вопрос о полной свободе подымыть не следует“... И Киселев, и Гагарин, оба, одинаково являлись представителями того разряда землевладельцев, которые, живя постоянно в Петербурге, сами хозяйства не вели, будучи по отношению к своим крепостным имениям простыми получателями оброка. Этот оброк они и стремились увековечить. При крепостном праве платеж им ренты был юридической обязанностью сидевших на их земле крестьян; при безземельном освобождении арендовать барскую землю становилось для этих крестьян экономической необходимостью. Так как хозяйственные условия имения при этом не изменялись ни на иоту, то гагаринский способ освобождения был, не только суб'ективно, наиболее консервативным: вот почему есть все основания

259469

назвать этот тип реформы феодальным. Тем более, что и Гагарин, как Киселев в своем проекте николаевских времен, оставлял во всей неприкосновенности полицейскую власть помещика, предоставляя „освобожденному“ крестьянину лишь право жалобы на него, но и то—главе всех помещиков, уездному предводителю дворянства, превращавшемуся проектом Гагарина в мирового судью.

Критика феодальной программы освобождения, с точки зрения экономических интересов самих помещиков, была дана уже одновременно с ее возникновением в записках Кавелина (1855 г.) и Кошелева (1857 года). „Некоторые предлагают выкупить помещичьих крепостных с тем лишь количеством земли, какое нужно для удержания их оседлыми на теперешнем их месте жительства, но которого было совершенно недостаточно для прокормления их с семейством,—писал первый.—Цель та, чтобы, воспользовавшись привязанностью крестьян к их родине, земле и двору, побудить их по-неволе нанимать землю у соседних землевладельцев... Последствием этого было бы одно из двух: или бывшие крепостные впали бы в крайнюю нищету и обратились в бездомников и бобылей—нечто вроде сельских пролетариев, которых у нас покуда, слава богу, очень мало,—или они стали бы толпами выселяться в другие губернии и края империи“... Экономическая истина у Кавелина, по его обыкновению, затушеванв морально-политическими соображениями: он называет феодальный проект „коварной мерой“, говорит о том, что, благодаря ему, правительство было бы „вовлечено в несравненно большие издержки, чем выкупив их (крестьян) с самого начала со всею землею“, и т. п. С кристальной экономической ясностью ставит дело Кошелев. „Эта мера,—говорит он,—разорила бы в край половину помещиков, т. е. почти всех, имеющих свои земли в промышленных губерниях, ибо крестьяне, лишенные своей вековой оседлости, ушли бы в страны более хлебородные, и мы, в девятнадцатом веке, увидели бы повторение тех народо-переселений, которые изумляют нас в истории средних веков“. Метче нельзя было указать точку разрыва, угрожавшего самой дворянской массе. И Кавелин уже отчетливо сознавал, что феодальная программа найдет себе сторонников среди не одних феодалов гагаринского типа. „Такая система выкупа,—говорит он о замаскированном безземельном освобождении,—в губерниях почти исключительно земледельческих могла бы, может быть (мы видим, как неприятно признаваться в этом Кавелину), действительно принести пользу владельцам“... В представленном секретному комитету проекте полтавского помещика—бывшего статс-секретаря Николая I—Позена мы находим уже очень удачный образчик амальгамирования феодальной и буржуазной точек зрения. Позен индувидуально представлял весьма благодарную в этом отношении фигуру, совмещая в себе крупного землевладельца, талантливого финансиста—человека, тысячью нитей, связанного со „знатью“. Большая часть последней—мы видели это на примере Киселева—считала выкуп финансовой утопией. Лучше знакомый с биржевым миром Позен ни на секунду не убоялся этой утопии: выкуп, т. е. снабжение помещика капиталом при помощи крестьянской эмансипации, он считал делом вполне воз-

можным и даже не трудным. Но он надеялся получить этот капитал в обмен не за весь крестьянский надел, а только за одну усадьбу. Пролетаризации крестьянства, как и Гагарин, он вовсе не боялся: и чего было бояться ее черноземному помещику, когда он, еще при крепостном праве, успел пролетаризировать добрую долю—а иногда и большинство—своих крестьян?

Само собою разумеется, что на основании всех этих соображений харьковские представители, Хрущов и Шретер, „предоставление крестьянам большого количества земли находили вредным". На их примере особенно ярко видно, как наивно обычное разделение помещиков конца 50-х годов на „крепостников" и „либералов". Хрущов и Шретер были ярко-красными либералами, каких только можно было найти среди тогдашнего дворянства. Их подписи стоят под наиболее „левым" из адресов, поданных губернскими депутатами Александру II: под адресом, который был охарактеризован императором, как „ни с чем несообразный и дерзкий до крайности". Там требовалось не более, не менее, как местное самоуправление, суд присяжных, свобода печати и прочее—что в 1859 году Александр Николаевич искренно считал „западными дурачествами". Доказывая, что мужику тем лучше, чем земли у него меньше, они, попутно, не преминули воздать должное почтение буржуазной крестьянской собственности, — а подводя итог своей экспроприаторской аргументации, они заключали, что „от всей души сочувствуют полному освобождению крепостных, но в то же время пламенно желают, чтобы возведение их в полноправных граждан произошло правомерно и на почве законности". Совсем англичане А подпись их под „ни с чем несообразным" адресом стоит рядом с подписью наиболее рельефного представителя буржуазного типа эмансипации—тверского делегата Унковского. Интересы нарождавшейся аграрной буржуазии на юге и на севере были неодинаковы,—на этом и сыграли феодалы, в конечном счете не одержавшие полной победы, но избегнувшие и полного поражения.

Но мы довольно далеко ушли от того хронологического пункта, к которому относится наша характеристика. Унковский высказывался вполне только в губернском комитете и в редакционных комиссиях—в следующую фазу реформы. Уже раньше появления тверичей на сцену буржуазная точка зрения была отчетливо формулирована в двух упоминавшихся нами выше записках—Кавелина и Кошелева. Вторая—экономически солиднее, но первая больше имела практического значения, по близким связям ее автора с Николаем Милютиным, тогда фактически товарищем министра внутренних дел и, как выяснилось очень скоро, главным деятелем реформы со стороны правительства. В то же время и лично Кавелин является более разносторонним выразителем тогдашней аграрно-буржуазной идеологии, чем Кошелев. Помещик публицист, профессор, друг Герцена—и в то же время друг Николая Милютина и учитель наследника русского престола, Кавелин имел страшно широкий район наблюдений, и редко можно было встретить человека, который бы так живо воспринимал все, что он видел и слышал, и быстрее делал из виденного и слышанного выводы, которые далеко шли за пределы понятного большинству его современников. Благодаря исключительной обстановке того края

где ему пришлось хозяйничать, как помещику, он очень рано натолкнулся на тот подводный камень, о который должно было сокрушиться русское буржуазное землевладение четверть века спустя,—на рабочий вопрос. Если харьковские условия воспитывали „англичан“, то Новоузенский уезд Самарской губернии, где было имение Кавелина, уже в пятидесятых годах был образчиком „американского“ типа аграрной эволюции. Читая замечательные „Письма из деревни“ Кавелина (1860 года), вы с трудом представляете себе, что речь идет о России еще до отмены крепостного права: так мало феодального во всей картине. Под влиянием аграрного подъема пятидесятых годов самарцы с азартом биржевой игры принялись за производство пшеницы, за которую платили на рынке „огромные цены“. Азарт усиливался тем, что при экстенсивном хозяйстве („земля возделывается кое-как и не навозится“) успех зависел исключительно от погоды: „весь секрет в том, чтобы под хороший год иметь как можно больше земли под посевами. А как его угадаешь—хороший год?“ Но зато на одном хорошем урожае можно было разбогатеть—и в результате „все здесь нанимает землю и сеет,—говорит Кавелин:—дворовый, и вдова, и пастух, и кучер, и кухарка—хоть десятину, да сеет“. Но посеянное, когда бог послал урожай, нужно было жать—и вот перед нами картина совсем американского „дальнего запада“. „Наем рабочих, особливо жнецов,—любопытнейшая вещь в нашем краю. Приспела жатва—и всюду начинается усиленная деятельность и необыкновенное столпление народа. Хозяева спешат на базары - пункты, где нанимаются жнецы; для нас таким базаром служит преимущественно Вольск, уездный город Саратовской губернии, в 70-ти верстах отсюда. В то же время рабочие тысячами идут вглубь степи искать работы. В последние годы наемные цены на жнецов страшно возвысились: с 3-х руб. сер. за сороковую десятину, как бывало прежде, они поднялись до 6,6$^1/_2$ и 7 рублей. В третьем году жали по 8-ми, а в отдаленных местах по 10 и 12 и даже по 15 целковых за десятину. Во время всей работы вы должны кормить всех жнецов, и кормить хорошо—пирогами (как называются здесь пшеничные хлебы), с приварком из пшена или гороха (иные не станут есть гороха), с салом, в постные дни—с маслом; иногда и с бараниной. Если же вы наняли их не у себя, а на базаре, то издержки еще больше: вы должны доставить к себе на своих лошадях и угостить водкой, по здешнему—дать магарычу, не говоря уже о пирогах во время ряды и в продолжение пути. А найма на базаре редко избежишь: рабочие могут и не прийти когда нужно. Что тогда делать? Вы видите, что издержки огромны, и при плате за землю деньгами, они должны быть затрачены вперед... Я еще не все сказал о жнецах и работниках. То, что они всем нужны в самую горячую пору, делает их требовательными, нахальными и своевольными в высшей степени: о римском праве они не имеют ни малейшего понятия, вероятно потому, что не были в университете. Святость контракта, верность данному слову не существует даже по имени. Когда поспевает пшеница—все думает только о том, как бы зашибить копейку жнитвом. Вы нанимаете во время жатвы няньку; она вам преспокойно говорит: заплатите мне сколько платят жнецам, а не то я пойду жать. Вы наняли работника еще с осени на год и на условиях для него выгод-

ных, но имели неосторожность не заплатить ему денег вперед, так чтобы во время жатвы у него оставались незаработанные деньги: берегитесь, он у вас не останется, и вы в самое нужное время лишитесь его: он пойдет жать. Да если и вперед дадите, то и это вас не спасет: он все-таки уйдет жать. Пойдите, судитесь с ним, когда каждая минута рубля стоит...“

Маленькие причины иногда имеют большие следствия: строптивый новоузенский жнец, для которого не существовало святости контракта даже по имени, крепко засел в памяти друга Герцена и корреспондента „Колокола“ (×).

Никто, кажется, из публицистов одного с Кавелиным направления не отстаивал с такой силой идеи о необходимости твердой и сильной власти в минуту эмансипации и непосредственно после нее. Конституционные,—а тем паче революционные,—иллюзии его современников внушали Кавелину величайшее недоверие и даже отвращение. „Дурачье не понимает, что ходит на угольях, которых не нужно расшевеливать, чтобы не вспыхнули и не произвели взрыва,—писал он по поводу дворянского либерализма Герцену:—Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся возмутительными. Это война: кто кого одолеет. Революционная партия считает все средства хорошими, чтобы сбросить правительство, а оно защищается своими средствами... Я бы хотел, чтобы ты был правительством и посмотрел бы, как бы ты стал действовать против партий, которые стали бы против тебя работать тайно или явно. Чернышевского я очень, очень люблю, но такого брульона, бестактного и самонадеянного человека я еще никогда не видал“. Чтобы избежать повторения в России французской революции („формула русской истории страшно как напоминает формулу французской: читаешь книгу Токвиля—и дрожь пробегает по жилам:..“), надо действовать сверху, а не снизу. Кавелин вовсе не был „аполитическим“ мыслителем—совсем напротив: он верил „тайному голосу, который еще с детства предсказывал ему политическую будущность“. Но чтобы идти по этой дороге, отнюдь не надо становиться „политическим агитатором, главою партии“—как стал Герцен, которого Кавелин горько за это упрекал. Путь буржуазного публициста был иной—нужно было вести долгие дружеские беседы с шефом жандармов (не подавшим Кавелину руки), раскрывать свою душу перед фрейлиной императрицы; венцом благополучия было переговорить с этой последней лично, с глазу на глаз. Настроение Кавелина после такой беседы можно описать только его же словами. „Того волнения, восторженности, которые возбуждены были во мне этим последним двухчасовым разговором (с императрицей Марией Александровной, в Дармштадте, в августе 1857 года), я передать не в состоянии. До сих пор я точно в чаду, и если бы кто-нибудь вдруг сильно взял меня теперь за руку или ударил по плечу, я готов был бы думать, что проснулся, и что все, происходившее со мною, был сон, удивительный, очаровательный, навеянный огромным самолюбием и такою же огромною любовью к родине“. Не мудрено, что помещенному в „Колоколе“ письму к государыне Кавелин придает большее значение, чем агитационным статьям того же „Колокола“: „кто может сказать, что это письмо не будет иметь значения для будущей России? Ведь это письмо так тепло...“ В противоположность

„шатания влево“ либеральных помещиков типа Унковского или даже Кошелева, Кавелин твердо ставит, как идеал прогрессивной буржуазии, не конституционную, а самодержавную Россию. „Если передать впечатления свои в двух словах, то вот к чему сводится вопрос: замена византийско-татарско-французского помещичьего идеала русского царя идеалом народным, славянским, посредством самой широкой административной реформы по всем частям“.

Абсолютизм и отречение от политической свободы при максимуме гражданской свободы, как необходимое условие дальнейшего капиталистического развития без революции: это была программа на двадцать лет вперед. Только не теряя из виду этих политических предпосылок, мы будем в состоянии правильно оценить и буржуазную программу освобождения крестьян.

Различные проекты эмансипации мотивировали ее весьма различными соображениями. В бюрократических кругах наиболее популярной была мотивировка полицейская—от „опасности внутреннему спокойствию“, которому угрожает дальнейшее сохранение рабства. Николай Павлович с этого мотива начал свою речь перед государственным советом—по поводу закона об „обязанных“ крестьянах (1842 г.) [1]). Из интимных заметок Уварова мы знаем, что при Николае мотивировка не была искренней—но после его смерти стали бояться уже не в шутку. Проекты частного характера пытались возвыситься от полицейской до политической точки зрения. Так, Самарин неудачу в Крыму склонен был приписать, главным образом, крепостному праву, которое, нужно сказать, было в этом именно виновато меньше, чем многое другое,—армии Александра I, составленные из крепостных мужиков, били, однако, тех же французов при других условиях. Но Самарину казалось, вероятно, что такая аргументация больше тронет высокопоставленных читателей, на которых он рассчитывал: не освободите крестьян, потеряете всякое влияние в Европе,—грозился он. Забловский-Десятовский, в свое время, пытался доказать, что крепостное право невыгодно помещикам: при всей своей экономической обоснованности—аргумент тоже „шкурного“ характера. Даже наиболее близкий к Кавелину трезвый Кошелев рядом с „современными требованиями промышленности и народного благосостояния“ нашел нужным говорить и об „общественной совести“ и о „государственной безопасности“. Исходной точкой Кавелина является чисто буржуазное понятие—свободы труда. С этого он начинает. „Многие убеждены, что Россия по своим естественным условиям—одна из самых богатых стран в мире, а между тем едва ли можно найти другое государство, где бы благосостояние было на такой низкой ступени, где бы меньше было капиталов в обращении и бедность была так равномерно распространена между всеми классами народа...“

---

[1]) „Пугачевский бунт доказал, до чего может доходить буйство черни. Позднейшие события и попытки в таком роде до сих пор всегда были счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь будет точно так же предметом особенной и, помощью божией, успешной заботливости правительства. Но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжаться навсегда“.

„Причин нашей бедности очень и очень много... Все эти причины действуют более или менее гибельно. Но ни одна не проникает так глубоко в народную жизнь, ни одна так не поражает промышленной деятельности народа в самом ее зародыше, ни одна так не убивает всякий нравственный и материальный успех в России, как крепостное право, которым опутана целая половина сельского народонаселения империи. Двадцать пять с половиною миллионов жителей мужского и женского пола в нашем отечестве лишены самых первых, самых скромных зачатков гражданской свободы—права по своему усмотрению заниматься тем или другим промыслом и произвольно отлучаться из своего места жительства, вопреки всякому здравому смыслу они лишены самого действительного побуждения к занятию промыслами—права требовать плату или вознаграждение за свой труд, чего он действительно стоит“. Совершенно логично к „крепостным“, кроме помещичьих крестьян, Кавелин причисляет и другие разряды населения, лишенные свободы труда: крестьян удельных и дворцовых, военных поселян, мастеровых казенных заводов, и т. д. Он пытается даже определить, что теряет русское народное хозяйство от крепостной зависимости всех людей, и „по своему умеренному исчислению“ определяет ежегодный убыток „по крайней мере в 96 милл. руб. сер.“. Не менее логически было вывести отсюда необходимость полного восстановления свободы труда для всей массы населения: „крепостных следовало бы освободить вполне, из-под зависимости их господ“,—таков первый принцип, устанавливаемый Кавелиным. Но буржуазия не только требует „свободы труда“—она уважает собственность. „Государство не может ни желать ни допустить освобождения крестьян без вознаграждения владельцев, и на это имеет основательные причины. Освобождение крестьян без вознаграждения помещиков, во-первых, было бы весма опасным примером нарушения права собственности, которое никакое правительство нарушить не может, не поколебав гражданского порядка и общежития в самых основаниях; во-вторых, оно внезапно повергло бы в бедность многочисленный класс образованных и зажиточных потребителей в России, что, по крайней мере сначала, могло бы во многих отношениях иметь неблагоприятные последствия для всего государства; в-третьих, владельцы тех имений, где обработка земли наймом больше будет стоить, чем приносимый ею доход, с освобождением крепостных совсем лишатся дохода от этих имений. Не получив вознаграждения, многие из них на первый раз, а иные может быть и на всегда, были бы осуждены на самое бедственное существование“... Отсюда третье, „главное основание“ Кавелина: „освобождение может совершиться во всяком случае не иначе, как с вознаграждением владельцев“. На первый взгляд, как будто выпадает из этой строго-буржуазной логики второй принцип эмансипации крестьян: „надлежало бы освободить не только со всем принадлежащим им имуществом, но и непремено с землею“. Может показаться, что тут вторгся посторонний элемент—из области полицейских страхов: „... в видах общественной тишины и порядка, правительство не может допустить сохранения хотя бы тени зависи-

мости бывших крепостных от их бывших помещиков",—говорит в одном месте Кавелин. Но это только литературная манера опытного публициста—сплетать моральные и политические рассуждения, апеллируя не только к рассудку, но и к эмоциям своего читателя. Сам автор ни на минуту не сбивается со своей колеи. Не нужно упускать из виду главной цели всей эмансипационной кампании, поскольку она велась помещиками: получения, путем эмансипации, капитала для перестройки своего хозяйства на новых основаниях. Кавелин так же определенно ставит эту цель, как и цитированный выше нами Кошелев. „Освобождение крепостных,—говорит он,—потребует немедленного постановления наших помещичьих хозяйств на коммерческую ногу, а это можно сделать не иначе, как с помощью более или менее значительных единовременных, чрезвычайных издержек, которые понадобятся почти в ту же самую минуту, когда совершится освобождение. При всеобщей бедности и разорении нашего дворянства ему неоткуда взять капиталов, необходимых для покрытия таких чрезвычайных издержек. Поэтому, если вся выкупная сумма не будет уплачена владельцам при самом освобождении их крестьян, сельское хозяйство в России понесет весьма чувствительный вред, от которого не скоро оправится"... „Сумму" должен был уплатить владельцам специально учрежденный для этой цели государственный банк—а „выплаченная владельцам из банка сумма зачисляется долгом на выкупленном имении, с уплатою в 37-летний или другой более продолжительный срок"... Экономическое значение крестьянского надела здесь совершенно ясно: это—и обеспечение выданного из банка капитала, и средство его постепенной уплаты (×).

Само собою разумеется, что эта деликатная операция,—превращение мужицкой „души" вместе с ее землею в дворянский капитал,—могла совершиться только сверху, силою власти, которой все привыкли беспрекословно повиноваться. Кавелин обдумал и эту сторону дела—и, вполне сознавая неспособность Николаевских министров, продолжавших править Россией и при Александре II, разрешить трудную задачу („даже предположив в таких лицах полную добрую волю и желание привести крестьянский вопрос к разрешению, они, очевидно, не в состоянии были бы это сделать по недостатку сведений"),—он первый высказал идею учреждения, которому суждено было сыграть такую выдающуюся роль в истории реформы: редакционных комиссий. В учреждении этом должны были быть сосредоточены все, кто своими специальными познаниями мог быть полезен делу, как служащие, так и не служащие (позднейшие „члены эксперты") (×). Но все эти лица должны были получить свои полномочия сверху, от правительства, и отнюдь не снизу, от помещиков или крестьян.

Таким образом, „бюрократический" способ решения крестьянского дела был предложен из буржуазного лагеря. Напротив, мысль о необходимости „общественной самодеятельности", в чем многие видят чуть ли не главную причину большей успешности почина Александра II сравнительно с попытками его отца,—эта либеральная мысль пришла из лагеря „крепостников" и была предложена ни кем другим,

как бывшим государственным секретарем и доверенным человеком Николая I, барсном Корфом. Именно он в секретном комитете предлагал „для успеха новых мер по устройству крестьян, чтобы они (меры) спущены были не сверху, а выросли снизу, от указаний опыта,—разослать от министра вн. дел всем губернским предводителям дворянства циркуляр о предоставлении опытности и добрым намерениям дворянства разрешения вопросов о средствах исполнения и о порядке применения по различию местностей обширной империи дела об изменении положения крестьян“. Что толкнуло феодальную группу на этот путь, оказавшийся, как очень скоро обнаружилось, довольно скользким? На первом месте следует тут поставить, конечно, страх—тот универсальный страх, которым были охвачены „сферы“ после Севастополя: боялись всего на свете — Наполеона III, крепостного мужика, отпускного солдата—боялись между прочим и дворянина. А вдруг обидится. Этим именно чувством приходится об'яснить те совершенно неправдоподобные авансы, которые делались дворянству, например, во время поездки Александра Николаевича по внутренним губерниям в конце лета 1858 года. Послушать императора, так без дворянской поддержки он и шагу сделать не мог: „я уверен, что могу быть покоен,—говорил он, например, в Твери,—вы меня поддержите и в настоящем деле“. И тут же дано было знаменитое обещание, что „дело“ будет обсуждаться в Петербурге при непременном участии выборных от дворянства. Следующим, после страха, обстоятельством, удручавшим „сферы“, была их совершенная теоретическая беспомощность,—которою Кавелин мотивировал свой проект „редакционных комиссий“: блестящим образчиком этого качества феодальной группы была известная нам записка Гагарина. Проект Позена должен был показаться феодалам лучем света в окружавшем их экономическом мраке: вот какую поддержку можно получить от помещиков. Значит, не надо пренебрегать их содействием: с божьей помощью в каждой губернии может оказаться свой Позен, и буржуазное меньшинство будет благополучно задавлено. Убеждение же, что освобождения по буржуазному типу, т. е. с землею, обеспечивающей в дальнейшем выкупные платежи, желает лишь меньшинство помещиков, было наверху очень сильно—недаром глава феодалов, Муравьев (будущий Виленский генерал-губернатор), тоже, по примеру Александра II, совершил поездку по губерниям, вербуя себе сторонников.

Южные, черноземные, комитеты, нужно зскаать, и оправдали в значительной мере ожидания: в Херсонской и Таврической губерниях, где в среднем на душу населения приходилось 24,4 и 56 десятин, соглашались отдать крестьянам—в Херсонской от 1,3 до 3 десятин, а в Таврической от 3 до 5 десятин на душу. В Екатеринославской губернии из 18,9 десятины, приходившихся на душу в крепостных имениях, помещики не находили возможным уступить более 3. Воронежские дворяне себе оставляли 2.000.000 десятин, а крестьянам давали 240 тысяч. Тамбовские требовали отрезки от $^1/_2$ до $^2/_3$ существующего надела. Если таковы были аппетиты после того, как политический конфликт дал наверху перевес буржуазному типу эмансипации, можно себе представить, что было бы без этого. Но между фе-

одальной группой и даже этими—их можно назвать „правыми“—комитетами все же не оказывалось полной солидарности. Поскольку в комитетах были представлены интересы местных помещиков-хозяев, им не мог улыбаться тот способ ликвидации крепостных отношений, какой считали наиболее выгодным Гагарин и его товарищи. Те желали превращения крепостного крестьянина в вечного невольного арендатора помещичьей земли. В этом именно смысле был редактирован знаменитый рескрипт 20-го ноября 1857 года, основные положения которого были сделаны обязательными для губернских комитетов—появившихся на свет божий, как известно, именно благодаря этому рескрипту. Согласно ему, за помещиками сохранялось право собственности на всю землю: крестьянин получал в собственность лишь усадьбу за выкуп, размер которого определялся не только ценностью усадебной земли, но и „промысловых выгод и местных удобств“: другими словами, выкуп усадьбы был замаскированным выкупом личности крестьянина и всех „выгод“, которые обладание этою личностью доставляло помещику; надел же предоставлялся крестьянину лишь в пользование за определенные повинности, причем феодалы надеялись, очевидно, удовлетворить владельцев и барщинных имений, сохранив, в качестве одной из таких повинностей, барщину. Это лишний раз свидетельствовало об их экономическом невежестве: как раз в кризисе барщины и заключался узел всего вопроса. Если барщина крестьян, составлявших собственность помещика, не представляла для этого последнего большой цены, можно себе представить, что стоила бы барщина крестьян, юридически свободных, по отношению к которым у помещика не оставалось никаких средств принуждения. Вот почему, при всем разногласии черноземных и нечерноземных комитетов насчет количества земли, которое можно было уступить крестьянам, всем им—говоря словами Кошелева по поводу „депутатов первого призыва“—„отдача помещичьих земель в бессрочное пользование крестьян и за неизменные повинности казалась ничем не оправдываемым нарушением права собственности. Большинство... требовало обязательного выкупа, как единственного средства произвести освобождение на законном основании и удовлетворительно для помещиков и для крестьян. Меньшинство, соглашаясь на отдачу мирских земель в бессрочное пользование крестьянам, требовало переоценки или земли, или, по крайней мере денежных повинностей.... Депутаты опасались, что если раз установится бессрочное пользование крестьян помещичьими землями за неизменные повинности, то правительство успокоится и долго-долго не озаботится устройством выкупа“. Таким образом, только меньшинство оброчных помещиков склонялось к феодальной точке зрения, но и то с поправками: владельцы барщинных имений, при всей разнице в размерах их земельного аппетита, были на стороне типа буржуазного.

Между теми, кто начал крестьянскую реформу и считал себя полным хозяином дела, и теми, в чьи руки попало дело с образованием губернских комитетов (первым возник, как известно, нижегородский комитет в декабре еще 1857 г.,—если не считать западных губерний, к которым непосредственно и был обращен рескрипт 20-го ноя-

бря; в течение 1858 года комитеты образовались во всех губерниях), уже в экономической области не было таким образом полного единодушия. Когда работа комитетов развернулась мало-по-малу, дело осложнилось политическим конфликтом. У „манчестерского“ настроения передовых помещичьих кругов была своя логика. Оно, это настрение, не могло ограничиться вопросом о барщине—и вообще тесными пределами помещичьего хозяйства. „Ежели более или менее патриархальное управление помещиков признается несовременным, тягостным для крестьян,—писал один из членов тверского комитета,—то тем больше вредно и невозможно начало бюрократическое в управлении свободными обществами. Чиновник-бюрократ и член общества два существа совершенно противоположные“. „Чтобы оправдать доверие государя и осуществить его ожидание,—писал один член владимирского комитета,—на дворянах лежит священная обязанность указать твердые основания к благоденствию страны, и, возрождая народ, дать ему не одни только средства к жизни, но вполне оградить его от всякого произвола и стеснений—указать ему широкий путь к разумному развитию и положить конец злоупотреблениям“. Министр внутренних дел так резюмировал эти тенденции в своем докладе Александру II: „не подлежит сомнению, что некоторые действительно желают воспользоваться настоящим случаем, чтобы понемногу ввести представительное правление в решение дел государственных“. Исходной точкой, очевидно, должно было послужить то собрание дворянских депутатов от всех губерний, которому Александр Николаевич пообещал предоставить „обсуждение“ крестьянской реформы в окончательной инстанции. Об этой опасности позабыли в минуту паники и хлопот о своих хозяйственных интересах: теперь приходилось спешно воздвигать укрепления с той стороны, откуда не ожидали никакого нападения.

Нет сомнения, что опасность, благодаря, вероятно, долгой отвычке от всякой дворянской оппозиции—была страшно преувеличена. Впоследствии, когда дело дошло до подачи „адресов“ императору—кульминационный пункт дворянского брожения 1858—1868 годов,—из двадцати четырех депутатов, подписавших эти адреса, только шестеро дали свои подписи адресам политического характера. Причем „конституционализм“ наиболее толкового адреса „пяти“ (знакомых уже нам Унковского, Хрущова и Шретера и еще двух ярославских депутатов, Дубровина и Васильева) никак не приходится писать без ковычек, ибо представительства, даже совещательного, и они не требовали: их пожелания не шли дальше всесословного земства, суда присяжных и „печатной гласности“ (не свободы печати). Это, в сущности, была кавелинская платформа—социальный строй буржуазного общества без политической свободы: очень скоро логика событий заставила само правительство Александра II выполнить эту программу. А наиболее нелепый, „олигархический“—по оценке императора, адрес Шидловского только наивно настаивал на том всероссийском дворянском собрании для решения крестьянского вопроса, которое тем же императором и было обещано. За то адрес большинства—„восемнадцати“—не заключал в себе ровно ничего политического, да еще довольно значительное меньшинство уклонилось от под-

писания какого бы то ни было адреса... С такими революционерами не трудно было справиться, Но у страха глаза велики: дабы избежать в России введения „представительного правления“ через посредство дворянских комитетов, на минуту бросились в об‘ятия той „буржуазии“, с которой, на экономической почве, было для феодалов гораздо труднее столковаться. Плодом этого акта отчаяния и явились знаменитые „редакционные комиссии“.

Для того, чтобы понять, психологически, этот зигзаг, описанный „руководившею“ крестьянским делом феодальной группой, надо опять-таки припомнить постановку эмансипации при Николае I—на другой день 14-го декабря. Дворянин забунтовал—его нужно взять в руки: одним из средств было обласкать крестьянина и оказать ему защиту против барского произвола. Николай Павлович, учреждая третье отделение, одновременно напоминал помещикам об их обязанностях по отношению к крестьянам—„как христиан и верноподанных“. Как только наверху заподозрили, что в проектах губернских комитетов могут быть „отступления вообще от духа государственных узаконений“, сейчас же вспомнили, что, ведь, помещику нетрудно и обидеть беззащитного мужичка: „действительно ли улучшается“ проектами комитетов „быт помещичьих крестьян, и в чем именно“. С помещиков велено было взять честное слово, что они заботятся, в самом деле, об интересах крестьян, а не своего кармана; это был грубый окрик, выражавший лишь настроение кричавшего—и не имевший никакого практического значения. Но если бы окрик прошел до крестьянской массы, она, конечно, с приятностью почувствовала бы, как о ней заботятся. Еще раньше не прочь были внушить этой массе идею, что освобождение дело личной инициативы государя: Кавелину показалось, что против оглашения этой части своего разговора с ним императрица ничего бы не имела. Строжайше было запрещено говорить о выкупе „душ“: свобода должна была явиться для крестьян подарком—и, конечно, не подарком „господ“. Венцом всего было решение взять всю реформу „в свои руки“. Неблагонадежные комитеты могут там стряпать, что хотят: мы освободим крестьян сами. Но это оказалось не так просто. Помещики, заседавшие в комитетах, имели практическое знакомство с хозяйственными условиями деревни и могли предложить практические меры. Наверху смутно слышали, что есть какой-то надел. какая-та община, какая-то чересполосица: но самый доверенный агент власти, Ростовцев, чуть не накануне своего назначения в главные крестьянские благодетели был убежден, что позеновский проект—идеал эмансипации; сравнительно, кн. Гагарин оказывался еще „глубоким экономом“. Нужны были люди, которых можно было бы противопоставить комитетским крамольникам. Тут благонамеренная буржуазия типа Кавелина нашла свое призвание. Правда, ее главный литературный представитель был слишком скомпрометирован своею дружбой с Герценом и, кроме того, имел бестактность напечатать свою записку раньше, чем она удостоилась апробации: этого Александр II не мог ему простить. Но помимо него в том же лагере нашлось достаточно людей, которым можно было оказать доверие: они и составили проектированное Кавелиным учреждение, которое, хотя и носило скромное название редакционных комиссий, но, в сущности, было

тем секретарем при знатном губернаторе, который имеет влияния гораздо больше, чем сам этот последний. Чтобы читатель имел представление о политической физиономии этого учреждения, мы позволим себе привести несколько выдержек из переписки его главных деятелей: наиболее талантливого члена-эксперта из помещиков, Юрия Самарина, и самого замечательного из представителей администрации в „комиссиях", Николая Милютина. Вот как характеризовал политическое положение первый из них в самом начале 60-х годов: „Теперь, как двести лет назад, на всей русской земле есть только две живые силы: личная власть наверху и сельская община на противоположном конце; но эти две силы, вместо того, чтобы быть соединенными, разделены всеми посредствующими слоями. Эта нелепая среда, лишенная всяких корней в народе и в течение веков цеплявшаяся за вершину, начинает храбриться и дерзко хорохориться перед своей собственной, единственной опорой (доказательство—дворянские собрания, университеты, пресса и т. д.). Ее крикливые выходки напрасно пугают власть и раздражают массы. Власть отступает, делает уступку за уступкой без всякой пользы для общества, которое дразнит власть из удовольствия ее дразнить. Но это не может длиться долго, иначе нельзя избежать сближения двух полюсов—самодержавия и простонародья—сближения, которое сметет и раздавит все, что находится в промежутке,—а в промежутке вся образованная Россия, вся наша культура. Хорошее будущее, нечего сказать". Итак, не только радикалы (пресса), но и либералы (дворянские собрания) вели Россию не более, не менее, как к культурной гибели. Единственной живой силой, как при царе Петре, оказывалось самодержавие. Можно себе представить, что испытывали люди этого типа, очутившись лицом к лицу с настоящей революцией. Как известно, после самой России, деятелям редакционных комиссий пришлось проводить крестьянскую реформу в Польше, в разгар восстания в 1863—64 гг. „Ты не поверишь,—писал Милютин жене из Варшавы (в ноябре 1863 г.),—до чего политически развращены здесь все классы общества. Всюду ложь, лицемерие, низость, жестокость. Если больше не убивают на углах улиц, то это потому, что революционные комитеты отозвали в леса всех своих кинжальщиков, напуганных последними казнями. Что за общество, где можно чего-нибудь добиться только страхом!.. Низший класс населения—единственный, который может нас утешить и ободрить. Все остальное: дворянство, духовенство, евреи (и мелкая буржуазия, как видно из другого письма) нам так враждебно и до такой степени развращено и деморализовано, что с теперешним поколением уже ничего не сделаешь. Страх—единственная узда для общества, в котором все моральные принципы перевернуты кверху ногами, так что ложь, лицемерие, грабеж, убийство возведены в доблесть и признаются актами героизма". Незараженные „развратом" крестьяне одни радовали своим веселым и доверчивым видом русских чиновников, явившихся возвестить им свободу (возвещенную, впрочем, уже раньше польским революционным правительством): „женщины плакали и обнимали наши колени". (X)

...Кроме крестьян, припадавших к ногам своих освободителей (один бог знает, чем больше был вызван этот почтительный жест—

ласковыми ли словами, которые слыщали крестьяне из уст переводчика, или внушительным видом уланских пик и казацких нагаек), последние нашли в Польше еще одно „отрадное явление“: то были усмирявшие „хищников“ солдаты (×). Читателю, несколько знакомому с историей восстания 1863—1864 годов, эта психология, вероятно, напомнила уже одну из крупнейших фигур, выдвинутых на арену битвы с русской стороны: читая излияния Милютина, невольно вспоминаешь М. Н. Муравьева. И действительно, эти два человека, казавшиеся еще вчера, в разгар русской реформы, непримиримыми антагонистами, на поле сражения с революцией живо поняли друг друга. Тотчас же по приезде в Вильну Милютин провел с Муравьевым „почти целый день“. „Наше свидание и наши об'яснения имели самый сердечный характер. Мы даже коснулись прошлого (т. е. споров перед 19 февраля) — и оказались совершенно согласны. Вообще все, что он мне сказал, было очень разумно и для меня поучительно“. (×)

Мы привели эти выписки, конечно, не для того, чтобы очернить перед читателями „честного кузнеца-гражданина“: в полной его искренности не может быть ни малейшего сомнения. И эти письма носят все совершенный интимный характер — в них Милютин отразился с фотографической подлинностью. В борьбе с „конституционными вожделениями“ камарилья могла на него положиться. А так как зимою 1858—1859 годов политический момент неожиданно опять выдвинулся на первый план, то феодальная камарилья просто не сообразила, что, отдавая дело в руки Милютина и его товарищей из буржуазной группы, она сажает себе на спину своих экономических противников. Когда феодалы понемногу поняли это—особенно должно было стать это ясно после того, как „редакционные комиссии“ выжили из своей среды представителей феодальной группы, кн. Паскевича и гр. Шувалова, и обнаружилось, что даже Позен не имеет в „комиссиях“ никакого влияния,—когда, с другой стороны, встретившись лицом к лицу с дворянскими „революционерами“, они убедились в полной безобидности огромного большинства этих последних,—„камарилья“ поспешила дать задний ход: дело снова было взято, с самой грубой бесцеремонностью, из рук милютинского кружка и снова забрано было в надежные феодальные руки. Будь камарилья и губернские комитеты экономически солидарны между собою, реформа, несмотря на все усилия Милютина, все же прошла бы по гагаринскому типу: ее спасло то, что и в комитетах было множество сторонников буржуазной программы, из чрезвычайно видных деятелей, притом—начиная с Кошелева и Унковского. Работу редакционных комиссий спас как раз тот элемент, к которому эти комиссии относились с таким недоверием.

Пока „дело освобождения“ крестьян было в руках комитетов, Милютин относился к его возможному исходу с чрезвычайным скептицизмом. „В каких теперь все это руках,—писал он в начале 1858 года своему дяде, знакомому нам гр. П. Д. Киселеву:—Что за бессмыслие и неурядица! Горестно вспомнить, как творится такое трудное и важное дело Дворянство, корыстное, неподготовленное, неразвитое, предоставлено собственным силам. Не могу себе представить, что выйдет из этого, без руководства и направления, при самой грубой оппозиции

высших сановников, при интригах и недобросовестности исполнителей". Все спасающая „общественная инициатива" не внушала, таким образом, приятелю Кавелина никакого доверия: единственной силой, от которой он чего-либо ждал, была личная власть. „Нельзя не изумляться редкой твердости государя, который один обуздывает настоящую реакцию и силу инерции". Можно подумать, что с переходом эмансипации под просвещенное „руководство и направление" кавелинского кружка все пошло совершенно иначе. Мы не можем судить, правда, что сделал бы сам Кавелин (если не считать того, что в своем собственном имении он впоследствии использовал все „поправки", внесенные в реформу кн. Гагариным): в „редакционные комиссии" его не пустили. Благодаря этому, руководящая теоретическая роль в комиссиях досталась „славянофилам"—главным образом Ю. Ф. Самарину: так, по крайней мере, утверждало тогдашнее общественное мнение. Но для того, чтобы померк тот ореол, которым доселе окружена деятельность редакционных комиссий на страницах либеральной публицистики, нет ни малейшей надобности пускаться в теоретический анализ их трудов. Им была дана практическая директива, позволявшая, казалось бы, сделать из реформы настоящее освобождение крестьян без ковычек. Вырванный у феодальной группы знакомым нам припадком паники журнал главного комитета 4 декабря 1858 г. ставил задачей нового курса предоставить бывшим крепостным „право свободных сословий, лично, по имуществу и по праву жалобы"—признавая, в то же время, необходимость „стараться, чтобы крестьяне постепенно делались земельными собственниками". Шли ли комиссии неуклонно в этом—не разрешенном, а формально предписанном им—направлении: создания в России класса свободных мелких земельных собственников? Весьма осторожно и с большими зигзагами. В основу юридической характеристики нового „свободного сословия" комиссии положили — как это ни покажется странным—старо-московскую идею „тягла", ту самую идею, что лежала в основе крепостного права. „На основании действующих законов,— рассуждали комиссии, — все свободные сословия, несмотря на различие прав, предоставленных им в составе обществ, пользуются полною друг от друга независимостью. Все они, от высших до низших, непосредственно тянут (по выразительному юридическому термину нашего древнего законодательства) к живому сосредоточию государственного устройства, олицетворяющему собою единство русской земли и единство правящей ею верховной власти". Можно было бы спросить редакционные комиссии, в чем же заключалось в 1860 году „тягло" не только дворян, но хотя бы купцов или городского мещанства? К средине XIX века „тяглыми" оставались только крестьяне,—реформа юридически в том и состояла, чтобы сравнять их с остальными обывателями, но для редакционных комиссий такой шаг был слишком резким и радикальным. Для крестьян были сохранены сословные учреждения—волостное правление и волостной суд,—а в руках этих учреждений и старый аппарат воздействия на новых „государевых тяглецов": розги. Целый ряд губернских, комитетов, притом вовсе не особенно буржуазных, как московский, например, оказались в этом отношении левее друзей Кавелина, категорически настаивая на отмене

телесных наказаний. Так было со „свободою"; в том же роде шло дело и с „земельной собственностью". Кавелинского принципа—сохранения в руках всей земли, какою они пользовались в момент освобождения, ибо было совершеенно ясно, как увидим далее, что и она могла служить лишь минимальным обеспечением выкупных платежей,—этого принципа комиссии провести до конца не сумели. Еще в первом периоде своей деятельности, до столкновения с представителями губернских комитетов, комиссии, в заседании 20 июня 1859 года, значительным большинством высказались за отрезку, т. е. за принципиальное право помещика уменьшать, в известных случаях, надел своих крестьян при освобождении. Они утешали себя тем, что случаи эти должны были оставаться исключительными; но во втором периоде деятельности комиссий, после их столкновения с губернскими комитетами (в августе—октябре 1859 года), и это утешение оказалось призрачным. По установленным комиссиями, под давлением комитетов, нормам максимального надела отрезка, по целому ряду черноземных уездов, должна была коснуться трети, половины, местами даже большинства имений (в отдельных случаях до 80%): „исключение" оказывалось распространеннее правила. Комиссии утешали себя еще тем, что, зато, оценили они отходящую к крестьянам землю дешевле, чем помещики. Но, во-первых, разница не так уж велика: курский комитет, например, желал получить за надел 80—93 рубля, комиссии оценили его в 64—81 рубль; калужский от 100 до 150, комиссии от 111—120; московский от 160 до 179, комиссии от 76 до 120. Кроме Москвы, столкновение было довольно решительным в Ярославле: ярославские дворяне (очень либеральные, как мы видели) желали получить за мужицкую землю от 196 до 270 руб., комиссии не давали больше 75—160 руб. За то в ряде случаев оценки комитетов и комиссий сходятся чрезвычайно близко: в Тульской губернии 69—137 р. (комитет) и 66—139 р. (комиссии); в Харьковской—96 р. (комитет) и 71—101 р. (комиссии). Но все эти арифметические подвиги стушевываются перед тем фактом, что принцип оценки крестьянской земли выше ее действительной стоимости, т. е. замаскированный выкуп личности вполне признавали и комиссии (×).

Если прибавить, что и в вопросе о самом выкупе была сделана крупная уступка феодальной стороне: выкуп был сделан комиссиями обязательным для крестьян, но не для помещика—от его воли зависело, пустить землю в своем имении на выкуп, или нет,—то позиция комиссий, как промежуточная между феодальной и буржуазной группами, обрисуется перед нами с полной отчетливостью. Всероссийское дворянское собрание, о котором мечтали помещики, вероятно, дало бы точно такую же картину компромисса,—ибо ни освобождение вовсе без земли, ни с черезчур малым земельным наделом вовсе не отвечало выгодам всех или даже большинства дворян. Быть может, крестьяне из рук этого собрания вышли бы еще меньше „землевладельцами", но зато по части „свободы" они, пожалуй, выиграли бы: проекты комитетов были ближе к буржуазным отношениям в деревне и дальше от идеи старо-московского „тягла", нежели крестьянское самоуправление по проектам комиссий. Кроме того, непосредственное столкновение с феодалами, без всякого промежуточного буфера, вне

сомнений подвинуло бы еще влево буржуазно настроенную часть помещиков: редакционные же комиссии, ближайшим образом, достигли лишь того, что этой буржуазной части был просто зажат рот. Ибо, весьма склонный к компромиссам в экономической области, по части „свободы“ Милютин был неумолим: именно он, вопреки даже мнению значительной части членов комиссий и в том числе Самарина, настаивал на том, чтобы депутатам от комитетов, с'ехавшимся в Петербург в августе 1859 года, не давать никакого голоса в решении дела, даже не разговаривать с ними по существу, а ограничиться формальным отобранием у них справок по нескольким второстепенным вопросам. При таких условиях депутатам ничего не оставалось, как апеллировать, через голову комиссий, к „правительству“, т. е. к феодальной камарилье. Насколько усиливалась этим позиция последней, не трудно оценить, если вспомнить, что среди этих „депутатов первого призыва“ были такие люди, как Кошелев и Унковский. Дальнейшим следствием было то, что в самих комитетах окрепло феодальное течение—и депутаты „второго приглашения“ довольно единодушно стремились уже к обезземелению крестьян. Милютин, конечно, не хотел быть орудием камарильи, но роль такого орудия он, помимо своей воли и сознания, все же сыграл. Положение сильнее человека—и нельзя делать людей свободными при помощи абсолютизма.

Если члены комиссии не сознавали логики своего положения вначале,—они должны были понять ее, увидав, как кончилось дело. Едва комиссии кончили заданную им работу—собрали нужное количество экономического и юридичеокого материала, выработали технику реформы и обуздали крамольные комитеты,—как от них поспешили отделаться с невероятной бесцеремонностью: 10-го октября 1860 года они были закрыты почти экспромтом, и ни один из их членов не был допущен в то учреждение, где должен быть решиться вопрос,—в главный комитет по крестьянскому делу, преобразованный из знакомого нам „секретного“ комитета и, в сущности, тоже „секретный“, ибо его прения составляли тайну для всех, не исключая и бывших членов комиссий.... Милютин и его товарищи должны были частным путем разузнавать, что делают с проектом, куда они вложили всю душу. Принципиальной борьбы с этим проектом заседавшему в главном комитете феодальному синклиту, впрочем, не пришлось вести: комиссии предупредительно оставили все нужные „крепостникам“ лазейки. Только Панин, внук усмирителя пугачевщины, министр юстиции Николая I и бывший, после смерти Ростовцева, председатель редакционных комиссий (еще более номинальный председатель, впрочем, чем был Ростовцев), еще немного покромсал крестьянские наделы—где на пол-десятины, где на четверть. Да кн. Гагарин вбил последний гвоздь, проведя право помещиков освобождать крестьян почти без земли—с одной четвертью надела. В дальнейшем и главный комитет, и сыгравший роль чисто феодальной инстанции государственный совет остались на почве проекта комиссии. Благодаря тому, что эти последние поставили выкуп, т. е. окончательную ликвидацию отношений между барином и его бывшими крестьянами, в зависимость от согласия помещика, в „Положении 19 февраля“ оказались узаконенными сразу оба типа „освобождения“: николаевский, по которому

крестьяне оставались „обязанными“ (как по закону 1842 года), и более новый—буржуазный—делавший из крестьян, на бумаге, „свободных маленьких земельных собственников“. И те и другие оставались, конечно, одинаково привязанными к месту—ибо сохранена была круговая порука в деле уплаты податей и повинностей, и крестьянин не мог уйти из деревни без согласия „мира“,—а мир имел все побуждения его не выпускать. Но зато помещик был совершенно не связан в выборе системы хозяйства—он мог вести его по новому, наемными работниками, или по старому, оброком, либо барщиной. Ликвидация крепостного хозяйства, таким образом, была всецело предоставлена инициативе землевладельцев; этого не нужно забывать, когда мы слышим, что крепостное право было отменено „сверху“. Право—да; хозяйство—нет. Относительно хозяйства был устроен своего рода плебисцит между помещиками; и вот какие результаты дал этот плебисцит. К первому мая 1864 года „Положение 19 февраля“ было введено во всех—или почти во всех—имениях европейской России. Из 109.758 имений с 9.765.925 душами крестьян остались на „обязанном“ положении:

75.422 имений с 5.300.000 душами.

Перешли на выкуп или воспользовались гагаринской оговоркой о четвертном (дарственном) наделе:

34.301 имений с 4.465.739 душами.

Для того, чтобы правильно оценить эти цифры, надобно принять в соображение, с одной стороны, что в западных губерниях после польского восстания 1863 года выкуп был сделан обязательным (во всей России он стал обязательным только в 1881 году). С другой стороны, что для владельцев оброчных имений (составлявших около $^1/_3$ общего числа), вообще менее других заинтересованных в ликвидации крепостного права, было создано лишнее побуждение отложить эту ликвидацию, в виде обещания пересмотра—само собою разумеется, повышение—крестьянского оброка через 20 лет. Кто стал бы резать курицу, которая могла еще снести золотое яйцо. Произведя соответствующие вычеты, мы увидим, что за свободный труд высказалось немедленно же после реформы до половины помещиков. Это дает нам мерку распространенности манчестерских взглядов среди тогдашнего дворянства.

Сохранение „обязанных“ отношений, буде того пожелает помещик, послужило главным источником „недоразумений“ при проведении реформы на местах: Киселев воочию мог убедиться, к какому хаосу привел бы сочиненный им при Николае план освобождения крестьян, если бы он осуществился. Система выкупных платежей (×) была так сложна, что не одним крестьянам не сразу было догадаться о действительном их значении: скрывающемся за выкупом земли выкупе личности. Но быть от царя об'явленным свободным человеком — и в то же время продолжать ходить на барщину или платить оброк: это было вопиющее противоречие, бросавшееся в глаза. „Обязанные“ крестьяне твердо верили, что эта воля—не настоящая: придет „слушный час“, и тогда сам царь (а не помещики-чиновники и попы) об'явит настоящую волю.

Единственным средством убедить крестьян, что „Положение 19 февраля“ и есть настоящая воля, были розги (×). Никогда так много не секли, по словам современников, как в первые три месяца после об‘явления „воли“: и у крестьян даже сложилось убеждение, что в самом „Положении“ есть статья, предписывающая пороть всякого мужика, осмелившегося это „Положение“ прочесть. Но не всегда и розог оказывалось достаточно: за два года составления „уставных грамот“ в 2.115 селениях пришлось применять военную силу, причем временами доходило до настоящих военных действий, с десятками убитых и раненых—со стороны крестьян, разумеется. И тем не менее, из 97.539 уставных грамот 45.825 было не подписано крестьянами: почти половина их отказалась от „свободного труда“ в той форме, в какой он был предложен манифестом 19-го февраля 1861 года.

III. Влияние реформы 19 февраля на капиталистическое развитие России.

Из „Очерка истории русской культуры“, М. Н. Покровского. В. I. М. 1915 г. Стр. 166—175.

I.

Для „знатных и богатых“ результат реформы получился именно тот, какой им был нужен. Крупнейшее землевладение и после 19 февраля 1861 г. осталось господствующим, как оно было до него. По статистике 70-х годов 10% помещиков, владевших каждый более, чем 1.000 десятин земли, принадлежало $^3/_4$ всей дворянской земельной собственности, при чем $^3/_5$ этой крупной собственности было в руках крупнейших владельцев, имевших более 5.000 десятин на каждого. Наоборот, трем четвертям всей дворянской массы принадлежало всего 14% общего количества дворянской земли. Гибли и разорялись именно мелкопоместные—крупные имения, за индивидуальными исключениями, благополучно дожили до 1905 года. Арендные цены росли, как и предсказывал в свое время Кокорев, и с начала 60-х до начала 80-х годов поднялись в $2^1/_2$—$3^1/_2$ раза, местами даже и гораздо больше, в 8—10 раз. „Арендатор“ оказывался гораздо выгоднее „оброчного мужика“—и хлопот с ним было меньше. Сохранение крестьянского тягла оказалось очень мудрой мерой,—освобожденный от обработки барской земли крестьянин мог лучше заняться своей землей, и урожайность крестьянской пашни, как надельной, так и арендованной, повысилась: по семи черноземным губерниям средняя урожайность в эпоху реформы была 3,8, а в 70-х годах—4,7. На душу населения в эпоху реформы приходилось 3,32 четверти чистого сбора, а в 1870—79 гг.—3,88 четв. Зато надежда тех средних помещиков, которые мечтали об интенсивном хозяйстве, развеялась, как дым, особенно в нечерноземной полосе.

Уцелевшее крестьянское хозяйство оказалось грозным конкурентом помещичьего—и конкуренция эта давала себя чувствовать самыми различными и подчас неожиданными способами. Расчет на дешевые рабочие руки оказался мифическим—руки в деревне были дешевы, когда был неурожай, т. е. когда и на барской пашне делать было нечего: при хорошем урожае крестьянам было достаточно работы на своих наделах, и они „ломили“ цену, от которой барин приходил в ужас. Оборотного капитала было мало—полученные за крестьянские наделы выкупные свидетельства были проедены в переходный период, в то же время „знатные и богатые“ не позаботились организовать дешевого казенного кредита для своих среднеземельных собратий—даже существовавшие в крепостное время кредитные учреждения были закрыты; частный же кредит, при огромном спросе на капиталы для постройки железных дорог, был непомерно дорог (не менее 7% годовых номинально—фактически еще более).

Наконец, самое проведение железных дорог,—мера, о которой прогрессивные помещики и их представители в литературе хлопотали уже с конца 30-х годов,—дало совершенно неожиданные результаты. Ближайшая цель—оживление сношений с европейским рынком и поднятие хлебных цен—была, правда, этим достигнута: вывоз хлеба с 8.780.000 четвертей в конце 50-х годов поднялся до 18.154.000 четвертей в конце 60-х; четверть пшеницы поднялась с 5—6 руб. до 8, четверть ржи с 2 руб. 50 коп. или 3 руб. до 4—5. Но от этого выиграли не те губернии и не те слои населения, которые возлагали на железные дороги такие большие надежды. С проведением юго-восточных железных дорог, главным образом, линии Орел—Царицын (1870 год), за границу хлынул поволжский хлеб. Ранее отсюда вывозили, в виду дороговизны транспорта, только самые ценные сорта хлеба—пшеница-белотурка, например,—теперь пошла и русская пшеница, и даже рожь. В результате, в то время, как в Саратове хлебные цены поднялись на 100%, в Орле они поднялись только на 66%, а в Рыбинске даже только на 50%. Между тем, в нижнем Поволжьи земля продолжала еще давать урожаи при очень экстенсивном хозяйстве, без больших предварительных затрат,—тогда как в нечерноземной полосе экстенсивное хозяйство уже не давало урожаев: конкуренция была немыслима. И в довершение своих бед, как раз от проведения железных дорог, помещик центральной России потерял главное свое преимущество, всей выгодности которого он не сознавал при крепостном праве: монополию сбыта хлеба на рынке. Только располагая сотнями даровых крестьянских подвод, можно было доставить хлеб туда, где стояли выгодные цены—на один из главных рынков. Теперь, где была железнодорожная станция, там был и рынок; из любого захолустья хлеб шел без перегрузки в Ригу или Одессу. Вместе с железною дорогой появились рои мелких агентов, которые покупали хлеб у кого угодно—у помещика, у крестьянина, у мелкого местного скупщика. Прежде мужик должен был терпеливо дожидаться, пока продаст свой хлеб барин, да еще возить барский хлеб в город на своей лошади—теперь барин должен был равняться под „мужицкие“ цены. Но мужик, не знавший наемного труда и интенсифицировавший свое хозяйство при помощи своих мускулов—которые он, в простоте

души, считал даровыми—всегда мог продавать хлеб дешевле помещика.

В результате всего этого помещичье хозяйство средней России после крестьянской реформы стало чуть ли не более еще экстенсивным, чем было ранее. „Почти все владельцы нашего околодка оставались, как и крестьяне, при прежних сельскохозяйственных порядках, которые были еще пригодны, пока пашни делали хорошие урожаи без удобрения, и существовал крепостной труд, но которые с истощением почвы и при вольнонаемном труде ведут к неизбежному разорению",—писал Кавелин о Тульской губернии начала 70-х годов. „Место прежнего расчета и, если хотите, своего рода теории, заступила рутина, в которой никто не отдает себе отчета, которой следуют только по привычке". „После Положения (19 февраля) прошло уже двенадцать лет,—писал в то же время о Смоленской губернии Энгельгардт,—но система хозяйства осталась у большинства все та же. Сеют по-старому рожь, на которую нет цен, и которую никто не покупает, чуть у крестьян порядочный урожай, овес, который у нас родится очень плохо; обрабатывают поля по-старому, нанимая крестьян с их лошадьми и орудиями; косят также плохие лужки, скот держат, как говорится, для навоза, кормят плохо и считают скот хорошо выдержанным, если коров по весне не приходится подымать". Оба автора дают явлению суб'ективное об'яснение, т. е. об'ясняют дело леностью, инертностью, непредусмотрительностью помещиков, которые не хотят „стряхнуть" с себя крепостнических привычек. На самом деле, явление было об'ективно необходимо: крупное земледельческое хозяйство могло держаться в средней России только при том искусственном подчинении ему мелкого, которое и называлось крепостным правом. Как только оба хозяйства, мелкое и крупное, стали в одинаковые условия конкуренции, мелкое при данной обстановке должно было взять верх. Оставалось поступить наоборот: поставить крупное хозяйство в зависимость от мелкого, т. е. отдавать барскую пашню в аренду крестьянам. Большинство помещиков так и делало и, пока на хлебном рынке держались „твердые" цены, кое-как выпутывалось из затруднений. Настоящий кризис начался лишь тогда, когда цены на международном хлебном рынке упали *): тогда уже никаким путем, даже посредством отдачи в аренду, нельзя было извлекать дохода из своих земель, и понадобились меры политические, известные под именем „контр-реформ" Александра III. Но прежде чем перейти к ним, надо посмотреть, какие результаты дало падение крепостного права для развития современного капитализма вне области аграрных отношений.

---

*) Цена гектолитра пшеницы во франках:

Годы	Франция	Англия	Пруссия	Италия	Соед Штаты
1862—1871	20,67	21,96	22,98	21,03	20,17
1891—1900	16,80	12,11	15,48	17,88	8,97

II.

Пролетаризованный работник нужен был не только владельцам черноземных имений: он нужен был также и фабриканту. Задержав пролетаризацию крестьянства, „знатные и богатые“ помещики разрушали надежды не только своих среднеземельных собратий, но и промышленной буржуазии. Под первым впечатлением реформы 19 февраля русская обрабатывающая промышленность не только не пошла вперед гигантскими шагами, но едва ли не попятилась назад. Количество выплавленного в России чугуна с 1860 по 1867 год упало с 20½ миллионов пудов до 17½ миллионов; количество обработанного на русских фабриках хлопка застыло за этот же период времени почти на одной цифре—около трех миллионов пудов.

В самую первую минуту даже расчет на понижение заработной платы казался лопнувшим. Получив земельные наделы, в нечерноземной полосе довольно порядочные по размерам, все те оброчные крестьяне, которых загнала на фабрики барская воля (мы помним, как заботились помещики о развитии отхожих промыслов), а не их собственный интерес, поспешили оттуда уйти. Фабрикантам, что бы удержать остальных, пришлось повысить заработную плату—и если после этого она опять скоро начала прогрессивно падать, то не столько в связи с теми или другими результатами крестьянской реформы, сколько благодаря введению машин, гнавших вниз заработную плату и до 19 февраля *).

В то же время, сохранив в деревне до-буржуазные отношения, главным образом, общину с ее круговой порукой, реформа не оправдала надежд и на расширение внутреннего рынка. До 19-го февраля этот последний туго развивался, между прочим, и потому, что крестьянство барщиных имений, почти не видя денег (где бы оно их заработало?), поневоле жило в условиях полу-натурального хозяйства—старалось ничего почти не покупать, удовлетворяя свои, искусственно пониженные до минимума, потребности своими домашними средствами. Фабрика обслуживала городскую Россию и оброчное крестьянство, жившее отхожими промыслами. После 19-го февраля в этом отношении дело мало изменилось: Черноземный крестьянин на своем „кошачьем“ наделе попрежнему сводил свои потребности к минимуму и не оставлял приобретенные в крепостное время привычки покупать как можно меньше. С этой точки зрения, любопытно сравнить бюджеты крестьян Воронежской губернии—типичной черноземной—80-х годов прошлого столетия: в то время, как у крестьян-„собственников“, т. е. получивших наделы, денежная часть составляла менее половины бюджета, у крестьян-„дарственников“, фактически—пролетаризованных, деньгами покрывалось три четверти бюджета; лишь четверть того, что они потребляли, они извлекали из собственного хозяйства.

---

*) Месячная заработная плата в селе Иванове:

	Около 1850 года.	Около 1860 года.
набойщика	6—12 р.	5—8 р.
механического ткача	12—16 р.	10—13 р.
ткача ручного	3 р. 50 к.—4 р.	3 р.—3р. 50 к.

Мы видим, какие преграды развитию денежного хозяйства в деревне ставило пресловутое „освобождение крестьян с землей“, которым так хвастались творцы реформы 19-го февраля и их поклонники: т. е., в действительности, сохранение крестьянского тягла, ибо земли-то как раз крестьянам было дано в обрез.

Совершенно естественно, что в первые десятилетия после реформы промышленный капитал в России рос довольно медленно. Из общей суммы капиталов акционерных предприятий, возникших в России между 1861 и 1873 гг., всего 1.115.000.000 руб., только 128,9 милл. р. было вложено в различные промышленные предприятия (в том числе на прядильные и ткацкие фабрики приходилось только 6 миллионов), тогда как в банки и кредитные учреждения было вложено 226,9 милл. р., а в постройку железных дорог 698,5 милл. р. Мы видим, кто больше всего выиграл от реформы: давний и верный союзник крупного феодального землевладения, торговый капитал. Ибо создание сети железных дорог, крупнейшее капиталистическое предприятие пореформенной России, в первую голову служило интересам именно торгового капитала. Этим интересам отвечал, прежде всего, план сети, как он возник еще в конце 50-х годов: по этому плану „непрерывным путем“ должны были соединиться „три столицы (Петербург, Москва и Варшава), главные судоходные реки наши, сосредоточие хлебных наших избытков, и два порта на Черном и Балтийском морях, почти весь год доступные (Либава и Феодосия): облегчится сим образом вывоз заграничный, обезпечится привоз и продовольствие внутреннее“. От этого плана были потом частичные уклонения, но основная его идея—соединение хлебородных губерний с вывозными портами—проводилась неуклонно. Хлебные грузы составили главную категорию русских железнодорожных грузов, и % их все рос: в 1870 году они составили 27,5% всей массы товаров малой скорости, а в 1876 году уже 42%. На отдельных дорогах хлеб достигал 73 и даже 88% всех грузов. В то же время облегчение „хлебных наших избытков“ путем выбрасывания все больших и больших масс хлеба за границу, производилось с такою же неуклонною правильностью. Понятие об этом может дать следующая табличка, где сопоставлены: рост железнодорожной сети, рост нашего хлебного вывоза и % отношение этого вывоза к чистому сбору хлебов.

Годы.	Длина жел. дорог	Вывоз (тыс. четв.)	% отнош. к сбору
1871—5	10,202 вер.	22.483	12,2
1875—80	17,626 „	32,185	18,0
1881—5	21,155 „	33,441	17,0
1887—90	24,229 „	46,585	22,0
1891—6	27,093 „	50,345	22,0

Так как население все это время росло (по последней, 10-й ревизии до-реформенной эпохи в России считалось 74 миллиона жителей, а по переписи 1897 года оказалось 130 миллионом), то, несмотря на рост производства хлеба (с 184 милл. четвертей в пятилетие 1871—75 гг. до 228 милл. четвертей за пятилетие 1890—95 гг.) остатка на душу населения за вывозом получалось все меньше: в 1870 году этот остаток был 2,4 четверти, а в 1895 году менее 2 четвертей

(1,99). При этом пуд пшеницы в начале этого периода стоил 1 р. 44 к., а в конце только 74: пуд ржи упал с 78 коп. до 54. Основная задача крепостного хозяйства—доставка на рынок все большего и большего количества все более и более дешевого хлеба—вполне удовлетворительно разрешалась, таким обрвзом, и после реформы, как до нее. Только работа выжимания из крестьянина прибавочного продукта, ранее выполнявшаяся индивидуально каждым отдельным помещиком, теперь была централизована: место помещичьих оброка и барщины заняли теперь правительственные подати. По известным вычислениям проф. Янсона, в 70-х годах, прямые налоги всяких наименований составляли от 120 до 200% чистого дохода с крестьянского надела в черноземной полосе, и от 200 до 270% в нечерноземной. Крестьянин вынужден был для покрытия податей продавать свой хлеб, едва он поспел, как можно скорее и не стесняясь ценой: отсюда общеизвестный факт, что осенние цены на хлеб в России, тотчас после урожая, всегда ниже весенних: в среднем (по данным за 1888—1900 года) на 10%, но иногда и гораздо более.

Но так как теперь, после 19 февраля, крестьянин был юридически свободен, то эффект действия податного пресса был несколько иной, чем пресса барщинно-оброчного. Этот последний разорял крестьянство, опуская его жизненный уровень до минимума в барщинных имениях, часто и ниже минимума в оброчных: но, как общее правило, он не лишал крестьянина его хозяйственной самостоятельности—на тягле держалась вся система, с исчезновением тягла исчезла бы и она. Реформа сохранила тягло, но теперь на местах некому было о нем заботиться. Администрация, взыскивавшая подати, зависела не от положения крестьян на месте, как зависел от него помещик в своем бюджете, а от петербургских настроений: помещику важно было свести концы с концами, а чиновнику важно было угодить начальству. Находились же администраторы, которые на уплату податей продавали не только крестьянский скот, но и крестьянские постройки.

То, чего так старалось избегнуть правительство императора Александра II в 1861 году, пролетаризация крестьянства, под влиянием податной политики этого самого правительства, шла медленно но неуклонно, и при том, чем дальше, тем быстрее. За промежуток с 1888 по 1893 год в девяти центральных черноземных губерниях число лошадей, главного рабочего скота, у крестьян упало на 931 тысячу, при общем числе, в начале периода, в 4 с небольшим миллиона: т. е. уменьшилось почти на 25%. А число лошадных дворов, т. е. дворов, способных к самостоятельному хозяйству, „тягол" в старом, крепостном, смысле, упало на 116,8 тысяч из неполных $2^1/_2$ миллионов—на $4^1/_2$%. Фактически рост пролетариата был, конечно, гораздо сильнее, чем можно подумать, имея в виду только эти цифры. Во-первых, пролетаризация имела место не только в земледельческой полосе, но и в центральных промышленных губерниях: хотя, характерным образом, пролетаризация этого рода, увеличение числа безлошадных дворов, слабее выражена в промышленном районе, чем в земледельческом. В первом население менее зависело от хлебного рынка. А во-вторых, значительная доля населения на черноземе фактически

была обезземелена, как мы знаем, еще во время реформ, благодаря „дарственному“ наделу. Если причислить к „дарственникам“ всех, получивших „низшие“ наделы, доход с которых, по Янсону, был втрое ниже казенных податей, то процент пролетаризованных на черноземе в 1861 году поднимется до 20—25% всего крепостного населения. Этого было мало, чтобы снабдить батраками все имения, до 19 февраля состоявшие на барщине, но, само по себе безотносительно, это была крупная цифра. Исследователи конца XIX века определяли, приблизительно, количество пролетариев в России в 10 миллионов; перепись 1897 года насчитала 9.156.080 человек, живущих наемным трудом,—блестяще подтвердив таким образом гадательный расчет исследователей-марксистов. Около половины этого количества, 5 миллионов, приходилось на сельский пролетариат. Но другая половина должна была находить приложение своему труду в промышленности. Промышленный капитал не мог бы теперь жаловаться на недостаток рабочих рук. Но накопившейся, вопреки всем предвидениям и мерам предосторожности, резервною армией труда воспользовался не столько русский капитал, сколько капитал заграничный. Завоевание России европейским (главным образом, французско-бельгийским) капиталом составляет один из существеннейших моментов в истории развития „современного“ капитализма в России: без него не было бы той русской промышленности, которую мы видим сейчас. Дело в том, что как раз в то время, когда стал расти понемногу русский пролетариат и расширяться, благодаря, отчасти, именно пролетаризации крестьянства, внутренний рынок, русское туземное накопление, наоборот, пошло медленнее. Так как единственным товаром, который сбывала Россия, был хлеб, то накопление капитала в России тесно связано с хлебными ценами: а они к концу XIX столетия, как мы видели, стали резко падать. Только когда, с самых последних лет этого века, цены на хлеб начали вновь „крепнуть“, стало расти и наше туземное накопление.

IV. Эволюция сельского хозяйства в пореформенной России.

(Из „Очерков аграрной эволюции России“ П. И. Лященко. Т. I. СПБ 1908 г. Гл. VI—VIII).

I.

Условия и последствия ликвидации крепостного права.

Если мы взглянем на экономическую и публицистическую литературу по сельскохозяйственным вопросам за последние три года до реформы, т. е. когда вопрос о ликвидации крепостного права и крепостного хозяйства был уже принципиально решен и официально возвещен, то мы можем заметить в ней новый период оживления, при том оживления даже гораздо большего, чем четверть века назад. Тогда был выдвинут вопрос о необходимости улучшения техники, поднятия производительности хозяйства, о переходе к новым, более интенсив-

ным системам земледелия, как средству поднятия доходности хозяйства. Теперь вопрос шел о гораздо более общем и еще более серьезном деле—о жизни и смерти всего крепостного хозяйства (×).

Однако, сообразно характеру вопроса, и постановка его теперь была совершенно иная, чем двадцать лет назад. Особенно ясна она была в таком, напр., органе русских аграриев, как „Журнал Землевладельцев". Несколько десятилетий назад помещичий класс пытался вывести свое крепостное хозяйство на путь интенсификации, т. е. предполагал повысить его доходность и дать толчок дальнейшему развитию лишь изменением его технической организации, не касаясь общей экономической основы его, т. е. не касаясь главным образом крепостного труда. Неприменимость интенсивных форм западно-европейского земледелия к русским условиям—прежде всего к той же крепостной организации хозяйства—разбила эти стремления.

Тогда землевладельцы, крепостные предприниматели, стали отыскивать способы, как при наличной интенсивности хозяйства сделать крепостной труд более производительным. Осюда вытекал (×) целый ряд проектов об изменениях и о более выгодной комбинации барщинной или оброчной систем. Невозможность повышения производительности крепостного труда как при той, так и при другой системе или при их комбинациях и видоизменениях стала, однако, скоро очевидной; ликвидация крепостного хозяйства стала вместе с тем не только естественной, но и необходимой. Для помещика—единственного устроителя судьбы освобождаемых крестьян и своей собственной—оставалось лишь изыскать способы, при которых эта ликвидация старых отношений была бы наиболее выгодной для него(×).

В зависимости от местных условий, эта последняя цель достигалась в разных местностях разными способами. Там, где помещичье хозяйство при крепостном праве было все же прибыльно, где земля была богата, плодотворна и могла приносить действительный доход,—там необходимо было возможно меньшее наделение крестьянского хозяйства собственной землею, чтобы помещичье хозяйство не потерпело ущерба ни в размерах, ни в обеспечении рабочими руками. Там, наоборот, где земля была бездоходна, где помещичье хозяйство принуждено было приступить к ликвидации еще до общей эмансипации, там можно было отвести крестьянам хоть всю землю, но оценив ее возможно дороже, чтобы в тяжести выкупных платежей крестьянством были выплачены все прежние помещичьи доходы и оброки (×).

Однако, капитализировав с громадной выгодой для себя свою крепостную ренту, уступив крестьянину наименее доходную часть сельского хозяйства в нечерноземной полосе, обеспечив себя, почти принудительным образом, путем недостаточных наделов, рабочими руками в более плодородных и доходных местностях, получил ли помещик то преобладание в народном земледельческом производстве и то выгодное для него господство на рынке, которое ожидалось?

Казалось, что при происшедших урезках крестьянского землепользования и расширении помещичьего, должно было бы произойти, с одной стороны, расширение помещичьего производства хлеба, с другой—сокращение крестьянского.

И, конечно, это должно было бы произойти, если бы в то же

время, с одной стороны, не завершился окончательно процесс перехода крестьянского натурального хозяйства к денежному; с другой—если бы в самом помещичьем хозяйстве не встретилилось к тому весьма крупных препятствий (X).

Уже из докладов известной Валуевской комиссии для исследования положения сельского хозяйства видно, что непосредственно вслед за освобождением стало происходить и сильное сокращение помещичьих запашек; в многочисленных ответах о причинах этого явления члены комиссии заявляют о невыгодности ведения хозяйства при изменившихся условиях, с помощью наемного труда. Понятно, что эти причины должны были сильнее сказаться в тех губерниях, где и до освобождения помещики находили более выгодным эксплоатировать труд своих крестьян не в земледелии, а в промышленности, т. е. в нечерноземных оброчных губерниях. И действительно, в этих губерниях сокращение помещичьих запашек обнаружилось более очевидно, тогда как в черноземной полосе во многих местах, особенно в степных губерниях, помещичьи запашки увеличивались и после реформы. Что же касается размеров крестьянских запашек, то они обнаруживают вслед за реформой быстрое и сильное расширение не только в черноземной, но и в нечерноземной полосе.

Но расширение вообще крестьянской культуры и сокращение помещичьих запашек окажется еще более существенным, если принять во внимание, что часто расширение запашки в помещичьих имениях шло за счет отдачи помещичьей земли в аренду крестьянам. Указанные выше условия наделения крестьян землею и условия выкупа ее особенно усилили этот арендный спрос на помещичьи земли со стороны крестьян. Конечно, это в то же время соответствовало и интересам помещиков, так как освобождало их от необходимости вести собственное хозяйство с помощью наемного труда, дорого обходившегося и при недостатке денежных средств ставившего их в затруднение.

Этот-то недостаток денежных средств и являлся той главной внутренней причиной для помещичьего хозяйства при освобождении, которая принудила его спешить с своей ликвидацией. Лишь небольшая часть дворянства могла воспользоваться производительно теми громадными капитальными выкупными суммами, которые получило оно в вознаграждение за лишение крепостного труда. Большая часть этих сумм была собственно прожита уже предварительно, так как к 60-годам до 62% всех крепостных душ, т. е. 6.606 тыс. крестьян, были заложены и имели долгу до 398 милл. рублей, т. е. свыше 53% всей их стоимости по тогдашним ценам; весь же долг, лежавший на русском землевладении ко времени освобождения и пошедший, конечно, в большей части не на производительные цели, достигал 425 милл. рублей.

Благодаря этому, из тех крупных сумм, которые должны были поступить в виде выкупных платежей помещикам, в их руки пошло около половины. Так, за первое десятилетие, к 1871 году, из общего долга крестьян за приобретенную землю в 543 милл. руб. до 428 милл. руб. было переведено долгу самих помещиков. Но и из оставшейся суммы не много пошло на реорганизацию хозяйства, большая же часть

ее пошла или на совершенно непроизводительные цели, или отвлеклась в другие области предпринимательства. Таким образом, не смотря на преобладание в проведении реформы классовых и сословных помещичьих интересов—расширения помещичьего производства не произошло, и с освобождением крестьян ликвидация помещичьего хозяйства, как самостоятельного предприятия, пошла еще более ускоренным темпом.

В какие условия было поставлено при этом само крестьянское хозяйство? Помимо отмеченного выше уменьшения размеров надела, реформа принесла крестьянскому хозяйству, так же, как и помещичьему, сильнейшее увеличение нужды в денежных средствах, вследствие быстрого развития в стране денежного хозяйства.

Прежде всего, сильно увеличились всевозможные платежи и повинности, как в отношении к государству, так и в отношении к прежним владельцам. При этом, большая часть повинностей перешла в денежную форму. Освободившись от натуральных повинностей помещику, но и то далеко не от всех, крестьянин принужден был нести перед государством ряд гораздо более тяжелых денежных; вместо прежней подушной подати и государственного земского сбора на сельском населении стал лежать длинный ряд разнообразных сборов: выкупные платежи за землю бывших помещиков и удельных крестьян, государственный земский сбор, местные земские сборы, подушная подать, мирские сборы, сборы рекрутские, на обеспечение народного продовольствия и др. Все эти платежи возросли сравнительно с дореформенными и абсолютно, и особенно сильно в денежной своей части. Одни денежные сборы различных перечисленных платежей достигали до 4 р. 50 коп.—5 рублей на душу или 1 руб. на десятину и ложились на крестьянское земледельческое хозяйство таким тяжелым бременем, что, по выводу оффициальной комиссии, „общая сумма всех сборов и платежей, падающих на крестьян, в немногих местностях может покрываться доходами с земельного надела, без посторонних заработков, и в некоторых местностях, даже в черноземной полосе, сумма всех платежей превышает доходность земли в 5 раз“ (×).

Частью это увеличение денежных повинностей крестьян, частью общие изменения в строе жизни дали окончательный толчек к разрушению натуральных отношений в земледелии и к падению натурального хозяйства как помещика, так и крестьянина. Если прежде с помощью натуральных сборов с крестьян, с помощью многочисленной „перерабатывающей“ дворни, даже и помещичье хозяйство могло стоять в значительной степени изолированно от рынка, хотя бы ценой громадных и совершенно, повидимому, не рациональных и не экономических затрат труда крепостных, то с падением крепостного хозяйства не только помещичье, но и крестьянское хозяйство должны были быстро пойти по пути развития денежных отношений. (×).

Брошенное в круговорот денежного обращения, при искусственно созданном малоземельи и невозможности правильной постановки и развития производительных сил своего хозяйства, крестьянство так же, как раньше помещик, по необходимости должно было стремиться к экстенсивному, количественному расширению своего производства, к выработке наибольшей массы продукта. А так как все основы этого

хозяйства были в громадном большинстве случаев связаны с землей, то отсюда и возникла столь характерная для всего пореформенного времени погоня за землей, ради выработки лишнего пуда хлеба— этого единственного товара, который в громадном большинстве местностей и могло только производить на рынок крестьянское хозяйство. Своей земли было недостаточно, и помещичьи поля стали по старому, как и при крепостном хозяйстве—частью за денежную уплату, а большею частью даже за прежнюю натуральную оплату отработками или исполу — обрабатываться крестьянами, крестьянским инвентарем и скотом.

Такой результат, с точки зрения народного хозяйства, был, конечно, крайне невыгоден, так как он не принес повышения производительности земледельческого труда; но за то с точки зрения помещичьих интересов он был выгоден потому, что привел к чрезвычайной интенсивности и напряженности крестьянского труда, принуждаемого теперь „не дубьем, а рублем“ к чрезмерному труду и к чрезмерно высокой арендной плате помещику, за право приложения этого труда на помещичьей земле. Вместе с тем, это освобождало и помещика от необходимости ведения самостоятельного хозяйства, что, как мы видели, затрудняло и самих помещиков за неимением в переходное время достаточного капитала для организации хозяйства на новых условиях.

Поэтому помещичье земледельческое производство должно было отступить пред крестьянским. Но, конечно, общие размеры хлебного производства с переходом его к крестьянскому хозяйству не уменьшились. (×)

Но вместе с изменением условий производства должны были произойти и изменения в условиях хлебного рынка, чтобы приспособить его к новому производителю и поставщику,—изменения, выразившиеся в громадной перетасовке в экономической географии России. (×)

Главной особенностью помещичьего крепостного хозяйства по отношению к способу поставки его продуктов на рынок являлось, как мы уже видели, пользование крепостным трудом в течение свободного от работ зимнего времени. Это обстоятельство позволяло помещикам совершенно не стесняться расстоянием их имений от мест сбыта: В поисках более выгодного помещения своего товара, более высоких цен, более свободного сбыта, они могли поставлять свой хлеб на очень отдаленные крупные рынки, непосредственно потребителю, мукомолу или, в крайнем случае, крупному оптовому торговцу. (×)

Самый ход и обстановка снабжения обусловливали и географическое распределение течения хлебной торговли, районов тяготения, а также и характер всего строя торговли. Во главе хлеботорговых операций стоял крупный капитал, крупные фирмы; центрами, куда стекались хлебные грузы, являлись немногочисленные, сравнительно, пункты, державшие в своих руках значительную долю хлеботорговового оборота всего хлебного рынка и управлявшие ходом заготовок на других, меньших рынках. Роль последних даже во всей их совокупности не могла быть значительной именно по тем условиям производства, которые ставили во главе этого товарного производства помещика, т. е. крупного партионного производителя. Местные рынки,

вследствие плохих сообщений, отсутствия спроса на местах—кроме разве военного и винокуренного, развития которых, как мы видели, добивались всегда помещики—вследствие отсутствия на местах торгового капитала, не могли вместить крупного предложения помещичьего хлеба. Цены на них всегда были настолько низки, что для помещиков считались убыточными. Между тем подводная повинность позволяла помещикам сноситься непосредственно с крупными потребительными центрами, продавая там хлеб по более дорогой цене, не считаясь, конечно, с нечувствительными для них издержками по доставке хлеба.

Все это и создало в дореформенной хлебной торговле преобладание крупных потребительных и торговых центров над местными закупочными центрами, крупного торгового капитала над мелким, крупной партионной торговли над мелкой и рассеянной на местах. Последняя, конечно, была также весьма распространена, но находилась исключительно в руках тех же крупных торговых домов и касалась главным образом продаваемого на местах крестьянского хлеба, тогда как помещичий шел в города, большею частью минуя местных торговцев. (X)

С освобождением крестьян, отношение производителя к рынку и условия снабжения хлебом потребительных рынков должны были коренным образом измениться. Опасения дореформенных экономистов относительно уменьшения хлебного производства в стране после освобождения крестьян совершенно не оправдались: хотя помещичьи запашки действительно уменьшились, и не только в нечерноземной полосе, но и в черноземной, однако это уменьшение с избытком покрывалось быстрым ростом крестьянских запашек и крестьянских аренд.

Но если помещик, имея в своем распоряжении крепостной труд, мог не стесняться расстоянием и сбывать свои продукты на отдаленные рынки, непосредственно в руки крупных торговцев, чтобы выручить несколько лишних копеек за пуд, то крестьянин оказался в ином положении. Принужденный выработать и продавать товара—хлеба как можно больше, для покрытия сильно возросших денежных расходов, он не мог, однако, везти его за сотни верст, так как зимнее время было дорого ему самому для покрытия заработком оставшихся хозяйственных недочетов, да и деньги нужны были именно осенью, когда предстояло платить разные повинности. Поэтому-то вместе с освобождением и начинается как быстрое количественное возрастание производства хлеба, так и быстрое развитие хлебного рынка и вообще увеличение его размеров. Но вместе с тем начинается и изменение в самых внутренних отношениях рынка: как результат перехода земледельческого производства в руки крестьян, вместе с демократизацией и децентрализацией земледельческого производства начинается демократизация рынка и децентрализация товговли.

Если у нас не имеется точных цифр о размерах производства хлеба, в 60-ые годы, то тем более невозможно вычислить количество поступающего на рынок и вообще в обращение зерна: поэтому трудно определить и то, насколько сильное влияние имело на увеличение хлеботоргового оборота освобождение крестьян.

Косвенным подтверждением громадности этого значения могут

служить лишь, с одной стороны, размеры увеличения хлебного экспорта, с другой—отдельные факты из области хлебной торговли. Так, экспорт 4 главных хлебов в два соседние реформе пятилетия возрос с 66,8 милл. пуд. в 1855—60 гг. до 120 милл. в 1865—70 гг. Конечно, может быть значительная доля в этих количествах принадлежала попрежнему помещичьему хлебу. Но если принять во внимание указанные выше сокращения помещичьих запашек и увеличение крестьянских, необходимость для крестьянина продавать осенью большие количества хлеба, хотя бы зимою пришлось снова их покупать, то будет очевидно, что это увеличение шло в значительной мере именно за счет поступления на рынок крестьянского хлеба, который стал вытеснять помещичий (×).

Так, по словам Безобразова, исследовавшего в 60-х годах хлебную торговлю в камском районе, „в бассейне реки Белой, местные торговцы говорили, что самые значительные запасы хлеба, обращавшиеся в торговле 10 лет назад, ничтожны в сравнении с запасами, ныне закупленными крестьянами“.

Другой исследователь южно-русского хозяйства и торговли так описывает подобные же перемены, наступившие вместе с реформой для юго-запада. „Крестьянская запашка сильно увеличилась; вместе с этим появилось резкое различие между крестьянским и помещичьим хлебом; первого стало больше. Рожь, просо, греча стали крестьянскими хлебами, пшеница, лен, рапс—помещичьими; производство ржи увеличилось, усилилось ее предложение, цены пали. При помещичьем производстве базарная торговля была развита слабо, слабо было и кулачество; были срочные продажи. Теперь количество запасов сократилось (в Малороссии у многих помещиков наполовину), развилась базарная мелкая торговля, партионных продаж и срочных поставок не стало“.

Особенно резко сокращение помещичьих поставок и развитие крестьянских подвозов сказалось в центральном производительном районе, в особенности на небольших пристанях, которых крупные производители-помещики раньше избегали, отправляя хлеб на более отдаленные рынки. Так, напр., в Мценске (известной по своим оборотам ржаной мукой пристни на р. Зуше, притоке Оки), тотчас после освобождения, в 1862 г., размер сплава увеличивается более чем в 8 раз: медленно поднимавшийся и дошедший до 428 тыс. пуд., он в 1862 году возрастает до $3^1/_2$ милл., и затем колеблется около 2 милл. пудов. Такое резкое увеличение об'ясняется именно тем обстоятельством, что доставка помещичьего хлеба в отдаленные города, на более крупные рынки, прекратилась вместе с упразднением крепостного труда, и хлеб поэтому стал грузиться в Мценске. Точно так же многие пристани, обладавшие каким-нибудь преимуществом в их расположении и поэтому стягивавшие грузы с далеких районов, стали терять свое значение и уступать часть грузов другим, менее удобным, но расположенным ближе к местам производства (×).

Таким образом, вместе с освобождением крестьян обнаружилось не только увеличение общего количества хлебного производства, но в особенности крестьянского, т. е. мелкого, некапиталистического производства. Вместе с тем обнаружилось и другое, тесно связанное с этим

и представляющееся прямым его следствием, явление—измельчание торговли. Другими словами, с децентрализацией производства шла и децентрализация обмена, децентрализация капитала, шло рассеяние торговых путей и рынков, применительно к новым условиям сбыта.

Понятно, что центральная, бывшая крепостная Россия была особенно заинтересована в такой перемене условий сбыта, так как, непроездная и отдаленная от рынков, она должна была первая страдать от невозможности для мелкого производителя продавать свои продукты. Правда, крупные помещики и теперь еще могли поставлять хлеб на более или менее отдаленные рынки на наемных подводах, хотя бы это обходилось довольно дорого: их хлеб шел часто непосредственно в руки крупных московских и др. торговых фирм; но крестьянский хлеб должен был находить себе сбыт возможно ближе и возможно скорее после жатвы. Для его услуг и явился мелкий посредник, в лице ли самостоятельного мелкого деревенского скупщика или в лице комиссионера более крупных торговцев, появившегося в торговых селах и деревнях.

На базары этих мелких торговых пунктов теперь свозился крестьянами ближайших окрестностей хлеб, ссыпаясь в амбары для перепродажи в более крупные пункты торговцами. Они были единственными скупщиками крестьянского местного хлеба и других продуктов крестьянского производства и за отсутствием конкуренции держали в своих руках весь сельскохозяйственный и хлебный рынок, устанавливая цены, давая вперед задатки и т. п. (X).

Таковы были изменения, внесенные крестьянской реформой в положение сельскохозяйственного рынка,—изменения, выразившиеся в начавшемся тотчас после освобождения преобладании на рынке продуктов крестьянского производства и в мелких продажах их, т. е. в демократизации и децентрализации обмена. Место прежнего крупного крепостного производства и крупной капиталистической организации обмена заняла та система народного хозяйства, которая в исторической схеме ближе всего подходит к системе „производства на скупщика". Характеризуясь большим рассеянием производства, раздроблением его среди мелких производителей, но производством все же уже не потребительных, а товарных ценностей, эта система, будучи совершенно далека от капиталистической организации производства, в то же время, однако, разорвала связь и с прежним натуральным строем. Она уже имеет вполне капиталистически организованный сбыт, совершенно почти не допуская непосредственного общения производителя с рынком.

Зависимость мелкого производителя от рынка, его служение этому рынку становились тем полнее, чем совершеннее были орудия и средства этого получения, т. е. орудия обмена. Организация обращения вообще и устойство путей сообщения в особенности явились одним из важнейших необходимейших условий в этом отношении. Поэтому вместе с указанной коренной переменой в характере производства и, как результмт ее, в отношениях производителя к рынку естественной необходимостью должен был явится новый фактор, действие которого еще более закрепило зависимость народного хозяйства от рынка, еще более способствовало возможности работы на этот ры-

нок и оказалось еще существеынее в смысле дальнейшей децентрализации торговли, дальнейшего преобладания мелкого капитала, более быстрого оборота торговых операций, уравнивания цен и т. п. Это была постройка железных дорог, охвативших вслед за освобождением правильной сетью всю Россию. Они явились, таким образом, завершительным процессом преобладания в земледельческом хозяйстве товарно-торгового производства зерна, с целью продажи его на рынок.

II.

Сельскохозяйственный рынок и железные дороги.

Известно, что постройка железных дорог в России началась еще задолго до освобождения крестьян, сооружением (не считая мелких линий) варшавско-венской в 1845—48 г. г., и с.-петербургско-варшавской железной дороги в 1853—62 г. г. Но имея большое стратегическое значение, эти дороги не могли иметь почти никакой экономической роли, в особенности в обмене сельско-хозяйственными произведениями, так как были слишком удалены от хлебородных и черноземных районов (X).

Громадное хозяйственное значение и крайняя необходимость улучшенных путей сообщения и создания железнодорожного транспорта ясно выдвинулись лишь с падением крепостного хозяйства; железные дороги должны были явиться орудием скорейшего перехода к денежному хозяйству (X).

Железные дороги необходимо было строить по главным артериям прежней промышленной и торговой деятельности. В этих видах на первую очередь было поставлено соединение Москвы с Петербургом и балтийских портов с хлебородными местностями центра. Другой стоящей на первой очереди линией была признана южная, которая должна была соединить Москву с центром, центр и юг с южными портами и открыть, таким образом, „удобное в крае сообщение для сбыта продуктов на юг—заграницу, на запад и северо-запад—во внутренние губернии“.

Эти два направления и должны были лечь в основу того остова железнодорожных линий, который с течением времени должен был получить дальнейшее развитие. Уже в высочайшем указе об учреждении Главн. Общ. железных дорог были намечены главнейшие основания предпологаемой железнодорожной сети. Она должна была состоять из магистралей „от Петербурга до Варшавы и прусской границы, от Москвы через Курск и низовья Днепра до Феодосии, и от Курска и Орла через Динабург до Либавы; таким образом, непрерывным через 26 губерний железным путем соединятся взаимно: три столицы, главные судоходные реки наши, сосредоточие хлебных наших избытков и два порта на Черном и Балтийском морях, почти весь год доступные; облегчиться сим образом вывоз заграничный, обеспечится привоз и продовольствие внутреннее“.

Таким образом в правительственной железнодорожной политике на первом месте стояло целью вовлечение в торговый оборот и связывание с рынком именно земледельческих районов (X).

Менее, чем через 10 лет после начала правильного и планомерного железнодорожного строительства, к концу 1868 года была уже открыта сеть линий, соединяющих Москву с производительными районами: дорога Москва—Курск привлекала к Москве грузы центра, Москва—Козлов—Воронеж собирала хлеб с юго-востока, Москва—Нижний со всего волжского и камского района, Москва—Петербург отчасти служила путем привлечения грузов с северо-запада, отчасти снабжала южным хлебом С.-Петербург. Только вслед за сооружением этих линий началась постройка путей, соединяющих хлеботорговые районы с портами и служащих для доставления хлеба на вывоз. Сюда принадлежит прежде всего магистраль Рига—Царицын, начатая строиться отдельными участками впрочем много ранее, но законченная только в 1871 году: пройдя с низовьев Волги и юговосточных степей через черноземный центр, она явилась широким руслом для вывоза избытков хлеба заграницу. После постройки этих линий стали сооружаться и другие, не изменяя общего плана сети. К концу 1875 г. центр обогатился новыми линиями Москва—Ярославль, а также Сызрань—Вязьма и Козлов—Саратов, увеличившими район тяготения к Москве далеко на восток и юго-восток. Кроме этих двух линий, работавших отчасти также и на экспорт, главными экспортными линиями явились Курск—Харьков—Одесса, Харьков—Ростов, Воронеж—Ростов, Харьков—Севастополь, служившие выходами хлеба центра в южные порты, и линия Либава—Ромны, ставшая вместе с Риго-Царицынской линией стягивать грузы не только центральных, но и южных губерний к балтийским портам (×).

После этого выдвинулись также и другие задачи и цели железнодорожного строительства. Именно, после сооружения железных дорог, обслуживающих сбыт сельскохозяйственных продуктов, стали развиваться дороги, служащие нуждам других отраслей промышленности, но дороги, сооруженные в первоначальный период строительства, были почти все дорогами земледельческими, такими, которые питали лишь внутренний рынок, и сами „питались исключительно продуктами черноземных районов“.

Таким образом следует признать, что наше железнодорожное строительство вовсе не носило такого случайного, вызванного внешними причинами, характера, вовсе не было элементом чуждым общему строю тогдашней жизни и, в первоначальный свой период, вовсе не было направлено исключительно на цели экспорта, как это принято считать. Наоборот, первые железные дороги открывали земледельческим районам только внутренний широкий рынок. Те исключительные стремления к экспорту продуктов сельского хозяйства, главным образом зернового хлеба, которые стали проявляться в позднейшем железнодорожном строительстве и в тарифной политике, были вызваны причинами, лежавшими в условиях общефинансовой политики и принуждавшими именно к такому покровительству экспорта. Само же по себе развитие железных дорог, начавшееся вместе с падением крепостного хозяйства и с водворением денежного, являлось лишь естественным следствием стремления народного производства, переросшего местный рынок, к более широкому и свободному рынку.

Понятно, что сами железные дороги явились настолько могуще-

ственным новым экономическим фактором, что их влияние должно было надолго затемнить действие других факторов, тем более, что начав свое развитие на почве расширения сбыта прежде всего продуктов сельского хозяйства, железные дороги должны были послужить могущественным толчком для развития и других отраслей промышленности, а для некоторых и началом их (X).

Посмотрим же, на счет чего же шло усиленное биение этого нового пульса промышленной жизни—железных дорог, в тот период, когда биение его стало сказываться уже достаточно ощутительно.

Уже самая постройка железных дорог прежде всего через черноземные производительные районы показывала, что должно было служить материалом, которым обусловливались возникновение и жизнь железных дорог. Недостаток хлебного сбыта и снабжения, как мы видели, должен был самым тягостным образом сказываться и на крепостном сельском хозяйстве; для свободного же мелкого крестьянского производства он был совершенно невыносим. Поэтому железные дороги должны были тотчас же завладеть транспортом хлебных грузов, и на первое время чем более вглубь страны прорезывались железнодорожные линии, чем интенсивнее развивалось железнодорожное движение, тем большая доля в нем принадлежала хлебным перевозкам.

Масса хлынувшего на железные дороги хлеба стала быстро возрастать и абсолютно, и относительно, обгоняя в своем росте перевозки всех других грузов. Так, в первые годы развития сети, перевозки по железным дорогам составляли, в миллионах пудов:

	Всего товаров малой скорости.	Всего хлебных грузов,	% хлебных грузов в общем движен.
	Миллионов пудов.		
1870	492	135	27,5
1873	1.153	444	38,5
1874	1.356	557	41,1
1876	1.374	577	42,0

Завоевывая все более и более преобладающее место в общей массе перевозок по всем железным дорогам, хлеб для некоторых из них являлся почти исключительным источником перевозки и, следовательно, доходности. На тамбовско-козловской жел. дороге хлебные грузы составляли до 73,1% всей массы грузов, на рыбинско-бологовской 57,6, на орловско-грязской 83,6, на ряжско-моршанской 88,9%.

Общее оживление, которое должны были вдохнуть в хлеботорговый обмен железные дороги, сказалось не только быстрым ростом собственно железнодорожных перевозок хлеба, но вместе с улучшением сбыта его, должно было, конечно, увеличить общее количество поступавшего на рынок хлеба, т. е. повлечь и увеличение сплавов хлеба по рекам к железнодорожным линиям, а также гужевых подвозок к станциям. Этому росту обмена, как мы видели, вполне соответствовали и нужды возраставшего и принимавшего денежные формы хозяйства.

Размеры хлеботоргового оборота почти невозможно определить

статистически точно. Насколько возможно, воспользуемся приблизительными данными министерства земледелия, относящимися к 1865—67 гг., т. е. когда, кроме Николаевской и Варшавской, были отстроены лишь линии Рига — Динабург, Москва—Нижний, Москва — Козлов, Одесса—Балта; при этом лишь последние две линии могли иметь самостоятельное хозяйственное значение, так как линия Москва—Нижний могла обслуживать главным образом только московский рынок и только грузами, идущими с Волги. Общий итог обращавшегося во внутренней торговле хлеба определялся:

По водным путям	113.299.217	пудов =	48%
По железным дорогам	36.283.000	„ =	15%
По гужевым путям	87.000.000	„ =	37%
Всего примерно до . . .	236.600.000	„ =	100%

Цифры показывают, что даже две-три упомянутые линии сразу завладели значительной частью торгового движения, отняв его от гужевого. За неимением подобных данных о размерах хлебного оборота внутренней торговли в предшествовавшие железнодорожному строительству годы, невозможно определить, насколько увеличился общий итог внутреннего торгового оборота. Поэтому, не входя в дальнейшее рассмотрение этих цифр о количественных итогах влияния железных дорог, остановимся лишь на общем характере тех внутренних изменений, которые внесли они вообще в положение обмена и сбыта сельскохозяйственных продуктов и в перестройку экономической географии России.

В районах, еще не затронутых железными дорогами, но уже начавших испытывать развитие денежного хозяйства, со времени освобождения должен был быстро возрасти сбыт хлеба по водным путям и гужем, увеличив таким образом общие обороты торговли; в районах же, где дороги были уже построены, они сразу отняли от водных путей и гужевых подвозов громадную долю их грузов. Поэтому сплав хлеба и других сельских продуктов с некоторых пристаней, часто лишь со времени освобождения начавших развивать свои обороты, обыкновенно быстро падал, как только рядом проходил железнодорожный путь.

В этом отношении особенный интерес представляет влияние, произведенное на сложившиеся уже пути и условия хлебной торговли открытием линий южнее Москвы, соединивших главные земледельческие центры с одной стороны с Москвой, с другой—с балтийскими портами. Линия Рига—Орел, а затем Орел—Царицын, разделявшая всю Россию на две части и перерезавшая старые пути сбыта к Москве, тем самым оторвала весь юг от снабжения московского рынка его продуктами, предоставив этот последний юго-востоку, с новым путем движения—дорогой Москва—Козлов—Саратов. Однако, проведение новой линии Ряжск—Моршанск, а затем Вязьма—Самара, поставило и юго-восточный район все в большую зависимость от тяготения к северо-западным портам, отодвинув район снабжения Москвы все более к северу и заставив юг все более работать на внешний рынок. Чем далее вглубь страны проходил на юго-восток и на северо-запад же-

лезнодорожный путь, чем большее число рынков соединял он, тем сильнее сказывалось на них действие нового средства сообщения—падением одних и поднятием других.

Перерезав поперек старые пути водного и гужевого движения, эти дороги быстро лишили прежние крупные рынки сбыта и прежние сплавные пристани их недавнего значения в торговле вообще и в особенности в снабжении Москвы. Так, близ Орла и его уездных городов, Ельца и Ливен, проходили, с одной стороны, главные гужевые пути и водные сплавы, снабжавшие Москву хлебом юга, с другой—отсюда начиналось движение на северо-запад. Железные дороги резко изменили соотношение этих районов и путей. Проведенная раньше других Московско-Курская дорога, с одной стороны, уничтожила гужевые подвозы от Орла непосредственно к Москве и подорвала сплав к Москве хлеба с верхнеокских пристаней, с другой—лишила Калужскую и Смоленскую губернии и всю Белоруссию орловского хлеба, куда он отправлялся до жел. дорог. Окские пристани, орловская, мценская и белевская, в последние годы до открытия железных дорог сплавляли к Москве до 4—4,5 милл. пуд хлеба, с открытием же дорог количество сплава упало до 1—1,5 милл., причем орловская пристань стала сплавлять, напр., в 10 раз меньше прежнего. Но и железнодорожные отправки Орла к Москве были скоро отвлечены в другую сторону: дорога Рига—Орел, а затем и Орел—Царицын окончательно отклонили грузы южнее этой линии к балтийским портам, так что и Курская дорога стала служить уже не для подвоза хлеба к Москве, а лишь к Орлу, где он далее перегружался на экспортную Риго-Орловскую дорогу. Даже более того: началось движение к Орлу хлеба не только с южного участка, но и с северного, от Москвы. Таким образом Орел в течение двух-трех лет был совершенно отрезан от Москвы и стал работать исключительно на вывоз к северо-западу, к портам (X).

Таким образом, с первых же лет проведения железных дорог быстро изменились условия снабжения московского рынка и условия сбыта хлеба из центральных губерний. Вместе с падением сплава по рекам сильно упали и гужевые подвозы к потребительным рынкам, в особенности к таким, как Москва, питавшаяся главным образом гужевыми подвозами. По определению московской городской управы, в Москву свозилось, до проведения железных дорог, гужем до 15 милл. пудов хлеба ежегодно, и это число можно считать до некоторой степени верным, по сравнительно удовлетворительному способу регистрации; в течение первых же 5—6 лет по открытии московских железных дорог гужевые подвозы к Москве падают до 500—800 тыс. пудов.

Но проведение железнодорожного пути до какого-либо пункта не всегда еще обозначало падение его торговой деятельности. Если железная дорога оканчивалась в этом пункте, то это обстоятельство, наоборот, являлось вначале причиной значительного оживления его оборотов, вследствие того, что грузы, шедшие прежде к потребительным рынкам по более прямому пути, теперь стали тянуться к конечному пункту новой железной дороги. Но стоило только движению по ней открыться далее вглубь плодородных местностей, как и временно оживившаяся деятельность нового торгового центра быстро падала,

рассеивая свои обороты, капиталы и деятельность по отдельным местностям и мелким станциям железной дороги. Этим обстоятельством и об'ясняется частое и быстрое развитие многих городов вслед за проведением к ним железных дорог, но также быстрое и заметное сокращение их деятельности при дальнейшем проведении дороги; такова судьба Моршанска, Козлова, Коломны и многих других городов (X).

Изменения в промышленном и торговом значении районов и различных торговых пунктов происходили быстро и резко и, конечно, не ограничились одним лишь географическим перемещением старых и возникновением новых, но повлекли за собой коренные изменения и во внутреннем строе торгового капитала.

В старой торговле господствовал капитал преимущественно крупный; концентрируясь в крупных торговых центрах, он большею частью непосредственно к себе собирал хлеб от производителя,—оптового-ли—помещика, мелкого-ли—крестьянина. Известная градация торгового капитала, конечно, была, и даже очень определенная. Обыкновенно вслед за такими главами торгового капитала, каковы московские и коломенские купцы, ворочавшие делами на всем потребительном рынке, стояли купцы козловские, елецкие, моршанские, нижегородские, обладавшие уже меньшим капиталом, работавшие в меньшем районе и большею частью являвшиеся посредниками более крупных по закупке местных сельских произведений. Вся их роль, значение и условия успеха деятельности состояли в постоянном общении с местными производителями, в знании местного рынка. Скупка хлеба велась ими непосредственно на местных базарах и привозах у крестьян, иногда же у более мелких сельских купцов, прасолов и т. п. В районах, носивших более оживленный торговый характер, вследствие близости потребительных рынков, скупка хлеба по деревням часто производилась собственными приказчиками и агентами, которых имели иногда на местах производства не только козловские, елецкие и др. купцы, но и из более далеких потребительных рынков, напр. московские и коломенские; но вообще более была распространена покупка через мелких, ближе знающих местные условия агентов, самостоятельных купцов.

Зерно-товар проходило таким образом через ряд рук, вполне самостоятельных, но тесно связанных между собою, с данной местностью и с данным кругом производителей. Если для успеха деятельности торговцев им необходимо было близкое знание местных условий—обстоятельство особенно важное при тогдашнем положении малоосведомленной торговли—то и производитель близко знал торговца или торговый дом, которому он продавал, так как число мест скупки было сравнительно не велико. Это, конечно, создавало для торговца некоторую монополию на рынке и не обеспечивало, с другой стороны, и продавца от различных злоупотреблений со стороны покупщика, но все же производитель был сравнительно близок к рынку.

Кроме того, и эти торговцы и торговые дома не являлись исключительно представителями только торгового капитала: они были частью и предпринимателями, т. е. представителями производительного капитала, так как обладали почти всегда собственными мельницами, пере-

рабатывавшими скупаемое ими зерно. Это заставляло их заботиться и о чистоте, высоком качестве, однородности продукта, влияя таким образом в этом же направлении и на производство.

Проведение железных дорог, меняя условия закупки и отдаляя места сбыта, вместе с тем резко изменяло состав торгового класса, оказав решающее действие на самые условия производства и положение производителя. Прежде всего стали исчезать прежние более или менее крупные места ссыпки и закупок зерна. Хлеб потянулся теперь уже не по старым трактам к излюбленным и известным крестьянину базарам, а к станциям железных дорог, где, собираясь по мелочам скупщиком, отправлялся непосредственно на экспорт двумя—тремя вагонами. Прежде оптовый торговец, экспортный или работавший на внутреннем рынке, заботился о составлении крупных партий, требовал чистоты и однородности зерна; все это обусловливало и особую организацию торговли, основанную на предварительной ссыпке и составлении партии на месте. При своей солидности, такая организация в общем мало соответствовала условиям большею частью мелкого крестьянского производства, особенно усилившегося после реформы. Поэтому не удивительно, что когда вместе с открытием железной дороги появилась масса мелких комиссионеров и скупщиков, раз'ежавших по деревням, не брезговавших никаким качествам зерна, скупавших хлеб по мелочам и затем тотчас же отправлявших по железной дороге по 1—2 вагону обыкновенно уже запроданного хлеба, быстро ожививших таким образом торговый оборот,—старый строй торговли не выдержал конкуренции новых способов закупки и сбыта (X).

Крупному капиталу внутренних рынков пришлось приспособляться к изменившимся условиям торговли. Большая часть московских, коломенских и др. купцов стала производить свои покупки на местах производства не с помощью собственных приказчиков или местных более крупных купцов, заготовлявших предварительно партии хлеба, а прибегать к помощи прасолов—комиссионеров и скупщиков. Им давались деньги на закупку хлеба у помещиков и крестьян непосредственно и по мелочам, и затем получалась погрузка хлеба на станции, для непосредственной доставки далее прямо на места потребления. С другой стороны, и местные крупные торговцы, лишенные своей роли посредников между производителем и крупными торговцами центральных рынков, должны были, сохраняя связь с прежними своими районами, переносить свои операции в потребительные центры—в Москву, С.-Петербург и др. северные города.

Таким образом, в общей эволюции торговых отношений наиболее пострадавшими и за флагом оказались торговцы среднего капитала. Непосредственная первоначальная скупка попадала все более и более в руки мелких комиссионеров и скупщиков, ведущих дело или с незначительным капиталом, или прямо в кредит, и выигрывающих на разнице лишь вследствие быстроты своих оборотов. Из торговых же домов успели вынести их конкуренцию лишь более богатые капиталами крупные торговцы, которые стали обходиться без посредства более мелких местных купцов, державших прежде в своих руках все хлеботорговые обороты своих районов. Теперь торговля зерном на местах производства все более и более стала переходить к мелким по-

средникам - торговцам, и крупный капитал удержался, главным образом, только в торговле мукою и мукомольном деле, отчасти превратившись таким образом из торгового капитала в капитал производительный.

Описанные перемены в торговле относятся преимущественно к обширным районам центральных губерний. Хотя сущность явлений была везде, конечно, одинакова, но переход от непроездной и непроходной России к усовершенствованным путям сообщения, приближение с помощью их к потребительным и экспортным рынкам прежде далеких от них производительных районов произвели здесь более резкие и быстрые перемены, чем, напр., в южном районе, всегда работавшем на рынок, или в волжском, обладавшем все же удовлетворительным водным путем и следовательно возможностью широкого сбыта. Оживив хлебную торговлю центральных губерний, расширив их хлебное производство вообще и производство хлеба на продажу, в особенности железные дороги, связавшие центр с балтийскими портами, направили хлебные избытки именно сюда, оторвав их от внутреннего рынка и дав толчок развитию экспорта балтийских портов.

Мы видели, что уже с 20 годов XIX столетия начался быстрый рост экспорта южных портов, развивавшихся вместе с колонизацией и землепашеством юга и получивших постепенно преобладание над экспортом балтийских портов, поставленных в менее выгодные условия относительно снабжения хлебом. С соединением железной дорогой балтийских портов с центром, условия их снабжения резко меняются в их пользу. Быстрый рост их экспорта начинает побеждать экспорт южных портов, пока целая сеть железнодорожных линий не поставит эти последние снова в более благоприятные условия.

Так, вывоз хлебов из балтийских портов составлял в 1852 г. всего 11,3% общего вывоза из России, а в 1854 г. даже лишь 8,7% и в 1855 г. 4,2%; в то же время из портов Черного и Азовского морей вывозилось до 66,5%—68,9% всего вывоза. В последующие годы, с проведением железных дорог рост экспорта балтийских портов на счет черноморских представляется в следующем виде. Экспорт хлеба в процентах к общему отпуску составляет:

Годы:	Из Балтийских портов.	Из Черноморских и Азовских портов.
1869	18,65	64,04
1870	22,43	59,77
1871	29,16	53,96
1872	19,51	61,33
1873	37,90	32,85
1874	33,14	34,31
1875	33,74	43,80
1876	40,00	37,00

(×) Все эти данные, характеризующие увеличение экспортной работы балтийских портов, служат вместе с тем и лучшим указанием на те перемены, которые произошли в народном хозяйстве связанных

с этими портами центральных губерний. До сих пор вообще сравнительно мало работая на рынок или уже во всяком случае на внутренний рынок, оно теперь стало в тесную связь с экспортным рынком, начало работать исключительно на него. Но влияние возможности сбыта хлеба из центральных губерний не ограничилось лишь общим увеличением экспорта: железные дороги извлекли из центра и стали направлять к Риге новый, до тех пор не находивший сбыта хлеб—овес. Так, станция Рига получала еще в 1868 году с Риго-Динабургской жел. дор. овса всего 204 тыс. пуд. из 843 тыс. пуд. В 1869 году общее число хлебных грузов увеличилось уже до 1.334 тыс. пуд., а в 1870 г. до 6.801 тыс. пуд., из которых овсу принадлежало уже 4.848 тыс. пуд., т. е. 83,5%. Из Орловской губернии, почти не вывозившей прежде из своих пределов овса, в 1871 году было доставлено до 10 милл. пудов его.

В центральных губерниях такое оживление внешнего спроса и расширение сбыта хлебных продуктов пошло прежде всего, конечно, на счет тех товаров, которые раньше не имели никакого спроса, и запасы которых постоянно оставались неиспользованными; поэтому в первый же год по открытии дорог в продажу пошло старое зерно урожаев прежних лет, освободив таким образом и торговцев, и хозяев от излишних и ненужных запасов; лишь спустя несколько лет, идя навстречу спросу, производство зерна стало само приспособляться к рынку и направилось именно на те сорта, которые шли на рынке лучше.

При этом общем перевесе значения в хлебном экспорте, который начали получать Балтийские порты, увеличилось и относительное значение в общем экспорте, а вслед затем и в общем народном зерновом производстве, овса и ржи, прежде пользовавшихся лишь очень ограниченным сбытом. Так, экспорт овса, занимавший в половине 50-х годов в общем отпуске хлебов лишь 5—10%, в начале 70-х давал уже до 20% и более; рожь, доставлявшая 15—20%, стала давать до 35%; наоборот, пшеница, занимавшая прежде до 69%, к 70-м годам дала уже относительное сокращение экспорта до 30—35% общего отпуска.

Вместе со всеми этими переменами в производстве и в условиях сбыта начинается быстрый рост цен на все сельскохозяйственные продукты, в особенности на не находившие раньше сбыта. Четверть пшеницы, стоившая еще во время освобождения 5—6 р., с проведением дороги вздорожала до 8 рублей в средний год; рожь, стоившая 2 р. 50 к.—3 р., поднялась до 4—5 р., но особенно сильно вздорожал овес: потреблявшийся прежде, за отсутствием внешнего сбыта, на местах и стоивший на месте до 70 коп. четверть, он вздорожал в течение десяти лет до 1 р. 70 к.—2 рублей. Возвышение цен наблюдается повсеместно в период за постройкой железных дорог, так что, по сравнению с ценами, стоявшими пред освобождением, цены конца 70-х годов показывают такое увеличение:

	Цена четверти ржи.		% увеличения.
	I период.	II период.	
	Рубли.		
С.-Петербург	5,00	6,50	30
Рыбинск	3,15	4,75	50
Мценск	2,15	3,55	65
Орел	2,05	3,40	66
Моршанск	1,90	3,30	73
Елец	1,75	3,00	71
Козлов	1,70	3,15	85
Саратов	1,70	3,40	100

Таким образом, местные цены в районах производства показывают гораздо более значительное увеличение, чем цены портовые и в районах потребления: в Саратове они возвысились на 100%, в Козлове на 85% в Моршанске на 73%, тогда как в С.-Петербурге всего на 30%, в Рыбинске на 50%. Улучшение условий перевозки, расширение районов сбыта хлеба, усиление требований заграницу повлияли на цены отдаленных рынков в большей степени, чем в потребительных центрах и в самых портах. Это повышение обнаруживалось здесь тем значительнее, что в прежнее время, вследствие отдаленности производительных районов и затруднительности доставки, местные цены были крайне низки (X).

Таким образом, вместе с проведением железных дорог на них хлынула масса хлеба, в особенности из центральных районов, преимущественно крестьянских ржи и овса, до тех пор не имевших отсюда сбыта, теперь же явившихся главными предметами хлебного экспорта. Если наши черноземные железные дороги действительно, как мы видели, „питались хлебом“, то нужно сказать, что наш хлебный экспорт, с проведением железных дорог стал питаться, главным образом, именно крестьянским хлебом. Все условия нового строя и водворившегося денежного хозяйства способствовали, с одной стороны, усиленным продажам на рынок крестьянского хлеба, с другой—сокращению производства помещичьего. Действительно, вместе с ростом железных дорог, оживлением хлеботоргового оборота и внешнего экспорта, все большая относительная роль в нем начинает принадлежать серым „мужицким“ хлебам: ржи и овсу. „Демократизация“ распространилась, таким образом, не только на формы и организацию обмена, но и на самый товар: помещичья пшеница, преобладавшая на внешнем рынке до 50-тых годов, со времени освобождения и проведения дорог начинает вытесняться крестьянской рожью.

На этом, однако, влияние железных дорог не остановилось. В первые годы они были действительно тем простым и необходимым клапаном, через который должно было прорваться и вылиться наружу все то, что не могло найти себе выхода после окончательного разрушения натурального земледельческого хозяйства. Но по мере того, как это разрушающееся натуральное хозяйство вместе с проведением железных дорог все в большем числе районов стало заменяться товарно-торговым, работающим исключительно на продажу, внутренние от-

ношения хозяйства и характер влияния на него железных дорог становились все более сложными. С усложнением и расширением сети выдвинулся тотчас же и вопрос о железнодорожной политике: она стала орудием, могущим оказать сильнейшее влияние на характер рзвития земледельческого хозяйства в отдельных районах. Но даже и помимо того, самый факт широкого распространения железных дорог на далекие и до сих пор нетронутые окраины должен был усложнить отношения отдельных земледельческих районов и создать между ними того же рода, но в значительно большем размере, конкуренцию на рынке, которую недавно пережили старые и близкие к потребительным рынкам центральные губернии.

Посмотрим же, какие именно перемены внесло это дальнейшее развитие железнодорожной сети, и как отразилось расширение сферы торгового обмена на изменение того значения, которое приобрели для земледельческого хозяйства железные дороги.

III.

Тарифная политика и земледельческая конкуренция окраин с центром.

Постройка железных дорог в России до 1861 года не заслуживает особенного внимания с экономической точки зрения; ко времени освобождения крестьян железнодорожная сеть простиралась менее, чем на полторы тысяч верст, из которых наибольшее значение имели лишь 593 версты Николаевской железной дороги. Усиленное железнодорожное строительство началось с середины 60-х годов, когда развитие сети пошло правильным и быстрым темпом; именно:

Годы.	В течение пятилетия открылось верст ж. д.	К началу пятилетия длина ж. д. была
1861—1865	2,055	1,188
1866—1870	6,659	3,543
1871—1875	7,424	10,202
1876—1880	4,529	17,626
1881—1885	3,074	21,155
1886—1890	3,864	24,229
1891—1895	6,643	27,093
1896—1900	6,532	33,736
1901—1905	7,978	41,714

Таким образом, в течение первых 15 лет по освобождении железнодорожная строительная деятельность обнаружила такое усиленное оживление, что общее протяжение железных дорог увеличилось в 12 раз против начала 60-х годов; но, после постройки в первую половину 70-х годов до $7^1/_2$ тыс. верст пути, железнодорожное строительство начало быстро замедляться, так что, напр., в 1880 вновь открылось едва 25 верст железнодорожного пути. После недолгого

оживления в половине 80-х годов, наступило снова затишье в развитии железнодорожной сети, вплоть до 90-х годов, когда ее расширение пошло усиленным темпом, благодаря чему в последнее десятилетие железнодорожная сеть Европейской России увеличилась почти на 15 тысяч верст, не считая азиатских дорог, вместе с которыми длина железнодорожной сети доходит (×) (к 1 октября 1907 года) до 65099 верст.

Но при таком громадном приращении, в особенности за последние годы, экономические основания и цели железнодорожного строительства уже значительно изменились со времени первоначального развития железнодорожной сети.

Мы видели, что главным принципом плана железнодорожной сети было, во-первых, обеспечение внутреннего потребительного рынка, во вторых—предоставление произведениям земледельческого центра выхода к балтийским и южным портам. Соответственно этому главный узел железнодорожной сети сосредоточился в центре, куда стекались хлебные грузы с юга и юго-востока и откуда шли далее на север и северо-запад. Еще в сети 1868 года проводится то же главное правило, несмотря на некоторые отступления в разветвлении южной сети. Юго-западные и северо-западные направления дорог были разобщены между собою и обслуживали поэтому районы, не могущие конкурировать в отношении сбыта своих хлебных продуктов; среднее Поволжье также только начинало приобщаться к заграничному сбыту.

В проект сети 1870 года уже вносится соединение центральных и северо-западных дорог с южными, а также проведение нескольких линий, соединяющих юго-запад с южными портами. В то же время балтийские порты оказываются связанными с центром и юго-востоком уже не одной, а тремя линиями. Наконец, некоторыми юго-восточными линиями (отчасти, впрочем, оставшимися лишь в проектах) предполагается открыть доступ юго-восточным земледельческим грузам к сбыту в азовские порты.

Благодаря этому, хотя для балтийских портов и открываются новые районы тяготения на юго-западе и юго-востоке, но, с другой стороны, и черноморские, и азовские порты начинают успешно конкурировать с балтийскими; большая часть Волынской, Киевской, Полтавской и даже Курской входять в район тяготения к черноморским портам, в донском же бассейне и нижней Волге начинается конкуренция между югом и севером. Нетронутые поля юго-востока начинают все в большей мере работать на рынок, оттесняя в экспорте своими красными, более ценными хлебами овес и рожь центра. И чем далее на восток распространялась сеть железных дорог, тем более должна была обостряться эта конкуренция востока и центра, тем более должно было усложняться железнодорожное хозяйство, тем большее влияние на положение земледельческого хозяйства в этих районах стало приобретать то или иное направление железнодорожной экономической политики.

Увеличение шедших с востока и направлявшихся большею частью к балтийским портам хлебных грузов требовало, с одной стороны, усиления правозоспособности ведущих к балтийским портам железных дорог и, при недостаточной интенсивности их работы, со-

здавало хронические залежи хлебных грузов; с другой—причиняло своим более дешевым и лучшим по качеству хлебом конкуренцию центральному району. Необходимо было поэтому и улучшить условия перевозок, и открыть хлебу восточной окраины новые пути экспортного сбыта, направив его именно на те рынки, где конкуренция не могла причинить большого вреда земледельческому хозяйству хлебородного центра.

Поэтому со второй половины 90-х годов началась усиленная постройка железных дорог, долженствовавших разгрузить прежние магистрали и перераспределить хлебные грузы между балтийскими портами. Линии Рузаевка—Сызрань, Москва—Павелец, Данково—Смоленск, Псков—Бологое, Москва—Виндава увеличивали транзитную способность центральных дорог для восточных и волжских железнодорожных грузов, перераспределяли их между портами, отвлекая их от старых портов—Риги и С.-Петербурга—в пользу новых—Либавы и Виндавы. Наконец, с целью отвлечь восток от тяготения к балтийским портам и разгрузить идущие сюда дороги на счет увеличения тяготения к черноморским портам, построены были линии Пенза—Балашов—Харьковская и Царицыно—Тихорецкая, раздвинувшие далеко на восток и северо-восток границы тяготения азовских портов и Новороссийска и давшие новый выход восточному, волжскому и заволжскому хлебу.

Кроме необходимости такой интенсификации железнодорожной сети, ради открытия рынков восточному хлебу, еще большее экономическое значение имело то изменение в железнодорожной политике, которое выразилось во введении дифференциальности тарифов. Эта дифференциальность явилась не только средством в восточных районах зернового хозяйства и удаления отсюда избытков зерна, но и вообще могучим орудием поощрения экспорта,—орудием, придавшим с тех пор особенно определенный характер железнодорожной, экономической и торговой политике.

В первоначальный период развития русской железнодорожной сети, когда отдельным железным дорогам была предоставлена почти полная свобода в установлении плат за провоз по ним товаров, единственное воздействие правительства на регулирование частных тарифных ставок заключалось в том, что в уставах железных дорог обыкновенно обозначались максимальные тарифные нормы (X).

Только с 80-х годов взгляды правительства на тарифное дело начали изменяться (X)

Результатом этого обстоятельства и явился новый закон, в виде высочайше утвержденного мнения Государственного Совета „по проекту временного положения о железнодорожных тарифах и об учреждениях по тарифным делам“ 8 марта 1889 года. Основным принципом нового закона является тот окончательно признанный взгляд, что установление тарифов должно принадлежать государству, в видах ограждения общих интересов населения, торговли и промышленности. Железным дорогам оставляется только инициатива возбуждения вопросов об изменении тарифов; но эти же вопросы могут, впрочем, возбуждаться также и правительством, и даже частными обществами (п.п. 1—8). Наиболее же важным нововведением представляется ре-

шение о периодических с'ездах представителей железных дорог, промышленности и сельского хозяйства с целью пересмотра тарифов.

Этим все тарифное дело становилось на новую почву, тарифы делались орудием экономической политики, средством борьбы за рынки различных конкурирующих между собою местностей, выражением интересов противоположных экономических групп и классов населения. Понятно, что внимание новых тарифных учреждений привлекли прежде всего хлебные тарифы, так как главным материалом железнодорожных перевозок являлись хлебные продукты; вместе с тем железнодорожные тарифы начали играть и крупнейшую роль в положении и в судьбе сельского хозяйства, так же, как и во всем ходе хлебной торговли и в направлении нашего хлебного экспорта. (×)

Взамен прежде существовавших разнообразных тарифов, которые искусственно создавали преимущество одним районам в ущерб других, была выработана одна общая тарифная форма; она должна была уравнять прежде существовавшие неравенства разных районов. Но этой формуле придано было значение лишь максимальных предельных ставок за перевозку, причем понижение или повышение существовавших ставок до уровня формулы должно было производиться постепенно; сама же тарифная формула применялась в редких, исключительных случаях, когда не было специальных табличных тарифов. Поэтому эти последние и после пересмотра сохранили свою силу. Число их достигало до 900. Несмотря на это, однако, благодаря выработке общей формулы, а также благодаря принятой системе установления специальных тарифов, был сделан шаг к уравнительности ставок для различных земледельческих районов и равномерного их понижения с увеличением расстояния, т. е. уничтожения так наз. „горбов"—бывших результатом прежней неуравнительности тарифов [1]). Таким образом, основанием для общего исчисления плат с различных расстояний явилась уже дифференциальность, которой прежде почти не было в специальных тарифах отдельных железных дорог. Следовательно, новый пересмотр, делая предпочтение далеким перевозкам, стал поощрять вывоз, в ущерб снабжению внутренних рынков. (×)

Все это и создавало особые преимущества для отдаленных, т. е. главным образом для восточных и юго-восточных районов. Это стремление к эксплоатации богатств развивающихся восточных районов в финансовых, торговых и железнодорожных целях и является характерной чертой железнодорожного строительства и железнодорожной политики во второй период ее.

Железнодорожный „Drang nach Osten" 90-х годов принуждает к усиленной интенсификации и усложнению центральной железнодорожной сети; новые линии и магистрали создаются часто почти параллельно старым, в расстоянии сотни верст одна от другой, не боясь конкуренции и понижения доходности, в надежде на громадный

---

[1]) Так, в 1887—8 тарифная плата из приволжских пунктов до С.-Петербурга была назначена 25,5 коп. п., причем далее, по мере приближения к СПБ, вместо того, чтобы понижаться, она повышалась и от ст. Кузнецк, Филонова она была уже 30 к. Таких примеров в дореформенных тарифах было много.

транзит восточных окраин. Как в семидесятых годах железнодорожная горячка спешила соединить хлебородные поля центра и юга, чтобы вывезти на рынок их залежавшиеся богатства, так новые, пошедшие на восток железнодорожные культуртрегеры несли с собой пробуждение к жизни девственных полей и промышленных богатств, продукты которых потекли широкой рекой на запад. Рука об руку с этим расширением железнодорожной сети строится и тарифная политика, ведущая к той же цели — развитию товарно-торгового земледельческого производства в восточных губерниях и расширению для него рынков сбыта. Вместе с тем, конечно, должны были измениться производственные отношения земледельческого центра и земледельческих восточных окраин, их роль в общем народном хозяйстве. Все эти перемены нашли в себе также прямое отражение и на изменениях в характере железнодорожного транспорта.

Железные дороги, внедрившись прежде всего в хлебородный центр, где их ждали годами неиспользованные миллионы пудов хлеба, быстро исчерпали старые запасы и, открыв новые рынки до тех пор не имевшим сбыта продуктам, возбудили производство их специально для рынка. Но чем далее на юг, юго-восток и восток проходил железнодорожный путь, чем большие пространства не возделывавшихся земель он призывал к жизни и к производству на рынок, тем более опасная конкуренция росла в лице их для хлебородного центра. Ко времени развития железнодорожных путей центральные губернии, тяготевшие к внутреннему рынку, уже специализировали свое производство, главным образом, на возделывании тех хлебов, к которым была более приспособлена почва, и для сбыта которых была необходима близость рынка, так как дешевизна не позволяла их транспортировать издалека; рожь и овес стали специфическими предметами производства центра, тогда как пшеница стала с большим успехом культивироваться в местностях юга и юго-востока.

Понятно поэтому, что, когда железные дороги связали юг и юго-восток с внешними рынками, стал быстро возрастать отсюда и вывоз этих пшеничных продуктов. В железнодорожном движении начинает отмечаться все более быстрое развитие перевозок пшеницы и пшеничной муки, вытесняющих рожь и овес с их первого места в железнодорожных перевозках в первый период развития железных дорог. Так, во внутреннем сообщении перевозки пшеничной муки увеличились за время с 70-х годов до 90-х более, чем в 4 раза, пшеницы — более, чем в два раза, тогда как перевозки ржи увеличились лишь на 10%. Еще более характерными оказываются изменения во внешнем экспорте различных хлебов. Когда в первые годы по освобождении и проведении железных дорог на внешний рынок стал работать земледельческий центр, то на экспорт пошли главным образом его старые хлеба. За первые два десятилетия после освобождения экспорт пшеницы увеличился немногим более, чем в два раза (с 50,1 милл. пуд. до 110,5 милл. пуд.), экспорт ячменя увеличился в 4 раза (с 5 м. п. до 20,6 м. п.) тогда как экспорт ржи увеличился в $6^1/_2$ раз (с 13,7 мил. пуд. до 83,2 милл. пуд.). Но уже в 1890 — 95 годах, с распространением железнодорожной сети на восток и с ростом здесь торгового земледелия, экспорт пшеницы достигает 179 милл. пуд., ячменя до

92 милл. пуд., а экспорт овса останавливается на цифре 56,5 милл. пуд. Насколько крупную роль в этом увеличении поступлений пшеничных товаров на внешний и внутренний рынок имело производство восточных губерний, видно, напр., хотя бы из того, что количество грузов, отправленных с 6 восточных железнодорожных линий в течение 6 лет средины 90-х годов, возросло с 335 милл. пуд., до 819 милл. пуд., т. е. на 144%; между тем, увеличение общего по всем дорогам движения грузов за те же годы увеличилось лишь с 4.179 до 6.145 милл. пудов, т. е. на 47%. Громадная доля грузового движения на этех дорогах принадлежит именно хлебным грузам. Так, с одной лишь Самаро-Златоустовской жел. дор. в первой половине 90-х годов было отправлено на запад лишь 15,5 милл. пуд. хлебных грузов, в 1895—99 гг. отправлено было в среднем уже до 41 милл. пудов.

Такое увеличение восточных хлебных грузов делает очевидным, куда перемещается центр зернового хозяйства с торгово-промышленными целями. Железные дороги, возникшие и выстроенные на счет крестьянских ржи и овса центрального района, стали все более пробуждать к жизни чисто промышленное производство на пшеничных полях юга и юго-востока; оторванный было от внутреннего потребительного рынка центр стал снова все более служить интересам внутреннего потребления—к тому же с каждым годом увеличивающегося—тогда как с востока и юга стала идти новая хлебная река; центральные дороги стали все более обращаться в транзиты для восточных грузов.

Но кроме этих внутренних перемен, происшедших под влиянием железных дорог в земледельческом производстве отдельных районов и в характере их культуры, в общем народном хозяйстве за эти годы произошли крупные перемены. Вместе с развитием обрабатывающей промышленности, а с другой стороны, вместе с ростом самого железнодорожного строительства, в этом последнем начинают играть видную роль уже не только дороги исключительно „хлебные". Все большее развитие получают дороги, обслуживающие промышленные интересы. Таковы линии Польши, иваново-вознесенского района, донецкого каменноугольного района, отчасти Закавказья и др. С развитием промышленных дорог начинает изменяться и относительная роль хлебных грузов в общем железнодорожном движении.

По данным Министерства Путей Сообщения, относительное значение хлебных грузов в общих железнодорожных перевозках падало в такой степени: грузы 6 главных хлебов составляли в общей перевозке товаров:

Годы.	%	Годы.	%
в 1876—85	26,0	в 1891—95	20,7
„ 1886—90	23,9	„ 1895—900	17,2

Относительное значение хлебных грузов в общих перевозках падает в течение 20—25 лет на 1/3. В настоящее время, следовательно, требует некоторого ограничения не только наблюдение 60-х годов, что „наши железные дороги питаются исключительно хлебными грузами" (Чупров), но и позднейшее утверждение Н—она, что „все же-

лезнодорожное движение обусловлено земледельческою производительностью", и что в определении темпа как вообще промышленной деятельности, так и железнодорожного движения, главная роль принадлежит урожаю.

Что же вытесняло хлебные грузы и занимало их место в товарных перевозках? Если сопоставить данные об общих количествах перевозок товаров в 1876—78 гг., в 1895—97 гг. и в 1898—1902 гг., то окажется, что, несмотря на наибольшее абсолютное приращение хлебных грузов в течение указанного периода, они уже не занимают той подавляющей роли, сравнительно с другими грузами, которую имели вначале. Абсолютные количества грузов и относительный прирост их за указанные периоды были:

	Количество в милл. пудов			Прирост с 1876 по 1897 г.		Прирост с 1876 по 1897 г.	
	1895-97	1870-78	1898-1902	Милл. пуд.	%	Милл. пуд.	%
Нефть и керосин	6,4	200,7	236,9	193,3	3,035	230,5	3,602
Каменный уголь	90,3	446,0	649,1	356,3	395	548,8	608
Чугун, железо, сталь, рельсы,	23,8	995,5	122,4	75,7	318	98,8	414
Лесные и строительные материалы	67,8	201,7	263,5	133,9	197	195,7	289
Сахар	21,6	51,1	63,9	29,5	136	42,3	196
Хлопок	7,2	16,0	21,8	9,7	135	14,6	203
Шерсть	4,2	8,4	8,5	4,2	170	4,3	102
6 главных хлебов	311,9	572,0	620,5	260,1	83	308,6	99
Всего товаров малой скорости	978,0	2,808,3	3,649,0	1,830,3	189	2671,0	273

Приведенные цифры указывают на относительное падение значения грузов в общих железнодорожных перевозках, за счет увеличения перевозок минерального топлива и продуктов фабрично-заводской промышленности. Во второй период абсолютный прирост движения хлебных грузов значительно уступает приросту движения каменного угля, относительный же—ниже всех взятых грузов. Даже если вместо трехлетия 1895—97 гг., где 1896 год был неурожайным, взять трехлетие 1894—96 гг., отличавшееся очень высокими урожаями, то и тогда прирост хлебных грузов составит всего 102%, а абсолютно 314 мил. пуд., т. е. все-таки на 42,3 милл. пудов меньше прироста каменного угля. Особенно рельефно падение значения хлебных грузов видно в последнее урожайное пятилетие, когда относительное увеличение хлебных грузов (с 83 до 93%) оказывается также значительно ниже среднего по всем товарам малой скорости (с 189 до 273%).

При первом взгляде на эти цифры можно, повидимому, заключить, что значение сельско-хозяйственного производства страны, сравнительно с другими отраслями промышленности, сильнейшим образом падает, и что сельское хозяйство доставляет торгово-товарному обращению все меньшее количество продуктов; что, следовательно, торговый капитал, создавшийся на почве широкого отчуждения земледельческих продуктов—начинает пользоваться для своего обращения уже материалом других отраслей промышленности, частью переходя в высшую форму—производительный капитал. Однако, если рассмотреть ближе приведенные цифры, то окажется, что делать такое заключение было бы ошибочным.

С. Вознесенский.

Относительное уменьшение значения сельскохяйственных грузов в общем товарно-торговом обращении идет вовсе не на увеличение перевозок произведений фабрично-заводской промышленности, т. е. продуктов производительного капитализма. Наоборот, из приведенных цифр видно, что если из категории фабрично-заводских перевозок исключить грузы, составляющие минеральное топливо, уголь и нефть, то процент общего увеличения собственно фабрично-заводских грузов (даже включая сюда чугун и рельсы) сразу понижается до 272%, т. е. все же менее общего прироста движения на 1%. Еще более значительное понижение получается при исключении чугуна и рельсов, т. е. грузов, которые служат, главным образом, для оборудования новых строящихся железнодорожных путей: процент увеличения продуктов мануфактурно-фабрично-заводской промышленности в таком случае оказывается значительно отстающим от увеличения размеров общего движения.

Итак, относительное уменьшение хлебных перевозок обусловливается, главным образом, сильным развитием перевозок каменного угля, нефти, рельсов, чугуна—все продуктов, в значительной мере необходимых для развития и существования самой железнодорожной сети, т. е. для существования главнейшего орудия товарно-торгового обращения. Другими словами, в настоящее время, как и двадцать лет назад, мы присутствуем при гораздо более быстром развитии торгового капитализма, чем производительного.

Раньше, при начале своего развития, этому торговому капитализму с его капиталистическими усовершенствованными средствами сообщения небходимо было порвать путы натурального строя именно в той отрасли хозяйства, которая могла предоставить ему для торгового оборота наибольшую массу продукта—а таким именно было зерновое сельское хозяйство. В дальнейшем успех его существования был обеспечен уже возникновением иных отраслей промышленности.

В настоящее время наши железные дороги действительно переходят от „питания мужицким хлебом“ к улучшенному питанию международной пищей промышленности—каменным углем и нефтью; но все же они усвояют себе плоды цивилизации довольно медленно и все еще потребляют относительно более крупные количества ржи и пшеницы, чем чугуна, стали, хлопка, шерсти, даже взятых вместе. Поскольку товарно-торговая циркуляция может служить характеристикой самих условий производства (а при товарном производстве она именно является такой характеристикой), приведенные выше цифры показывают, чем продолжает жить наш торговый капитализм, с его усовершенствованными путями сообщения, и с какой относительно незначительной быстротой идет параллельно ему развитие более совершенной формы промышленного капитализма. Рост торгового капитала идет пока значительно быстрее роста капитала производительного; процесс производства капитализируется медленнее, чем процесс обращения. И если, быть может, для некоторых отраслей промышленности это и не имеет места, то для сельского хозяйства такой усиленный рост значения торгового капиталистического обращения имеет громадное значение.

Орудия и средства этого обращения быстро увеличиваются и

улучшаются; те русла, которые уносят из хозяйства продукты на рынок, становятся все шире и глубже; с другой стороны, финансовый пресс давит все сильнее и побуждает все полнее отчуждать все произведения хозяйства на рынке. Замечательно то, что рост перевозок, т. е. размер товарно-торгового обращения земледельческих продуктов, в лице их главного представителя—хлеба, превосходит рост урожаев. Другими словами, в противоположность дореформенной и дожелезнодорожной эпохе, с ее медленным и неподвижным товарным обращением и неразвивающимся рынком—в настоящее время, благодаря чрезвычайно быстрому пульсу товарного обращения—рост рынка обгоняет самое производство.

Это обстоятельство имеет решающее значение для всего строя сельскохозяйственных отношений. Если при прежних условиях, при сбыте на рынок только действительных избытков от производительного и личного потребления в хозяйстве, производитель стоял сравнительно независимо от рынка и не страдал от происходящих на нем перемен, то теперь и по направлению производства, и по количеству производимых и сбываемых продуктов, и в успешности своей хозяйственной деятельности, и в личном существовании он всецело зависит от рынка. Земледельческое производство, вынужденное все более обращаться на удовлетворение нужд рынка, все более задается целями торгового сбыта и сообразно с этим направляется на те виды товара-хлеба, которые могут пользоваться более широким спросом. Это обстоятельство обусловливает перемещение культуры из старых земледельческих областей в южные и восточные нетронутые степи, особенно соответствующие по своим естестественным и экономическим условиям производству главного торгового хлеба—пшеницы. Но, уже раз начавшись, производство зерна с торгово-промышленными целями ставит хозяйство в необходимость все усиленнее развивать свою деятельность в смысле увеличения количества поставляемого на рынок товара.

Как для помещика старого крепостного времени, с его „обязательным“ трудом, было обязательно производство хлеба ради обеспечения потребления, так новому свободному производителю—безразлично, мелкому ли крестьянину или крупному помещику—представляется „обязательным“ производство хлеба на рынок. В противном случае, при ослаблении его деятельности, его место на рынке будет занято более счастливыми и умелыми соперниками, а хозяйству его будет угрожать разорение. Свободная конкуренция на рынке создает, таким образом, естественный подбор не только внешний, порайонный, вытесняя из производства местности с менее выгодными условиями, но и подбор внутренний, в среде самих производителей, выбрасывая из числа их неумелых, неспособных, экономически малосильных, разрушая сословные перегородки и давая место сильным уменьем и капиталом, перестраивая таким образом самые основы земледельческого быта.

V. Пролетаризация крестьянства и выделение кулачества.

(Из книги Р. Гвоздева: „Кулачество-ростовщичество. Его общественно-экономическое значение". СПБ. 1899 г. Стр. 30—144).

Реформа не только не уничтожила того имущественного неравенства, которое стало замечаться в крестьянской массе уже в крепостную эпоху, она, напротив того, еще резче оттенила это неравенство, сразу создав крупную группу экономически вполне не правоспособных крестьян.

На другой день после реформы оказывается, что из наличного числа ревизских душ 49 губерний Европейской России 27,7% при освобождении получили недостаточный надел. Если же взять только владельческих крестьян, то оказывается, что недостаточные наделы, решительно не обеспечивающие крестьян, были получены большей половиной их. Причем следует обратить внимание на то, что в числе губерний с большим процентом нуждающихся в земле находятся не только губернии „малоземельные", как напр. Полтавская, но и „многоземельные", как Саратовская, Самарская, Оренбургская.

В данном случае, если часть крестьянства превратилась теперь в простых соседей своего бывшего господина, лишившись части имущества, которым владела при крепостном праве, и которое отошло теперь в собственность помещика, стала еще беднее, то другая часть той крестьянской массы, которая смогла сберечь во времена крепостного права капиталы, воспользовавшись „борьбою неравных социальных сил", получив свободу пользования этих капиталов, имея под боком постоянно нуждающегося своего же брата крестьянина, лишь выиграла от освобождения.

Таким образом, после реформы крестьянская масса представляет собою Януса. С одной стороны мы видим небольшую группу крестьян, владеющих наделами в 6 и больше десятин (немного больше 3% всей крестьянской массы), с другой почти—западно-европейского пролетария, „существующего доходом от заработков". Действительно, почти все крестьяне сделались собственниками, но эта не обеспечившая ни бюджетные, ни фискальные нужды собственность, как увидим ниже, обладала лишь способностью разорять своего владельца. И если экономически сильный крестьянин, освободившись от крепостных уз, стал действительно свободен, то другая, экономически необеспеченная, часть крестьянской массы явилась на самом деле обладательницей призрачной фиктивной свободы. В данном случае право пользоваться недостаточным наделом нужно было еще купить, за полученную свободу нужно было заплатить деньги. Обеспечением исправной выплаты выкупных платежей явилась круговая порука, т. е. зависимость маломощной части общины от капиталов другой, экономически крепкой ее части. Община с ее круговой порукой связала по рукам и ногам именно слабых плательщиков, она передавала этого слабого пла-

тельщика, т. е. свободного хозяина убыточного сельско-хозяйственного предприятия, в полную власть местного капиталиста, богатого члена той же общины, за то, что этот последний, желая воспользоваться инвентарем, рабочей силой его, платил за маломощного плательщика падавшие на него подати... Таким образом, в пределах собственной усадьбы маломощного крестьянина были заложены, находились на лицо все те противоречия, которые не могли в конце концов не нарушить окончательно его хозяйственную самостоятельность, давая тем самым возможность другой, экономически сильной, группе возвести прочное здание самой беззастенчивой эксплуатации.

Само собою, что реформа, значительно увеличив денежные траты крестьянского бюджета, заставила крестьянина напречь все силы, на то, чтобы увеличить настолько же и производительность труда. Крестьянин не имел возможности затратить с этой целью капитал ни в свое хозяйство, ни в домашние кустарные промыслы, потому что капитала у него не было. Оставалось одно—увеличивать производительность труда не насчет его качества, но исключительно насчет его количества.

Таким образом ему приходилось до maximum'а развить все те виды подсобных промыслов, которые не требовали новой затраты капитала, которые уже выросли в крепостную эпоху. А эти подсобные промыслы в свою очередь ставили его во все большую и большую зависимость от рынка, внося тем самым все большее противоречие в его разрушавшееся „самодовлеющее“ хозяйство.

Но помимо этого в том же направлении совершалось развитие как частно-владельческих хозяйств, так и фабрично-промышленных предприятий. Все это создавало спрос на рабочие руки, отвлекая их от исконной сельско-хозяйственной деятельности.

А необходимость заполучить как можно больше денег (земля—выкуп—тоже деньги) заставляла немедленно выносить все продукты своего производства, как и самые рабочие руки, на рынок, создавая конкуренцию, сбивая цены до минимума. Таким образом, личная зависимость крепостного крестьянина уступила место экономической зависимости „крестьянина-собственника“ от капитала, принужденного искать работы вне своего собственного хозяйства.

Старые исконные патриархальные устои дрогнули, крестьянская масса забродила. „Общие бытовые условия привели в соприкосновение сферу промышленной обособленности со сферою общинной солидарности и разрушили последнюю гарантию и оплот для неимущего в борьбе с капиталом... Высшая сила вещей погнала земледельца из исконной среды, нивелировавшей до известной степени разницу имущественных сил, толкнула его на путь соперничества, индивидуалистической борьбы“.

Но раньше, чем сфера „промышленной обособленности“ окончательно развилась, окончательно отделив козлищ первоначального накопления капитала от его овец, окончательно разрушив сферу „общиной солидарности“, потребовалось довольно много времени. Крестьянину, вследствие необходимости поспевать за быстро развивавшимся рынком, приходилось не только напрягать свою рабочую силу до максимума, но и пополнять неизменно возникавшие денежные прорехи

все новыми и новыми займами, закладывая все, что могло быть заложено, до своей рабочей силы включительно. Большинство продуктов его хозяйства еще задолго до своего появления на свет становились собственностью кредитовавшего этого крестьянина кулака-ростовщика. Таким образом, этот кулак-ростовщик делался собственником продуктов чужого хозяйства, наживал деньги, затрачивая свои капиталы в чужие предприятия, пуская произведения их на рынок, выкачивая сверхстоимость в процессе обмена. К более детальному рассмотрению того, как совершалось и совершается это выкачивание в различных отраслях приложения народного труда, мы теперь и перейдем (X).

Главная перемена, совершившаяся в пределах крестьянского хозяйства с вступлением его на путь товарно-капиталистического производства, заключалась в том, что отныне крестьянин стал работать на рынок. Если развившийся рынок требовал, чтобы крестьянин пускал в обмен продукты своего хозяйства, то к тому же принуждали крестьянина как юридические, так и экономические условия, созданные реформой. Принятая система выкупа, заставившая крестьян покупать землю у бывших же своих господ, замена многих натуральных повинностей денежными, вынуждали крестьянина все большее и большее количество производимых им продуктов превращать в деньги, т. е. вывозить на рынок.

Возникшая конкуренция, сбивая цены до минимума, заставляла крестьянина в то же время напрягать свои силы, как мелкого производителя, до максимума.

Но помимо этого население возрастало, и возрастало быстро, причем соответственно этому росту столь же быстро сокращались относительные размеры наделов. Земля, являясь орудием производства хлеба, не могла не приобрести особенной ценности в глазах каждого крестьянина. На первых порах после реформы количество денег в большинстве крестьянских семейств определялось количеством производимого ими хлеба. Поэтому им представлялись две альтернативы этого увеличения—или увеличить производительность надела, пополнить недостаток в земле „интенсификацией“ ее, или расширить, насколько позволял наличный хозяйственный инвентарь, земельную площадь насчет как распашки пастбищ и выгонов, так и насчет вненадельной аренды. Если интенсификация земледелия и являлась возможной для меньшинства крестьянства, которому удалось сколотить капитальцы во времена крепостного права, то для большинства остальной крестьянской массы это являлось совершенно невыполнимым, так как никаким запасным капиталом, кроме самого необходимого инвентаря, она не обладала.

Стремление завоевать хлебное первенство на международном рынке, совпадавшее с все возраставшим вывозом, направило производительные силы помещичьих хозяйств в том же направлении. Таким образом, нужда в деньгах и развившийся рынок заставляют увеличивать зерновое производство как помещичьих, так и крестьянских хозяйств. Крестьянин начинает распахивать все, что только можно распахать, и в погоне за увеличением своей хлебной производительности ищет земельной аренды вне своего надела; помещик, не затрачивая

капитала, увеличивает свою посевную площадь, сдавая ее в аренду крестьянину, так как высокие арендные цены, как увидим ниже, представляли гораздо большие (хотя быть может и временные) выгоды, нежели затрата капитала непосредственно в сельско-хозяйственное предприятие.

Спрос на землю под аренду сделался настолько сильным, что „за последние 25 лет... цены в одних местах удвоились, а в иных местах учетверились и упятерились", что и обусловливает для всей России явление,— наем крестьянами всякого клочка земли, который только может быть сдан им. В результате оказывается, что во всей империи на 100 десятин частновладельческой земли приходится 48, 8% в найме у крестьян [1] (X).

Подобная сдача была тем более выгодна, что она не представляла никакого риска. Каждый арендатор-крестьянин был связан по рукам и ногам административно-общинными узами круговой поруки, за каждого члена общины отвечала вся община. Старые крепостнические узы, привязывавшие крестьянина к земле и ставившие его, благодаря этому, в известные обязательные отношения к соседнему помещику - хозяину, были на лицо (X). При таком положении вещей, чтобы заниматься хозяйством, не нужно было ни знаний, ни труда, стоило только как можно больше земли обращать в пашни. Таким образом все рассуждения большинства бытописателей 60-х годов о том, что помещики не совладали со своими хозяйствами благодаря „своему невежеству и непониманию условий хозяйства" (как будто крепостное право исключало необходимость такого понимания), далеко не верны. Развитие сельско-хозяйственной техники столкнулось с крестьянской нуждой в земле, с высокими арендными ценами, причем эти последние на значительное время определили и самый способ хозяйничанья. В данном случае расчет был крайне простой: никакие рациональные севообороты, никакая затрата капитала не могла дать тех крупных барышей, которые давала арендная сдача земли крестьянам (X).

Огромный спрос на арендные земли, вызывавший непомерное ежегодное повышение арендных цен, явился причиной установления „господствующих видов арендных сделок", т. е. узаконил сделки, способствующие сильнейшей из договаривающихся сторон. Само собою разумеется, что существование предложения земли с одной и огромного спроса на нее с другой стороны должны были породить посредника-передатчика.

Договор в большинстве случаев не мог бы состояться, если-б на сцену не появился посредник, вносящий за землю деньги, получающий за эти деньги землю, являющуюся для посредника товаром, и передающий ее уже от себя крестьянину. Для значительной части крестьянской массы, для всех тех крестьян, которые после реформы стали беднее, чем были раньше, посредник был необходим потому, что он брал у землевладельца землю и сдавал ее в долг крестьянину, у которого не было денег для арендной платы вперед, и который мог заплатить только после реализации на рынке продуктов, полученных с арендованного им участка. На такого рода кредитную сделку мог

[1]) К 90-м годам.

согласиться далеко не всякий землевладелец, тем более, что и это „подождание“ не всегда гарантировало уплату деньгами. Землевладелец требовал денег, которые ему нужны были для затраты в различного рода предприятия чисто промышленного характера. Таким образом возможность совершить арендную сделку обусловливается тем, что крестьянин имеет возможность достать деньги где-либо на стороне или взять в аренду землю у пересдатчика, который в свою очередь за эту землю уже заплатил деньги, другими словами, возможность для маломощного крестьянина арендовать землю является благодаря тому, что пересдатчик обладает капиталом, торговым или ростовщическим безразлично, которым и ссужает крестьянина, являясь фактически обладателем земли, как орудия производства. Земля, пущенная на рынок, переходя из рук одних в руки других, давала возможность как юридическому, так и фактическому владельцу ее выкачивать сверхстоимость из тех крестьян, кто брал на подержание эту землю. Такова схема своеобразной кредитной сделки.

Дело нисколько не меняется и в тех случаях, когда арендные сделки совершаются непосредственно между земледельцем и арендатором. Разница лишь в том, что в одном случае капитал фигурирует в виде капитала торгового, в другом—в виде капитала ростовщического, т. е. раньше чем заключить арендную сделку крестьянин идет к местному ростовщику и берет у него в кредит деньги, которые и вносит земледельцу в виде арендной платы.

И в том и в другом случае деньги деревенского „буржуя“, превратившись в товар, пущенные в обмен, возвращаются обратно к своему хозяину с некоторым плюсом, причем товаром в данном случае может явиться земля, хлеб, скот, лес, продукты сельского хозяйства и наконец самые рабочие руки крестьянина.

Ясно, что чем сильнее у крестьянина нужда в деньгах, безразлично, будет-ли она создана рынком или отсутствием у крестьянина наличного капитала, тем сильнее его зависимость от посредника, как представителя торгового или ростовщического капитала. Благодаря этой нужде в деньгах и фиктивной свободе, кулак имеет возможность держать крестьянина „за руку, как ребенка на помочах“.

Это-же зависимое положение с'емщика от сдатчика и огромная все возрастающая погоня за землею обусловили и самый тип аренды — аренды краткосрочной, ибо при возраставшем спросе на землю наиболее выгодной являлась „система“, которая не обязывала-бы владельцев получать одну и ту же плату в течение более или менее продолжительного времени.

Здесь-же хоронится причина упадка общинного начала в деле арендования земли. Крестьянин, менее обеспеченный экономически, является менее надежным должником и менее надежным арендатором. Беднейшие домохозяева уже не имеют возможности точно исполнять денежные арендные договоры и принуждены переходить к наиболее невыгодным видам арендных сделок. Боязнь ответственности за беднейших внушает более состоятельным нежелание вступать в сделку с собственниками земли в союзе с первыми. В результате получается упадок более выгодной арендной формы—аренды мирской, общиной (×).

Вышеуказанный схематический процесс крестьянской вненадельной

земельной аренды вполне определяет и ту роль, которая принадлежит в данном случае посреднику-пересдатчику (X).

По вычислениям Крандиевского, считая количество арендуемых участков для 50 губерний Европейской России в 50 миллионов десятин и среднюю плату в 6 рублей, аренда требует ежегодно до 300 миллионов рублей, из которых 75% этой суммы оплачиваются деньгами (т. е до 225 миллионов рублей) и до 75 миллионов рублей оплачивается натурой (скопщиной, испольщиной, отработками и т. д.). Какая значительная часть этих миллионов остается в руках посредников, видно из того, что в среднем за одну только краткосрочную аренду переплачивают 40—60%, тогда как для отдельных местностей, напр., губерний Самарской, Воронежской и некоторых других, барыши пересдатчика колеблются между 50—200%. Но помимо этого, платя дороже пересдатчику за самую землю, крестьянин-арендатор в то же время, в силу необходимости добыть к известному сроку деньги для задатка, достигающего иногда 60% арендной платы, переплачивает баснословные проценты сплошь да рядом тем-же самым пересдатчикам (X).

Но как бы то ни было, получением в аренду участка земли дело не кончается, крестьянину нужно расплатиться с датчиком земли. Продукты летнего хозяйничанья нужно реализировать, их нужно вынести на рынок. Колупаев, требуя обратно выданную „облагодетельствованному“ им крестьянину ссуду, тем самым гонит его на рынок, прекрасно зная, что его рук крестьянин не минует и здесь, зная, что только благодаря рынку для него и является возможность получить с „свободного“ крестьянина, произведенную этим последним сверхстоимость.

Вот эта-то необходимость во что бы то ни стало достать денег, для покрытия денежных расходов своего бюджета, заставляет крестьянина осенью и в первые зимние месяцы наводнять рынки хлебом. Но продавши большую часть своего хлеба осенью, крестьянин поневоле является вынужденным купить его обратно весною. Таким образом в данном случае посредничество возникает не только благодаря тому, что крестьянин, как всякий товаропроизводитель, не имеет возможности найти непосредственного потребителя на весь вывезенный им на рынок хлеб, но и потому, что ему часть проданного хлеба придется весной купить обратно. В последнем случае продажа-купля крестьянского хлеба является не более, как кредитной сделкой. Крестьянин на несколько месяцев закладывает часть или весь свой хлеб своему-же брату богатею, выплачивая ему, как и подобает при всякого рода залоговых операциях, проценты (X).

Огромные потери, которые несет крестьянин при этой операции, станут ясны, если принять во внимание, что средний кредит крестьянам обходится в 60—80%. Эти проценты уплачиваются как при займах, за взятый летом или ранней весной хлеб под работу, так и за разницу осенних и весенних хлебных цен (X).

Упоминая о величине этих потерь, вятский вице-губернатор Ратьков-Рожнов в своем докладе говорит: „на таком обороте крестьяне теряют наверно не меньше того, сколько они в год уплачивают разных повинностей“. Голубев, разработавши этот вопрос особенно тщательно,

приходит к тому же выводу. Он определяет эти потери для 1885 года в 115 миллионов рублей, т.-е. они составляли для того года то же, что составляла тогда подушная подать, оброчная подать и выкупные платежи вместе взятые.

Но реализация продуктов для маломощного крестьянства продажей одного хлеба не ограничивается. Являясь представителем крайне неустойчивого хозяйственного предприятия, способного давать только одни убытки, нуждающегося в постоянном кредите, значительной части крестьянской массы, постоянно приходится пускать в оборот все составные части своего наличного, постоянного капитала. Если идет в оборот хлеб, то его, конечно, не минует и скот, лес, сено и даже навоз, кошки и чумный палый скот. Причины, вызывающие продажу скота осенью и весной, в сущности те-же, что и причины, вызывающие весеннюю и осеннюю продажу хлеба. Погоня за деньгами, совпадающая с ростом крестьянской семьи, принуждая крестьянское хозяйство отчуждать все большее количество хлеба, заставляет крестьянина также и расширять пашню на счет сокращения пастбищ и лугов. Следствием этого стремления распахать все, что можно распахать, до оврагов включительно, и продать все, что можно продать, является необходимость довольствовать скот все меньшим и меньшим количеством кормов. Но так как для каждого крестьянского хозяйства отношение между посевной и кормовой площадью есть величина постоянная, то в конце концов, при неизменном расширении посевной площади, наступает такой момент, когда прокормить лошадь не является никакой возможности (X).

Потеря-же скота, лишая крестьянина его главной рабочей силы, неминуемо приводит его к потере собственного надела и усадебной оседлости (X). Само собою разумеется, что крестьянин, лишенный рабочего скота, нанимающий его у своего односельчанина, в хозяйственном отношении несамостоятелен. И если пашня еще находится в руках такого крестьянина, то тем не менее значительная часть продуктов ее непосредственно попадает в руки тех, благодаря кому явилась возможность обработать и засеять эту пашню, т. е. в руки владельца рабочего скота (X).

При некоторых исключительных обстоятельствах крестьянское население, вследствие падения осенних цен, теряет при продаже скота до 200—300%, переплачивая весной при обратной покупке те же 200—300%.

Аренда земли, вызванная в жизни необходимостью произвести большее количество продуктов, чем то, которое обеспечивало производительность среднего крестьянского двора, вела за собою, как мы видели выше, не повышение экономической правоспособности его, а напротив понижение ее. Арендные цены, вызываемые огромным спросом на землю со стороны крестьянской массы, росли слишком быстро, тогда как большинство крестьян, пользовавшихся арендованными участками, не имея капиталов, не имели поэтому возможности в той же степени увеличивать их производительность. Проценты за взятый в ссуду капитал были слишком высоки, превышая в несколько раз доходность крестьянского хозяйства. Таким образом каждая новая десятина земли, арендованная маломощным крестьянином в кредит,

отличалась лишь одним качеством—превращать этого крестьянина в пролетария, прикрепленного к земле, т.-е. заставляла его переходить от более выгодных к более невыгодным тяжелым арендным сделкам, тем самым разоряя его все сильнее и сильнее. Опускаясь по ступеням хозяйственной несостоятельности все ниже и ниже, разоряющийся крестьянин попадает в конце концов в положение полной хозяйственной необеспеченности. Он еще собственник, хозяин, но, несмотря на это, продолжать хозяйничать для него становится прямо невозможным: у него больше нет живого инвентаря, и если уцелел еще, благодаря тем или иным случайностям, надел, то ему больше ничего не остается, как самому, если не продать, то по крайней мере сдать надел в аренду. На этой почве и выработалась, уже давно отмеченная многими исследователями народной жизни спекуляция крестьянскими надельными землями. „Надельная земля служит в настоящее время предметом обширной спекуляции в южно-русском крестьянском быту". (X).

Это явление далеко не присуще одному югу, его отметили уже многие исследователи, как общее для всей России.

Здесь нельзя впрочем не отметить того факта, что иногда сдача наделов является следствием не только малоземелья. Есть местности, как, например, Николаевский уезд Самарской губернии, где практикуется сдача надельной земли крестьянами, обладающими крупными земельными участками. Это обусловливается тем, что владельцы их находят более выгодным заниматься сторонними неземледельческими промыслами. Капитализм, вторгаясь в деревню, разоряя малоземельного крестьянина, отрывая даже большенадельного крестьянина от его пашни, сосредоточивает эти наделы в отдельных руках меньшей части общинников. Дальнейший процесс дробления и сдачи округленных земельных участков в аренду нуждающимся в них крестьянам будет тот-же, что и описанный нами выше. Как видит читатель, и „собачьи хвосты" разорившихся, и большие наделы многоземельных крестьян, променявших сельскохозяйственный промысел на более выгодные неземледельческие промыслы, неизменно способствуют сосредоточению земли в руках одной, более зажиточной части крестьян, тем самым неизменно создавая все новые и новые условия спекуляции надельной землей, а следовательно и новые условия эксплуатации одних другими. Процесс капитализации промыслов, разоряя одних и заставляя менять доходное хозяйство на еще более доходное, в конце концов неизменно ведет к одной цели—сосредоточению капитала (в данном случае земли) в одних руках (X).

Этой властью капитала с одной стороны и неимением его у огромной массы крестьян и обусловливались самые формы затраты его. Сама жизнь подсказывала, при каких условиях можно было получить максимальные барыши. Капитал в виде чрезвычайно разнообразных кредитных сделок устремился в обмен по той простой причине, что крушение мелких хозяйств, неизбежно связанное с развитием капитализма, дало возможность кулаку-перекупщику получать именно здесь более крупную предпринимательскую прибыль, нежели при затрате его непосредственно в производство, на улучшение сельскохозяйственной культуры, не подвергая его в то же время всем изменчивым влияниям погоды, неурожая и сельскохозяйственного кризиса.

Вот почему „сущность купецко-кулацкого землевладения“ заключается не в измышлении новых способов обработки земли, но лишь в измышлении новых приемов обработки мужика. Восхваляя друг перед другом поле своей деятельности и рисуя выгоды приобретения ими владений, кулаки говорят: „сторона у нас богатая, потому—что народ нищий“.

Выгода пускать землю в оборот, не затрачивая капитала на производство, определила и самый процесс мобилизации как крестьянской, так и дворянской земельной собственности в руки зажиточного крестьянства, сельской буржуазии, и купечества (×). Таким образом, „тот новый предпринимательский капиталистический дух, который стал давать тон всему пореформенному строю, та социальная сила, которая в торговопромышленном мире создала банки, строила железные дороги, улучшала и реформировала способы производства товаров, которая в общественно-политической среде вызывала к жизни прогрессивные учреждения, строила школы и университет“, эта же сила, говорим мы, поспособствовала и переходу земли из рук идеалистов-дворян с их прекрасными маниловскими планами учреждения всяких плодосменов и заведения алгаурских бычков, в руки реалистов-кулаков. Впрочем, ведь явление это далеко не исключительное: Его пережила гораздо раньше Западная Европа и пережила, конечно, в несколько иной форме. И если проявления его были несколько иные, то суть была та же. Те же „выскочки“ из крестьян и купечества приобретали себе поместья древних дворянских родов. Об этом прекрасно знал уже старик Вольтер. „Во многих королевствах,—писал он,—случилось, что освобожденный крепостной, разбогатев... занял место прежних своих господ, обедневших от своей роскоши. Он скупил их земли, принял их фамилии; старинное дворянство было уничтожено...“ И в „королевствах“ Западной Европы, равно как и у нас, земля, во время процесса первоначального накопления, превратившись в орудие эксплуатации значительной части крестьянской массы, являлась средством сосредоточия сверхстоимости в руках вновь народившейся буржуазии. Везде дворянство стремилось разрешить—по совершенно верному замечанию Энгельса—неразрешимую задачу, как прожить в год 30 тысяч, имея доходу лишь 20 тысяч. И неудивительно поэтому, что оно должно было уступить „буржую“, сумевшему воспользоваться окружавшей его крестьянской нуждой, сумевшему воспользоваться вновь народившейся социальной силой—капиталом—для приобщения себе как дворянской, так и большей части крестьянской землицы. Цепь, связывавшая раньше такими крепкими узами барина с мужиком, должна была порваться: ее порвали те вновь создавшиеся условия общественного производства, о которых не имел никакого понятия ни старый дворянин—барин, ни старый общинник—мужик. И если, характеризуя преимущественно отрицательную сторону кулацко-ростовщического капитала, народник начинает кричать о нарождении какого-то „кулацкого строя“, то он забывает, так сказать, прогрессивную роль (в чисто экономическом отношении) того же кулацко-ростовщического капитала. Рисуя способы эксплуатации одной части крестьянской массы кулаками,—способы, которые выросли на почве земельных распорядков современной деревни, народник забывает

те „прогрессивные течения“, о которых с такою любовью распространяется г. В. В.

Ими между прочим и следует об'яснять факты, подобные сообщенным Орловым, что, несмотря на увеличение в Московской губернии в пятилетний промежуток безземельных и бесхозяйственных крестьян на 14 %, „хозяйственное состояние сельского населения Московской губернии вообще улучшилось“, что, между прочим, выразилось и в прибыли рабочего скота.

И действительно, если новые способы обработки мужика гораздо резче бросаются в глаза каждому наблюдателю современной народной жизни, чем прогрессивные способы обработки земли, то обусловливается это прежде всего тем, что до последнего времени первым принадлежало в народной жизни исключительное господство, и что „прогрессивные явления“ появлялись на свет божий очень и очень недавно (×). Наши самобытные экономисты забывают, что если замена негодного наличного крестьянского инвентаря машинным желательна, то она возможна для крестьянина лишь при имении необходимых денег на покупку его, равно как и при обладании посевной площадью известной величины, ибо только при этих условиях приложение машинного инвентаря становится возможным—для малосильной же крестьянской клячи, например, плуг является совершенно не по силам. А все это предполагает процесс округления земельных участков и капиталов уже в достаточной степени закончившимся, вследствие чего и самое „обрабатывание“ крестьянина, по мере завершения этого процесса, становится и более рискованным и менее выгодным, что определяет необходимость затрачивать накопленные в периоде первоначального накопления капиталы в сельско-хозяйственные предприятия, т. е. влечет за собою создание всех тех светлых, прогрессивных явлений, о которых так любят повествовать наши народники, эти заблудшиеся радетели якобы насущных интересов обездоленной части крестьянской массы (×).

Рассмотрев выше те приемы, которыми пользуется наш мелкий крестьянин-собственник ради поддержания существования своей семьи и самого себя, мы не упомянули о тех денежных требованиях, которые пред'являет к каждому такому крестьянину общество, о тех денежных повинностях, которые приходится нести крестьянину-„хлеборобу“ (×). Выше мы видели, что и помимо необходимости реализовать продукты своего хозяйства в деньгах, для уплаты податей, было достаточно причин для того, чтобы среди противоречий, в которые поставлено каждое крестьянское хозяйство, появилась крупная группа кулаков-ростовщиков. Подати до сих пор в наших рассуждениях не играли почти никакой роли, потому что не только ради податей реализует крестьянин продукты своего хозяйства. Реализация эта прежде всего обусловливается общими условиями капиталистического хозяйства, тою властью рынка над продуктом, при которой продукт не может быть потреблен раньше, нежели не побывает в сфере рыночного обращения. В данном случае подать составит лишь часть реализированнаго в деньгах продукта, часть того, что получит каждый крестьянин не только в процессе производства, но и в процессе обмена (×). Вся разница между тою частью реализованных в день-

гах продуктов, которая пойдет на покрытие расхода крестьянского бюджета, и той частью их, которая пойдет на покрытие общественных повинностей и на погашение долга за выкуп земли, заключается исключительно в том, что первые могут быть сокращаемы, причем, как мы уже упоминали, предел этого сокращения определится физиологическим minimum'ом, а вторые с развитием и осложнением общественной организации не только не уменьшаются, но напротив неизменно растут. В России этот рост выразился тем, что тогда как за все 30-летнее царствование Николая I ни одна из главнейших податей, ни подушная, ни оброчная, не была увеличена ни на одну копейку, в царствование Александра II начинается быстрое увеличение всех податей, при чем если можно указать на уменьшение подушных платежей, то не следует забывать, что земские и общественные сборы возросли в то же время втрое и больше. Очевидно и более широкое развитие всякого рода культурных, земских и тому подобных начинаний, не обходится даром нашему податному населению, невольно усиливая и всю ту массу темных явлений, которые неизменно сопутствуют всякой податной системе (×).

Но помимо того, что общественные повинности обладают свойством постоянно расти, другим их неотъемлемым свойством является необходимость выплаты в известный, строго определенный срок. И если теперь, как уже было сказано выше, крестьянин превращает продукты своего хозяйства в деньги не только ради податей, но тем не менее, неимение их, как в известный срок, так и в достаточном количестве, заставляет нашего маломощного крестьянина обращаться к тем своим односельцам, в распоряжении которых имеются эти лишние деньги, и которые, пущенные в кредит, могут пополнить денежный дефицит известной группы крестьян (×).

Переходя к рассмотрению современных условий существования маломощной части крестьянской массы, следует заметить, что, не имея возможности свести свой хозяйственный бюджет без дефицита, она поневоле является недоимочной, хотя нельзя не отметить и того, что одной из главных причин этой недоимочности следует считать несоответствие обложения земельных наделов сравнительно с их доходностью. Это несоответствие являлось настолько ясным даже на первых порах после реформы, что уже Чернышевский, на основании цифровых данных, собранных редакционными комиссиями, показал, что тогда как крепостной крестьянин оброчных вотчин платил оброку с 1 десятины 2 руб. 9 к., после реформы он стал платить 2 руб. 30 коп., получив в то же время на 24% меньший надел. Мы не станем повторять всем известные результаты исследования Янсона по тому же вопросу, упомянем лишь, что, по подсчету, сделанному Николаем—оном, государственные и удельные крестьяне 37 губерний (не считая западных) отчуждали за повинности из чистого дохода, даваемого их наделами, 92,75%, а бывшие помещичьи—198,25% (×). Как бы то ни было, но несоответствие обложения хозяйственного предприятия с его доходностью не могло не укрыться и от глаз членов редакционных комиссий, так как они приняли во внимание, (×) при определении размера крестьянского надела, не только его доходность, но и проблематические выгоды будущих промыслов (×).

Очевидно, что раз, если не все платежи, то хотя бы часть их покрывается из промысловых выгод, то подать уже перелагается с дохода известного хозяйственного предприятия на личный труд его хозяина. Такое переложение имело место для всей группы экономически необеспеченной, маломощной крестьянской массы, для которой поэтому дальнейший рост налогов является все более и более тягостным.

Несомненно, что отмеченный уже нами процесс дифференциации крестьянской массы в этом отношении подливал лишь масло в огонь. Пресловутая круговая порука, проводившая якобы в жизнь общины начала уравнительности, приводила лишь к тому, что „делянка земли и душевой оклад платежей бедняка были равны делянке и окладу богача", что, конечно, способствовало обогащению одних и разорению других.

Помимо того, что для общинны является невозможным уравнять каждую делянку по количеству приносимых ею доходов, что находится, к слову сказать, в прямой зависимости как от величины самого хозяйственного предприятия, так и от затрачиваемого на каждую делянку капитала, круговая порука, всею своею тяжестью падает на беднейшую часть общины и потому, что „богатый, а потому влиятельный в общине крестьянин никогда не оставит без возмещения недоимку, уплаченную им за несостоятельного или неисправного сообщинника" (×). Круговая порука, опасаясь ответственности за неплательщиков, т. е. опасаясь за маломощных своих членов, „признает за каждым двором право отказаться во всякое время от части надела и платежа", причем „снятые с таких дворов наделы наваливаются на более состоятельных к оплате податей, у которых подросли новые работники". Это ведет по необходимости к уплате части податей „спуста", т. е. мир, круговая порука перекладывает уплату податей исключительно на труд своего члена, ибо иначе может пострадать не только крестьянин-недоимщик, но даже „целая община".

Однако, помимо вынужденного платежа „спуста", невыгдность возиться с „душою" для некоторой части крестьян настолько очевидна, что вызывает необходимость прибегать к продаже своих „душ", лишь бы только отделаться от лежащих на них платежей. В общем продажа „душ" обусловливается или тем, что крестьянин, не занимаясь сельским хозяйством, решается уходить на сторону, находя для себя промысловые занятия более выгодными, или вследствие нужды в деньгах и невозможности справиться с своею „душою". Здесь продажа „душ" зависит прежде всего от того, что составные части каждой „души" являются очень ходким товаром, представляя явление столь же обыкновенное, как и скупка всякого продукта. Неудивительно поэтому, что, являясь в некоторых местах очень ходким товаром, эта торговля „душами" дает возможность кулакам наживать на их перепродаже „рубль на рубль" так же хорошо, как и на перепродаже всякого иного ходового товара, на который существует спрос на рынке.

Но помимо этого не следует упускать из вида еще и ту огромную власть, которая принадлежит круговой поруке по отношению к каждому своему, оказавшемуся в силу тех или иных условий недоимочным, члену. Хотя закон не допускает продажи надела, необходимого крестьянского инвентаря и всего того, „что считается неот'ем-

лемою принадлежностью крестьян. хозяйства", тем не менее надел можно „отобрать у неисправного плательщика и сдать в посторонние руки; точно так же, путем личных взысканий с недоимщика, до телесного наказания включительно, можно побудить крестьянина заложить свою корову, свою последнюю лошадь, которая у него впоследствии все равно отберется ростовщиками, ссудившими ему деньги на уплату податей или теми более состоятельными домохозяевами, которые уплатили за него подати в силу круговой поруки".

Здесь уже вполне ясно, что к чему, и почему последняя лошадь отбирается от маломощного крестьянина его сообщинником-богачем. Все различие одного от другого заключается в экономической правоспособности одного и той же экономической неправоспособности другого. Вот это-то разделение членов общины по капиталам и выделяет группу богачей из остальной массы населения общины, для которых „платежная ответственость не составит... и лишнего бремени". Таким образом, по совершенно верному замечанию г. Щербина, „богач, пользовавшийся достаточным количеством душевых наделов, стоял в стороне, а мало обеспеченный землею недоимщик нес на своих плечах все невзгоды круговой ответственности за непосильные платежи". Но, как мы увидим ниже, богач не только не стоял в стороне от всей этой податной борьбы, но принимал в ней довольно таки деятельное участие, приобретая оплачиваемые „спуста" наделы, лошадки и всякую домашнюю рухлядь маломощных недоимщиков. Эта роль богача в судьбе бедняка-недоимщика тем существеннее, что податная система, представляя недоимщика исключительно во власть сельского или волостного схода, особенно передает его всецело во власть богачей, ибо эти богачи держат в своих руках весь мир и управляют миром, разверстывающим платежи по своему усмотрению, конечно, не наперекор своим нуждам и желаниям (×).

Теперь, указав все пути, все те способы, при посредстве которых кулацко-ростовщический капитал овладевает сверхстоимостью и приобретает орудия производства значительной части крестьянской массы, нам остается рассмотреть лишь чисто формальные результаты этого процесса, перейти к рассмотрению самой формы кредитных сделок, посмотреть, какой высоты они достигают, и каковы результаты деятельности тех кредитных учреждений, которые устраиваются ради доставления крестьянам возможности пользоваться дешевым и доступным кредитом.

Являясь результатом нужды, крестьянский кредит преследует помимо целей производительных, целый ряд ближайших целей, вызываемых постоянной „недохваткой" в домашнем обиходе каждой маломощной крестьянской семьи. Одна возможность существования, помимо даже самого факта преобладания потребительного, мелкого кредита, который, к слову сказать, в некоторых местах достигает 94—96% по отношению к кредиту производительному, ясно указывает на экономическую необеспеченность крестьянских хозяйств, прибегающих к нему.

При таких условиях наибольшим доверием пользуются те крестьяне, которые являются наиболее надежными в хозяйственном отношении и кредитуются не ради искусственного поддерживания посто-

янно нарушающегося равновесия в своем хозяйстве, но ради совершенно иных целей, направленных к расширению как своих хозяйственных, так и торгово-промышленных предприятий. Не желая сплошь да рядом растрачивать свой основной капитал, заключающийся в земле и инвентаре, или не желая продавать продукты по слишком низкой цене, более или менее зажиточный крестьянин предпочитает заплатить проценты, лишь бы перехватить где-нибудь деньги, в полной надежде справиться в ближайшем будущем. Помимо этого, та же группа домохозяев, пользуясь, благодаря своим капиталам, затраченным в то или иное хозяйственное предприятие, доверием кредиторов, имея собственное хозяйство, не пойдет к ростовщику в кабалу и всегда имеет возможность, не найдя кредита на месте, воспользоваться им на стороне. Эта возможность избегнуть монополии местного ростовщика-кредитора отражается прежде всего на понижении процентов, получаемых в кредит, сумм.

Вот почему при обзоре крестьянских хозяйств, по степени наделения их землей и скотом, прежде всего бросается в глаза тот факт, что денежный кредит преимущественно развит среди наиболее зажиточной части крестьянской массы и „сильно растет в прямом отношении к зажиточности, определяемой наличностью нескольких лошадей и существованием наемных батраков". С другой стороны, если мы рассмотрим величину долга, падающего на одну десятину, то увидим уже зависимость совершенно иную; в данном случае задолженность достигает своего maximum'а в хозяйствах малоземельной группы (×). Само собою разумеется, что кредит нужды, т. е. наибольшая задолженность или, что то же, наименьшая хозяйственная обеспеченность непосредственно влечет за собою и наибольшее недоверие со стороны заимодавца. Это недоверие и обусловливаемая им невозможность добыть дешевый кредит, плюс наибольшая нужда в нем, и являются основными причинами, вследствие которых малоземельные хозяйства платят и более высокие проценты, нежели хозяйства многоземельные.

Находясь в полной зависимости от степени экономической обеспеченности, т.е. от величины вложенного в хозяйственное предприятие капитала, величина процента в кредитных сделках должна колебаться в той же степени, в какой колеблется экономическая обеспеченность различных крестьянских хозяйств. Начиная с 10%, она достигает в среднем 70% в год, переходит за 100%, достигает нередко 520%—800% 1200% и даже в отдельных случаях 4000% (×).

Нам приходилось уже упоминать, что какова бы то ни была форма кредитной сделки, она всегда обеспечивается со стороны должника каким нибудь имуществом. Имущество санкционирует кредитоспособность маломощного крестьянина, оно его привязывает к месту, общине, где живет и ростовщик, оно заставляет и должника подчиняться юрисдикции волостного суда, в котором ростовщик пользуется влиянием. Но раз имущество обеспечивает ссуду, то кредитную сделку является наиболее удобным замаскировать актом продажи, „дабы при неисправности должника, имущество переходило без излишних формальностей в собственность кредитора". Само собою разумеется, что в данном случае как оценка имущества пишется в за-

продажных записях слишком низко, так и капитальный долг записывается в несколько раз более взятой в кредит ссуды (×).

Такова в общих чертах деятельность кулаков-ростовщиков. Ее крайне неблагоприятный характер, по отношению к мелкому хозяйству маломощного крестьянина, слишком бросался в глаза, чтобы не заставить обратить на себя внимание как прессы, так и земских деятелей. Забывая или, лучше сказать, не желая замечать, что не ростовщик явился причиной крушения многих крестьянских хозяйств, но, напротив того, крушение, разорение их, породило ростовщика,— как пресса, так и земские деятели напали со всей яростью на ростовщика, как ростовщика, позабыв, что он есть плоть от плоти, кость от костей тех общих условий, среди которых очутилась значительная часть крестьянского хозяйства в процессе развития первоначального накопления. Не желая считаться с этими условиями, они тем не менее храбро выступили на борьбу с его последствиями, вздумав бороться с ростовщиком, вытеснять его с арены экономической борьбы тем-же оружием, которым этот последний так сильно бьет маломощных крестьян. Кредиту был противопоставлен кредит. Мы говорим о ссудо-сберегательных товариществах в артелях.

Помимо того, что всякое кредитное учреждение является лишь оружием в руках одной общественной группы в борьбе ее с другими общественными группами (×), самая сумма, вложенная в ссудо-сберегательные товарищества, была настолько незначительная, что никакого существенного изменения в пользовании крестьянской массой ростовщическим кредитом произвести не могла. Во второй половине 80-х годов сумма, ежегодно выдаваемая в ссуду, колебалась между $17^1/_4$ и $18^3/_4$ миллионами, другими словами, на одну крестьянскую душу приходилось 18 коп., а на крестьянскую семью всего лишь 1 руб. ссуды. Само собою разумеется, что подобных размеров ссуда могла оказать незначительное давление на понижение ростовщических процентов, и если оказывала в отдельных случаях, то эти отдельные случаи конечно нисколько не влияли на изменение общего характера ростовщических операций. Тем не менее и эти 18 копеек сплошь да рядом не попадают в руки маломощных крестьян по той простой причине, что подобного рода ссуда, как ссуда убыточно-хозяйственному предприятию, превращала бы все дело ссудо-сберегательных товариществ в предприятие убыточное, филантропическое, Такого рода филантропию не потерпят никогда ни пайщики ссудо-сберегательных учреждений, ни те общественные учреждения, которые субсидируют их. Как всякое кредитное учреждение, ссудо-сберегательное товарищество, сельская касса, прежде всего зорко следить за тем, чтобы всякая выданная ссуда рано или поздно была возвращена обратно. Только экономическая обеспеченность крестьянина, взявшего ссуду, гарантирует такой возврат. И здесь следовательно помощь со стороны того или иного кредитного учреждения определяется прежде всего величиной затраченного в хозяйственное предприятие капитала.

Только обладание капиталом известной величины, известной степенью зажитности, хозяйственной самостоятельностью дает крестьянину право на получение ссуды. Достаточно спуститься ниже этой нормы экономической обеспеченности, чтобы для такого крестьянина двери ссудо-сберегательной кассы закрылись навсегда.

Вот почему нельзя не согласиться с мнением относительно того, что всякого рода ссудо-сберегательные кассы „помогают процессу распадения деревенской массы... на более зажиточных и более бедных". Несомненно, что зажиточный крестьянин, пользуясь кредитом кассы, имеет возможность становиться все богаче и богаче, а все те, кто не имеет возможности пользоваться этим кредитом, проигрывают уже по одному тому, что выигрывает его экономический противник, его более состоятельный сосед (X).

Целый ряд экономических причин, расчленивших крестьянскую массу на две группы, тем самым обусловил и их различное общественно-административное положение в деревне. Захватив в свои руки экономическую власть, одна из них естественно получила перевес и в чисто административных общинно-волостных распорядках. Отдельные члены этой группы, являясь наиболее крупными пайщиками касс, в силу своего значения, обыкновенно и попадают в распорядители ссудо-сберегательных товариществ. Обыкновенно они „берут ссуды для коммерческих оборотов: они или отдают их под залог за большие проценты тем же беднякам, или приобретают от них по низкой цене движимость, а иногда и землю". Как видит читатель, общественные деньги, благодаря целому ряду обстоятельств, попадают в руки сельских богачей, которые в свою очередь уже раздают их маломощным крестьянам, нуждающимся в кредите. Общие условия производства, низводя одних на степень некредитоспособных, тем самым заставляют их пользоваться ссудами кредитных учреждений из вторых рук. И в данном случае, следовательно, маломощный крестьянин не в состоянии выскочить из того заколдованного круга, в который ставит его развивающийся рынок и общие условия товарно-капиталистического производства (X).

Помимо этого, закон, позаботившийся о маломощных крестьянах, запретив описывать имущество, от потери которого может пострадать их хозяйство, тем самым сразу перевел значительную часть крестьянского населения в разряд „некредитоспособных", неответственных за исправное выполнение договоров и платежей (X).

То же самое произошло с деятельностью другого кредитного учреждения—крестьянским банком (X).

Не следует забывать, что единственным отличием крестьянского банка от частных банков является отсутствие стремления к получению прибылей, что, конечно, нисколько не лишает его необходимости быть „особенно осторожным в разрешении ссуд" (X)

Прежде всего стремление быть „особенно осторожным в разрешении ссуд", не подвергать существование банка риску недоимочности, привело к тому, что, с одной стороны, банк начал обращать все больше и больше внимания на контингент заемщиков, на их экономическую состоятельность и правоспособность, с другой стороны—появилось требование более высоких доплат. Тогда как в 1883 году доплаты составляли 9,9%, а в 1893 году они уже составляли 35%, т. е. в течение десяти лет они почти учетверились. И если требование доплат вызывалось возраставшей недоимочностью плательщиков и стремлением не рисковать ссудами, недопущением пользоваться ссудами со стороны известной части крестьянского населения, то с другой стороны и сам

банк, взимая слишком высокие проценты, лишь способствовал росту этой недоимочности. Это же стремление избежать по возможности недоимочности заставило банк оказывать предпочтение одиночкам и менее многочисленным товариществам, вследствие того, что сельские общества и более многочисленные товарищества оказывались и более недоимочными. Здесь, следовательно, и сам банк, оберегая себя, выбирал из общей массы заимщиков лиц, наиболее обеспеченных экономически, давая им преимущество перед всеми остальными. Помимо этого, разрешая лишь сделки с большими доплатами, банк заставлял искать эти доплаты на стороне, за те или иные проценты. Несмотря на всю их невыгодность, высота процентов не могла устрашить мелкого крестьянина-собственника, всеми силами стремившегося расширить свою земельную площадь. Из отчетов видно, что крестьяне для получения средств для уплаты занимали деньги по 36—40% годовых—и это еще в лучших случаях (×).

Теперь посмотрим, к чему сводилась для маломощных крестьян, не имеющих возможности внести плату, самая покупка земли. Возьмем один пример: он, как увидит читатель, представляет интерес вследствие целого ряда благоприятных условий, при которых совершалась покупка земли. В 1888 году А. Ф. Самарин продал 6859 десятин пяти сельским обществам в составе 1818 ревизских душ, пожелавших при освобождении получить даровой надел. В 1890 году уже мы видим, что часть земель продается за недоимку. Г. Самарин стал ходатайствовать перед бывшим министром финансов о превращении купчих актов в выкупные. Ходатайство уважено не было. Не прошло еще трех лет, как снова, вследствие недоимок, часть земли назначается в продажу. Таким образом или земля эта попадет в руки кулаков, или „она—пишет г. Самарин—будет куплена мною без торгов, если крестьяне будут просить о том банк... При этом мне придется уплатить около 23 тысяч свыше суммы, мною полученной 7 лет тому назад. Эти 23 тысячи будут в таком случае для меня как бы штрафом за то, что я решился для исправления ошибки 19 февраля, введшей крестьян в пагубное заблуждение, идти тем путем, на который указывало правительство, учреждением крестьянского поземельного банка“.

Как видит читатель, тут было все — и заступничество, ходатайство интеллигента превратить купчие акты в выкупные, тут было всякого рода попустительство со стороны этого интеллигента-продавца, не было у крестьян только денег. Этого „только“ тем не менее было вполне достаточно, чтобы заставить банк продать землю кулакам (×).

Такова великая роль кулацко-ростовщического капитала в экономической жизни России. Через руки сельского кулака-ростовщика проходят сотни миллионов рублей, проходят благодаря тому, что деньга „замутила народную душу“. Этой мути для ростовщика-кулака вполне достаточно, чтобы вылавливать в мутной воде пореформенной сутолоки сотни миллионов рублей.

Этой же возможностью приобщать миллионы, умением и возможностью утилизировать их в дальнейшем, между прочим, и определяется культурное значение кулака-ростовщика во всей современной общественной жизни России.

VI. Переход землевладельцев от барщинного хозяйства к капиталистическому.

(Из работы В. Ильина: „Развитие капитализма в России“ См. т. III. Собр. соч. Н. Ленина. М. и П. 1923 г. стр. 142—190).

Основные черты барщинного хозяйства.

За исходный пункт при рассмотрении современной системы помещичьего хозяйства необходимо взять тот строй этого хозяйства, который господствовал в эпоху крепостного права. Сущность тогдашней хозяйственной системы состояла в том, что вся земля данной единицы земельного хозяйства, т. е. данной вотчины, разделялась на барскую и крестьянскую; последняя отдавалась в надел крестьянам, которые (получая сверх того и другие средства производства—например, лес, иногда скот и т. п.) своим трудом и своим инвентарем обрабатывали ее, получая с нее свое содержание. Продукт этого труда крестьян представлял из себя необходимый продукт по терминологии теоретической политической экономии; необходимый — для крестьян, как дающий им средства к жизни, для помещика, как дающий ему рабочие руки; совершенно точно так же, как продукт, возмещающий переменную часть стоимости капитала, является необходимым продуктом в капиталистическом обществе. Прибавочный же труд крестьян состоял в обработке ими тем же инвентарем помещичьей земли; продукт этого труда шел в пользу помещика. Прибавочный труд отделялся здесь, следовательно, пространственно от необходимого: на помещика обрабатывали барскую землю, на себя—свои наделы, на помещика работали одни дни недели, на себя—другие. „Надел“ крестьянина служил, таким образом, в этом хозяйстве как бы натуральной заработной платой (выражаясь применительно к современным понятиям), или средством обеспечения помещика рабочими руками. „Собственное“ хозяйство крестьян на своем наделе было условием помещичьего хозяйства, имело целью „обеспечение“ не крестьянина—средствами к жизни, а помещика—рабочими руками.

Эту систему хозяйства мы и называем барщинным хозяйством. Очевидно, что ее преобладание предполагало следующие необходимые условия: во-первых, господство натурального хозяйства. Крепостное поместье должно было представлять из себя самодовлеющее, замкнутое целое, находящееся в очень слабой связи с остальным миром. Производство хлеба помещиками на продажу, особенно развившееся в последнее время существования крепостного права, было уже предвестником распадения старого режима. Во-вторых, для такого хозяйства необходимо, чтобы непосредственный производитель был наделен средствами производства вообще и землею в частности; мало того—чтобы он был прикреплен к земле, так как иначе помещику не гарантированы рабочие руки. Следовательно, способы получения прибавочного продукта при барщинном и при капиталистическом хозяйствах диаметрально противоположны друг другу: первый основана

наделении производителя землей, второй—на освобождении производителя от земли. В-третьих, условием такой системы хозяйства является личная зависимость крестьянина от помещика. Если бы помещик не имел прямой власти над личностью крестьянина, то он не мог бы заставить работать на себя человека, наделенного землей и ведущего свое хозяйство. Необходимо, следовательно, „вне-экономическое принуждение", как говорит Маркс, характеризуя этот хозяйственный режим (подводимый им (×) под категорию отработочной ренты. „Das Kapital", III, 2, 324). Формы и степени этого принуждения могут быть самые различные, начиная от крепостного состояния и кончая сословной неполноправностью крестьянина. Наконец, в-четвертых, условием и следствием описываемой системы хозяйства было крайне низкое и рутинное состояние техники, ибо ведение хозяйства было в руках мелких крестьян, задавленных нуждой, приниженных личной зависимостью и умственной темнотой.

Соединение барщинной системы хозяйства с капиталистической.

Барщинная система хозяйства была подорвана отменой крепостного права. Подорваны были все главные основания этой системы: натуральное хозяйство, замкнутость и самодовлеющий характер помещичьей вотчины, тесная связь между ее отдельными элементами, власть помещика над крестьянами. Крестьянское хозяйство отделялось от помещичьего; крестьянину предстояло выкупить свою землю в полную собственность, помещику—перейти к капиталистической системе хозяйства, покоящейся, как было сейчас замечено, на диаметрально противопожных основаниях. Но подобный переход к совершенно иной системе не мог, конечно, произойти сразу,—не мог по двум различным причинам. Во-первых, не было еще на лицо тех условий, которые требуются для капиталистического производства. Требовался класс людей, привыкших к работе по найму, требовалась замена крестьянского инвентаря помещичьим; требовалась организация земледелия как и всякого другого торгово-промышленного предприятия, а не как господского дела. Все эти условия могли сложиться лишь постепенно, и попытки некоторых помещиков в первое время после реформы выписать себе из за-границы заграничные машины и даже заграничных рабочих не могли не окончиться полным фиаско. Другая причина того, почему невозможен был сразу переход к капиталистической постановке дела, состояла в том, что старая, барщинная система хозяйства была лишь подорвана, но не уничтожена окончательно. Крестьянское хозяйство не было вполне отделено от хозяйства помещиков, так как в руках последних остались весьма существенные части крестьянских наделов: „отрезные земли": леса, луга, водопои, выгоны и пр. Без этих земель (или сервитутов) крестьяне совершенно не в состоянии были вести самостоятельного хозяйства, и помещики имели, таким образом, возможность продолжать старую систему хозяйства в форме отработков. Возможность „вне-экономического принуждения" тоже оставалась: временно-обязанное состояние, круговая порука, телесное наказание крестьянина, отдача его на общественные работы и т. д.

Итак, капиталистическое хозяйство не могло сразу возникнуть, барщинное хозяйство не могло сразу исчезнуть. Единственно возможной системой хозяйства была, следовательно, переходная система, — система, соединявшая в себе черты и барщинной, и капиталистической системы. И действительно, переформенный строй хозяйства помещиков характеризуется именно этими чертами. При всем бесконечном разнообразии форм, свойственном переходной эпохе, экономическая организация современного помещичьего хозяйства сводится к двум основным системам в самых различных сочетаниях, именно к системе отработочной и капиталистической. Первая состоит в обработке земли инвентарем окрестных крестьян, при чем форма платы не изменяет сущности этой системы (будет ли это плата деньгами, как при издельном найме, или плата продуктом, как при испольщине, или плата землей или угодьями, как при отработках в узком смысле слова). Это—прямое переживание барщинного хозяйства, и данная выше экономическая характеристика последнего приложима к отработочной системе почти целиком (единственное исключение то, что при одной из форм отработочной системы отпадает одно из условий барщинного хозяйства: именно, при издельном найме вместо натуральной оплаты труда мы видим денежную). Капиталистическая система состоит в найме рабочих (годовых, сроковых, поденных и пр.), обрабатывающих землю инвентарем владельца. Названные системы переплетаются в действительности самым разнообразным и причудливым образом: в массе помещичьих имений соединяются обе системы, применяемые по отношению к различным хозяйственным работам. Вполне естестественно, что соединение столь разнородных и даже противоположных систем хозяйства ведет в действительной жизни к целому ряду самых глубоких и сложных конфликтов и противоречий, что под давлением этих противоречий целый ряд хозяев терпит крушение и т. д. Все это—явления, свойственные всякой переходной эпохе.

Если мы зададимся вопросом о сравнительной распространенности обоих систем, то придется сказать прежде всего, что точных статистических данных по этому вопросу нет, да и вряд ли бы они могли быть собраны: для этого потребовался бы учет не только всех имений, но и всех хозяйственных операций во всех имениях. Данные имеются лишь приблизительные, в виде общей характеристики отдельных местностей по преобладанию той или другой системы. (×). Сопоставляем эти данные в виде таблички, дополняя ее сведениями о размерах посева на частно-владельческих землях в 1883-1887 гг. [1]) (×):

[1]) Из 50 губерний Евр. России исключены Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Вятская, Пермская, Оренбургская и Астраханская, в которых в 1883-1887 гг. было всего 562 тыс. дес. посева на владельческих землях из всего числа 16.427 тыс. дес. этого рода посевов в Евр. России. В I-ю группу вошли следующие губернии: 3 прибалтийские, 4 западные (Ковенская, Виленская, Гродненская, Минская), 3 юго-западных (Киевская, Волынская, Подольская), 5 южных (Херсонская, Таврическая, Бессарабская, Екатеринославская, Донская), 1 юго-восточная (Саратовская), затем Петербургская, Московская и Ярославская. Во II-ю группу: Витебская, Могилевская, Смоленская, Калужская, Воронежская, Полтавская Харьковская. В III-ю группу вошли остальные губернии. Для большей точности следовало бы вычесть из всего посева на частновладельческих землях посев, принадлежащий арендаторам, но данных такого рода не имеется. Заметим, что подобное исправление вряд ли изменило бы наш вывод о преобладании капиталистической системы, так как в черноземной полосе арендуется большая доля владельческих пашен, а в губерниях этой полосы преобладает отработочная система.

Группы губерний по преобладающей системе хозяйства у земледельцев.	в черноземной полосе.	в нечерноземной полосе.	ВСЕГО.	Количество посевов всех хлебов и картофеля на частновладельч. землях (тыс. дес.).
I. Губернии с преобладанием капиталистической системы. .	9	10	19	7.407
II. Губернии с преобладанием смешанной системы . .	3	4	7	2.222
III. Губернии с преобладанием отработочной системы .	12	5	17	6.281
Всего	24	19	43	15.910

Итак, если в чисто русских губерниях преобладают отработки, то вообще по Евр. России капиталистическая система помещичьего хозяйства должна быть признана в настоящее время преобладающей. При этом наша таблица выражает это преобладание далеко не полно, ибо в I-ой группе губерний есть такие, в которых отработки совершенно не применяются (прибалтийские, например), тогда как в III-й группе нет ни одной губернии, вероятно, даже ни одного ведущего свое хозяйство имения, в котором бы не применялась хотя отчасти капиталистическая система (×).

Характеристика отработочной системы.

Виды отработков, как уже было замечено выше, чрезвычайно разнообразны. Иногда крестьяне за деньги нанимаются отрабатывать своим инвентарем владельческие земли—так называемые „издельный наем“, „подесятинные заработки“, обработка „кругом“ (т. е. одной десятины ярового и одной десятины озимого) и т. п. Иногда крестьяне берут в долг хлеб или деньги, обязываясь отработать либо весь долг, либо проценты по долгу. При этой форме особенно явственно выступает черта, свойственная отработочной системе вообще, именно кабальный, ростовщический характер подобного найма на работу. Иногда крестьяне работают „за потравы“ (т. е. обязываются отработать установленный законом штраф за потраву), работают просто „из чести“ ( )—т. е. даром, за одно угощение, чтобы не лишиться других „заработков“ от землевладельца. Наконец, очень распространены отработки за землю, либо в форме испольщины, либо в прямой форме работы за сданную крестьянам землю, угодья и прочее.

Очень часто при этом плата за арендуемую землю принимает самые разнообразные формы, которые иногда даже соединяются вместе, так что рядом с денежной платой фигурирует и плата продуктом и „отработки“. (×) Отработки „обнимают собой весь цикл работ деревенского обихода. Посредством отработков производятся все сельско-хозяйственные операции по обработке полей и уборке хлеба и сена, запасаются дровами, перевозят грузы“, чинят крыши и трубы, обязываются доставлять кур и яйца. Исследователь Гдовского уезда

С.-Петербургской губернии справедливо говорит, что встречающиеся виды отработков носят „прежний дореформенный барщинный характер“ [1]).

Особенно интересна форма отработков за землю—так называемых отработочных и натуральных аренд (×). Здесь мы видим „аренду“, которая представляет из себя простое переживание барщинного хозяйства и которая переходит иногда незаметно в капиталистическую систему обеспечивать имение сельскими рабочими, посредством наделения их кусочками земли (×).

Переходим к вопросу об оплате труда при отработках.

Данные из различных источников единогласно свидетельствуют о том, что оплата труда при отработочном и кабальном найме бывает всегда более низкая, чем при капиталистическом „вольном“ найме. Во 1-х, это доказывается тем, что натуральные аренды, т. е. отработочные и испольные (выражающие, как мы сейчас видели, лишь отработочный и кабальный наем), по общему правилу везде дороже, чем денежные, и притом значительно дороже, иногда вдвое. Во 2-х, натуральные аренды развиты всего сильнее в беднейших группах крестьян. Это—аренды из нужды, „аренды“ крестьянина, который уже не в силах сопротивляться превращению его таким образом в сельско-хозяйственного наемного рабочего. Состоятельные крестьяне стараются снимать землю за деньги. „Наниматель пользуется малейшей возможностью вносить арендную сумму деньгами и тем удешевить стоимость пользования чужой землей“—и не только удешевить стоимость аренды, добавим от себя, но также и избавиться от кабального найма. В Ростовском-на-Дону уезде был констатирован даже такой замечательный факт, как переход от денежной аренды к скопщине по мере увеличения арендных цен, несмотря на уменьшение доли крестьян в скопщине. Значение натуральных аренд, которые окончательно разоряют крестьянина и превращают его в сельского батрака, иллюстрируется этим фактом вполне наглядно. В 3-х, прямое сравнение цен на труд при отработочном и капиталистическом „вольном“ найме показывает более высокий уровень последних (×).

Итак, при отработках (все равно, как и при кабальном найме, соединенном с ростовщичеством) цены на труд оказываются обыкновенно более чем в два раза ниже сравнительно с капиталистическим наймом. Так как отработки может брать на себя только местный и при том непременно „обеспеченный наделом“ крестьянин, то этот факт громадного понижения платы ясно указывает на значение надела, как натуральной заработной платы. Надел в подобных случаях продолжает и в настоящее время служить средством „обеспечить“ землевладельцу дешевые рабочие руки. Но различие между вольной

---

[1]) Замечательно, что все гигантское разнообразие различных форм отработков в России, различных форм аренды со всяческими доплатами и проч.—всецело исчерпывается теми основными формами до-капиталистических порядков в земледелии, которые установил Маркс в 47-й главе III-го тома „Капитала“ (×). Этих основных форм три: 1) отработочная рента, 2) рента продуктами или натуральная рента и 3) денежная рента. Вполне естественно поэтому, что Маркс хотел взять именно русские данные для иллюстрации отдела о поземельной ренте.

и „полусвободной“ работой далеко не исчерпывается различием в плате. Громадную важность имеет также то обстоятельство, что последний вид работ всегда предполагает личную зависимость нанимающегося от нанимателя, предполагает всегда большее или меньшее сохранение „вне-экономического принуждения“.

Энгельгардт очень метко говорит, что раздача денег под отработки об'ясняется наибольшей обеспеченностью таких долгов: по исполнительному листу с крестьянина взыскать трудно, „работу же, на которую крестьянин обязался, начальство заставит его выполнить, хотя бы у него свой хлеб оставался несжатым“ (X).

Соединение отработочной и капиталистической системы делает современный строй помещичьего хозяйства чрезвычайно похожим по экономической организации на тот строй, который преобладал в нашей текстильной индустрии до появления крупной машинной индустрии. Там часть операций купец производил своими орудиями и наемными рабочими (снование пряжи, окраска и отделка тканей и пр.), а часть орудиями крестьян-кустарей, работавших на него из его материала; здесь часть операций исполняется наемными рабочими, употребляющими инвентарь владельца, часть—трудом и инвентарем крестьян, работающих на чужой земле. Там с промышленным капиталом соединялся торговый, и над кустарем тяготела, кроме капитала, кабала, посредничество мастерков, truck-system и пр.; здесь точно так же с промышленным капиталом соединяется торговый и ростовщический со всяческими формами понижения платы и усиления личной зависимости производителя. Там переходная система держалась веками, основываясь на ручной примитивной технике, и была сломана в каких-нибудь три десятилетия крупной машинной индустрией; здесь отработки держатся едва ли не с начала Руси (землевладельцы кабалили смердов еще во времена Русской Правды), увековечивая рутинную технику, и начинают быстро уступать место капитализму только в пореформенную эпоху. И там и здесь старая система означает лишь застой в формах производства (а следовательно и во всех общественных отношениях) и господство азиатчины. И там и здесь новые, капиталистические формы хозяйства являются крупным прогрессом, несмотря на все свойственные им противоречия.

Падение отработочной системы.

Спрашивается теперь, в каком отношении стоит отработочная система к пореформенной экономике России?

Прежде всего, рост товарного хозяйства не мирится с отработочной системой, так как эта система основана на натуральном хозяйстве, на неподвижной технике, на неразрывной связи помещика и крестьянина. Поэтому эта система в полном виде совершенно неосуществима, и каждый шаг в развитии товарного хозяйства и торгового земледелия подрывает условия ее осуществимости.

Затем надо принять во внимание следующее обстоятельство.

Из изложенного выше вытекает, что отработки в современном помещичьем хозяйстве следовало бы разделить на два вида: 1) отра-

ботки, которые может исполнить только крестьянин-хозяин, имеющий рабочий скот и инвентарь (например, обработка „круговой“ десятины вспашка и пр.), и 2) отработки, которые может исполнить и сельский пролетарий, не имеющий никакого инвентаря (например, жать, косить, молотить и т. п.). Очевидно, что как для крестьянского, так и для помещичьего хозяйства отработки первого и второго вида имеют противоположное значение, и что последние отработки составляют прямой переход к капитализму, сливаясь с ним рядом совершенно неуловимых переходов. Обыкновенно в нашей литературе говорят об отработках вообще, не делая этого различия. Между тем в процессе вытеснения отработков капитализмом перенесение центра тяжести с отработков первого вида на отработки второго вида имеет громадное значение (×). Громадная убыль числа лошадей у крестьян и увеличение числа безлошадных дворов под влиянием неурожаев 90-х годов не могло не оказать сильного влияния на ускорение этого процесса вытеснения отработочной системы—капиталистическою.

Наконец, как на главнейшую причину падения отработочной системы, следует указать на разложение крестьянства. Связь отработков (первого вида) именно с средней группой крестьянства ясна a priori,—как мы уже отметили выше,—и может быт доказана данными земской статистики (×).

Чем дальше идет падение натурального хозяйства и среднего крестьянства, тем сильнее отработки должны быть оттесняемы капитализмом. Зажиточное крестьянство, естественно, не может служить основанием для системы отработков, так как только крайняя нужда заставляет браться за наихудше оплачиваемые и разорительные для его хозяйства работы. Но и сельский пролетариат равным образом не годится для отработочной системы, хотя уже по другой причине: не имея никакого хозяйства или имея ничтожный клочок земли, сельский пролетарий не так привязан к нему, как „средний“ крестьянин, и вследствие этого ему гораздо легче уйти на сторону и наняться на „вольных“ условиях, т. е. за более высокую плату и без всякой кабалы. Отсюда—повсеместное недовольство наших аграриев против ухода крестьян в города и на „сторонние заработки“ вообще; отсюда их жалобы на то, что крестьяне „мало привязаны“ (×). Развитие чисто-капиталистической наемной работы подрывает под корень систему отработков (×). Общие и массовые данные, неопровержимо доказывающие наличность этого вытеснения, относятся к употреблению машин в сельском хозяйстве и к употреблению вольнонаемного труда (×).

Употребление машин в сельском хозяйстве.

Пореформенная эпоха делится на четыре периода по развитию сельско-хозяйственного машиностроения и употребления машин в сельском хозяйстве. Первый период охватывает последние годы перед крестьянской реформой и первые годы последней. Помещики бросились было покупать заграничные машины, чтобы обойтись без „дарового“ труда крепостных и устранить затруднения по найму вольных рабочих. Попытка эта кончилась, разумеется, неудачей; горячка скоро

остыла, и с 1863—1864 гг. спрос на заграничные машины упал. С конца 70-х годов начался второй период, продолжавшийся до 1885 г. Этот период характеризуется чрезвычайно правильным и чрезвычайно быстрым ростом привоза машин из за-границы; внутреннее производство возрастает тоже правильно, но медленнее, чем привоз (×).

Третий период—с 1885 г. до начала 90-х годов. Сельско-хозяйственные машины, ввозившиеся до этого времени беспошлинно, облагаются в этом году пошлиной(50 к. золотом с пуда).

Высокая пошлина понижает в громадных размерах ввоз машин, при чем и внутреннее производство развивается медленно под влиянием сельско-хозяйственного кризиса, начало которого относится именно к этому периоду. Наконец, с начала 1890-х годов начинается, видимо, четвертый период, когда опять поднимается ввоз сельско-хозяйственных машин, и особенно быстро растет внутреннее производство их.

Приводим статистические данные, иллюстрирующие изложенное. Средний годовой размер ввоза сельско-хозяйственных машин из за-границы составлял в периоды:

Периоды.	Тысячи пудов.	Тысячи рублей.
1869—1872 годы	259,4	787,9
1873—1876 „	556,3	2.283,9
1877—1880 „	629,5	3.593,7
1881—1884 „	961,8	6.318
1885—1888 „	399,5	2.032
1889—1892 „	509,2	2.596
1893—1896 „	864,8	4.868

О производстве сельско-хозяйственных машин и орудий в России не имеется, к сожалению, таких полных и точных данных. Неудовлетворительность нашей фабрично-заводской статистики, смешение производства машин вообще с производством именно сельско-хозяйственных машин, отсутствие каких бы то ни было твердо установленных правил о разграничении „фабрично-заводского“ и „кустарного“ производства сельско-хозяйственных машин,—все это не дает возможности представить полную картину развития сельско-хозяйственного машиностроения в России. Сводя вместе те данные, которые имеются в вышеназванных источниках, получаем такую картину развития сельско-хозяйственного машиностроения в России:

Производство, привоз и потребление сельско-хозяйственных машин и орудий.

Годы	В царстве Польском.	В 3-х Прибалтийских губ.	В 4-х южн. степ. г.: Донской, Екатерин., Таврич. и Херсонск.	В остальн. губ. Европ. России.	Всего в 50 г. Евр. России и царства Польск.	Привоз из за-границы с.-х. машин.	Потребление с.-х. машин.
	Тысячи рублей.						
1876	646	415	280	988	2.329	1.628	3.987
1879	1.088	433	557	1.752	3.830	4.000	7.830
1890	498	217	2.360	1·971	5.046	2.519	7.565
1894	381	314	6.183	2.567	9.445	5.194	14.639

Из этих данных видно, с какой силой проявляется процесс вытеснения примитивных сельско-хозяйственных орудий улучшенными (и, следовательно, процесс вытеснения примитивных форм хозяйства капитализмом). За 18 лет потребление сельско-хозяйственных машин возросло более, чем в 3½ раза, и произошло это главным образом на счет роста внутреннего производства, которое увеличилось более, чем в 4 раза. Замечательно также передвижение главного центра этого производства с привислинских и прибалтийских губерний на южно-русские степные губернии. Если в 70-х годах главным центром земледельческого капитализма в России были губернии западной окраины, то в 1890-х годах создались еще более выдающиеся районы земледельческого капитализма в чисто русских губерниях. (×)

Приведем несколько более подробные данные о видах и количестве изготовляемых в России с.-х. машин и орудий. Считают, что в 1876 г. производилось 25.835 орудий, в 1877 г.—29.590; в 1878—35.226; в 1879—47.892 с.-х. машины и орудия. Как далеко превзойдены в настоящее время эти цифры, видно из следующих указаний. Плугов в 1879 г. производилось около $14^1/_2$ тысяч, а в 1894 г. 75½ тыс. в год (×).

В производстве молотилок и веялок не замечается такого крутого переворота, потому что оно сравнительно прочно установилось уже давно. Создался даже особый центр „кустарного" производства этих орудий—гор. Сапожок, Рязанской губ., с окрестными селами, и местные представители крестьянской буржуазии нажили себе хорошие денежки на этом „промысле" (×). В производстве жнеек наблюдается особенно быстрое расширение. В 1879 г. их производилось

около 780 шт. в год; в 1893 г., считали, что их продается 7—8 тыс. штук в год, а в 1894—1895 гг. около 27 тыс. штук. В 1895 г., например, завод Д. Гриевза в г. Бердянске, Таврической губ.,—„самый крупный завод в Европе по этому производству“ (×) —произвел 4.464 жнейки. У крестьян Таврической губ. жнейки распространились настолько, что создался даже особый промысел: уборка машинами чужого хлеба.

Однородные данные имеются и о других, менее распространенных земледельческих орудиях. Разбросные сеялки, например, изготовляются уже десятками заводов, а более совершенные рядовые сеялки, изготовлявшиеся в 1893 г. только двумя заводами (×), теперь изготовляются уже семью заводами (×), продукты которых особенно широко распространяются опять-таки по югу России. Применение машин охватывает все отрасли земледельческого производства и все операции по производству отдельных продуктов: в специальных обзорах указывают на распространение веялок, сортировок, зерноочистительных машин (триер), зерносушилок, сенных прессов, льномялок и т. д. В издании Псковской губ. земск. управы: „Добавление к с.-х. отчету за 1898 г.“ (×) констатируется распространение машин, особенно льномялок, в связи с переходом от потребительского к торговому льноводству. Растет число плугов. Отмечается влияние отхода на рост числа с.-х. машин и на повышение заработной платы. В Ставропольской губ. (×), в связи с ростом иммиграции в нее, идет усиленное распространение с.-х. машин. В 1882 г. их считалось 908; в 1891—1893 г. в среднем 20.275; в 1894—1896 г. в среднем—54.874; в 1895 г.—до 64-х тысяч с.-х. орудий и машин.

Растущее употребление машин естественно вызывает спрос и на механические двигатели: на ряду с паровыми машинами, „начинают в последнее время сильно распространяться в наших хозяйствах керосиновые двигатели“ (×), и, несмотря на то, что первый такой двигатель появился за-границей всего 7 лет тому назад,—у нас имеется уже 7 заводов, изготовляющих их. (×)

Если мы вспомним, что 1875—1878 гг. во всей Европейской России считали в сельском хозяйстве только 1.351 локомобиль, а в 1901 г. по неполным сведениям (Свод отчетов фабр. инспект. за 1903 г.) 12.091, в 1902 г.—14.609, в 1903 г.—16.021, в 1904 г.—17.287 с.-х. локомобилей,—то для нас ясно будет, какую гигантскую революцию произвел в нашем земледелии капитал в течение последних двух-трех десятилетий. Большую услугу ускорению этого процесса оказали земства. К началу 1897 года земские склады с.-х. машин и орудий „имелись уже при 11 губернских и 203 уездных земских управах с оборотным капиталом в общем около 1 милл. рубл.“ (×). Главнейшими покупателями орудий земских складов являются казаки и крестьяне: на их долю приходится 70% всех проданных плугов и конных молотилок. Покупателями сеялок и жаток были по преимуществу землевладельцы, и при том крупные, имеющие более 100 дес. земли. (×).

По отчету Екатеринославской губ. земской управы за 1895 г., „распространение улучшенных земледельческих орудий в губернии

идет весьма быстрыми шагами". Например, в Верхнеднепровском уезде считалось:

		1894 г.	1895 г.
Плугов, буккеров и запашников:	у владельцев.	5.220	6.752
„ „ „	у крестьян.	27.271	30.112
Конных молотилок:	у владельцев.	131	290
„ „	у крестьян.	671	838

По данным Московской губернской земской управы, у крестьян Московской губернии имелось в 1895 г. 41.210 плугов, плуги были у 20,2% общего числа домохозяев (×). В Тверской губ., по особому подсчету 1896 г., было 51.266 плугов, что составляет 16,5% к общему числу домохозяев. В Тверском уезде в 1890 г. было только 290 плугов, а в 1896—5. 581 плуг. (×). Можно судить по этому, с какой быстротой идет упрочение и улучшение хозяйства у крестьянской буржуазии.

Значение машин в сельском хозяйстве.

Установив факт в высшей степени быстрого развития сельскохозяйственного машиностроения и употребления машин в русском пореформенном земледелии, мы должны теперь рассмотреть вопрос об общественно-экономическом значении этого явления. Из изложенного выше об экономике крестьянского и помещичьего земледелия вытекают следующие положения: с одной стороны, именно капитализм является фактором, вызывающим и расширяющим употребление машин в сельском хозяйстве; с другой стороны, применение машин к земледелию носит капиталистический характер, т. е. ведет к образованию капиталистических отношений и к дальнейшему развитию их.

Остановимся на первом из этих положений. Мы видели, что отработочная система хозяйства и неразрывно связанное с нею патриархальное крестьянское хозяйство, по самой своей природе, основаны на рутинной технике, на сохранении старинных способов производства. Во внутреннем строе этого хозяйственного режима нет никаких импульсов к преобразованию техники; напротив, замкнутость и изолированность хозяйства, нищета и приниженность зависимого крестьянства исключают возможность введения усовершенствований. В частности, укажем на то, что оплата труда в отработочном хозяйстве гораздо ниже (как мы видели), чем при употреблении вольнонаемного труда; а известно, что низкая заработная плата составляет одно из важнейших препятствий к введению машин. И факты, действительно, говорят нам, что широкое движение, направленное к преобразованию земледельческой техники, началось только в пореформенный период развития товарного хозяйства и капитализма. Созданная капитализмом конкуренция и зависимость земледельца от мирового рынка сделали пре-

образование техники необходимостью, и падение цен на хлеб особенно обострило эту необходимость.

Для пояснения второго положения мы должны рассмотреть особо помещичье и крестьянское хозяйство. Когда помещик заводит машину или улучшенное орудие, он заменяет инвентарь крестьянина (работавшего на него) своим инвентарем; он переходит, следовательно, от отработочной системы хозяйства к капиталистической. Распространение сельско-хозяйственных машин означает вытеснение отработков капитализмом. Возможно, что условием, например, сдачи земли ставятся отработки в форме поденной работы при жатвенной машине, молотилке и пр., но это будут уже отработки второго вида, отработки, превращающие крестьянина в поденщика. Подобные „исключения", следовательно, лишь подтверждают то общее правило, что обзаведение частновладельческих хозяйств улучшенным инвентарем означает превращение кабального („самостоятельного" по народнической терминологии) крестьянина в наемного рабочего,—совершенно точно так же, как приобретение собственных орудий производства скупщиком, раздающим работу на дома, означает превращение кабального „кустаря" в наемного рабочего. Обзаведение помещичьего хозяйства собственным инвентарем ведет неизбежно к подрыву среднего крестьянства, снискивающего себе средства к жизни посредством отработков. Мы уже видели, что отработки это—специфический „промысел" именно среднего крестьянства, инвентарь которого является, следовательно, составной частью не только крестьянского, но и помещичьего хозяйства [1]). Поэтому распространение с.-х. машин и улучшенных орудий и экспроприация крестьянства, это—явления, неразрывно связанные друг с другом. Что распространение улучшенных орудий в крестьянстве имеет такое же значение—это вряд ли требует пояснения после изложенного в предыдущей главе. Систематическое употребление машин в сельском хозяйстве с такой же неумолимостью вытесняет патриархального „среднего" крестьянина, с какой паровой ткацкий станок вытесняет ручного ткача-кустаря.

Результаты применения машин к земледелию подтверждают сказанное, показывая все типические черты капиталистического прогресса со всеми свойственными ему противоречиями. Машины в громадной степени повышают производительность труда в земледелии, которое до современной эпохи оставалось почти совершенно в стороне от хода общественного развития. (×)

Далее, машины ведут к концентрации производства и к применению капиталистической кооперации в земледелии. Введение машин, с одной стороны, требует значительных размеров капитала и потому доступно только крупным хозяевам; с другой стороны, машина окупается только при громадном количестве обрабатываемого продукта;

[1]) Г. В. В. выражает эту истину (что существование среднего крестьянства обусловливается в значительной степени существованием отработочной системы хозяйства у помещиков) следующим оригинальным образом: „владелец, так сказать, участвует в издержках по содержанию его (крестьянина) инвентаря". „Выходит,—справедливо замечает на это г. Санин,—что не рабочий работает на землевладельца, а землевладелец на рабочего". А. Санин: „Несколько замечаний по поводу теории народного производства" в приложении к рус. перев. книги Гурвича". „Экон. полож. рус. деревни", М. 1896, стр. 47.

расширение производства становится необходимостью при введении машин. Распространение жатвенных машин, паровых молотилок и пр. указывает поэтому на концентрацию земледельческого производства,— и тот район русского земледелия, который особенно развил употребление машин (Новороссия), отличается также весьма значительными размерами хозяйства. (×)

Из предыдущего ясно, что машины создают внутренний рынок для капитализма: во 1-х рынок на средства производства (на продукты машиностроительной, горной промышленности и пр. и пр.) и, во 2-х, рынок на рабочую силу. Введение машин, как мы уже видели, ведет к замене отработков вольно-наемным трудом и к созданию батрацких крестьянских хозяйств. Массовое употребление с.-х. машин предполагает существование массы с.-х. наемных рабочих. В местностях с наиболее развитым земледельческим капитализмом этот процесс введения наемного труда на ряду с введением машин перекрещивается другим процессом, именно: вытеснением наемных рабочих машиной. С одной стороны, образование крестьянской буржуазии и переход землевладельцев от отработков к капитализму создают спрос на наемных рабочих; с другой стороны, там, где уже давно хозяйство было основано на наемном труде, машины вытесняют наемных рабочих. Каков общий результат обоих процессов для всей России, т. е. увеличивается ли, или уменьшается число с.-х. наемных рабочих,—об этом нет точных и массовых статистических данных. Не подлежит сомнению, что до сих пор это число увеличивалось (×). Мы полагаем, что и теперь оно продолжает увеличиваться: во 1-х, данные о вытеснении наемных рабочих в земледелии машинами имеются об одной Новороссии, а в других районах капиталистического земледелия (прибалтийский и западный край, восточные окраины, некоторые промышленные губернии) этот процесс не был еще констатирован в широких размерах. Остается еще громадный район с преобладанием отработков, и в этом районе введение машин создает спрос на наемных рабочих. Во 2-х, увеличение интенсивности земледелия (введение корнеплодов, напр.), увеличивает в громадных размерах спрос на наемный труд. Уменьшение абсолютного числа с.-х. наемных рабочих (в противоположность промышленным) должно наступить, конечно, на известной ступени развития капитализма, именно, когда сельское хозяйство всей страны сорганизуется вполне капиталистически, и употребление машин для самых различных операций земледелия сделается всеобщим. (×)

Наемный труд в земледелии.

Мы переходим теперь к главному проявлению земледельческого капитализма—к употреблению вольно-наемного труда. Эта черта пореформенного хозяйства всего сильнее проявилась на южных и восточных окраинах Европейской России, проявилась в том массовом передвижении сельско-хозяйственных наемных рабочих, которое известно под именем „земледельческого отхода“. Поэтому мы приведем сначала данные об этом главном районе земледельческого капитализма в

России, а затем посмотрим и на данные, относящиеся ко всей России. (×)

Главный район прихода земледельческих наемных рабочих— губернии Бессарабская, Херсонская, Таврическая, Екатеринославская, Донская, Самарская, Саратовская (южная часть) и Оренбургская. Мы ограничиваемся Европейской Россией, но необходимо отметить, что движение идет все дальше (особенно в последнее время), охватывая и Северный Кавказ и Уральскую область и т. д. Данные о капиталистическом земледелии в этом районе (районе торгового зернового хозяйства) будут приведены в следующей главе; там же мы укажем и другие местности прихода земледельческих рабочих. Главным районом выхода земледельческих рабочих служат средние черноземные губернии: Казанская, Симбирская, Пензенская, Тамбовская, Рязанская, Тульская, Орловская, Курская, Воронежская, Харьковская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Подольская, Волынская. Таким образом, передвижение рабочих направляется из наиболее заселенных местностей в наименее заселенные, колонизуемые местности;—из местностей, в которых всего сильнее было развито крепостное право, в местности, где оно было всего слабее;—из местностей с наибольшим развитием отработков в местности слабого развития отработков и высокого развития капитализма. Рабочие бегут, следовательно, от „полусвободного“ труда к свободному труду. Было бы ошибкой думать, что это бегство сводится исключительно к передвижению из густо населенных в мало населенные места. Изучение передвижения рабочих (г. С. Короленко, I с.) показало то оригинальное и важное явление, что из многих мест выхода рабочие уходят в таком большом количестве, что в этих местах получается недостаток рабочих, восполняемый приходом рабочих из других мест. Значит, уход рабочих выражает не только стремление населения равномернее распределиться по данной территории, но и стремление рабочих уйти туда, где лучше. Это стремление станет для нас вполне понятным, если мы вспомним, что в районе выхода, районе отработков, заработные платы сельским рабочим особенно низки, а в районе прихода, районе капитализма заработные платы несравненно выше.

Что касается до размера „земледельческого отхода“, то общие данные об этом имеются лишь в названном выше труде г-на С. Короленко, который считает избыток рабочих (сравнительно с местным спросом на них) в 6.360 тыс. чел. во всей Европ. России, в том числе 2.137 тыс. чел. в вышеназванных 15-ти губерниях земледельческого отхода, тогда как в 8-ми губерниях прихода недостаток рабочих определяется им в 2.173 тыс. человек. Несмотря на то, что приемы расчетов г-на С. Короленко далеко не всегда удовлетворительны, его общие выводы (как увидим неоднократно ниже) следует считать приблизительно верными, а число бродячих рабочих не только не преувеличенным, а скорее даже отстающим от действительности (×).

Спрашивается теперь, как велико все число сельских наемных рабочих в Европ. России, и бродячих и оседлых? Единственная, известная нам попытка ответить на этот вопрос сделана в работе г-на Руднева: „Промыслы крестьян Европ. России“ („Сборник Саратовского Земства“, 1894 г., №№ 6 и 11). Эта, чрезвычайно ценная, работа дает

сводку данных земской статистики по 148 уездам в 19-ти губерниях Европ. России. Все число „промышленников“ определилось в 2.798.122 чел. из 5.129.863 работников м. п. (18—60 лет), т. е. в 55% всего числа крестьянских работников. К „сельско-хозяйственным промыслам“ автор отнес только сельско-хозяйственные работы по найму (батраки, поденщики, пастухи, служащие при скотных дворах). Определение процента сельско-хозяйственных рабочих ко всему числу мужчин рабочего возраста по разным губерниям и районам России приводит автора к тому выводу, что в черноземной полосе около 25% всех мужчин работников заняты с.-х. работами по найму, а в нечерноземной—около 10%. Это дает цифру с.-х. рабочих в Евр. России в 3.395 тыс. чел. или, с округлением, в 3½ миллиона человек (Руднев l. c., стр. 448). Это число составляет около 20% всего числа мужчин рабочего возраста) (X).

Оказывается, следовательно, что около пятой доли крестьян перешло в то положение, что их „главнейшее занятие“—наемная работа у зажиточных крестьян и помещиков. Мы видим здесь первую группу тех предпринимателей, которые пред'являют спрос на рабочую силу сельского пролетариата. Это—сельские предприниматели, занимающие „около половины низшей группы крестьянства“. Таким образом, между образованием класса сельских предпринимателей и расширением низшей группы „крестьянства“, т. е. увеличением числа сельских пролетариев, наблюдается полная взаимозависимость. Среди этих сельских предпринимателей видную роль играет крестьянская буржуазия: напр., в 9 уездах Воронежской губ. из всего числа батраков—43,4% нанято крестьянами (Руднев, 434). Если бы мы приняли этот процент за норму для всех сельских рабочих и для всей России, то оказалось бы, что крестьянская буржуазия пред'являет спрос миллиона на полтора с.-х. рабочих. Одно и то же „крестьянство“ и выбрасывает на рынок миллионы рабочих, ищущих нанимателей, и пред'являет внушительный спрос на наемных рабочих.

Значение вольно-наемного труда в земледелии.

Попытаемся теперь обрисовать основные черты новых общественных отношений, складывающихся в земледелии при употреблении вольно-наемного труда, и определить их значение.

С.-х. рабочие, приходящие в такой массе на юг, принадлежат к самым бедным слоям крестьянства. Из рабочих, приходящих в Херсонскую губернию, $^{7}/_{10}$ идут пешком, не имея средств на покупку ж.-д. билетов, „бредут за сотни и тысячи верст вдоль полотна ж. д. и берегов судоходных рек, любуясь красивыми картинами быстро летящих поездов и плавно плывущих пароходов“ (Тезяков, 35). В среднем рабочие берут с собой около 2-х рублей [1]); нередко у них не хватает денег даже на паспорт, и они берут за гривенник месячный

[1]) Деньги на дорогу добываются продажей имущества, даже пожитков, закладом надельной земли, залогом вещей, одежды и пр., даже займом денег под отработки „у священников, помещиков и местных кулаков“. (Шаховской, 55).

билет. Путешествие продолжается дней 10—12, и ноги пешеходов от таких громадных переходов (иногда босиком по холодной весенней грязи) пухнут, покрываются мозолями и ссадинами. Около $^1/_{10}$ рабочих едет на дубах (большие, сколоченные из досок лодки), вмещающие 50—80 человек и набиваемые обыкновенно вплотную. (×) Громадное большинство рабочих имеет надельную землю, но в количестве совершенно ничтожном. „В сущности, ведь,—справедливо замечает г. Тезяков,—все эти тысячи с.-х. рабочих являются безземельными, деревенскими пролетариями, для которых все существование теперь в отхожих промыслах... Обезземеление быстро идет вперед и вместе с тем увеличивает число сельского пролетариата“ (77). Наглядным подтверждением быстроты этого роста служит число рабочих—новичков, т. е. в первый раз идущих наниматься. Таких новичков бывает около 30%. Между прочим, по этой цифре можно судить о быстроте процесса, создающего кадры постоянных земледельческих рабочих.

Массовое передвижение рабочих создало особые формы найма, свойственные высоко-развитому капитализму. На юге и юго-востоке образовалось множество рабочих рынков, где собираются тысячи рабочих, и куда с'езжаются наниматели. Такие рынки приурочиваются часто к городам, промышленным центрам, торговым селениям, к ярмаркам. Промышленный характер центров особенно привлекает рабочих, которые охотно нанимаются и на неземледельческие работы (×).

И действительно, формы найма в этой местности очень оригинальны и весьма характерны для капиталистического земледелия. Все те полу-патриархальные и полу-кабальные формы работы по найму, которые так часты в средне-черноземной полосе,—здесь отпадают. Остаются одни только отношения нанимателей, одна торговая сделка по купле-продаже рабочей силы. Как и всегда при развитых капиталистических отношениях, рабочие предпочитают поденный или понедельный наем, который позволяет им точнее регулировать плату, сообразно со спросом на труд. „Цены устанавливаются для округа каждого базара (верст на 40 кругом) с математической точностью, и испортить цену нанимателям очень трудно, так как приезжий мужик лучше пролежит на рынке или поедет дальше, чем станет на более дешевую плату“ (Шаховской, 104). Само собой разумеется, что сильные колебания цен на труд вызывают бесчисленные нарушения договора,—только не с одной стороны, как уверяют обыкновенно наниматели, а с обеих сторон: „стачка происходит с обеих сторон; рабочие уговариваются, чтоб просить дороже, а наниматели—дать дешевле“. До какой степени открыто царит здесь в отношениях между классами „бессердечный чистоган“, это видно из следующего, например, факта: „опытные наниматели хорошо знают“, что рабочие „поддаются“ только тогда, когда с'едят весь свой хлеб. „Один хозяин рассказывал, что приехавши на базар нанимать рабочих... он стал ходить между их рядами и палкой ощупывал их котомки: у которого хлеб есть, то с тем рабочим и не разговаривает, а уходит с базара, и ждет, пока „не окажутся на базаре пустые котомки“ (из „Сельского Вестника“ 1890 г., № 15, ibid., 107).

Как и при всяком развитом капитализме, наблюдается и здесь,

что мелкий капитал особенно давит рабочего. Крупного нанимателя простой коммерческий расчет заставляет отказаться от мелких прижимок, дающих мало выгоды и грозящих большим убытком при конфликте. Поэтому, например, крупные наниматели (нанимающие по 300—800 рабочих) стараются не отпускать рабочих через неделю и сами устанавливают цены, сообразно со спросом на труд; некоторые вводят даже систему надбавок к плате, при повышении цен на труд в окрестности,—и все свидетельства говорят о том, что эти надбавки с лихвой вознаграждаются лучшей работой и отсутствием столкновений (ibid. 130—132; 73). Напротив, мелкий хозяин не брезгает ничем. „Мужики-хуторяне и немцы-колонисты отбирают себе рабочих „на выбор" платят им на 15—20% дороже, но и сумма работы, которую эти хозяева „выжимают" из рабочих, выше на 50%" (ibid, 116). „Девки" у такого хозяина не знают, как они сами говорят, „ни дня, ни ночи". Колонисты, нанимая косарей, заставляют итти в последней ноге (т. е. подгонять рабочих) своих сыновей посменно, так что сменяющиеся подгоняльщики становятся раза три в день со свежими силами, подгоняя рабочих: „оттого по истощенному виду так легко узнать работавших у немцев-колонистов". Вообще мужики-хуторяне и немцы избегают нанимать рабочих, служивших ранее во владельческих экономиях. „Вы у нас не выдержите", говорят они прямо (ibid.) [1]).

---

[1]) Такими же чертами характеризуют „казаков" Кубанской области: „Понизить цену на рабочие руки казак старается всяческими способами, действуя отдельно и целыми обществами" (sic! жаль что у нас нет более подробных сведений об этой новейшей функции „общины"): „нажимами на пище, работе, при расчетах задержанием паспортов рабочих, постановлением общественных приговоров, которые обязывают отдельных хозяев не нанимать рабочих, под опасением штрафа, выше известной платы и т. п." („Пришлые рабочие на Кубанщине", А. Белобородова в „Сев. Вестн." 1896, февраль, стр. 5).

VII. Развитие фабрично-заводской промышленности с 60-х по 90-е годы XIX века.

(Из „Русской фабрики“ М. И. Туган-Барановского. Т. I. Изд. 3. СПБ. 1907 г. Стр. 307—383).

Несмотря на то, что ликвидация вотчинной фабрики началась задолго до великого дня 19 февраля, уничтожение крепостного права не могло не вызвать временного кризиса в нашей фабричной промышленности. Более всего пострадали те производства, в которых преобладал крепостной труд. Я уже говорил, что поразительно медленное развитие чугуноплавильного и вообще горного дела на Урале непосредственно вызывалось крепостной организацией как частных, так и правительственных заводов в этой области, организацией, доходившей до крайних пределов в смысле стеснения свободы деятельности рабочего. Рабочий, получавший даровой провиант и все содержание от заводской администрации, которая удерживала в повиновении многочисленное рабочее население заводов и понуждала его к труду мерами крайней строгости, совершенно отвык от свободной деятельности и первое время после освобождения совсем потерял голову. Получивши возможность бросить тяжелую заводскую работу, с которой соединялось столько ненавистных воспоминаний в прошлом, рабочие целыми массами бросали заводы и переселялись в другие губернии. Так, напр., из Богословского округа (Пермской губернии) из всего числа населения около 10.000 д. обоего пола ушло около 3-х тысяч взрослых мужчин, т. е. около $^3/_4$ всего мужского рабочего населения. Бывших заводских рабочих так тянуло бросить постылые заводы, что усадьбы, дома и огороды продавались совершенно за бесценок, а иногда и отдавались задаром. С Березовского завода за одно лето ушло до 800 лучших рабочих, с Миасских золотых приисков—около 2.000 семейств и т. д. и т. д. Заводы внезапно лишились очень значительной части рабочих рук, а заменить ушедших рабочих новыми было невозможно, так как населенных мест вблизи не было и страна представляла собой почти необитаемую тайгу. Заработная плата сразу поднялась в несколько раз и все-таки не могла притянуть рабочих на заводы.

Результатом такого положения дел явилось значительное сокращение производства. Многие заводы долгое время не могли оправиться от удара, нанесенного им реформой, а некоторые совсем прекратили действия. Так, Кувшинский завод выплавлял чугуна:

1858 г.	476	т. пудов.
1862 „	313	„ „
1868 „	353	„ „

Верхнетуринский завод в 1858 г. выплавил 457 т. п., а в 1868 г.—256 т. п., Баранчинский в 1858 г.—407 т. п., а в 1868—316 т. п., Нижнетуринский в 1860 г.—150 т. п., а в 1868 г. только 64 т. п., Верхнебаранчинский с 1865 г. совсем прекратил производство. Выплавка чугуна в Уральской области сократилась на многие годы, и вместе с тем сократилась выплавка чугуна во всей России.

Производство чугуна.
(В тысячах пудов).

	Урал.	Вся Россия (включая Финляндию).
1860 г.	14.513	20.468
1861 „	14.226	19.451
1862 „	10.467	15.268
1863 „	11.921	17.027
1865 „	12.329	18.281
1867 „	12.399	17.553

Из этих цифр видно, что реформа 19-го февраля нанесла тяжелый удар нашей железоделательной промышленности; уральское горное хозяйство, благодаря усиленной правительственной опеке и чрезвычайному применению принудительного труда, оказалось почти неспособным перейти к новым началам производства с вольно-наемными рабочими (X).

Фабричная промышленность гораздо менее пострадала от реформы, благодаря тому, что крепостной труд на фабрике уже естественно отмирал к эпохе юридической его отмены. Только на фабриках солдатского сукна, принадлежащих, как и раньше, преимущественно дворянам, крепостной труд находил весьма значительное применение. Упадок старинных посесионных и вотчинных суконных фабрик начался задолго до крестьянской реформы. Изменившаяся техника производства требовала свободного рабочего, и фабрики, продолжавшие держаться обязательного труда, не выдерживали конкуренции новых, капиталистических фабрик. Так, в Калужской губернии уже с конца 30-х годов число суконных фабрик стало сокращаться. В 1839 г. в этой губернии было 15 суконных фабрик, из которых 11 принадлежали дворянам. В 1848 г. в губернии остается только 4 фабрики, причем размеры производства на купеческой фабрике Александрова во много раз превосходили производство всех трех остальных вместе взятых. В 1861 г. в Калужской губернии уже совершенно не остается дворянских фабрик—дворянские фабрики прекращают действие, а вместо них возникает несколько купеческих фабрик.

В Симбирской губернии до 60-х годов значительно преобладали вотчинные дворянские фабрики, основанные на крепостном труде. В 1860 г. из 30 суконных фабрик этой губернии только две принадлежали купцам. Крестьянская реформа нанесла тяжелый удар вотчинным фабрикам этой губернии. К концу 60-х годов в руках дворян осталось только 8 фабрик, на 10 дворянских фабриках производство совсем приостановилось, другие были отданы в аренду купцам, за то число купеческих фабрик возросло до 10-ти.

Воронежская губерния в конце XVIII и начале XIX века была одним из важных центров фабричного производства сукна в России. В это время Воронеж был фабричным городом. По словам местного исследователя Веселовского, „в ту пору Воронеж, по справедливости, можно было считать городом фабричным. Вся его предгорная часть была усеяна фабричными постройками“. К 1856 г. в Воронеже осталось только три фабрики, а к середине 60 х годов—ни одной. Воронежское суконное производство, основанное всецело на принудительном труде,

пало, главным образом, вследствие конкуренции московских купеческих фабрик, работавших вольно-наемными рабочими. Освобождение крестьян нанесло только последний удар падающей промышленности.

Такую же картину постепенного падения представляет и фабричное суконное производство города Казани (X). В городе Казани существовала еще со времени Петра огромная поссесионная фабрика, первоначально принадлежавшая Микляеву, а затем перешедшая к Осокину. Эта фабрика начинает быстро падать с 40-х годов: в 30-х годах на ней работало около 1.000 человек, в половине 50-х—450 человек, а в 60-х—260 человек. Ценность производства сократилась в такой же пропорции.

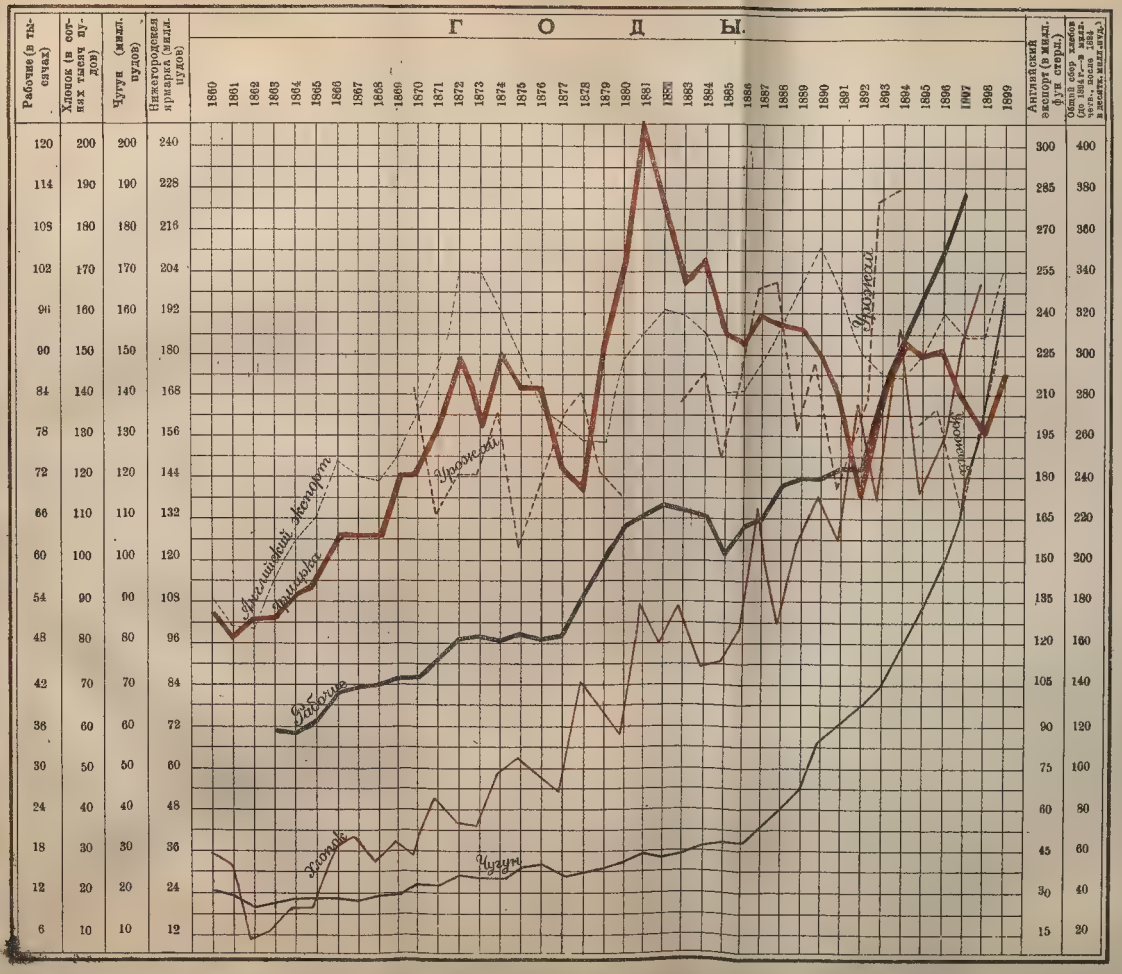
Точно так же совершенно упали помещичьи суконные фабрики в Орловской и Смоленской губерниях и значительно сократились в числе в Пензенской, Тамбовской, Рязанской, Самарской, Полтавской, Харьковской и Подольской губерниях. На ряду с этим появились новые суконные фабрики, принадлежавшие купцам. Главным центром суконного производства стала Москва и Московская губерния. В Московской губернии было издавна много вотчинных и поссесионных фабрик, но на ряду с этим в этой местности еще в крепостную эпоху возникло много крупных капиталистических фабрик, которые еще задолго до реформы начали вытеснять старинные фабрики с принудительным трудом. Реформа только ускорила гибель старинных фабрик, не сумевших приспособиться к новым условиям производства. Вообще суконное производство несомненно испытало сильное потрясение от крестьянской реформы, как можно видеть из нижеследующих цифр:

Года.	Число фабрик.	Число рабочих.	Ежегодное производство на сумму (в тысяч. рубл.).
1860	432	94.721	26.204
1863	365	71.797	26.083

На другие отрасли промышленности освобождение крестьян повлияло слабее, так как в них в меньшей степени применялся крепостной труд. Тяжелый кризис хлопчато-бумажного производства в первой половине 60-х годов был вызван не крестьянской реформой, а совершенно иной причиной—огромным сокращением подвоза хлопка, благодаря американской междоусобной войне. И у нас, как и в других странах, хлопок и бумажная пряжа неимоверно возросли в цене, а цена тканей поднялась гораздо меньше.

Затруднения, пережитые хлопчато-бумажной промышленностью, повели к временному оживлению льняной. В течение первой половины 60-х годов возникает целый ряд крупных механических льнопрядилен (к 1866 г. таких льно-прядилен считалось 20); вместе с тем расширилось производство полотняных фабрик. По словам Л. Весина, „наступление американской междоусобной войны и польского восстания вывело наши льно-прядильни из критичекого положения, в котором они находились“.

На шелковую промышленность крестьянская реформа оказала очень незначительное действие, так как в этой области работа и до реформы производилась почти исключительно вольно-наемными.


Рабочие (в тысячах)
Хлопок (в сотнях тысяч пудов)
Чугун (милл. пудов)
Нижегородская ярмарка (милл. пудов)
Г О Д Ы.
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
Английский экспорт (в милл. фунт. стерл.)
Общий экспорт (до 1894 г. — в милл. чеч., после 1894 в милл. золотых)
120 200 200 240 300 400
114 190 190 228 285 380
108 180 180 216 270 360
102 170 170 204 255 340
96 160 160 192 240 320
90 150 150 180 225 300
84 140 140 168 210 280
78 130 130 156 195 260
72 120 120 144 180 240
66 110 110 132 165 220
60 100 100 120 150 200
54 90 90 108 135 180
48 80 80 96 120 160
42 70 70 84 105 140
36 60 60 72 90 120
30 50 50 60 75 100
24 40 40 48 60 80
18 30 30 36 45 60
12 20 20 24 30 40
6 10 10 12 15 20
Английский экспорт
Общий экспорт
Рабочие
Хлопок
Чугун
Ярмарка
Хлопок

	Привозв Российскую империю по европейской границе шелка сырца, пряденого и крученого (в пудах).
1859	7.319
1860	6.501
1863	7.129

Перейдем теперь к рассмотрению развития нашей промышленности в пореформенное время. Общее представление о ходе этого развития можно получить из нижеследующей таблицы и диаграммы:

Годы.	Количество иностран. и сред.-азиатск. хлопка, поступившего на внутреннее потребление Рос. империи (кроме Финляндии) в тыс. пуд.	Количество иностран. бумажной пряжи, поступившей на внутреннее потребление Рос. имп. (кроме Финляндии) в тыс. пуд.	Количество чугуна, выплавляемого в Рос. империи (включая Финляндию) в тыс. п.	Число (в тысячах) рабочих на фабрик. и заводах, не обложен. акцизом, в 50 губ. Европ. России.	Общий сбор хлеб. 50 губ. Европ. Рос. до 1894 г. в миллион. четвертей, после 1894 г. в десятках мил. пуд.	Ценность привоза товаров на Нижегородск. ярмарку в мил. руб.
1860	2.840	145	20.468	—	—	105
1861	2.643	142	19.451	—	—	98
1862	850	97	15.268	—	—	103
1863	1.083	68	17.027	358	—	103
1864	1.637	105	18.301	355	—	111
1865	1.591	117	18.281	381	—	113
1866	2.952	130	18.568	397	—	127
1867	3.298	184	17.553	407	—	128
1868	2.556	160	19.807	414	—	126
1869	3.208	171	20.104	428	—	144
1870	2.801	254	21.949	442	280	143
1871	4.165	293	21.933	463	217	158
1872	3.606	319	24.375	492	240	178
1873	3.530	323	23.484	498	240	158
1874	4.666	343	23.213	487	270	180
1875	5.216	372	26.061	501	206	170
1876	4.708	340	26.957	491	237	169
1877	4.435	161	24.403	500	269	146
1878	7.183	508	25.476	559	280	142
1879	6.449	881	26.413	608	242	181
1880	5.743	577	27.364	648	229	200
1881	9.076	387	28.662	668	—	246
1882	7.755	361	28.237	682	—	224
1883	8 949	235	29.407	669	276	200
1884	7.373	172	31.106	665	293	206
1885	7.574	180	32.206	616	247	186
1886	8.388	177	32.484	635	289	184
1887	11.257	229	37.389	657	330	193
1888	8.362	281	40.716	707	334	190
1889	10.429	281	45.180	716	261	187
1890	11.483	238	56 560	720	293	181
1891	10.406	164	61.340	738	229	168
1892	13.797	127	65.432	742	266	144
1893	11.327	138	70.141	860	378	167
1894	15.399	148	81.347	—	380	187
1895	11.475	135	88.665	—	268	176
1896	12.861	117	98.951	—	273	177
1897	15.110	127	114.782	1.124	227	165
1898	16.803	165	135.636	—	263	156
1899	—	—	165.156	—	302	173

Теперь я попрошу от читателя немного внимания и терпения. Эта таблица и прилагаемая диаграмма могут дать довольно отчетливое представление о ходе нашего промышленного развития после крестьянской реформы.

Верхняя черная линия на прилагаемой диаграмме выражает собой изменение числа рабочих на фабриках (не обложенных акцизом) в 50 губерниях Европейской России. (×).

Эта кривая обнаруживает три ясно обозначенных колебания. Одна волна достигает своей вершины в 1873 г.; затем следует небольшое падение и число рабочих не растет до 1877 г.; с этого года начинается новое поднятие; в 1882 г. волна достигает апогея. В течение следующих 3 лет число рабочих падает. Следующее поднятие начинается с 1887 г., при чем голод 1891 г., вызывает только легкую приостановку поступательного движения: число рабочих быстро растет, и наиболее значительный рост замечается в последние годы—за 1893 г. и особенно после 1893 г.

Верхняя красная кривая означает собой движение ярмарочной торговли в Нижнем. До половины 80-х годов эта кривая колеблется так же, как и кривая рабочих; начало 70-х и еще более 80-х годов выражается в ней резким поднятием, а половина 70-х и 80-х годов—падением. Две волны выражены гораздо сильнее, чем в кривой рабочих. Совпадение колебаний обеих кривых, полученных совершенно из разных источников, является доказательством того, что колебания эти выражают известную реальность. Как ни неточны цифры рабочих на фабриках и цифры подвоза на Нижегородскую ярмарку за каждый отдельный год, но, взятые за длинный ряд лет, они отражают на себе действительные изменения промышленности.

Начиная с половины 80-х годов, кривая ярмарочной торговли быстро опускается книзу, в то время как кривая рабочих так же быстро растет. Что же это значит? А то, что значение Нижегородской ярмарки в нашем торговом обороте падает. Архаическая форма торговли — ярмарка — сходит со сцены. Капиталистическая Россия усваивает и более культурные, более современные формы торговли. Нижегородская ярмарка перестает быть „всероссийским торжищем", игравшим такую первенствующую роль в торговом механизме прежней России. Обороты ярмарочной торговли достигают своего апогея в 1881 г. и уже без сомнения никогда не достигнут цифры этого года. Падение ярмарочной торговли за последнее десятилетие является одним из выдающихся симптомов быстрого экономического роста России. Ярмарка отмирает вместе с отмиранием наших старинных бытовых экономических форм—„самостоятельного" кустарного производства, общины и проч. Все эти формы гибнут от одной основной причины—преобразования условий транспорта и обмена, и вытекающего отсюда развития промышленного капитализма.

Не одна Нижегородская ярмарка сходит со сцены. Поэзия украинских ярмарок, так ярко описанных Гоголем, также отходит в область прошедшего, вместе со старинным укладом нашей экономической жизни. Ярмарочная торговля издавна процветала в Украине. Полтава, Нежин, Ромны были центрами ярмарочной торговли; мануфактурные товары московского промышленного района, для которого Малороссия

была одним из самых важных рынков, закупались на этих ярмарках местными торговцами и развозились по всей стране. Но уже с 70-х годов старинные украинские ярмарки, вместе со старинными центрами украинской торговли, начинают падать. Параллельно с этим быстро растет новый торговый центр Украины—Харьков. Целый ряд ярмарок переводится в Харьков; ярмарки следуют в нем одна за другой почти в течение всего года.

Сумма проданных товаров (в милл. руб.):

		1868-72 г.	1895 г.
Ромны:	Масляная ярмарка	3,0	0,4
„	Вознесенская „	2,2	0,3
„	Александровск. „	3,6	0,3
Полтава:	Ильинская „	15,0	1,4
Харьков:	Крещенская „	8,5	14,0
	Троицкая „	2,9	1,8
„	Успенская „	2,5	7,0
„	Покровская „	5,3	8,3
Курск:	Коренная „	5,6	0,7
	Всего	48,6	34,2

То же самое отмечается и на всех других ярмарках России, а в том числе и на важнейшей после Нижегородской—Ирбитской.

Года.	Обороты Ирбитской ярмарки.
1887	56 милл. руб.
1889	49 „ „
1891	45 „ „
1893	48 „ „
1894	49 „ „
1895	48 „ „

Чтобы оценить значение всех этих цифр, нужно помнить, что общие размеры торгового оборота России быстро растут, почему, если бы даже сумма ярмарочных оборотов оставалась теперь такой же, как и раньше, это доказывало бы относительное падение ярмарочной торговли. Тем более сильно это падение, если даже абсолютные размеры ярмарочной торговли сокращаются.

Нижняя красная кривая выражает собой количество очищаемого пошлиной иностранного хлопка, а также средне-азиатского. Кроме иностранного и средне-азиатского хлопка, у нас потребляется также закавказский хлопок, в небольших, впрочем, количествах — несколько сот тысяч пудов в год (×).

Легко видеть, что кривая хлопка, в противоположность кривой рабочих, колеблется очень сильно из года в год. Но не нужно забывать, что эта кривая не выражает собой количества действительно переработанного хлопка в данном году, а только очищенного пошлиной или подвезенного. Подвоз должен колебаться гораздо сильнее, чем самая переработка, так как на подвоз сильно влияют многие обстоятельства, мало влияющие на размеры производства, как, напр.,

изменения цены хлопка, изменения пошлины на хлопок и пр. Так, напр., быстрый скачок подвоза хлопка в 1887 г. и следующее затем падение его были вызваны следующей причиной. В 1887 г. была повышена пошлина на заграничный хлопок; торговцы поспешили подвести хлопок в усиленном количестве и очистить его пошлиной, чтобы избегнуть платежа повышенной пошлины, и по этой причине подвоз хлопка в 1888 г. сильно сократился.

Если мы все это будем иметь в виду, то легко заметим, что, в общем, кривая хлопка движется в том же направлении, как и кривые рабочих и ярмарочной торговли до 1886 года. 1876 и 1877 года знаменуются сильным падением подвоза; затем, подвоз начинает быстро расти, и кривая образует зубчатый выступ, соответствующий рабочей волне конца 70-х и начала 80-х годов. Затем идет падение, и только с 1888 г. вновь начинается энергичное повышательное движение, продолжающееся с значительными колебаниями до новейшего времени.

Нижняя черная кривая выражает собой движение выплавки чугуна. Эта кривая мало колеблется. Только крестьянская реформа вызывает глубокое падение ее (×). Затем кривая чугуна почти не движется вверх вплоть до конца 60-х годов. С 70-х годов начинается повышение, но крайне медленное; 1877 год, как и в кривой хлопка, отмечается падением. До 1886 г. продолжается прежнее медленное повышательное движение. В этом году картина резко меняется, Кривая делает огромный скачок вверх и почти вертикально повышается без всяких колебаний до конца рассматриваемого периода.

Движение этих кривых довольно отчетливо воспроизводит историю нашей промышленности в пореформенную эпоху. Очевидно, в развитии нашей промышленности замечались колебания; развитие это имело периодический характер, подобно развитию промышленности других капиталистических стран. Если мы сравним колебания нашей промышленности с колебаниями промышленности, напр., английской, то увидим, что за последнее время эпохи промышленного оживления и застоя совпадают у нас с таковыми же эпохами в Англии. В самом деле, оживление в английской промышлениости замечалось в начале 70-х годов, в конце 70-х и начале 80-х, в конце 80-х и начале 90-х. Эпохи застоя—средина 70-х годов и средина 80-х. Чтобы убедиться в параллелизме колебаний нашей промышленности и английской, достаточно сравнить колебания числа наших рабочих с колебаниями черной пунктирной линии—ценности вывоза продуктов Соединенного королевства (Великобритании и Ирландии).

Параллелизм колебания английского экспорта и фабричных рабочих в России поразителен. Можно было бы подумать, что мы имеем дело в данном случае с кривыми, относящимися к одной и той же стране (×).

Чем же вызываются колебания числа рабочих, занятых на русских фабриках?

Уже из одного того, что они соответствуют английским колебаниям, следует заключить, что причина их не имеет чисто местного характера. У нас обыкновенно думают, что единственным, или по крайней мере, наиболее важным фактором, определяющим состояние нашей промышленности, является „господин урожай“. Это мнение

нашло яркого выразителя в лице, г. Николая—она. Для этого экономиста, видевшего во всей нашей пореформенной промышленной истории только быстрое падение, приближение к какой то фантастической экономической катастрофе, и чуть ли не к всеобщему разрушению, грозным ангелом которого явится всеуничтожающий капитал, урожай является едва ли не единственной причиной „процветания“ нашей промышленности (×).

На чем же основывает г.—он свой тезис, что „процветание промышленности находится в зависимости от урожая“? А вот на чем. Г.—он сравнивает колебания доходов крестьян и землевладельцев от главнейших хлебов, цифры производства товаров и число фабричных рабочих в России за 4 года — 1886—1889. Оказывается, что из этих 4 лет, в течение 3 лет 1886—1888 г. наблюдалось соответствие между колебаниями земледельческих доходов и колебаниями промышленности. В 1889 г. такого соответствия не наблюдалось — крестьянские земледельческие доходы упали более, чем на 20%, и были ниже средней за четырехлетие, а производство товаров в России и число фабричных рабочих возросло и было наибольшим за четырехлетие. И вот эти-то данные, относящиеся всего к четырем годам, из которых можно заключить о чем угодно, но никак не о зависимости состояния промышленности от урожая, являются единственным статистическим обоснованием тезиса г.—она.

Однако оставим г.—она в стороне и вернемся к своей диаграмме.

Красная пунктирная линия на этой диаграмме выражает колебания общего сбора хлебов с 1870 — 1899 г.г. (Напомню, что данные по сбору хлебов до 1894 г. и после него несравнимы, ибо выражены в различных единицах меры). Сравните колебания этой кривой с 3-мя остальными кривыми и скажите, можно ли на основании этого сравнения утверждать, что в России всем вертит урожай? Промышленный застой середины семидесятых годов совпадает скорее с хорошими, чем с дурными урожаями: из 4 лет 1874—1877 г.г. урожай 1874 г. был даже одним из наилучших. Конец 70-х годов был несомненно эпохой оживления нашей промышленности. Было ли это оживление вызвано урожаями? Правда, урожай 1878 г. был очень хорош, но зато урожай 1879 г. был ниже среднего. Время от 1882—1886 г.г. было эпохой депрессии, между тем, только один год (1885) этой эпохи был неурожайным, а 1884 и 1886 годы никак нельзя назвать неурожайными, и все-таки промышленность была в застое. Напротив, неурожайная эпоха начала 90-х годов едва была в силах не надолго приостановить рост общей цифры рабочих и хлопчато-бумажного производства.

Если мы обратимся к кривой выплавки чугуна, то тут мы не заметим уж ровно никакой связи между колебаниями урожая и состоянием производства. Эта кривая вообще колеблется крайне мало и только на самом конце рассматриваемого периода необыкновенно быстро идет кверху. Поразительное развитие чугуноплавильного производства, начиная с 1888 г., очевидно, находится вне всякого влияния урожаев (×).

Посмотрите на три кривые—черную рабочих, пунктирную черную английского экспорта и пунктирную красную урожая. Какие кривые колеблются более сходно—русских рабочих и английского экспорта,

или же русских рабочих и русского же урожая? Иными словами, чему более соответствуют колебания числа русских фабричных рабочих — мировым колебаниям капиталистической промышленности (кривая английского экспорта), или колебаниям русского урожая? Я полагаю, что ответ ясен: не может быть сомнения, что колебания нашей промышленности никоим образом не могут быть об'яснены колебаниями урожаев.

Из всего этого, разумеется, не следует, что урожай не играет никакой роли в состоянии нашей промышленности. Нет, на некоторые роды производства урожай, несомненно, влияет очень сильно. Нельзя сказать, чтобы годичные колебания хлопчато-бумажного производства всецело обусловливались колебаниями урожая; но что эти последние являются одним из существенных факторов первых, в этом легко убедиться из той же диаграммы, если только не забывать, что, во-первых, влияние урожая сказывается, главным образом, в следующем календарном году, и, во-вторых, кривая ввоза хлопка не есть еще кривая хлопчато-бумажного производства, почему многие неправильные скачки этой кривой не выражают собой таких же изменений производства. Зато на другие производства урожай почти не влияет; к числу таковых относится, как видно из нашей диаграммы, одна из важнейших отраслей нашей промышленности, значение которой должно все расти и расти—чугуноплавильное производство и, вообще, добыча металлов.

Отчего же в таком случае зависят волнообразные колебания нашей промышленности? Как я говорил, уже из того, что эти колебания, в общем, совпадают с колебаниями английской промышленности, должно заключить, что причины их не местного характера. В развитии нашей промышленности отражается периодичность, свойственная капиталистическому производству всего мира. Чередование эпох оживления и застоя промышленности является в нашем пореформенном хозяйстве таким же типичным явлением, как и в других капиталистических хозяйствах. Именно этой причиной—периодичностью развития, свойственной капиталистическому производству—и вызываются правильные волнообразные колебания числа рабочих на наших фабриках и оборотов на Нижегородской ярмарке.

Тяжелый мировой кризис 1857 года, пронесшийся ураганом по всей Западной Европе и Северной Америке, отразился хотя и значительно слабее и в России. Конец 50-х годов был отмечен у нас банкротствами банков, акционерных предприятий, торговых и промышленных фирм, застоем торговли и сокращением производства—обычными симптомами промышленного кризиса (×).

Я не буду дольше останавливаться над описанием кризиса 50-х годов, так как описание отдельных моментов нашей промышленной истории не входит в задачу этой книги. Приведу только несколько цифр, из которых читатель может судить об акционерной горячке, предшествовавшей кризису.

Годы.	Капитал вновь основанных акционерных компаний.
1856	15 милл. руб.
1857	300 „ „
1858	51 „ „
1859	67 „ „

Начало 70-х годов было эпохой самой безумной учредительской горячки в Западной Европе, особенно в Австрии и Германии. За этой горячкой последовал знаменитый венский биржевой крах в мае 1873 года, а затем кризис распространился и на Соединенные Штаты и охватил собой почти всю Европу. Точно так же и у нас в 1870—1872 г. замечалось значительное расширение производства, а затем последовали кризис и банкротства торгово-промышленных предприятий. По словам Я. Гарелина, „конец 1872 г. и начало 1873 г. были ознаменованы банкротствами. Такой ход торговли об'ясняется не конкуренцией с иностранными фабрикантами. Главная причина плохой торговли заключалась в том, что ситцев было наработано громадное количество, и их нужно было сбыть во что бы то ни стало“.

Макс Вирт дает такое описание действия мирового кризиса 1872 г. на русскую торговлю: „прежде всего банкротства разразились в метрополии русской торговли—в Нижнем-Новгороде. Уже в конце августа сделалось известным, что трое купцов оказываются несостоятельными на сумму в 1.170.000 р. Торговцев, оказавшихся несостоятельными на более мелкие суммы, было очень много... Из Одессы извещали о многих крупных и мелких банкротствах, вызвавших среди тамошних коммерсантов настоящую панику, так что деньги совсем исчезли из обращения. В числе фирм, обанкротившихся в Одессе, была одна, пассив которой простирался до $1^1/_2$ милл. руб.; другая оказывалась несостоятельной на 1.200.000 р. В остальных банкротствах пассивы колебались между 100.000 и 1 миллионом рублей. Перепуганные банки, которые перед этим щедро расточали направо и налево свой кредит, стали усиленно стягивать обратно выданные ими ссуды и этим только усилили общее смятение“.

В своем отчете за 1876 г. Московское отделение совета торговли и мануфактур указывало на печальное положение торговли и промышленности московского района. О размерах кризиса можно судить по росту несостоятельности в районе Московского коммерческого суда.

Годы.	Число несостоятельностей.	Общий пассив.
1874	68	5.313 тыс. руб.
1875	56	10.900 „ „
1876	113	31.495 „ „

Общее положение рисуется в отчете такими словами: „в настоящее время можно сказать без преувеличения, что нет ни одной фирмы в Москве, которая не понесла бы более или менее значительных убытков и не была бы вынуждена к более или менее значительному сокращению своих оборотов“.

По об'яснению отчета, кризис был вызван следующими обстоятельствами: в начале 70-х годов фабричное производство значительно расширилось, благодаря быстрому развитию железнодорожной сети. Предложение скоро обогнало спрос, но расширение кредитных продаж давало возможность фабрикантам сбывать товар продавцам. Спекуляция удерживала товарные цены от падения, и производство продолжало расти, несмотря на все увеличивающуюся трудность прода-

вать товар потребителям. Неурожаи 1872 и 1875 гг. дали толчок к кризису: цены мануфактурных товаров быстро упали, производство сократилось и последовал целый ряд банкротств, от которых особенно пострадали мануфактурные фирмы.

Внутренний обозреватель „Вестника Европы“ очень верно отмечает важнейшую причину, вызвавшую сначала расширение, а затем сжатие нашего внутреннего рынка в 70-х годах. И то и другое об'яснялось влиянием на народный спрос постройки железных дорог. В период железнодорожной строительной горячки конца 60-х и начала 70-х годов на постройку железных дорог было израсходовано больше миллиарда рублей. Более всего дорог строилось в 1868—1871 г. Затем постройка вдруг упала и хотя в 1873 и 1874 г.г. она опять увеличилась, но в следующие годы стала решительно уменьшаться.

Параллельно с этим изменялся спрос на товары. Пока железные дороги усиленно строились, спрос на товары был боек, когда постройка сократилась—упал и спрос (×).

Что касается до конца 70-х годов, то эта эпоха вполне имела характер спекулятивной и учредительской горячки. Ярмарка 1878 года по размеру привоза была самой низкой в 70-х годах, но зато по спросу на товары она была наилучшей. Благодаря тому, что товаров было подвезено мало, а спрос на товары сильно оживился после окончания турецкой войны, товарные цены чрезвычайно поднялись (×). Все это „усилило донельзя возбуждение в нашем промышленном мире... Это возбуждение, какого давно не запомнят в нашей промышленности, необыкновенное усиление производства на всех прежних фабриках и заводах и расширение новых достигли своего апогея в средине 1879 г., и он (апогей) продолжался до 1880 года“.

О степени торгового оживления этой эпохи можно судить по тому, что, по словам Безобразова, прибыли торгово-промышленных фирм в эту эпоху достигли огромных размеров. По официальным отчетам некоторых акционерных обществ, прибыли их за этот период достигли 40, 50 и даже 70% на акционерный капитал.

„Чрезвычайное усиление производства, начавшееся еще в 1878 г. продолжалось в зимнем фабричном периоде 1879—80 г.г. Это усиление было таково, что хлопчато-бумажная промышленность, всего более подвергшаяся промышленному возбуждению этой эпохи, расширилась на 900 тысяч (и может быть до 1 миллиона, как исчисляли знающие люди) вновь поставленных в 1879 г. прядильных веретен. Это расширение, когда все количество веретен исчислялось у нас до $3^1/_2$ милл., дает понятие о том необыкновенном полете, который приняла вся наша промышленность в эту эпоху, хотя хлопчато-бумажное дело превзошло в этом отношении все прочие.

Такое возбуждение должно было неизбежно повести к реакции. Ярмарка 1880 г. уже обнаружила превышение предложения товаров сравнительно со спросом. По словам Безобразова, она была „пестрой“— хорошей для одних товаров и дурной для других. Тем не менее, как видно из вышеприведенной диаграммы, толчок 70-х годов был так силен, что ярмарка 1881 г. оказалась наивысшей по размерам подвоза. Ярмарка этого года вообще была хорошей. Счастливой развязке ее очень помог хороший урожай 1881 г. Период конца 70-х годов и на-

чала 80-х характеризуется Безобразовым следующим образом: „Затишье и почти застой в промышленных предприятиях до войны; чрезвычайное промышленное возбуждение, начинающееся с конца войны в 1877 г. и достигающее своего апогея в конце 1879 г.; реакция против этого возбуждения, возникающая в начале 1880 г. и продолжающаяся приблизительно до второй половины 1881 г.; оживление дел с середины 1881 г.“ (×).

Конец 70-х и начало 80-х годов отличаются усилением производства, развитием торговых оборотов и оживлением спекуляции не только в России, но и в других странах—в С.-Американских Соед. Штатах, Англии, Франции, Германии. Точно так же во всем капиталистическом мире половина 80-х годов была эпохой промышленного застоя.

В 1882 г. в Париже разразился крах Бонту, а в Соединенных Штатах 1884 г. повторился железнодорожный крах, подобный краху 1873 г., но только в более слабой форме. Годы 1882—1886 повсюду отмечаются сокращением производства и торговым застоем. Точно так же и у нас после ярмарки 1882 г. последовал целый ряд неудач: подвоз товаров падал, производство сокращалось. Начался тяжелый промышленный застой, продолжавшийся до 1887 года.

О застое начала 80-х годов имеются весьма интересные сведения в обширной статье С. Приклонского, помещенной в „Деле“ за 1883 г. Привожу обширные выдержки из этой статьи.

„Зимою в 1880—81 г. рабочие во всех отраслях промышленности были поставлены в самое бедственное положение. В Петербурге крупные заводы, особенно механические, стали распускать рабочих... Так, напр., на огромном заводе Берда, где прежде работало 3—4 тысячи человек, теперь осталось 1.000 рабочих, на Александровском вместо 800 осталось 350 рабочих, на Сампсониевском вместо 1.200—1.500—только 450 человек; на заводе Нобеля вместо 900—1.200—около 600; на остальных механических заводах точно так же произошло значительное уменьшение числа рабочих. Вообще миллионные обороты заводов сократились почти на половину“.

По словам С. Приклонского, промышленный застой начался в Московской губернии еще с весны 1880 г., при чем застой принял более острую форму после Нижегородской ярмарки этого года. С зимы 1880—81 г. во всем Московско-Владимирском районе произошло сильное сокращение числа рабочих. Особенно пострадали мелкие фабрики, многие из которых принуждены были ликвидировать дела (×).

В Костромской губ. зимою 1880—81 г. фабриканты сократили число рабочих на $^1/_3$. Отчаяние в среде рабочего населения, по словам „Московского Телеграфа“, было так велико, что требовалось особое искусство при расчете рабочих, чтобы дело не дошло до беды. В посаде Клинцах Черниговской губернии число рабочих на фабриках было сокращено на 40%, а заработная плата была понижена на 30—50%. „В Твери на фабриках Морозова и Берга часть рабочих была распущена, а остальным сокращена заработная плата на 20%... В Ржеве, по случаю остановки пряжи пеньки, до 12 тысяч прядильщиков были обречены на полуголодное существование... В селе Павлове многочисленные кустари, занимающиеся замочно-ножевым про-

изводством, вынесли много тяжелых лишений по случаю безработицы". Недельный заработок кустарей упал с 2 р. 50 к. до 60—80 коп. Работы были сокращены и на Мальцевских заводах (X).

Застой 1882 г. охватил еще больший район, чем застой предыдущего года. Так, в 1882 г. тяжело пострадала промышленность Царства Польского. В Варшаве летом 1882 г. было около 20.000 безработных; безработица в самой тяжелой форме отмечалась во всех промышленных центрах северно-западного края и царства Польского.

В Московско-Владимирском районе промышленный застой продолжал усиливаться, при чем кустарная промышленность страдала от него еще сильнее, чем фабричная (X).

Застой продолжался, как сказано, до 1887 г. Корреспонденты московского земства указывали, что зима 1886—87 г. была чрезвычайно тяжелой для промышленного населения и отличалась крайним упадком фабричных заработков крестьян. „Цены на труд и спрос на рабочие руки упали; многие фабрики стали; другие сократили производство"—этими словами характеризуется Ежегодником Московского земства фабричная промышленность Московской губернии в конце 1886 года. Застой в делах был так силен, что многие фабричные, совершенно отвыкшие от земледелия, вернулись в деревню и взялись за соху. В некоторых местностях „фабричное производство почти что приостановилось, весь фабричный народ жил дома без заработка".

Новая эпоха промышленного оживления начинается с 1887 года. В начале 90-х годов следует заминка, соответствующая мировому застою начала 90-х годов. С 1895—96 гг. во всем капиталистическом мире начинается небывалый под'ем. То же наблюдается и у нас.

Периодические колебания нашей промышленности имели своей причиной у нас, как и в других капиталистических странах, периодическое создание нового основного капитала. Периоды промышленного под'ема были периодами грюндерства, периоды застоя—периодами падения учредительства. Эту периодическую смену под'ема и упадка грюндерства можно ясно подметить в истории нашей акционерной промышленности. Так, в интересной статье „Обзор деятельности акционерных предприятий в России" находим следующую характеристику периодической смены эпох акционерного грюндерства в России:

„В 1850 и 1851 гг. совсем не было основано акционерных обществ, и число последних начинает увеличиваться только с 1853 г., при чем в 1857 и 1858 гг. учредительская деятельность достигла своего апогея за весь этот период. В то время, как в 1851—55 гг. учреждено было только 18 акционерных обществ, с капиталом в 16,4 мил. р., за пятилетие 1856—60 гг. число учрежденных обществ повысилось до 108, а капитал их до 317 мил. р. В следующем пятилетии 1860—65 гг. учредительская деятельность снова уменьшается... Учредительская деятельность, охватившая Западную Европу в конце 60-х годов и с новой силой вспыхнувшая в первой половине 70-годов, сопровождалась оживлением акционерной деятельности и в России... На один трехлетний период 1871—73 гг. приходится 227 акционерных обществ с капиталом в 347 м. р. С этого времени учреди-

тельская деятельность понемногу падает... в 1879 г. в падении учредительской деятельности наступает перерыв, продолжавшийся до 1881 г., но после того понижательное движение вновь усиливается, и решительный поворот в этом отношении наступает только с 1889 г., который служит началом небывалого еще в России оживления акционерной деятельности" (X).

Наиболее резко выразился этот под'ем в горнозаводской промышленности. Уже со второй половины 80-х годов начинает быстро расти железоделательное производ. юга России. Старинные уральские заводы, игравшие такую первенствующую роль в горнозаводской промышленности крепостной России, все более и более теряют свое прежнее значение. Выросшие на почве крепостного права, они оказались мало приспособленными к новым хозяйственным условиям России. Зато с изумительной быстротой возникло огромное горнозаводское производство в Донецком бассейне. Это производство, организованное вполне на крупно-капиталистический лад, составляет новейший и самый пышный цветок российского промышленного капитализма. Важнейшим фактором развития донецкой горнозаводской промышленности была постройка донецкой железнодорожной сети и в особенности Екатерининской дороги, соединившей в 1884 г. криворожскую руду с донецким углем.

До 1887 г на юге России работало только два железоделательных завода—Юза и Пастухова. С этого года заводы начинают расти, как грибы. За короткое время возник целый ряд чудовищных чугуноплавильных заводов—Александровский, Каменский, Гданцевский, Дружковский, Петровский, Донецко-Юрьевский, Никополь-Мариупольский, Таганрогский и др. Число рабочих на чугуноплавильном заводе Юза около 10 тыс. чел., на прочих немногим меньше.

В 1899 г на юге было 17 больших чугуноплавильных заводов с 29 действующими доменными печами и с 12 вновь строящимися.

Все эти заводы работают, главным образом, по казенным заказам и притом преимущественно железнодорожный материал. Тем не менее, вокруг них быстро появились более мелкие заводы, перерабатывающие железо в разные изделия. Так, Александровский завод вызвал устройство 4 более мелких заводов (трубчатых и механических); рядом с Новороссийским заводом основан литейно-механический завод; другой механический завод возник на станции Дебальцево, и образовалась целая сеть заводов в разных пунктах Александровского уезда. По словам Г. Рагозина, таких маленьких заводов (маленьких, разумеется, сравнительно с вышеназванными гигантами заводского мира) в 1895 году насчитывалось не менее 100 (X).

Весьма характерно, что южнорусские заводы устроены преимущественно на иностранные капиталы. „Из существующих предприятий (X) чисто русскими можно назвать только два—Сулинский завод Пастухова и Александровский Брянского общества. Прочие же или принадлежат целиком иностранцам, или же вперемежку с русскими. Так, завод Новороссийского общества (Юза) принадлежит англичанам, Гданцевский — французам, Днепровский Южно-Русского общества — бельгийцам (главный акционер Коккериль), Дружковский Донецкого общества—французам" и т. д.

На заграничных рынках акции этих заводов, приносивших огромные дивиденды, от которых давно отвыкли иностранные капиталисты, стояли так высоко, что достаточно было прибавить к названию фирмы слово „днепровский“ или „донецкий“, чтобы рассчитывать на легкий сбыт акций за границей.

За короткое время цена на угольные земли в донецком районе поднялась со 100—150 р. за десятину до 200—300 и даже 400 руб. за дес. Были случаи продажи по 500—600 р. за дес. (×).

В общем рост нашего чугуноплавильного производства за последние годы был чрезвычайно велик, как можно убедиться из нижеследующих данных.

Выплавка чугуна:

В миллионах пудов.

Годы.	Соед. Штаты.	Англия.	Германия.	Россия.	Франция.	Бельгия.
1886	352,3	454,6	215,3	32,5	92,0	42,8
1899	844,2	576,7	489,8	163,7	156,6	74,4

За 13 лет выплавка чугуна в России увеличилась почти в пять раз. Даже абсолютно увеличение выплавки чугуна в России за это время (132,7 мил. пуд.) превосходит увеличение выплавки в любой европейской стране, кроме Германии. В 1886 г. на долю России приходилось менее 3% мировой выплавки чугуна, и Россия стояла позади не только Соединенных Штатов, Англии и Германии, но и Франции, Бельгии и Австро-Венгрии. В 1899 г. на долю России приходится уже почти 7% мировой выплавки чугуна, и Россия стоит в Европе позади только Англии и Германии; Францию, Бельгию и Австро-Венгрию Россия уже обогнала (×).

Нижеследующая поучительная таблица дает отчетливое представление о ходе нашей промышленности за десятилетие 1887—97 гг. (данные относятся ко всей Российской империи кроме Финляндии).

Легко заметить, что наиболее быстрый под'ем начинается после 1893 г. Так, за 6 лет 1887—93 число рабочих на фабриках и заводах возрасло на 264.856, а ценность производства на 400.498 тысяч рублей. Напротив, за 4 года 1893—97 гг. число рабочих возрасло на 515.358, а ценность производства на 1.104.147 тысяч р. За первое шестилетие средний годовой прирост рабочих равнялся приблизительно 44 тысячам, а ценности производства — 67 миллионам руб. За второе четырехлетие средний годовой прирост рабочих уже достиг 129 тысяч, а ценности производства—276 мил. рублей.

С 1893 г. наблюдается быстрый под'ем во всех отраслях производств. Особенно бросается в глаза огромный рост ценности вырабатываемых продуктов в обработке металлов и горном деле. Число горнозаводских рабочих возрастает однако гораздо слабее, чем можно было бы ожидать. Причина этого лежит в быстром росте производительности труда именно в этой отрасли промышленности. Новые южные металлургические заводы требуют несравненно меньшего числа рабочих для производства определенного количества металла, чем старинные заводы на Урале, хозяйство которых сложилось на принуди-

Группы производств.	Число фабрик и заводов.			Ценность выработанных продуктов и изделий, в тысячах рублей.			Число рабочих.		
	1887 г.	1893 г.	1897 г.	1887 г.	1893 г.	1897 г.	1887 г.	1893 г.	1897 г.
Волокнистые вещества	2.847	3.625	4.449	463.044	621.929	946.296	399.178	497.940	642.520
Питательные продукты	14.508	13.607	16.512	375.286	399.700	648.116	205.223	216.834	255.357
Тоже без муком. производства . .	9.229	10.181	10.588	225.826	247.260	359.158	176.849	187.451	207.582
Животные продукты	4.425	3.350	4.288	79.495	78.422	132.058	38.876	44.228	64.418
Обработка дерева	1.093	1.191	2.357	25.688	38.876	102.897	30.703	39.913	86.273
Писче-бумажные производства . .	242	343	532	21.030	27.529	45.490	19.491	33.803	46.190
Химические производства	588	683	769	21.509	39.560	59.555	21.134	28.382	35.320
Керамические производства . . .	2.380	2.031	3.413	28.965	34.472	82.590	67.346	75.474	143.291
Горная и горнозаводская промышленность	2.656	3.482	3.412	156.012	249.168	393.749	390.915	461.455	544.333
Металлические изделия	1.377	1.822	2.412	112.618	171.140	310.626	103.300	132.008	214 311
Производства, не вошедшие в предыдущие группы	772	799	935	50.852	74.201	117.767	41.882	52.867	66.249
Итоги по всем группам	30.888	30.333	39.029	1.334.499	1.734.997	2.839.144	1.318.048	1.582.904	2.098.262
Тоже без мукомольного производства.	25.609	26.907	33.105	1.185.039	1.582.557	2.550 186	1.289.674	1.553.521	2.050.487

тельном труде и до сих пор не может вполне освободиться от остатков крепостного права (×).

Итак, промышленное развитие последних годов характеризовалось весьма энергичным под'емом, особенно сильным в обработке металлов и горном деле. Как выше сказано, наша железоделательная промышленность (важнейшая отрасль горного дела) работает преимущественно железнодорожные принадлежности. Отсюда выясняется основная причина промышленного под'ема конца 90-х годов. Причина эта заключалась, главным образом, в усилении железнодорожного строительства, к которому присоединилась учредительская горячка, особенно развившаяся за 1898—99 годы. Усиление железнодорожного строительства началось с 1893 г., при чем с 1896 г. расширение железнодорожной сети идет лихорадочным темпом.

Вот соответствующие данные за 1891—99 годы.

Вновь открыто железных дорог		Вновь открыто железных дорог		Вновь открыто железных дорог	
годы	версты	годы	версты	годы	версты
1891	118	1894	2117	1897	2394
1892	490	1895	1839	1898	2865
1893	1691	1896	2272	1899	4692

(×) Железнодорожная горячка последнего времени была значительно сильнее знаменитой горячки 70-х годов, как можно видеть из нижеследующих данных:

Вновь открыто железных дорог			
годы	версты	годы	версты
1870	2960	1873	1879
1871	2426	1874	1697
1872	831	1875	759

(×) Еще недавно самый факт успехов нашей капиталистической промышленности упорно отрицался влиятельной экономической школой, наиболее видными представителями которой являются г.г. В. В. и Николай—он. Теперь этот факт вряд ли будет оспариваться даже ими. Особенно быстрым темпом растет наша промышленность за последнее десятилетие. Не подлежит сомнению, что одним из важных факторов этого быстрого роста является таможенная политика последнего времени.

Так, слабое развитие чугуноплавильного производства вплоть до 1887 г. и последующий быстрый рост его в значительной мере об'яс-

няются тарифными причинами. В 1887 г. значительно повышена пошлина на чугун, железо и сталь (по тарифу 1868 г. чугун был обложен небольшой пошлиной в 5 коп. с пуда, но, фактически, значительно большая часть всего ввоза иностранного чугуна в Россию поступила беспошлинно, благодаря предоставлению железным дорогам права беспошлинного привоза из-за границы рельсов и других железнодорожных материалов, а также льготам по беспошлинному привозу чугуна, установленым в пользу разных заводов. С 1881 г. все эти льготы были отменены, а пошлины на чугун были постепенно повышаемы и в 1887 г. дошли до 25 к., в 1891 г. до 30 к. золотом с пуда по морской границе и до 35 к. по западной сухопутной). Резкое поднятие выплавки чугуна немедленно вслед за повышением пошлины находилось в несомненной связи с этой последней причиной. То же самое можно сказать и о некоторых других горнозаводских производствах, особенно каменноугольном, в котором наблюдается значительное увеличение добычи угля после повышения пошлины на иностранный уголь в 1886 и 1887 г.г.

(×) Наши протекционисты видят причину медленности роста выплавки чугуна в 60-х и 70-х годах в отсутствии таможенной охраны. По их мнению, если бы наше правительство тарифами 1857 и 1868 г. не свернуло с истинного пути протекционизма и не сделало некоторых опасных уступок „либералам"-фритредерам, то в настоящее время Россия, по степени развития своей промышленности, представляла бы собою чуть ли не вторую Америку. Но почтенные апологеты крупного капитала упускают из виду, что беспошлинный привоз в Россию рельсов и железнодорожных принадлежностей благоприятствовал быстрой постройке сети железных дорог, а именно в расширении нашей железнодорожной сети и заключается главнейшая причина развития нашей промышленности.

Доказательством того, что новейший промышленный под'ем вызван не только таможенными переменами, является его общий характер. Бумаго-ткацкая промышленность от них нисколько не выиграла, так как и до этих перемен пошлины на большинство хлопчато-бумажных тканей (особенно низших сортов) имели почти запретительный характер. Известно, что коренной недостаток протекционизма заключается в том, что, „поощряя" одну отрасль промышленности, он задерживает развитие других. Так и в данном случае. В 1887 году была повышена пошлина на хлопок-сырец и на бумажную пряжу. Повышение обложения хлопка содействовало росту хлопководства в наших среднеазиатских владениях, но могло только затруднить развитие бумагопрядения и ткачества. А повышение обложения пряжи должно было неблагоприятно повлиять на бумаго-ткацкую промышленность. Тарифом 1891 г. пошлина на хлопок еще повышена; тем не менее, хлопчато-бумажное производство продолжало, хотя и с колебаниями, расти. Быстрый рост производства отмечается во всех отраслях промышленности в таблице на стр. 117.

Чем же вызывается этот рост? Главнейшим моментом его явилось, как уже сказано, коренное изменение условий транспорта под влиянием постройки сети железных дорог. Влияние расширения железнодорожной сети на развитие товарного обмена вряд ли может быть преувеличено. Всякая новая железнодорожная линия есть новый обширный рынок, открывающийся для русской про-

мышленности, так как рынком для товаров могут служить только другие товары (×).

Сравним, для примера, действие новой проводимой линии железной дороги в России и в Англии. В России новая железнодорожная ветка открывает новый рынок для капиталистической промышленности. Крестьяне, жившие в районе этой ветки, быть может, раньше не покупали фабричных продуктов; теперь же они получают возможность приобретать эти продукты в обмен на свои изделия. Тот рынок, которого Англия ищет за тысячи верст в отдаленных странах Африки или Азии, открывается для русского фабриканта в непосредственном соседстве, благодаря проведению новой железнодорожной линии.

Напротив, в Англии новая железнодорожная линия не открывает никакого нового рынка, ибо население соответствующего района и раньше участвовало в товарном обмене. Капиталистическая промышленность старой капиталистической страны может расти, так сказать, только за свой собственный счет, в то время, как юный капитализм растет и за счет других, вытесняемых им, форм хозяйства.

Именно в этом различии и лежит ключ к пониманию того перемещения капитала из старых стран в новые страны, которое является таким могучим фактором распространения капиталистического способа производства по всему земному шару. У нас долгое время господствовало представление, будто росту капиталистического способа производства в России препятствует недостаток рынка. Этот взгляд является типичным примером, к каким несообразностям может приводить плохо понятая теория (×). Фактическим опровержением его является общеизвестный факт притока в Россию иностранных капиталов. Действительно, если бы в России рынок для продуктов капиталистической индустрии был ограниченнее, чем в Западной Европе, то поток капиталов должен бы был направляться из России в Западную Европу, ибо капитал, как и всякий товар, ищет наиболее выгодного рынка. Высокая норма прибыли, господствующая в России, является неоспоримым доказательством несостоятельности вышеназванного взгляда. Только крайняя степень доктринерства, игнорирующего реальные факты жизни, могла вызвать мнение об отсутствии рынка для продуктов капиталистической индустрии в той стране, в которой барыши крупных капиталистов промышленных предприятий достигают иногда 100% в год (как это имело место по отношению к некоторым металлургическим заводам Донецкого бассейна), и где 20% дивиденда не представляют ничего исключительного для акционерных предприятий. Не подлежит ни малейшему сомнению, что ни в одной европейской стране рыночные условия не складываются так благоприятно для роста капиталистической промышленности, как в России—и доказательством этого является то, что ни одна европейская страна не представляет собой такого заманчивого места для помещения иностранных капиталов, как Россия. Высокая норма прибыли в России непререкаемо свидетельствует об обширности русского рынка.

Эта высокая норма прибыли всегда сопутствует первым шагам капиталистического производства и зависит, главным образом, от того, что пока капиталистическое производство не становится господствующей формой промышленности, до тех пор прибыль капиталистического

производителя заключает в себе долю ценности, извлекаемой не только из производственного процесса (как в развитом капиталистическом хозяйстве), но также и из процесса продажи. Так, напр., огромные барыши наших металлургических заводов основываются не на крайней эксплуатации занятых в металлургических заводах рабочих (или, по крайней мере, не только на этой эксплуатации), но, главным образом, на крайней эксплуатации покупателя. Население обложено своего рода данью в пользу немногих крупных капиталистов,—в этой дани, платимой всеми покупателями, без различия класса и общественного положения, кроется источник этих колоссальных барышей. Но откуда же возникает необходимость для покупателя уплачивать эту дань? Почему цена на чугун так мало соответствует его относительной трудовой ценности? Потому что количество чугуна, имеющегося на русском рынке, слишком мало сравнительно со спросом на этот продукт. Предложение продуктов нашей капиталистической индустрией далеко не достигает спроса—рынок слишком мало заполнен этими продуктами,— и это дает возможность продавать эти продукты по цене, дающей огромные барыши (×).

В этой возможности стричь овец, так сказать, вдвойне, жечь свечу с обоих концов, и заключается секрет привлекательности России для иностранных капиталистов (×).

Прилив иностранных капиталов и иностранной предприимчивости явился могучим стимулом нашего промышленного развития последнего времени. В нашей металлургической промышленности повторяется теперь то же, что раньше имело место в других отраслях производства, освободившихся теперь от владычества иноземного капитала и ставших достоянием „отечественных“ капиталистов. Наиболее прочно укоренившеюся отраслью капиталистической индустрии может считаться у нас хлопчато-бумажная промышленность, представители которой (Морозовы, Крестовниковы и пр.) выступают обыкновенно во главе „всероссийского“ купечества во всех тех случаях, когда наш отечественный торгово-промышленный капитал обращается за какой-нибудь поддержкой к государству. Однако, и в этой, казалось бы, вполне национальной отрасли нашего капитализма пионерами и „насадителями“ явились те же иностранцы. Не восходя уже в глубь времен, к началу нашей хлопчато-бумажной промышленности в конце прошлого века, еще так недавно полновластным владыкой хлопчато-бумажного, прядильно-ткацкого производства был немецкий выходец Л. Кноп (×).

Еще не так давно в нашей прогрессивной печати господствовали самые странные теории относительно характера нашего промышленного развития. Так, целый ряд писателей—гг. В. В., Николай—он, Карышев, Каблуков и др.—отстаивали с большим жаром поразительное положение, будто число фабричных рабочих в России, по отношению ко всему населению (г. Каблуков утверждал даже, что и абсолютно), падает (×).

Действительно, трудно было бы поддерживать этот тезис в виду тех цифр о росте наших фабрично-заводских рабочих, которые были

приведены выше на стр.117. Прирост рабочих за десятилетие 1887—97 г. определяется, на основании этих данных, следующими цифрами:

Группы производств:	В процентах.
Волокнистые вещества	+ 69
Питательные продукты	+ 24
Животные продукты	+ 66
Обработка дерева	+18 [1]).
Писче-бумажные производства	+137
Химические производства	+ 67
Керамические производства	+113
Горная и горнозаводская промышленность	+ 39
Металлические изделия	+107
Производства, не вошедшие в предыд. группу	+ 58
Итого по всем группам	+ 59

Эти цифры не требуют комментариев. Нет ни одной группы производства, в которой бы процент прироста рабочих не был значительно—иногда во много раз—выше процента прироста населения (население Российской империи за десять лет должно было возрасти, приблизительно, процентов на 13—15).

Но цифры фабрично-заводских и горных рабочих еще отнюдь не исчерпывают числа рабочих, занятых в крупном производстве. Прежде всего, к ним следует присоединить рабочих, занятых в чрезвычайно важной отрасли нашей капиталистической индустрии, которой принадлежит руководящая роль в развитии нашего капитализма вообще,—в железнодорожном транспорте. Получаем следующие цифры:

Годы.	Число горнозаводских и фабрично-заводских рабочих.	Число рабочих на железных дорогах.	Итого.	Прирост.
1887	1.318.048	218.077	1.536.125	
1897	2.098.262	414.152	2.512.414	64%

[1]) Сильное увеличение числа рабочих по обработке дерева об'ясняется увеличением регистрации в 1896 г. лесопильных заводов.

Средний ежегодный прирость рабочих в крупном капиталистическом производстве и железнодорожном транспорте почти достигает таким образом за десятилетие 1887—97 гг. $6^1/_2$% в год (т. е. раз в пять выше процента прироста населения) (×).

То же следует сказать и по другому вопросу, по которому мне приходилось полемизировать с г. Карышевым—по вопросу о концентрации производства (×). Нижеследующие данные относятся к хлопчато-бумажному производству.

Хлопчато-бумажные фабрики, имеющие более 100 рабочих в пятидесяти губерниях Европейской России.

	Разряды фабрик.									
	По 5 тыс. рабочих и более.		От 1 до 5 тыс. рабочих.		От 500 до 1 тысячи рабочих.		От 100 до 500 рабочих.		Всего.	
Годы.	Число фабрик.	Число рабочих.	Число фабрик.	Число рабочих.	Число фабрик.	Число рабочих.	Число фабрик.	Число рабочих.	Число фабрик.	Число рабочих.
1866	—	—	26	40.844	27	18.059	115	23.097	168	82.004
1879	1	8.946	40	87.583	44	32.591	118	28.212	203	153.332
1894	8	54.981	60	119.013	48	33.462	108	27.050	224	234.506

Эта таблица бросает яркий свет на внутренние изменения нашей хлопчато-бумажной фабричной промышленности по мере ее роста. Читатель видит, что число рабочих, занятых на крупных хлопчато-бумажных фабриках, возрасло за 28 лет почти в 3 раза, а число самих фабрик увеличилось менее, чем на 50%. При этом число наименее крупных фабрик (от 100 до 500 рабочих) несколько сократилось, а сумма занятых на них рабочих немного возрасла. Более значителен рост фабрик с 500—1.000 рабочих: число их и сумма занятых на них рабочих возрасли больше, чем в полтора раза. Крупные фабрики, от 1 до 5 тысяч рабочих, по своему числу более чем удвоились, а по количеству рабочих почти утроились. Наконец, огромных фабрик с 5 тысячами рабочих и более в 1866 г. совсем не было, в 1879 г. такая фабрика была только одна, а в 1894 г. их было уже 8. Количество рабочих на самых крупных фабриках за 15 лет 1879—1894 гг. увеличилось более, чем в 6 раз.

В 1866 г. на долю фабрик, имеющих более 1.000 рабочих, приходилось 49% всего числа рабочих, в 1897 г.—60%, а в 1894 г.—74%. На долю средних и мелких фабрик, имеющих менее 500 рабочих, в 1866 году приходилось 28% общей суммы рабочих, в 1879 г.—18%, в 1894 г.—12%. Концентрация производства шла настолько энергично и быстро, что в 1894 г. на 68 крупных фабриках было почти втрое более рабочих, чем на 156 остальных.

К сожалению, я не мог настолько же детально анализировать изменение размера фабрик в других производствах. Концентрация производства во всех важнейших отраслях нашей капиталистической

промышленности, во всяком случае, не подлежит сомнению. Вот, напр., данные о концентрации углепромышленности юга России.

Годы	Вся добыча каменного угля в сотнях вагонов:	Добыча угля (в сотнях вагонов) копями, отправляющими в год: 5 тысяч вагонов и более.	5—1 тысячи вагонов.	1 тыс. до 300 вагонов	300—100 вагонов.	100—30 вагонов.	Менее 30 вагонов.
1882—83	891	388	344	112	27	7	3
1883—84	961	446	362	112	31	8	2
1884—85	1.078	535	379	173	22	7	1
1885—86	1.298	605	547	113	27	5	2
1886—87	1.430	713	423	207	57	26	6
1887—88	1.458	713	473	193	43	27	9
1888—89	1.911	1.011	573	181	89	44	14
1889—90	1.969	1.123	504	170	122	40	10
1890—91	2.061	1.434	293	153	138	37	6
1891—92	2.533	1.948	207	234	109	32	6
1892—93	2.801	2.184	260	253	69	32	4
1893—94	3.147	2.481	286	268	88	20	4
1894—95	3.348	2.641	358	233	87	24	5

В 1882—83 гг. добыча угля на крупных копях, с производством более 5 тысяч вагонов в год, составляла немного более 40% всей годовой добычи, а в 1894—95 гг. уже 79%. За 13 лет 1882—1894 гг. добыча угля на крупных копях возрасла почти в 7 раз, на средних копях (1—5 тысяч вагонов в год) осталась почти без перемены, на мелких (менее 1 тысячи вагонов) увеличилась немного больше, чем в два раза. В 1882—83 гг. мелкие копи поставляли 17% всей годовой добычи угля, а в 1894—95 гг. только 10% (×).

В 1879 г., по расчету г. Ильина, крупные фабрики, имевшие не менее 100 рабочих, составляли 4,4% всех промышленных предприятий, регистрируемых как „фабрики и заводы“ нашей фабричной статистикой; на долю этих крупных фабрик приходилось 66,8% всего числа фабрично-заводских рабочих. В 1890 г. крупные фабрики составляли уже 6,7% всех „фабрик и заводов“, и на долю их приходилось 71,1% всех фабрично-заводских рабочих(×).

О значении крупного торгового и промышленного капитала в нашем торгово-промышленном обороте вообще можно судить из нижеследующих любопытных цифр, относящихся к гильдейским торговым и промышленным предприятиям, не обложенным акцизом.

Предприятия в 50 губерниях Европейской России с оборотом в

ГОДЫ.	1 миллион руб. и более		От 1 милл. до 250 тыс. рублей		От 250 тыс. до 150 тыс. рублей		От 100 тыс. до 10 тыс. рублей		Менее 10 т. рублей		ВСЕГО	
	Число предприятий.	Годов. оборот. (в милл. руб.).	Число предприятий.	Годов. оборот (в милл. руб.).	Число предприятий.	Годов. оборот. (в милл. руб.).	Число предприятий.	Годов. оборот. (в милл. руб.).	Число предприятий.	Годов. оборот. (в милл. руб.).	Число предприятий.	Годов. оборот. (в милл. руб.).
1886	561	2.465	1.850	787	4194	580	44.489	1.117	65.517	250	116.611	5.198
1887	645	3.560	2.055	912	4414	612	45.157	1.136	68.661	257	120.932	6.476
1888	741	3.972	2.163	931	4577	629	48.055	1.191	71.058	276	126.594	6.999

Из этих цифр можно составить вполне определенное представление о строе нашей торговли и промышленности. Обороты огромных предприятий, с годовым оборотом более 1 милл. руб. каждое, достигали в 1886 г. 47% всех оборотов гильдейских предприятий, а в 1888 г.—55%. Число таких предприятий составляло около ½% всех гильдейских предприятий. Средние и мелкие предприятия, с оборотом менее 100 тысяч руб. в год, по своей численности составляли более 90% всего числа предприятий; между тем, оборот их не превышал в 1886 г. 26% всех торговых оборотов гильдейских предприятий, а в 1888 г.—21%. На долю ничтожного числа миллионных предприятий приходится более половины всего гильдейского торгового оборота.

Все эти данные достаточно красноречиво свидетельствует о том, что вопрос о том, „быть или не быть" капитализму в России, давно решен жизнью. Быстрые успехи капиталистической индустрии в России за самое последнее время (особенно во второй половине 90-х годов) не представляют собою ничего удивительного. Как я говорил выше, Россия, во многих отношениях, представляет крайне благоприятную почву для капиталистической промышленности. Огромные и далеко еще не исчерпанные и даже еще почти не обследованные минеральные богатства, эксплоатация которых на юге России началась только на наших глазах; колоссальная территория, слабо заселенная и представляющая достаточный простор для внутренней колонизации; многочисленное население, быстро переходящее от натурального к денежному хозяйству и замкнутое таможенной системой в самодовлеющий рынок, мало доступный для капиталистической индустрии других стран—все это создает такие благоприятные условия для русской капиталистической промышленности, которых лишена любая капиталистическая страна Западной Европы. Казалось-бы, где и развернуться капитализму, как не в России.? Факт развития в России капиталистического хозяйства кажется настолько естественным, что он почти не требует об'яснения.

VIII. Промышленный под'ем 1893—1899 гг.

(Из книги А. Финн-Енотаевского: „Современное хозяйство России 1890—1910 гг.“ СПБ. 1911 г. Стр. 45—62).

В 1893 г. промышленный капитал начал у нас свой новый—и на этот раз наиболее значительный—цикл движения. Этому благоприятствовали и условия международного рынка. Ряд конверсий в главнейших европейских странах, совершенных в период застоя начала 90-х годов, толкнул массу капиталов на путь промышленности. Привлеченные нашей высокой нормой прибыли, охраняемой покровительственными таможенными пошлинами и не менее высокой прибавочной прибылью, вытекающей непосредственно из государственного казначейства в форме заказов,—иностранные капиталы широкими ручьями потекли в Россию. Содействовало этому и доверие к прочному состоянию наших финансов, вызванное, с одной стороны, прекрасным положением России в то время в концерте европейских держав, а с другой стороны, прекращением сильнейших колебаний курса рубля, закончившимся введением золотой валюты [1]). Но в гораздо большей степени в под'еме 1893—99 годов принял участие отечественный капитал, накопленный раньше в сфере торговли земледельческими продуктами и ростовщичества в деревне. Возраставшее разорение последней, усиливавшийся мировой сельско-хозяйственный кризис побуждали эти капиталы еще со второй половины 80-х годов искать приложения в покровительствуемой правительством индустрии. Кроме того и винная монополия освободила несколько десятков миллионов рублей. Далее, важную роль сыграло техническое усовершенствование министром финансов Витте нашего государственного банка, расширение поля его деятельности, открывшееся для этого банка поприще финансирования промышленных предприятий. Наконец, и биржа могла расширить свои операции, благодаря разрешению ей в 1893 г. сделок на срок со всеми бумагами, кроме валюты. Все это дало толчок широкому развитию грюндерства и спекуляции.

---

[1]) „Устойчивость денежного курса—основательно замечает Parvus,—это важное условие для индустриального развития. Не только потому, что с падением денежного курса возрастает дисконт и, следовательно, затрудняется кредит, падает курс государственных долговых обязательств и одновременно с этим возрастает уплата процентов в золоте и бюджет выходит из равновесия, но и потому, что вместе с колебаниями денежного курса весь товарный обмен с за границей становится игрушкой случая и биржевой спекуляции“.

Результаты усиленной мобилизации денежных капиталов отразились прежде всего на наших банках коммерческого кредита. Так, капиталы этих акционерных банков обнаружили за период 1887—1900 гг., по Брандту, следующий рост:

Капиталы.

Годы.	Число банков.	Основные.	Запасные и пр.	Всего.
1887	32	101,9	17,5	119,4
1895	34	138,3	37,2	175,5
1900	41	193,0	87,0	280,0

Мы видим, таким образом, что за шестилетие 1895—1900 гг. сумма капиталов наших банков, принимавших, как и банки на Западе во время под'ема 1895—1900 г.,—живое участие в промышленном „учредительстве", что эта сумма возрасла на 104,5 мил. рублей, между тем как за предыдущее десятилетие всего на 56,1 м. р. Увеличение числа банков за указанное шестилетие на 7 прибавило к сумме акционерных капиталов лишь 14,6 м. р., остальные же 90 м. р. падают на накопление капиталов старыми банками, больше всего столичными.

Что касается акционерного дела вообще, то прирост акционерных компаний за период под'ема 1893—1899 гг. выразился у нас в следующих цифрах:

Годы.	Число вновь учрежд. акц. обществ.	С основным капиталом (в мил. руб.)	Число иностран. предприятий, допущ. к деятельн. в России.
1894	63	54,6	3
1895	94	116,6	1
1896	131	197,3	24
1897	136	192,9	25
1898	176	229,8	28
1899	325	363,3	69
1900	202	250,8	40

Из этой таблицы явствует, что число вновь учрежденных акционерных обществ, как и сумма вложенных в них капиталов, неуклонно возрастали с 1894 года и достигли своего кульминационного пункта в 1899 г. С началом кризиса дело изменяется, о чем подробно в другом месте. Всего за шестилетие 1894—99 годов число акц. обществ возрасло на 925, а капиталы их на 1154 мил. руб. За семилетие с 1893—99 гг. основной капитал всех акционерных предприятий—старых и вновь учрежденных—возрос на 1509,7 мил. руб., между тем как за предшествующие 38 лет (1854—1892 гг.) он увеличился всего на 919,3 мил. р. (См. Шванебах: „Денежное преобразование и народное хозяйство" СПБ. изд. 1901 г. и „Статистика акционерного дела в России" III вып. Харьков 1901 г.). Рост учредительства виден и из данных, приводимых А. Погожевым; оказывается, что за период

1891—1900 г. было основано 40% общего числа наших фабрично-ремесленных заведений. Так:

Время основания.	Число предпр.	В %% к общему числу.
До 1861 г.	2177	15,1
В 1861—70 гг.	1285	8,9
„ 1871—80 „	2100	14,5
„ 1881—90 „	3066	21,0
„ 1891—900 „	5788	40,0

Толчок к этому промышленному под'ему был дан возникшей у нас в 90-х годах железнодорожной горячкой, далеко оставившей за собою таковую 60-х и 70-х годов. Периоды усиленной постройки железных дорог вызывали во всех капиталистических странах соответствующий под'ем всей промышленности; наступившее затем затишье в железнодорожном деле отражалось, с своей стороны, на всей промышленной жизни страны. Это наблюдалось и в Англии, и в Германии, и в С. Америке, и в других странах. То же самое и в России.

Общую картину хода нашего железнодорожного строительства за период под'ема можно видеть из следующей таблицы:

Построено новых железных дорог (верст):

Годы.	В Европ. России.		Итого.	На Кавказе.	В Сибири.	В Ср. Азии.	Итого.
	Казною.	Ч. о-ми.		Казною.			
1892	261	192	453	—	—	—	453
1893	180	1404	1584	—	—	—	1584
1894	50	1748	1825	27	—	—	1825
1895	157	1691	1886	38	—	—	1886
1896	517	449	1082	—	1709	126	2801
1897	189	1402	1591	—	346	—	1937
1898	488	1597	2085	—	807	—	2892
1899	1032	1950	2982	279	1005	648	4914
1900	171	1392	1569	6	1187	—	2756
1901	339	2340	2679	12	340	307	3338
1902	694	194	888	167	—	—	1055
1903	10	638	648	—	25	—	673

Данные показывают нам, что железнодорожное строительство, поднявшись в 1893, было особенно сильно в 1896—99 гг. Оно продолжалось и в 1900—1901 гг.—годы кризиса,—но следует помнить, что большинство новых железных дорог—Сибирская—были начаты именно в период под'ема и в указанные два года достраивались. Казенное ж.-д. строительство шло рука в руку с частным. Для целей последнего при помощи государственного кредита были реализованы за 1893—1902 г. около 1.300 мил. рублей. Большая часть этих государственных займов совершена за границей, но были привлечены и внутренние капиталы—преимущественно государственные сберегательные кассы. . . . За это же время „вся сумма казенных железнодорожных затрат, которые носили так или иначе характер „капитальных", составляла 1.691,5 мил. руб.". Из них только 495 мил. были получены путем займов; остальные 1.196 мил. были употреблены

из обыкновенных государственных доходов, путем усиленного обложения населения. „Практика беспримерная в истории финансов“— говорит проф. Мигулин.

Эксплоатационная длина ж. д. общего значения в Европ. России (без Финляндии) составляла, по данным Мин. Пут. Сообщения, в 1893 году 29,1 тысяч верст, в 1897—40,3, в 1902—44,8. Вместе с дорогами Азиатской России она равнялась в 1899 г.—46,2, а в 1902 г.— 52,6 тыс. верст. За десятилетие 1893-1902 г. эксплоатационная линия возрасла, таким образом, на 25 т. в., при чем в то время, как рост сети за пятилетие 1898-1902 г. равняется 30% общего увеличения, в в 1902 году он не составляет и 7%. За указанное десятилетие „девятью только частными обществами было сооружено 12.500 верст новых путей, при том на старых построено тысяча верст второй колеи; сооружались пристани, элеваторы, шоссе, перестраивались старые центральные вокзалы, приобретался громадный подвижной состав“..... По данным Мин. Фин. число паровозов на наших ж. д. возрасло за 1892-1901 г.г. на 6.660 или на 93%, пассажирских вагонов на 9.446 или 119% и товарных на 176.402 или 118%. Из 12,5 тысяч паровозов, которые числились на всей казенной сети в 1905 году 6,2 тысячи или 51,5% были построены за период 1895-904 годов, в то время, как за 1885-94 гг. только 7,6%. На частных ж. д. соответствующие цифры составляют 49,6 и 14, 4%. По Шванебаху за шестилетие 1894-99 гг. на постройку и заказ подвижного состава ж. д. казной было потрачено 642.5 мил. руб., а частными дорогами 630,9 м. р., в общем 1273 м. р.

В то же время, хотя и в меньших размерах, увеличились средства нашего речного парового транспорта; так, за 1890-95 гг. число речных и озерных пароходов возрасло на 715, а количество номинальных сил их на 26.553, т. е. в среднем ежегодно строилось 143 парохода в 5.311 сил; за четырехлетие 1896-99 гг. 631 парохода в 33.961 сил, т. е. ежегодно 158 в 8490 сил; в следующее пятилетие 1900-1904 гг.—с наступлением кризиса—мы видим и здесь понижение строительства: 607 пароходов в 25310 сил, т. е., ежегодно 121 пароход в 5062 номинальных сил.

Все это, а также форсированная постройка военных судов, вызвало сильный спрос на продукты железоделательной промышленности, что в свою очередь отразилось на горной, каменноугольной промышленности. Началась усиленная постройка новых заводов и доменных печей и расширение старых. Развивалась быстро лесная промышленность, кирпичное, цементное, стекольное производства... С другой стороны рост нефтяной промышленности, работавшей на все возраставший в это время внутренний и мировой рынок, еще более усилил спрос на „строительную“ промышленность. Сооружались нефтяные вышки, строились керосиновые и масляные заводы; создавалась громадная паровая флотилия на Каспийском море и масса перевозочных средств на Волге. Расширялись и строились заново различного рода вспомогательные к нефтяной промышленности механические и химические заводы... Далее, рост городов, особенно на Юге, вызвал в это время лихорадочную постройку новых домов и перестройку старых, проводились конные жел. дороги, трамваи, телефоны, вводилось электрическое освещение, прокладывались водопроводы,

устраивалась канализация... Это усиленное строительство в городах вызывало с своей стороны усиленное производство соответствующих продуктов; развивались отрасли производства средств производства.

Это давало заработок значительной части нашей громадной резервной армии городского и сельского пролетариата... В капиталистическом производстве все отрасли тесно переплетены между собою; развивалась и промышленность, занятая производством средств потребления. Быстро возрастала текстильная индустрия, как благодаря спросу со стороны возросшего городского населения, так и со стороны сельского, в виду удовлетворительных урожаев 1893-96 годов. Так, группа по обработке волокнистых веществ увеличила за 1893-1897 гг. свое производство по стоимости продуктов с 621,9 мил. до 946 мил. руб., а по числу занятых рабочих с 497.940 до 642.520; производства „питательных" продуктов с 399,7 мил. до 648,1 мил. руб., а по числу рабочих с 216.834 до 255.357;—„животных" продуктов: 78,4 и 132,1 мил. руб., 44.228 и 64.418 рабочих...

II.

Дать общий полный обзор роста производства в нашей капиталистической индустрии за весь период под'ема мы не можем за отсутствием соответствующих статистических данных. Имеется свод данных о фабрично-заводской промышленности в России за 1897 год (изд. Деп. Торг. и Мануф. Спб. 1900) и есть, далее, статистические сведения о фабриках и заводах по производствам не облож. акцизом за 1900 год (изд. Отдела Промышленности М. Ф. под редакцией В. Варзара. Спб. 1907). Но данные эти не сравнимы не потому только, что первые охватывают промышленность во всей России, вторые только в Европейской, первые все производства, вторые лишь находящиеся в ведении Министерства Финансов, при чем в них не вошли производства, обложенные акцизом. Самый метод собирания сведений был во втором случае иной: регистрировались лишь заведения, подчиненные фабричной инспекции, вошли лишь крупные предприятия—с производством не ниже 5000 руб. и с числом рабочих более 10,—между тем как в данные 1897 г. попали отчасти и мелкие, полукустарные предприятия (всякое промышленное заведение с производством более 1000 р.), отчасти производства, близкие к сельскому хозяйству: хлопко-очистительные фабрики, мукомольные мельницы, лесопильные, салотопенные и др. заводики. По данным 1897 г. в фабрично-заводской и горной промышленности насчитывалось в империи 39.029 предприятий с 2.098.262 рабочими и с общей производительностью в 2,8 миллиардов руб. По регистрации же 1900 г. мы имеем 12.702 заведения, 1.343.279 рабочих и 2,0 миллиарда рублей. Однако, если мы сделаем соответствующие поправки в обеих регистрациях, то мы сможем представить известную картину роста нашей крупной промышленности в предприятиях, находящихся в ведении Мин. Фин. в Европейской России. Так:

	Число заведен.	Число рабоч.	Сумма произв.
По данным 1897 г.	26.388	1.298.794	2.082 мил. руб.
„ 1900 „	12.702	1.343.279	2.250 „ „

Отсюда мы видим, что в 1900 г., т. е., через 3 года 12.702 более крупных фабрик и заводов, которые составляют менее половины числа заведений по регистрации 1897 г., занимали больше рабочих и показывали большую общую производительность, чем 26.4 тысячи заведений в 1897 году.

В „Энциклоп. словаре Брокгауза“ (Допол. том, изд. 1907 г. „Россия“ LIII стр.) В. Варзар дал и общие данные за 1900 г., которые более сравнимы с 1897 г. Число заведений, не считая, однако, промышл. заведений, принадлежащих правительств. учреждениям (казне, военному и морскому ведомствам), а также железнодорож. мастерских, было в 1900 г. 38141 с 2.373.419 рабочими и с суммой производства в 3.439 милл. рублей... Сравнимые данные мы имеем на счет горной и горнозаводской промышленности. Последняя возрасла в империи (без Финляндии) за указанное трехлетие следующим образом:

	Число заведений.	Число рабочих.	Общая производительность.
1897	3.412	554.333	393.7 м. р.
1900	3.648	710.824	564.9 „ „
+ или —	+ 236	+ 156.491	+ 171.2 „ „
В %	+ 7	+ 28	+ 43 „ „

Все эти данные показывают быстрый рост капиталистического производства в период под‘ема, при чем росли особенно сильно крупные предприятия. Совершалась концентрация производства. К этому выводу приводят и данные А. И. Погожева насчет рабочих. Оказывается, что среднее число рабочих на одно предприятие было:

в предприятиях	1890 г.	1894/5	1902	+ или — за 1890—1902 гг. в %%
со 100-500 рабоч.	223	223	221	—0,9
„ 500-1000 „	664	667	683	+ 2,9
более 1000 „	2095	2218	2352	+ 12,3

Развивались, таким образом, за эти двенадцать лет быстрее всего самые крупные предприятия (с числом рабочих более тысячи). Они стягивали к себе и все большую часть числа рабочих крупных предприятий (с числом рабочих более 100): в 1890 г. в них работало 46%, а в 1902 г.—47,8% этого числа.

Яркой иллюстрацией развития у нас крупной капиталистической промышленности и торговли за период под‘ема может служить и следующая таблица роста основного капитала (в миллионах руб.) акционерных промышленных, транспортных и торговых предприятий;

сюда не вошли железные дороги, банки и страховые общества („Ежег. Мин. Фин.“ вып. изд. 1902):

Группы производств:	1893 г.	1896 г.	1899 г.	Прирост в % за 1893-99 г.
Волокнистые вещества. . . .	222,6	225,2	342,0	54
Химические производства . .	17,1	45,1	58,4	242
Бумагомассная группа. . . .	14,3	20,0	34,6	141
Горнопромышленная	101.0	209,4	406,1	302
Металлическая.	32,7	85,3	205,3	665
Керамическая	9,1	19,2	48,5	433
Сельско-хозяйственная группа (в 1891 г.)	2,9	3,6	4,9	70
Лесная	8,1	14,1	14,5	79
Питательная.	91,9	114,2	143,4	56
Животная	6,6	8,9	17,6	170
Торговая.	38,1	48,9	62,3	63
Перевозочная	39,8	40,4	45,0	13
Группа по благоустройству городов	62,1	74,2	97,8	57
Смешанная группа	38,1	48,9	74,4	95
Всего. . .	684,4	987,4	1.599,8	134%

Мы видим отсюда, что за шесть лет все группы производства возрасли на 134% при чем наибольший рост обнаружила группа металлическая на 665%, далее идет керамическая на 433%, и это в связи с развитием строительного дела, затем горнопромышленная на 302% и химическая 242%. Группа по благоустройству городов увеличилась на 57% и т. д. Что касается группы по обработке волокнистых веществ, то она возрасла лишь на 54% и это потому, что неурожаи 1897 и 1898 гг., сократившие покупательную способность крестьянских масс, несомненно отразились на этой отрасли. Группа волокнистых веществ, занимавшая еще в 1896 г. первое место в нашем акционерном деле, в 1899 г. уступает это место группе горнопромышленных предприятий, т. е. добыче металлов, каменного угля, нефти и пр., что опять-таки является характерным для развития капитализма в стране.

Какой характер носят у нас производства в различных отраслях промышленности, можно видеть и из отношения количества пролетариата к числу самодеятельных лиц, занятых в этих отраслях. В этом отношении интересны данные переписи 1897 г., относящиеся как раз к периоду под'ема. Данные эти, разработанные А. Лосицким и И. Чернышевым, показывают, что наименьшим процентом пролетариата по отношению к числу самодеятельных, обладает торговля (17.1%), со сравнительно небольшим процентом (28.2%), является группа изготовления одежды. В этой последней группе крепко держится еще мелкое производство и домашняя форма промышленности. Определенно выраженную капиталистическую форму имеет транспортное дело (43.0%),

еще более — железнодорожное хозяйство (67.3%). Обработка волокнистых веществ и обработка металлов (55.1 и 59.4% пролетариата) имеют также крупно-капиталистический характер, точно так же, как и группа по обработке питательных веществ, куда входят сахарные заводы, винокурение, мельницы и пр. Но наиболее ярко выражена крупно-капиталистическая организация производства в тех отраслях, которые, как мы видели выше, и в акционерном деле показали наибольший темп развития за период под'ема. Так в керамических производствах пролетариат составляет 66.2%, а в добыче руд и выплавке металлов 90.7%, занятых в этих производствах лиц.

Железная и каменноугольная отрасли промышленности, развиваясь особенно быстро на юге России [1]), наложили в 90-х годах новый отпечаток на местную жизнь, превратили чисто-земледельческие до того времени губернии, как Херсонская, Екатеринославская, Харьковская, Область Войска Донского, в индустриально-земледельческие, оттеснили тогда чисто „торговый" капитал, работавший и работающий здесь на почве „капитализации земледельческих доходов", и выдвинули роль „промышленного". Точно так же и нефтяная промышленность своим развитием дала тон всему Закавказью от Баку вплоть до Батума, оживила Каспийское море и Волгу и оттеснила в устье ее—в Астрахани—исконную рыбную промышленность, которая, хотя и ведется теперь крупно, „капиталистически", но хищнически, паразитарно. Нефтяной район через Грозный и Владикавказскую ж. д., близко примыкая к Ростову, как бы сливается с горнозаводской промышленностью этого южно-русского района. Последний в свою очередь близко примыкает к юго-западному - району капиталистической сахарной промышленности,—с Киевом во главе. Далее на Западе шел быстрыми шагами польский капитализм, развивалась крупная промышленность прибалтийских губерний, рос центральный промышленный район вообще и в частности его капиталистическая текстильная индустрия, развивалась, хотя и сравнительно слабо, горная и заводская промышленность Урала, росла капиталистическая индустрия Петербургского района, обнаруживая всюду у нас свои специфические общественные черты... А дальше, на севере, развивался капитализм в Финляндии, судьбу которой история последних двух десятилетий так тесно связывает с судьбой России.

III.

Капитализм самым ходом процесса производства обучает, развивает и организует пролетариат, который растет количественно вместе с ростом капитализма в данной стране. В периоды промышленного под'ема мы видим повсюду усиление экономической борьбы труда с капиталом. И у нас период под'ема 1893—1899 годов характеризовался

---

[1]) Еще в 1890 г. южный район вырабатывал менее половины Урала, а в 1901 г. уже вдвое больше его: свыше 53% всего производства чугуна в России за этот год. Производство железа и стали на юге было в 1890 г. в 2½ раза меньше, чем на Урале, и равнялось производству в Польше или в Центральном районе, в 1896 г. Юг обогнал их всех. В 1890 г. производство этих продуктов сотавляло здесь 16%, а в 1901 г.—40% всего производства в России.

увеличением числа экономических стачек, и это несмотря на существование в то время у нас драконовых законов против стачек. По данным В. Варзара в промышленных предприятиях, подчиненных надзору фабричной инспекции, и охватывавших за период 1895 — 99 г.г. в среднем 19 тысяч фабрик и заводов с 1,5 милл. рабочих и с суммой производства почти в 2.5 миллиарда руб., число стачек и участвовавших в них рабочих выразилось в следующих цифрах:

Годы	Число охваченных стачками заведений		Число участвовавших в стачках рабочих	
	абсолютное	в % к общему числу	абсолютное	в % к общему числу
1895	68	0,36	31.195	2,01
1896	118	0,62	29.527	1,94
1897	145	0,75	59.870	3,99
1898	215	1,13	43.150	2,87
1899	189	0,99	57.498	3,83
1900	125	0,73	29.389	1,73

Мы видим из этих данных, что стачечная волна определенно возрастала вместе с под'емом промышленности; в 1900 году, с наступлением кризиса, она обнаруживает падение, о чем в другом месте подробнее. Здесь важны не абсолютные цифры стачек и забастовщиков за указанные годы, так как целые крупные отрасли производства, как горнозаводское, железнодорожное хозяйство и др., не вошли в регистрацию. Важно % отношение числа забастовщиков к общему числу рабочих в рассматриваемых предприятиях. И этот процент у нас высок: он колебался за пятилетие 1895—99 годов от 1,94 до 3,99. Во Франции, где стачки разрешены, в 1897 и 1898 гг. число бастовавших к общему числу рабочих в стране было 1,4 и 1,6%, в Англии в 1899 году—2,1, а в Германии за 1893—98 оно колебалось от 0,01 до 1,5%. Именно в 1896 году, когда текстильная промышленность переживала наибольший под'ем, произошла знаменитая стачка петербургских ткачей, наиболее отсталых в экономическом отношении. Общественно-политические условия России сделали у нас то, что экономическая борьба рабочих с самого начала была тесно спаяна с борьбой политической. В 1895 году, именно во время под'ема, впервые получили прочную организацию с.-д. союзы рабочих в Петербурге, Москве, Киеве и других промышленных центрах. В феврале 1896 г. „Союз борьбы за освобождение рабочего класса“ в Петербурге и „Московский рабочий союз“ в своих адресах французским рабочим по поводу 25-летней годовщины Парижской коммуны уже могли писать, что „недалеко то время, когда и русский пролетариат выступит открыто на арену всемирной истории“. А через три месяца петербургская стачка ткачей, поддержанная московскими рабочими, показала, что это не пустые слова. Правительство тогда открыто заявило об участии революционных организаций в рабочих стачках и поспешило с законом 1897 г. о нормировке рабочего дня с целью остановить все развивавшееся рабочее движение. Но уже через восемь лет—в 1905 году—русский пролетариат показал, что он является первоклассной силой в движении пролетариата всего мира.

IV.

Рассмотрим теперь вкратце развитие главнейших отраслей нашей капиталистической промышленности, занятых производством предметов производительного и массового личного потребления. Начнем с железной промышленности, которая является в настоящее время лучшим показателем развития капитализма в стране. Текстильная индустрия, игравшая прежде в старых капиталистических странах первенствующую роль, теперь уступила ее там железной; она и в молодых странах все больше и больше делится своим значением с этой последней.

Ход развития у нас железной промышленности за время под'ема виден из следующей краткой таблицы:

Годы	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900
Выплавка чугуна:			(в миллионах пудов)					
В империи	68,8	80,0	87,2	97,4	112,8	135,3	163,7	177,5
В южн. районе . .	19,9	27,2	33,8	39,0	46,2	61,3	82,5	92,6
Производство готового жел. и стали в империи . . .	57,5	60,5	65,2	76,2	86,6	98,3	107,0	121,8

Выплавка чугуна, составлявшая в 1893 г. 68,8 м. пуд., постоянно возрастая, достигла в 1900 г.—177,5 м. пуд.; в 1901 году она упала, о чем в другом месте. Производство железа и стали с 57,5 милл. пуд. в 1893 г. поднялось до 121,8 мил. пудов в 1900 г., до 129 в 1901 г. и упало в 1902 году. Какую роль в этом под'еме играло железнодорожное строительство видно из того, что производство рельсов за 1893—1900 г. возрасло с 14 до 30,3 милл. пудов. В 1890 году Россия занимала шестое место по выплавке чугуна, в конце этого десятилетия она заняла четвертое, обогнав Австро-Венгрию и Францию; по производству железа и стали она также заняла четвертое место, обогнав, кроме того, и Бельгию. В то время, как Франция увеличила свою выплавку чугуна за 1890—1900 г. на 58%, Великобритания на 13%, С. Штаты на 76%, Германия на 61%, в России она возрасла на 220%. Производство железа и стали возрасло за это время во Франции на 42%, в С. Штатах на 50%, в Германии на 91%, а в России на 196% [1]). Сравнительный рост производства в этой промышленности у нас значительно превзошел таковой, как всего мирового производства, так и каждой из остальных капиталист. стран в отдельности.

Еще быстрее, чем в империи—здесь везде без Финляндии—был рост железоделательной промышленности по отдельным районам. Так, на юге выплавка чугуна возрасла за 1890—1900 гг. на 594%, а производство железа и стали на 600%. Число рабочих на

---

[1]) Рост внутреннего потребления железных продуктов за 1893—1899 гг. был еще больший, чем производство, что вызвало усиленный привоз их из-за границы. Привоз машин и аппаратов возрос за это время с 3,4 до 12,4 милл. пуд., железных изделий с 1,5 до 3,3 милл. пудов, железа с 5,1 до 16,2 милл. пудов; с 1900 года произошла перемена: привоз железных продуктов сильно сократился, а возрос вывоз. Вместе с тем сократилось и потребление в стране. Но об этом в другом месте.

доменных заводах этого района возрасло с 11.371 в 1890 г. до 45.466 в 1899 г., т. е. почти на 300%.

Такие же явления обнаружила за 1893—99 гг. и каменноугольная промышленность, Так, было добыто угля (в милл. пуд.):

Годы	Во всей России	В Донецком бассейне	В Домбровском басс.
1893	464.8	239.8	193.4
1894	534.9	295.9	204.7
1895	555.5	298.3	224.8
1896	572.5	311.8	223.6
1897	683.9	411.7	229.8
1898	751.4	461.9	249.5
1899	853.1	562.8	242.5

Добыча угля во всей России возрасла за это шестилетие на 83,5%, в Домбровском на 26%, а в Донецком бассейне на 135%. Этот рост был вызван, главным образом, увеличившимся производительным потреблением угля, сильно возросшим спросом на него со стороны металлургической промышленности, железных дорог и т. д. И так как собственного угля не хватало, то возрос ввоз заграничного с 104,7 до 238,4 милл. пудов, т. е. почти в $2^1/_2$ раза; ввоз же кокса за указанное шестилетие возрос с 17,7 до 35,0 милл. пудов, т. е. почти вдвое.

Перейдем к нефтяной промышленности. Общее представление о ее движении за период под'ема может дать следующая таблица:

	1893	1896	1900	1901	1902
	Миллионов пудов				
Полезная добыча нефти	325	386	601	671,3	636,5
Было в бурении скважин	175	387	215	1050	814
Пробурено саженей	10.980	28.126	83.140	75.665	40.390
Вывезено нефти, прод. из Баку	248	307	443	497	514
„ „ за границу	60,2	64,6	87	93,4	92,4

Мы видим, таким образом, что с 1893 года до 1901 года, когда добыча нефти достигла максимума, эта добыча возрасла более чем вдвое. Число фирм, работавших в Бакинском районе с 1889 по 1901 год, возрасло с 61 до 171, в том числе крупных 15 и 42. Число „наиболее крупных“ фирм осталось за это время без изменений—15. И в 1889, и в 1901 г. эти последние добывали $^3/_4$ всей добычи, средняя добыча каждой из этих фирм составляла тогда 9,7 милл. пудов в год, в 1901 г. 33 милл. пудов. Половина всей добычи нефти в этом году приходится на долю только шести фирм или $^1/_{28}$ общего их числа. Такова концентрация в этой отрасли промышленности.

Нефтяная промышленность, работающая при посредстве иностранного капитала и на мировой рынок, ярко проявляет законы капиталистического производства и отражает на себе влияние мирового рынка. Исследование цен на ее продукты показывает: в 1890 г. высокие цены, кульмин. пункт предыдущего под'ема, в 1892 г. кризис низких цен; 1893 и 1894—годы застоя. С 1895 г. новый цикл

движения, в 1900 г. цены достигают самого высокого уровня, затем идет резкое падение цен, в 1902 г. кризис низких цен. Обрисовывается, таким образом, десятилетний цикл движения.

Что касается бакинской нефтеобрабатывающей промышленности, то число заводов в ней в 1893 г. было 115, в 1896—105; 1900—94 и в 1901—21 зав., т.-е. оно сократилось за это время на 21%. Еще более сократилось число керосиновых заводов: с 99 до 64 или на 35%. Концентрационный процесс здесь ясен. Выработка керосина с 89 милл. пуд. в 1893 г. достигла 134,1 милл. пуд в 1900 г.; в следующем году она сократилась до 128,7 милл. пуд.; но об этом, как и вообще о характере ведения у нас добычи нефти, будем говорить подробнее в главе о кризисе.

V.

Обратимся теперь к производствам, изготовляющим предметы массового личного потребления. Среди них первое место, как известно, занимает хлопчато-бумажное производство. Развитие этой отрасли индустрии видно из следующих данных:

Годы.	Число прядильных фабрик.	Прядильн. веретен.	Число ткац. фабрик.	Самоткац. станков.	Количество переработ. хлопка (в тыс. пуд.)	Стоимость производ. пряжи (в тыс. руб.).	Произв. суровых тканей (в тыс. пуд.).
1890	66	3.457.000	83	87.190	8.328	119.607	146.762
1899	109	6.091.000	118	145.842	16.127	248.127	241.527
Прирост в %%	65	76	41	67	94	107	65

Итак, за десятилетие 1890—99 гг. число прядильных фабрик возрасло на 65%, ткацких на 41%, число прядильных веретен на 76% и станков на 67%. В частности за 1896—1900 гг. число веретен возрасло с 5,1 до 6,4 милл. или на 27%, а число станков с 113 до 148 тыс. или на 30%. Количество переработанного хлопка увеличилось за 1890—1899 гг. на 94%, а стоимость произведенной пряжи на 107%. Что касается произведенных готовых тканей, то стоимость их возрасла приблизительно с 220—250 милл. руб. до 362—410 милл. руб. При чем считается, что количество произведенных суровых тканей возрасло за это десятилетие с 2,6 до 4,6 миллионов аршин, или на 73%, а по стоимости на 65% (Брандт). Рост нашей хлопчато-бумажной промышленности тем ярче бросается в глаза, что за это же десятилетие число бумаго-прядильных веретен в Англии возрасло на 3,8%, на континенте Европы на 83,3%, в С.Штатах на 25,6%, в Индии на 44,4%, а у нас, как мы сейчас видели, на 76,2%. Наше хлопчато-бумажное производство, составлявшее в 1890 г. 4% всего мирового производства, в 1899 г. поднялось на 6%.

В ряду других производств этого отдела обращает на себя внимание прежде всего сахарное производство. Положение его за период 1889/90—1899/900 гг. было, на основании данных Главн. Управ. Неокл. Сборов, следующее. Число действовавших песочных и песочно-рафинадных заводов возрасло за это время с 220 до 268, количество

учтенного сахара с 24,6 милл. пуд. до 48,5. Наряду с растущим техническим совершенствованием производства, все большим и большим распространением механических двигателей, число рабочих за это время возрасло с 85.696 до 105.059 чел.—цифры, которые „не могут быть названы точными". Обращает на себя внимание рост числа малолетних: с 479 до 1158, число женщин возрасло с 9.328 до до 12.584. Количество выработанного сахара на одного рабочего возрасло с 287 до 461 пуд. Число рафинадных заводов за 1889/90 и 1899/900 гг. возрасло лишь с 18 до 23, а производство их с 14,5 м. п. до 23,2. За границу было вывезено в 1890 г.—3,3 милл. п., в 1900—12,5 милл. п., в 1899/900—37,4 милл. п.

Ненормальность положения нашей сахарной промышленности—всем известный факт. В то время, как в 1900 г. русский потребитель платил за рафинад 6 р. 15 к., в Гамбурге он стоил 4 р. 30 к., а в Лондоне 2 р. 48 к. Кроме запретительных пошлин на ввозный сахар мы имеем с 1872 г., в целях вывоза его, возврат акциза, с 1886 по 1891 г. у нас платили еще премию за вывоз—от 1 р. 80 к. за пуд. С 1887 года мы имеем синдикат сахарозаводчиков, а с 1895 казенную „нормировку" его. Чтобы удержать цены на внутреннем рынке на прямо-таки недоступной широким слоям высоте, мы в Англии продавали его за бесценок, и кормление им там свиней вовсе не легенда, как утверждает „Промышленность и торговля". А так как вывоз нашего сахара за границу встретил в начале текущего столетия препятствие, то было разрешено кормить без акциза сахаром свиней и в России, только сахар должен быть предварительно денатурализован. После этого нужно еще удивляться, что потребление сахара у нас за 1890—1900 г. увеличилось на 9%. Но как мы далеки от западно-европейской нормы видно из того, что в Англии в 1898 г. на душу населения приходилось 92 ф., в Германии в 1897 г.—25 ф., в С.Штатах 70 ф., а у нас в 1898—99—10½ ф., т. е. в девять почти раз меньше, чем в Англии...

Что касается винокуренного производства, то число заводов за время с 1889/90 по 1899/900 г. сократилось с 2.082 до 2.069, при чем убыль падает на средние и мелкие заводы, число же крупных возрасло с 7 до 9% всех заводов. С 1890 по 1900 количество выкуренного спирта увеличилось с 75.939 тыс. вед. 40% до 83.153 т. в. Потребление спирта возрасло с 59,4 до 69,1 милл. в. Число рабочих на этих винокуренных и дрожжево-винокуренных числилось в 1900 г.—32.020, в том числе 135 малолетних. На фруктово-виноградно-водочных заводах, которых было 2.494, числилось 10.988 раб. [1]).

В пивоваренном производстве число заводов за этот же период неуклонно сокращалось, и с 1.233 упало до 988. Из заводов сокращались, главным образом, мелкие и средние. Отметим здесь, что число пивоваренных заводов в городах составляет 51% всех этих заводов. Число рабочих за 1890—1900 г. возрасло с 10.325 мужчин,

[1]) Замечающееся в десятилетие 1890—1900 сокращение вывоза спирта за границу с 10.549 тыс. вед. до 1.318 тыс. вед. возмещается увеличенным потреблением внутри. За это десятилетие замечается и возрастание вывоза изделий из спирта (лака, уксуса, эфира, коллодия и пр.)—с 6.456 ведер в 40° до 38.836 вед. Число таких заводов у нас возрасло с 87 в 1897 г. до 138 в 1900 г.; количество употребляемого ими спирта возрасло за это время с 541 тыс. вед. до 1.019 тыс. вед. а производство с 398 тыс. до 878 тыс. ведер.

212 женщин и 34 малолетних до 14.177, 989 и 337. Увеличение числа рабочих наблюдается особенно с 1897 г., что об'ясняется и более достоверными данными. Общее количество вываренного пива возрасло за 1896—1900 г. с 43,6 мил. вед. до 47,7, при чем в последнем году менее 1899 на 337 тыс. вед. В среднем на один завод в 1896 г. приходилось 41,7 тыс. вед. В 1900 г.—48,7 тыс. вед.

В табачном производстве: число фабрик сократилось с 1890 по 1900 гг. с 340 до 248, при чем число фабрик с производством от 10 до 25 тыс. п. табаку и свыше возрасло; сокращение падает на мелкие и средние фабрики. Число рабочих возрасло с 32.606 до 38.996 чел., среднее число на фабрику с 96 до 157 чел. Число женщин в 1900 г.—25.849 или—66,3% общего числа рабочих, при этом малолетние составляют 10,6% общего числа женщин. С 1890 по 1900 гг. переработка табаку под высшей бандеролью возрасла с 959 до 1.233 тыс. п., под низшей с 2.556 до 3.033 тыс. п. Отмечается растущее техническое усовершенствование производства; число механических станков, керосиновых и газовых двигателей значительно возрасло, число ручных сократилось.

И, наконец, в спичечном производстве мы видим: число фабрик, производящих фосфорные, бесфосфорные и смешанные спички, сократилось за этот же период с 290 до 123, а число произведенных спичек возрасло с 143 до 208 миллиардов штук. Число рабочих увеличилось с 15.818 до 17.687 чел., при чем % малолетних (до 15 лет) мужчин и женщин возрос с 14 до 17%.

В рассмотренных нами производствах предметов личного потребления, несмотря на высокие косвенные налоги и другие ненормальные условия, о которых еще у нас будет речь впереди, мы констатируем, таким образом, как общее явление за период под'ема: расширение производства, улучшение техники, концентрацию производства, увеличение числа рабочих и поднятие производительности труда.

Показателем развития у нас капитализма, и вообще денежного хозяйства, за рассматриваемый период является и развитие мукомольного дела. Перевозки ржаной муки по железным дорогам и водным путям возрасли за 1890—1900 гг. на 23 милл. п. или на 50%, перевозка пшеничной—на 90 милл. или в четыре раза. Рост перевозки последней проявился особенно в период 1893—1900 гг.—с 53 до 121 милл. пуд. Причина этого заключается, по признанию самого г. В. В., „в крупных успехах менового хозяйства“.

Так как вывоз муки за границу у нас незначительный, то это увеличение перевозок показывает рост внутреннего мучного рынка. Данные показывают, что за это десятилетие развивалось особенно заметно крупное капиталистическое мукомолье. Одним из главных районов мучного дела является Волжский район. Пристанями Волги было отправлено в 1893 г.—79 милл. пуд., в 1900 г.—17,4 милл. пуд. пшеничной муки. Вслед за Волжским идут и другие крупные центры мукомолья: южный, юго-западный и центрально-черноземный... Но подробно об этой отрасли промышленности, равно как и о рассмотренных нами выше, мы говорим при обзоре положения нашей промышленности в 1900—1910 гг.

IX. Торговля и кредит.

(Из статьи В. А. Мукосеева, под тем же заглавием, в I т. изд.: „Обществ. движение в России в нач. XX в.“. Спб. 1909 г. Стр. 96—149).

I. Внутренняя торговля.

Реформа 1861 г. с одной стороны, и железнодорожное строительство—с другой оказали на внутреннюю торговлю глубокое и революционизующее влияние. Под их непосредственным воздействием коренным образом изменяется весь строй торговых отношений России, и создается новая торговая техника,—по своей природе и задачам обращенная к организации рынка и распределения, к созданию усовершенствованных аппаратов товарного обмена, с крикливостью их рекламы, назойливостью комивояжеров, отчаянной погоней за сбытом, не останавливающейся ни перед чем, чтобы стимулировать спрос. Коротко говоря, под влиянием вышеуказанных факторов у нас появляется капиталистическая организация сбыта, рынок, в который как в узловую линию, вплетаются все вопросы экономической и политической современности.

Как известно, освобождение крестьян сопровождалось весьма значительною урезкою крестьянского землепользования, уменьшением крестьянских наделов.

С другой стороны, параллельно этому, вызванному реформой 1861 г., сокращению крестьянских запашек в сильной степени увеличиваются всевозможные платежи и повинности в денежной форме.

Вследствие указанных причин, крестьянин вынуждался как к увеличению запашек производства, так и к немедленной реализации продуктов своего хозяйства. Тяжелое бремя платежей и налогов, при недостаточности земельного надела, толкало крестьянское производство во власть рынка. Силою вещей крестьянин был поставлен в невыносимые условия существования: прилагая героические усилия для обработки надела, он стремился получить возможно больше продуктов земледелия, дабы, продав их, выручить известную сумму денег, необходимую для уплаты повинностей. Принужденный, таким образом, к срочному отчуждению на рынок продуктов своего хозяйства, крестьянин не мог разумно использовать сложившиеся рыночные кон'юнктуры и реализовал урожай на местах, в большинстве случаев находившихся вдали от видных торговых пунктов, где работал крупный торговый капитал и цены стояли значительно выше местных. Отсюда—перенесение центра тяжести торговли хлебом и сырьем вообще,—из немногих торговых пунктов в места производства, в мелкие города и селения.

Этот факт эволюции нашей торговли подкрепляется еще и тем

аргументом, что с отменой крепостного права помещичье крупное хозяйство сокращает запашки, уменьшает производство и теряет свое доминирующее значение на хлебном рынке.

После 1861 г. замечается сильный рост хлеботорговых оборотов и заграничного экспорта, как следствие вышеуказанных причин: вынужденная продажа хлеба крестьянами-производителями в связи с переходом многих натуральных повинностей и отношений в денежные и падение экономического влияния помещичьего производства на хлебный рынок [1]).

Годы	Вывоз хлеба (четвертей)	Вывоз вообще по европейской границе (в тыс. рубл.)	Примечание
1859	9.637.322	149.395	Понижение вывоза хлеба в 1860—62 гг. и стационарность в 1863—65 гг. об'ясняется неурожаями 1859 и 1865 гг.
1860—1862	8.859.534	161.671	
1863—1865	8.708.026	161.351	
1866—1868	13.153.675	203.991	
1869—1871	18.154.322	314.235	
1872—1874	21.080.385	356.207	
1875	22.387.617	360.601	
1876	25.238.265	379.257	

Могучим стимулом к об'единению рынка явились железные дороги. Новые комбинации торговых отношений, возникшие на почве реформы 1861 г., с устройством ж. д. сети получают свое законченное выражение (×).

К моменту открытия жел. дорог крестьянин и помещик, наталкиваясь на оторванность от центров, вынуждались к продаже продуктов по местным низким ценам,—первый из-за нужды, второй же вследствие падения крепостного права. Проведение железных дорог, выравнивая цены, устранило эти препятствия. Усиленный сбыт хлебов естественно оттягивался от мест производства, избавив производителей от погони за рынком. А так как железные дороги проходили от портов, через земледельческие районы и промышленные центры, к портам другого моря, то создавалось русло, по которому, стекаясь с прилегающих районов, двигались хлеба из земледельческих районов в порта (или в пункты сухопутной границы), задерживаясь в промышленных районах, насколько это необходимо для внутреннего потребления; и, наоборот, из портов и пунктов сухопутной границы шли товары промышленности в центры, где распределялись и соединялись с товарами туземного производства и откуда радиусами расходились в стороны земледельческих районов. Таким образом хлебные грузы стягивались к портам, а грузы промышленные—концентрировались в промышленных же пунктах, а затем двигались по направлению к окружностям (×).

Коренные изменения в области сбыта сырых продуктов, последовавшие с момента проведения железных дорог, преобразовали также и торговый капитал. Централизация рынка, покоившаяся на помещичьем крупном производстве и крепостном труде, создала крупный

[1]) Нижеследующие цифры показывают, по трехлетним периодам, вывоз хлеба и товаров с 1859 по 1876 гг.

торговый капитал. Освобождение крестьян, при одновременном сокращении наделов и усилении податной тяготы, двинуло массы крестьянского хлеба на местные рынки, где продукт не мог быть надлежаще реализован, вследствие низких цен и отсутствия солидных торговых организаций. Железные дороги децентрализуют рынок, связывают местные рынки с центрами, и для крестьян создается возможность продавать хлеб у себя дома. Мелкие крестьянские запродажи, вместе с децентрализацией рынка, вызывают падение крупного торгового капитала, порожденного крупным производством, и создают господство мелкого торгового капитала, демократизацию торговли. Вместо московских и коломенских первостатейных купцов, одетых в длиннополые сюртуки и смазные сапоги, этих былых королей русского сырьевого рынка,—господствующее положение занимают юркие, оборотливые комиссионеры, в костюмах европейцев, с небольшими капиталами и аппетитами акул. Все закупки сосредоточиваются на местах и производятся по мелочам, затем небольшими партиями, повагонно отправляются по железной дороге. Вновь испеченное комиссионерство оживляет торговлю в земледельческих районах и, по своему перекраивая экономическую карту России, об'являет войну „лабазникам". Дальнейший рост железно-дорожной сети и прогрессирующее расстройство нашего сельского хозяйства, усиливая ряды комиссионеров, приводит к падению крупного торгового капитала и к торжеству демократических начал на хлебном и сырьевом рынках России.

Таким образом у нас совершилась эволюция торгового капитала. Мелкий капитал, опираясь на современные средства сообщения и кредит, является как бы антитезой крупного, не сумевшего приспособиться к новым условиям рынка и обмена.

Прослеживая дальнейшие тенденции в развитии сельско-хозяйственного рынка, мы видим, что, вследствие очерченных выше изменений в структуре сельско-хозяйственного производства и обмена, подымаются цены на хлеб и вместе с тем поднимается отпускная торговля.

Так, до проведения железных дорог, благодаря необ'единенности рынка, четверть ржи стоила 2 р. 50 к.—3 р., а к концу 70-х годов она подымается до 3 р. 50 к.—4 р. 75 к. Сравнивая цены на рожь в 1859 г. с ценами конца 70-х гг., получим следующую табличку:

	Цена четверти ржи (в рублях). 1 период.	2 период.	% увеличения
С.-Петербург	5,00	6,50	30
Рыбинск	3,15	4,75	50
Мценск	2,15	3,55	65
Орел	2,05	3,40	66
Моршанск	1,90	3,30	73
Елец	1,75	3,00	71
Козлов	1,70	3,15	85
Саратов	1,70	3,40	100 (×)

Последующее железно-дорожное строительство, связываясь с соображениями фискально-политического свойства, искусственно способ-

ствовало интенсификации хлебных перевозок к портам, так что сельско-хозяйственный рынок служил как бы орудием международной и финансовой политики правительства. Это достигалось введением дифференциальных тарифов. После выкупа железных дорог все тарифное дело перешло в руки центральной власти, которая этим сразу приобрела громаднейшее влияние на сельско-хозяйственный рынок (×).

Эффект дифференциальных тарифов увеличивался еще тем обстоятельством, что правительство, желая стимулировать вывоз, принимало строгие меры по отношению к крестьянам-недоимщикам: „вывоз хлеба косвенно поощрялся *усердным* взыскиванием податей, вынуждавших крестьян к спешной и несвоевременной продаже мелких хлебных запасов по цене, какую дадут“.

Результаты этого процесса по отношению к сельско-хозяйственному производству и рынку были весьма значительны. Сельское хозяйство оказалось вовлеченным в товарное обращение и было поставлено в зависимость от сельско-хозяйственного рынка, который развивался и креп под влиянием, с одной стороны, экономической необеспеченности крестьян (малоземелье и высокие податные сборы) и, с другой стороны,—прогрессирующего развития железно-дорожной сети. Правительство же в целях самообороны и самозащиты использовало сложившиеся кон'юнктуры. Оно, усиливая податной гнет, толкало крестьянина на срочные продажи продуктов для уплаты податей. А установление дифференциальных тарифов к портам форсировало экспорт, так что русский крестьянин стал работать на мировой рынок. Эта политика воздействия на сельско-хозяйственный рынок страны принесла правительству очень ценные результаты. При помощи таких мер оно могло занимать деньги за границей, не опасаясь за последствия,—ведь платежный баланс стал активным. Занимая деньги, оно могло строить железные дороги, а вместе с ними и усиливать косвенное обложение; а это в свою очередь, давало возможность вести „мировую политику“. (×)

Параллельно укреплению центральной власти шло разорение деревни, которая, в моменты неурожая, впадала в безысходную нужду, переходя ту грань обнищания, за которой начинается невозможность существования вообще. Под влиянием усиления податной тяготы крестьянское хозяйство становится в непосредственную зависимость от рынка, который, благодаря отсутствию капиталистической организации земледелия,—предоставлен скупщикам, орудующим по всем правилам высокой торговой техники, т. е. некапиталистическое, распыленное в массе, питающееся феодально-крепостническими соками сельское хозяйство, в своем стремлении к реализации продукта, наталкивается на капиталистически организованный рынок. Отсюда вытекают весьма важные последствия для всего народного хозяйства страны и для торговли, в особенности, так как сельско-хозяйственная промышленность определяет у нас все стороны экономических отношений, их строй и темп. Противоречия, обусловленные отсутствием надлежащего соответствия между сельским хозяйством и сельско-хозяйственным рынком, расширяются и углубляются по мере развития денежных отношений и под влиянием правительственной политики. Рост денежных отношений все более и более подчиняет производителя, ставя его

в зависимость от рынка, а усиливающиеся платежи и налоги государству в форме *денег* отчуждали значительнейшую долю продукта для уплаты этих платежей. (×)

Таким образом, анализируя условия развития сырьевой и хлебной торговли, мы видим перед собою поразительную картину, ряд взаимнообусловленных экономических антиномий: слабая налогоспособность земледельца, обусловленная малоземельем, и высокие налоги и платежи; некапиталистическое, неорганизованное сельско-хозяйственное производство, как результат малоземелья и высоких платежей, и капиталистически организованный сельско-хозяйственный рынок; рост денежных отношений и прогрессирующее обеднение земледельческого населения. (×)

К сожалению, за отсутствием у нас надлежащего статистического материала, высказанные выше заключения не могут быть с достаточной полнотой иллюстрированы цифровыми данными. Некоторые указания на этот счет дают следующие таблицы:

1. Средний годичный сбор, вывоз и остаток всех хлебов в 50 губерниях Европейской России (в четвертях).

Годы.	Чистый сбор предыдущего года.	Вывоз.	Остаток.	% отношение вывоза к чистому сбору.	Население в миллион.	Чистый сбор.	Вывоз.	Остаток.
	В 1.000-х четвертях.				На 1 душу в ч-ях.			
1870/1—4/5	184.032	22.483	161.549	12,2	67,5	2,73	0,33	2,40
1875/6—79/80	178.622	32.185	146.477	18,0	72,8	2,45	0,44	2,01
1880/1—4/5	196.468	33.441	163.027	17,0	78,3	2,51	0,43	2,08
1885/6—89/90	211.527	46.585	164.942	22,0	84,1	2.51	0,55	1,96
1890/1—4/5	288.517	50.345	178.172	22,0	89,2	2,55	0,56	1,99
1895/6—7/8	245.775	56.228	189.548	22,9	94,1	2,61	0,60	2,01

2. Осенние и весенние цены на пшеницу на местных и портовых рынках.

	О С Е Н Ь.			В Е С Н А.		
Годы.	Одесса.	Елец.	Местные центральн. губернии.	Одесса.	Елец.	Местные центральн. губернии.
1897	109	101	94	—	—	—
1898	39	100	93	130	105	110
1899	92	87	76	88	92	93
1900	87	78	74	88	83	74
1901	79	89	83	94	80	74
1902	81	75	71	87	91	89
1903	—	—	—	85	79	75

3. Железнодорожные перевозки главных хлебов (в среднем).

Наименование грузов.	1876-1878.	1895-1898.	Увеличение за 20 л.	
	Миллионы пудов.		Милл. пуд.	%
Пшеница	83,0	178,6	95,6	115,0
Рожь	76,5	84,4	7,9	10,0
Ячмень	16,2	46,8	30,6	189,1
Овес	58,3	97,7	39,4	68,0
Кукуруза	6,1	24,7	18,6	315,0
Мука пшеничная	19,4	79,5	60,1	310,0
„ ржаная	25,6	46,1	20,3	79,0
8 хлебных грузов	311,9	582,1	270,2	86,6

Рассматривая первую таблицу, мы видим, что отношение вывоза к чистому сбору повысилось с 12,2 до 22,9% или на 87,5%, в то время как сбор поднялся только на 33% (с 184.032 до 245.775 тыс. четв.) Неизбежным следствием этого является относительное понижение сбора,— именно сбор хлебов в своем количественном развитии отставал от роста населения и вывозной операции: население поднялось на 39% (с 67,5 мил. до 94,1 мил.), вывоз на 87,5%, а сбор хлебов только на 33%. Неудивительно поэтому, что душевые доли чистого сбора и остатка понижаются, а доля вывоза повышается. Однако, в отношении остатков, только одни крайние арифметические расходятся между собой; ряд последующих величин, напротив, не выражает резких колебаний, так что сумма остатка как бы остается стационарной. Таким образом, мы приходим к выводу, что вывозная операция по своим размерам не соответствует условиям сельско-хозяйственного производства, с одной стороны, и условиям внутреннего потребления хлеба—с другой.

Это положение аргументируется второй таблицей, которая показывает, что осенние цены на хлеб стоят значительно ниже весенних. Осенью, в момент реализации урожая, крестьянин выбрасывает свой хлеб на рынок, не сообразуясь с наличностью имеющегося у него запаса для собственного употребления. Отсюда—падение цен. Напротив, весной, когда усиливается спрос на местных рынках, когда происходят обратные закупки хлеба со стороны крестьян для посева,— цена повышается. Это видно из сопоставления портовых цен с местными. Но, тщательно рассматривая вторую таблицу, мы также увидим, что русский хлеб часто продается за-границу по ценам более низким, чем те, которые стоят на наших внутренних потребительских рынках, следовательно, приходится констатировать, что в отношении запродаж наша хлебная торговля—да и вообще вся торговля сырьем—не носит планомерности, отражая в себе целый ряд противоречий, обусловленных экономической нуждой крестьянина-производителя и господством феодально-крепостнических отношений в земледелии.

Третья таблица показывает нам, что за 20 лет (с 1878 по 1898 г.) сельско-хозяйственный рынок испытал весьма существенные изменения. По мере роста товарно-денежных отношений, в сильной степени увеличились хлеботорговые обороты. Перевозка пшеницы поднялась на 115%, ячменя—189%, кукурузы—315%, муки пшеничной—

310%. Эти цифры свидетельствуют о выступлении на хлебный рынок новых географических районов и о том, что предметами торга является ряд хлебов, за исключением ржи (увеличение на 10%), которая служит удовлетворению местных нужд. В частности, рост перевозок муки указывает на факт индустриализации хлебного дела.

Для полноты характеристики хлебного рынка следует остановиться на взаимодействии отдельных географических районов, активно участвующих в хлеботорговых операциях.

Выше мы говорили о поступлении хлеба на рынок и его распределении между за-границей и внутренним потребителем. Если возьмем количественные моменты грузового движения к границе и внутреннего, то получим следующую таблицу, указывающую цифры перевозок в главных хлебных грузах.

Годы.	Вывозное сообщение.	Внутреннее сообщение.	Вывозное сообщение.	Внутреннее сообщение.
	Миллионы пудов.		Рост движения в %	
1876—1880	161,2	120,5	100	100
1881—1885	195,3	171,9	119	143
1886—1890	235,5	186,3	146	155
1891—1895	219,3	257,0	136	214
1895—1898	231,4	291,2	144	242
1898—1902	249,3	264,0	154	220

Очевидно, за последние годы внутреннее движение становится преобладающим, как результат изменения в хозяйственном строе государства: рост промышленности, городов, пролетаризация деревни и т. п.

Отдельные производительные районы в этом отношении не имеют определенного единства, и их участие в железнодорожных перевозках хлеба, поступающего на внутренний и внешний рынки, представляется в следующем виде (в процентах).

Губернии.	Вывозное сообщение.	Внутреннее сообщение.
Центрально-земледельческие	42,1	57,9
Приволжские „	47,0	53,0
Новороссийские „	75,4	24,6
Юго-западные „	72,8	27,2
Малороссийские „	46,5	53,5

Отсюда видно, что центрально-земледельческий, приволжский и малороссийский районы работают больше всего на внутренний рынок, а новороссийский и юго-западный—на внешний. (×).

Чтобы покончить с характеристикой нашего сельско-хозяйственного рынка, укажем на размеры железнодорожных перевозок некоторых

наиболее важных сырых товаров, беря таковые за мерило торговых оборотов (в тыс. пуд.).

Годы.	Сало.	Кожи и шкуры.	Щетина.	Скот рогатый.	Шерсть.	Яйца.	Масло коровье.
1892	2.927	3.959	758	702.243	7.539	68.025	—
1893	2.603	4.221	713	701.768	8.766	58.729	—
1894	2.726	4.223	580	752.650	8.357	62.317	—
1895	2.598	3.969	778	747.782	8.138	66.459	1.475
1896	2.471	4.521	821	754.372	8.265	65.991	1.433
1897	2.637	4.654	815	868.247	8.855	69.031	1.410
1898	2.761	5.150	819	999.915	8.354	74.757	1.551
1899	2.977	5.209	814	1.195.993	8.290	82.804	1.707
1900	2.785	5.623	825	1.233.049	7.776	82.151	1.574

Как видим, поименованые товары—в отношении перевозок—обнаруживают тенденцию к увеличению. Этим самым подчеркивается высказанное выше положение, что наше сельское хозяйство вовлечено в товарный оборот.

Подводя итоги всему сказанному относительно нашего сельско-хозяйственного рынка, мы вынуждены признать, что его отношение к сельско-хозяйственной промышленности полно бьющими в глаза противоречиями, которые, в свою очередь, самым губительным образом отзываются на всем экономическом строе страны. Несмотря на рост денежных отношений, сельское население и земледельческое производство находятся в гнетущих условиях существования и чем дальше, тем тяжелее и безотраднее становится жизнь крестьянина-производителя, как будто бы последовавшие изменения в структуре обмена вместе с собой несут ферменты разложения и вымирания. Обладая ничтожным земельным наделом, и неся на себе огромные государственные платежи, крестьянин стремится к рынку, который встречает его в лице скупщика, спирающегося в своей деятельности на самые усовершенствованные аппараты товарного обмена. Таким образом беспомощное, отсталое, питающееся кабальными соками, земледелие встречается с рынком, техника которого очень высока. В результате—производитель страдает не только от малоземелья и высоких податей, толкающих его на спешные реализации урожая, но и от рынка, к которому он стремится, как к избавителю. Вынужденный к спешным и срочным продажам производитель выбрасывает продукт на рынок, не сообразуясь с кон'юнктурой и вопреки собственным представлениям о дальнейшем существовании его самого и его семьи, хотя бы это влекло за собою собственное голодание. Такая в существе своем противоречивая, не согласованная ни с какими хозяйственными рациональными соображениями и расчетами организация сбыта, только усугубляет невыносимое положение земледельческого хозяйства, так как неизбежно влечет за собой падение цен на продукт, исключает, таким образом, всякую возможность к улучшению производства и к

поднятию экономического благосостояния производителя. В выигрыше от этого остается лишь торговый капитал, скупщик, стремящийся наиболее благоприятным образом использовать все коллизии сельско-хозяйственного производства, столь ими богатого. С другой стороны, политика правительства по отношению к сельско-хозяйственному производству и рынку ставит своею очевидною целью достижение наибольшего эффекта изображенных выше противоречий. Стремясь к укреплению собственного положения, которое было далеко непрочно, и озабочиваясь проведением ряда экономических реформ, долженствующих создать предпосылки для проведения в жизнь задач самообороны, правительство специальными мерами формирует вывоз за границу. И вот, охарактеризованное выше несоответствие между производством и рынком получает законченное выражение и доходит до своего логического конца. Обременяя население новыми податями и налогами и усиленно их взыскивая, правительство способствовало срочным отчуждениям на рынок продукта, отдавало производителя во власть скупщика и дезорганизовало отношения сельской промышленности к рынку, от которого она и так уже жестоко страдала. Неизбежным последствием этого было увеличение поступления продукта на рынок, который тут же подвергался воздействию дифференциального тарифа. Искусственно вызванный рост зерновой наличности для целей экспорта повлек дальнейшее понижение цен, усиливал пропасть, лежащую между производством и рынком и способствовал обеднению сельского населения и обогащению скупщика. [1]).

Итак, резюмируя сказанное, мы видим, что сельское хозяйство в своих отношениях к рынку, как равно и отношения рынка к сельскому хозяйству, включены в какой-то замкнутый круг, отдельные части которого друг друга обусловливают и определяют.

Выход из этого круга разумеется не мог быть „октроирован"...

Заметим, что ряд неурожайных лет в предпоследнем десятилетии, при низких ценах на хлеб в сильной степени способствовал обеднению деревни [2]). Революционные вспышки, аграрное движение исходили из

---

[1]) С 1884 по 1893 г. вывезено хлеба 2.985.500 тыс. пуд. на сумму 2.445.400 тыс. руб. по цене (в среднем за пуд) 81,9 к., с 1893 по 1901 г. вывезено—1.929.800 т. п., на сумму 2. 678.900 тыс. руб. в среднем по 68 к. за пуд. Другими словами за 8 лет вывоз увеличился на 31,6%, но ценность его увеличилась лишь на 9,5%.

[2]) Сбор зерновых продуктов в 64 губерниях Европейской России составлял:

Годы.	Валовой сбор в мил. пуд.	Число жителей в мил.	В среднем на жителя пуд.
1893	3.460	102,65	33,7
1894	3.223	103,85	32,0
1895	3.061	105,21	29,1
1896	3.080	106,61	28,9
1897	2.546	108,05	23,6
1898	3.037	109,55	27,7
1899	3.424	111,11	30,8
1900	3.358	112,71	29,8
1901	2.938	114,30	25,7

более глубоких причин, чем одне „ненормальности“ сельско-хозяйственного рынка, являющиеся только частным выражением общих гнетущих условий экономической жизни страны. И оценка этих „ненормальностей“, как самостоятельного революционного фактора, может быть надлежащим образом произведена вместе с другими факторами, определявшими собою развитие революции вообще и в деревне, в особенности. Одно несомненно: несоответствие между рынком и производством, порожденное реформой 61 г. и усиленное специальными мероприятиями правительства, являлось одной из экономических предпосылок революции (X).

II.

Обращаясь к рассмотрению нашего внутреннего товарного рынка, следует заметить, что его развитие шло параллельно развитию рынка сельско-хозяйственного. Отправным моментом в развитии нашего внутреннего торга служила денежная форма обмена, приобретавшая все большее и большее значение в зависимости от роста железнодорожной сети, революционизировавшей старый экономический уклад.

Внутренняя торговля товарами фабрично-заводского производства в период 1865—1880 г. складывалась под влиянием целого комплекса причин, к числу которых следует прежде всего отнести железнодорожное строительство, банковый коммерческий кредит и валютные преобразования.

Реализация железнодорожных займов, усиливая денежное обращение страны, способствовала оживлению торговли. По подсчету Блиоха с 1866 по 1875 г. израсходовано внутри страны на сооружение и эксплоатацию железных дорог 617,2 милл. руб., из коих только 64,3 милл. руб. были употреблены на покупку материалов заграничного происхождения.

С другой стороны, усовершенствованные способы доставки денег и товаров, банковые переводы и перевозки по железным дорогам, вместо прежних почтовых, гужевых и судоходных пересылок и перевозок—привели к тому, что усилился темп обращения, расширилось потребление, которое распространилось как на предметы отечественной производительности, так и на привозные. (X).

Если принять за норму 32 пуда на жителя, то окажется, что за 5 неурожайных лет (1895, 1896, 1897, 1898 и 1901), население не добрало 1.853 милл. пуд. или около 2 миллиардов пуд. Переведя этот недобор на деньги, по 50 коп. за пуд.,— цена очень низкая, — получим 1 миллиард рублей. Этой суммы население лишилось.

Внешним показателем этого могут служить цифры ярмарочных оборотов в Нижнем и Ирбите (в тыс. руб.).

Годы	Нижегородская ярмарка.		Ирбитская ярмарка.	
	Привезено.	Продано.	Привезено.	Продано.
1851—1860 в среднем	77.511	69.783	34.000	28.400
1861—1870 „ „	119.443	104.804	42.400	38.800
1871—1880 „ „	168.116	149.392	—	—
1881—1890 „ „	199.905	187.127	61.500	56.700

Из этой таблицы видно, что ценность товаров, привезенных и (проданных) на две важнейшие ярмарки России, возрасла чрезвычайно: в 1881—1900 г. в Нижнем продавалось товаров более на 196%, чем в 1851—1860 г., а в Ирбите за это самое время количество проданных товаров возрасло на 23,5%.

Высказанное соображение об увеличении торгового оборота подкрепляется нижеследующей таблицей, указывающей на абсолютный и относительный прирост отдельных промышленно-торговых грузов, перевозимых по железным дорогам.

	Количество. Миллионы пудов.		Прирост с 1876 по 1897 гг.	
	1876—78 гг.	1895—97 гг.	Милл. пуд.	%
Нефть и керосин	6,4	200,7	193,3	3.035
Каменный уголь	90,3	446,6	356,3	395
Чугун, железо, сталь, рельсы	23,8	99,5	75,7	318
Лесные строит. материалы	67,8	201,7	133,9	197
Сахар	21,6	51,1	29,5	136
Хлопок	7,2	16,9	9,7	135
Шерсть	4,2	8,4	4,2	170
6 главных хлебов	311,9	572,0	260,1	83
Всего товаров малой скорости	978,0	2.808,3	1.830,3	189

Цифры этой таблицы с непререкаемой убедительностью говорят нам об интенсивном росте товарного обращения. Замечательно, что за рассматриваемый период времени перевозки хлебов, абсолютно возрастая, относительно падают: прирост хлебных грузов увеличился только на 83%, тогда как общие товарные перевозки поднялись на 189%. В частности, чрезвычайно возрасла циркуляция продуктов минерального топлива и других тесно с ними связанных материалов, идущих на нужды строительства и оборудования фабрично-заводской промышленности (предметы горного промысла и строительные материалы). С другой стороны, перевозка предметов непосредственного потребления широких масс—сахар, хлопок и отчасти шерсть—не обнаруживает такого стремительного роста, какой мы видим на перевозках материалов, питающих фабричную индустрию. Следовательно, в данный период страна находилась в фазе капиталистического офор-

мления, так как доминирующую роль в хозяйственных отношениях играл организационный момент—развитие производительного капитализма (×). Что промышленность в это время интенсивно возрастала,—видно из следующих цифр: производительность горных и фабрично-заводских отраслей увеличилась с 1,3 миллиарда рублей в 1887 г. до 2,8 миллиарда руб.—в 1897 г. Годичный прирост общей продуктивности составлял: в период 1887—1890 гг.—56 милл. руб., в 1890—1893 гг.—77 милл. руб., в 1893—1897 гг.—276 милл. руб.

Обращаясь к изучению причин этого явления, мы прежде всего наталкиваемся на протекционизм, на высокий, почти запретительный таможенный тариф, преградивший доступ иностранного товара в Россию и отдавший население во власть отечественных фабрикантов (×).

Высокий таможенный тариф и поощрение туземной промышленности, продукты которой—в силу существования протекционизма—были дороги, и большинство которых подвергалось косвенному обложению,—давали значительную прибыль фабрикантам, питая в то же время государственный бюджет. А так как рынок подвергался воздействию податной и железнодорожной политики, истощавшей покупательную силу главного потребителя—сельского населения, то получался такой двусторонний процесс: развитие промышленности, фабричного производства совершалось за счет падения потенциальной силы наличного спроса, за счет падения емкости внутреннего рынка (×).

Если мы обратимся к состоянию нашей внутренней товарной торговли во вторую половину девяностых и в начале девятисотых годов, то увидим, что развитие шагнуло далеко вперед по сравнению с 70-80 годами. Это произошло благодаря дальнейшему расширению железнодорожной сети, и дальнейшему развитию денежных отношений.

При разбросанности населения и редкости торговых пунктов—железные дороги являются у нас почти единственным средством к развитию торговли. Всякая новая линия стимулирует спрос, расширяет рынок, вовлекая данный район в цикл менового обращения (×).

Рост товарного обращения предполагает рост торгового капитала и капиталистическую организацию рынка в смысле нивелирования цен, установление непосредственной связи между производителем и потребителем.

Статистическое определение капитала, участвующего в торговле, к сожалению, невыполнимая задача, так как торговая статистика у нас совершенно отсутствует. Некоторые указания на этот счет можно найти в материалах по реформе промыслового обложения, которыми мы и воспользуемся.

	Число предприятий.		Сумма оборотов.	
	1889 г.	1898 г.	1889 г.	1898 г.
Предприятия гильдейские и негильдейские.	359.951	398.570	7.343 м. р.	9.903 м. р.
Предприятия, обязанные публичною отчетностью (банки, ломбард. и пр.).	586	824	?	10.395 „ „
Всего	360.537	399.349	—	20.298 м. р.

Цифры эти далеко не дают картины действительных оборотов внутренней торговли, так как сюда не вошли во 1) мелкие и малодоходные предприятия, во 2) все предприятия в 15 областях Империи, где раскладочный сбор не введен. Кроме этого, следует заметить, что за отсутствием контрольных средств, размеры оборотов, показываемых в „своде материалов", значительно преуменьшены. Во всяком случае обороты внутренней торговли превышают 25 миллиардов рублей,— сумма очень солидная. (X).

За отсутствием надлежащих данных классификации торговли по внешним признакам ее деятельности невозможна. Следовательно, определение оборотов в отдельных отраслях торговли, характеристика структуры торгового капитала также не может быть достигнута. Можно только говорить, что наша внутренняя торговля за последние годы сильно увеличилась, что торговый капитал интенсивно растет. Для доказательства приведем данные об основных капиталах акционерных предприятий торговой группы:

Отчетный год.	Основные капиталы.
1890	25.270.145
1895	44.596.676
1900	76.594.000
1902	83.537.000

Как видим, за 12 лет капиталы акционерных предприятий, занимающихся исключительно торговлей, возрасли на 230%.

Некоторым показателем усиливающегося роста торговли может служить количество почтовых операций, возрастание которых обусловливается развитием товарно-денежных отношений:

	1890 г.	1895 г.	1900 г.	1902 г.
Число почтовых отправлений.	314.125.189	545.341.017	848.952.613	1.006.871.268
Расстояние, пройденное почтами (версты).	66.067.729	73.168.232	105.270.070	109.537.690

Эта таблица показывает нам, что с 1890 г. по 1902 г. почтовая корреспонденция увеличилась почти на 200%, тем самым свидетельствуя о повышении темпа торгово-промышленной деятельности.

Само собой понятно, что на ряду с развитием торговли происходит перераспределение населения, которое теперь возрастает в городах с большей силой, чем в деревне: в 1897 г. число городских жителей составляло 13,0%, всего населения России, тогда как в 1867 г. в городах обитало не свыше 10,6%. По другому подсчету (В. Михайловского), с 1884 г. по 1897 г. города Европейской России увеличили свое население на 33,8%,—при общем росте населения в 15,25%, а сельское население за это время поднялось только на 12,7%.

Но как учесть население, непосредственно занятое торговлей?

Данные переписи 1897 г. в этом отношении страдают весьма существенными дефектами. Из этих данных видно, что население, активно

занятое в торговле, составляло 1.495.087,—в том числе рабочих (и прислуги) было 255.947 или 17%. Если все самодеятельное население выражается цифрою 33.202.000, а население вообще — 126.411.000, то, сравнивая эти величины с цифрою 1.495.087, увидим, что число лиц, живущих от торговли, составляет 4,5% по отношению к самодеятельным и 1,18% по отношению ко всему населению империи [1]). Выкладки эти, разумеется, дают только приблизительную характеристику положения и делать отсюда какие-нибудь категорические выводы очень рискованно. Во всяком случае, можно сказать только одно (да и то с оговорками): что торговля, как об'ект дохода, получаемого частью населения, непосредственно в ней занятого,—не велика. Это соображение подкрепляется еще тем, что количество пролетариата в торговле достигает 17,1%, ко всему самодеятельному населению, тогда как в промышленности эта цифра равна (в среднем) 50,3%, в железнодорожном деле—67,3%, в извозных и пароходных предприятиях—43%: общее количество пролетариата в самодеятельном населении было 9.156.080, а в торговле—255.947 или 2,8% по отношению к первой величине. Другими словами, поскольку можно судить из данных переписи о соотношении лично-предпринимательских элементов с наемно-трудовыми, наша торговля не носит ярко выраженного капиталистического облика: концентрация развита слабо и участие пролетариата сравнительно невысоко (×).

Итак, рост железнодорожной сети, товарного движения, городов и т. д., о чем мы только что говорили,—с несомненностью показывают, что наша внутренняя торговля быстро развивается, что торговый капитал приобретает все большее и большее значение. Однако, внешний факт возрастания торговых оборотов еще не дает нам полной картины изучаемого предмета и не вскрывает внутреннего строения торгового капитала.

Развитие торговли совершается в двух направлениях: в сторону расширения районов торговой деятельности и в сторону преобразования рынка в смысле его об'единения. Первое условие служит для второго главным и определяющим моментом. Энергическое сооружение железных дорог втянуло в торговый оборот многие географические районы, доселе жившие в условиях натурального хозяйства. Усовершенствованные пути сообщения, в свою очередь, вносят в цены товаров известное единообразие и децентрализуют рынок. Торговый капитал, опираясь на кредит, биржу и железные дороги, организует сбыт и организуется сам. Появляются комиссионеры, вояжеры, рекламы, торговые палаты, бюро кредитоспособности и проч. Принцип конкуренции,

---

[1]) Здесь удобно было бы провести параллель между Россией и иностранными государствами. Но,—говорит проф. Borght, „числа отдельных статистик несравнимы, так как различны методы и основания промысловой статистики“ (Borght, Hand. u. Handelspol. ss. 27—8). Поэтому, нижеприводимые цифры не могут претендовать на безусловную точность:

1890 г.	Австрия, торговый элемент населения	1.482.454	или	6,2%	всего	населения
1881 „	Италия „ „ „	279.773	„	1,24%	„	„
1890 „	Дания „ „ „	172.929	„	8%	„	„
1888 „	Швейцария „ „ „	92.293	„	7,3%	„	„
1891 „	Франция „ „ „	3.961.496	„	10%	„	„

Цифры эти вычислены по данным „The Statesman's Year Book“, for 1903.

борьба за рынок получает для торгового капитала значение первостепенной важности. Отсюда—концентрация торговых предприятий в немногих руках.

О расширении внутренней торговли мы уже говорили. Здесь удобно будет привести новейшие данные о железнодорожных перевозках и о географическом распределении нашей внутренней торговли по районам.

Перевозки железнодорожных грузов (по отправкам) в тыс. пудов:

	1892 г.	1902 г.	Прирост: Тыс. пуд.	Прирост: %
Мануфактурные товары	27.550	37.543	9.993	33,3
Сахар	20.119	32.154	12.035	62,5
Чугун	13.641	53.778	40.137	265,4
Железо и сталь	37.426	66.698	29.272	77

Из этой таблицы можно усмотреть, что за 10 лет перевозки продуктов народного потребления (мануфактура и сахар) возрасли на 33,3% и до 62,5%, тогда как продукты, идущие, главным образом, на нужды фабричной индустрии и железнодорожного строительства (чугун, железо и сталь), поднялись на 77% и до 265,4%. Но по расчетам фабричного ревизора Варзара народное потребление железа достигает 14% общей выработки (×).

Обороты товаров и товарной торговли по главнейшим районам не поддаются учету. Но если пользоваться для этого данными раскладочного сбора, то можно приблизительно определить степень участия в торговле той или иной губернии. Так, беря губернии с оборотами свыше 100 милл. руб., мы находим, что Московская губерния имеет 689 милл. руб. торгового оборота, Херсонская—507 милл. руб., Петербургская—477 милл. руб., Варшавская—186 милл. руб., Бакинская—116 милл. руб., Донская область—112 милл. руб., Лифляндская—107 милл. руб. Разумеется, приведенные выкладки далеко не характеризуют действительные обороты торговли по губерниям. Однако, из них можно усматривать то же, что мы видели из анализа грузового движения, а именно, в географическом отношении торговля распределяется, с одной стороны, между Москвой и Польшей, с другой стороны, между югом и этими пунктами.

Сооружение железных дорог внесло ряд существенных изменений в организацию нашей внутренней торговли. Прежде всего замечается падение былого значения крупных оптовых ярмарок и количественный рост ярмарок мелких сельских торжков.

Сумма проданных товаров (милл. руб.):

	1868—72 г.	1895 г.
9 крупных ярмарок малороссийского района	48,6	34,2

Тоже самое происходит с крупнейшими русскими ярмарками — Нижегородской и Ирбитской:

Ценность привезенных товаров (милл. руб.):

Годы.	Нижегородская ярмарка.	Ирбитская ярмарка.
1880	200	63
1885	186	56
1890	181	46
1895	176	48

Произвести учет оборотов мелких ярмарок и дать цифровую характеристику ярмарочной торговли за последние годы невозможно за отсутствием надлежащих статистических сведений. Некоторые данные о росте мелких ярмарок дает „Временник Центр.-Стат. Комитета“ за 1894 г. Если сравнить данные „Временника“ с данными „Воен.-Стат. сборника“, то получим следующую табличку, указывающую на сильный прирост мелких ярмарок:

	1868 г.	1894 г.
Общее количество ярмарок в империи	6.500	16.604
Из них:		
сельских ярмарок	5.341	14.432
городских „	1.159	2.172
с оборотами от 100 т. руб. до 1 м. р. и более	244	166

Итак, растут сельские и мелкие ярмарки, а крупные—падают.

Это об'ясняется, во-первых, тем, что с расширением железнодорожной сети, ростом транспортных средств, почтово-телеграфных, кредитных и комиссионерских учреждений—устанавливается непосредственная связь районов производства с районами потребления, закупки товара сосредоточиваются в фабричных пунктах, и ярмарочная оптовая торговля теряет свое практическое значение, как центральный пункт-распределитель. Во-вторых, быстрое развитие товарного хозяйства не удовлетворяется наличным числом мест розничной и мелочной торговли, техника которой стоит на низком уровне и сравнительно слабо приспособляется к условиям спроса. С другой стороны, мелкие ярмарки и торжки дают возможность крестьянам сбывать продукты своего хозяйства, и покупать предметы промышленности, минуя посредников.

Формы сбыта товаров различны, в зависимости от размеров рынка, на который сбываются товары. В крупных городах купеческая торговля поставлена на надлежащую высоту и потребитель получает товар из первых—вторых рук. Напротив, в уездных городах, посадах, селах, по мере удаления крупного торгового капитала от центров, сбыт сосредоточивается в руках представителей мелкого капитала, которые, в свою очередь, распадаются на трех—четырехчленный ряд. Вообще, влияние мелкого торгового капитала у нас чувствуется довольно сильно (X).

Развитие промышленности породило биржевую торговлю, которая особенно быстро развилась после закона 8 июня 1893 г., дозволявшего совершать сделки на срок для всех бумаг, за исключением валюты.

	1876 г.	1884 г.	1903 г.
Общее количество бумаг, входящих в котировку и обращающихся на русских фондовых биржах	158	318	524

Из фондовых бирж наибольшее значение имеют Петербургская и Московская.

Падение крупных оптовых ярмарок, развитие биржевой торговли и коммивояжерского промысла свидетельствуют о сравнительно высокой торговой технике, которая предполагает капиталистическую организацию рынка.

Подводя итоги сказанному о товарной торговле, мы приходим к выводам, аналогичным по смыслу и значению с выводами предшествующей главы, посвященной характеристике сельско-хозяйственного рынка. И здесь, как и там, мы видим ряд противоречий, исключающих прогрессирующее развитие потребительского спроса. Рост внутреннего рынка и товарного обращения, как результат железнодорожного строительства и таможенных мероприятий, порожденных предшествовавшим развитием хозяйственного строя России, подчинялись, с одной стороны, общим законам капитализма, с другой стороны—испытывали на себе глубокое влияние разорительной политики правительства; эффект которой с каждым годом усиливался. Таким образом два фактора—денежное хозяйство и политика самодержавия—определяли печальные судьбы нашей внутренней торговли.

Действие первого фактора выражалось в том, что он расширял рынок и углублял его емкость, так как процесс перехода от натурального хозяйства сам собою стимулирует спрос на предметы промышленности и преобразует торговую технику. По мере того, как денежное хозяйство становилось господствующим, внутренний торг и торговый капитал приобретают в экономике страны большое значение и принимают новый, капиталистический облик. Растет вместе с ростом железнодорожной сети внутренняя торговля, которая вызывает к жизни тысячи новых ярмарок, удаленных от торговых пунктов, а обороты на существующих ярмарках интенсивно подымаются; расширяются и районы торговли. Темп товарного обращения становится более быстрым и требует усовершенствованной торговой организации. И мы видим, что на ряду с развитием парового транспорта, железнодорожного и пароходного движения, с ростом почтовых отправлений и транспортно-комиссионных учреждений—увеличиваются об'емы торгового капитала и усложняются отношения отдельных торговых районов между собой. Рынок об'единяется, оптовая ярмарочная торговля падает, за счет увеличения оборотов на местах производства; устанавливается непосредственная связь купца с фабрикантом и промышленником, которые теперь, под влиянием конкуренции, организуют сбыт по всем правилам капиталистической торговой техники; появляются коммивояжеры; быстро расширяются обороты фондовых бирж. Коротко говоря, к началу XX столетия русская и внутренняя торговля в отношении внешних ее форм обладала всеми наиболее

важными аппаратами сбыта и обращения, устройство и механизм которых, бесспорно, могли существовать только при высоко развитой промышленности.

Однако, действие второго фактора—политика самодержавия—ставило этому, изображенному выше, прогрессирующему развитию внутреннего рынка столь серьезные и неодолимые препятствия, что рынок, в конце концов, должен был вступить в резкий конфликт с существовавшими политическими учреждениями. Противоречия, которые мы выше приводили и которые порождены мероприятиями правительства по отношению к рынку, к началу XX столетия, т. е. спустя 40 лет после реформы 1861 г. и 15-летнего господства непомерно высоких покровительственных пошлин, косвенных налогов и дифференциальных тарифов, доходят до своего логического конца.

Развитие денежного хозяйства, вовлекая в товарное обращение один район за другим, создавало предпосылки для сбыта предметов промышленности в широком масштабе. Но, с другой стороны, это развитие денежного хозяйства, вследствие уродливых аграрных отношений, экономической необеспеченности сельского населения, разорительной финансовой и экономической политики самодержавия—влекло за собой обеднение широкого контингента потребителей, уменьшение емкости внутреннего рынка. Таким образом, по мере роста денежных отношений товарная торговля расширялась и увеличивала обороты, но потенциальная сила спроса со стороны потребительского рынка, покупательная способность населения неизбежно понижалась и падала. В результате—жестокий кризис: есть капиталистическая промышленность, но нет емкого рынка, есть капиталистическая торговая организация, но нет покупателя (X).

Внешняя торговля.

Развитие внешней торговли России представляется в следующем виде:

Годы.	I. Вывоз.	Привоз.	Общий оборот.	Баланс.	Рост оборота в %
	В тысячах рублях.				
1800—1824	64.122	48.207	112.329	+ 15.915	100
1825—1849	112.123	100.051	212.174	+ 12.072	189
1850—1874	261.389	263.868	525.257	— 2.479	467
1875—1899	596.117	495.872	1.091.989	+100.245	972

II. **Вывоз.**

	1802—4 гг.	1865—67 гг.	1899—98 гг.
	В процентах		
Жизненных припасов	19,4	39,0	58,2
Сырых и полуобработанных материалов	70,1	50,0	35,5
Животных	2,1	3,5 (?)	2,3
Изделий	8,4	7,5	4,0
Итого	100,0	100,0	100,0

III. Привоз.

	1802—4 гг.	1865—67 гг.	1896—98 гг.
	В процентах.		
Жизненных припасов	39,0	27,6	17,3
Сырых и полуобработанных материалов	24,0	44,3	52,7
Животных	1,8	0,6 (?)	0,6
Изделий	35,2	37,5	29,4
Всего	100,0	100,0	100,0

Рассмотрим первую таблицу. Прежде всего бросается в глаза рост общего оборота, который поднялся на 972%. Это значит, что на протяжении всего прошлого столетия внешние коммерческие отношения России непрерывно развивались, что наша экономическая изолированность от мирового рынка с каждым годом падала, и что к началу 1900 гг. Россия принимает весьма солидное участие в международной торговле. Однако, этот процесс развития нашей внешней торговли, в силу специальных условий ее хозяйственной жизни, не имел строгой целостности, и его составные элементы постоянно модифицировались. Из таблицы видно, что вывоз не представляет из себя устойчивой величины, и амплитуда колебания его, поэтому, целиком переносится на баланс, который так же, как и вывоз, крайне неустойчив и подвижен. Тенденция к уменьшению активности баланса, обусловленная непропорциональным ростом привоза и вывоза, выразилась особенно сильно в период 1850—1874 гг., когда баланс сводился с пассивом (в среднем) в 2.479 т. р. Напротив, последующее двадцатипятилетие характеризуется сильным возрастанием вывоза и сравнительно слабым увеличением привоза, вследствие чего баланс становится активным; за это время вывоз подымается настолько высоко, что за компенсацией привоза остается еще в пользу России колоссальный излишек в 100.245 т. р. Причины, видоизменявшие положение баланса, усматриваются из таблиц II и III.

Из таблицы II видно, что вывоз жизненных припасов неуклонно увеличивается, а вывоз остальных продуктов—сырье и изделия—падает: жизненные припасы в 1902—4 гг. составляли 19,4% всего вывоза, в 1865—67 гг. эта цифра подымается до 39,0%, а в 1896—98 гг. она делает резкий скачек в гору и уже составляет 58,2% или около $^{6}/_{10}$ всего нашего экспорта; вывоз по второй товарной группе, наоборот, обнаруживает тенденцию к уменьшению и сокращается с 70,1% до 50,0%, а к 1896—98 гг. до 35,5%; остальные величины имеют третьестепенный интерес, и мы на них не будем останавливаться. Эти изменения являются результатом реформы 1861 г. и финансово-экономической политики „старого режима“ (государственный кредит и валютная реформа) и об'ясняются развитием промышленности внутри России.

Мы уже неоднократно упоминали о причинах, вызвавших галопирующий рост нашего экспорта, и о том, какое влияние оказывал

этот рост на экономическую жизнь страны. Чтобы яснее представить заключающиеся в ней противоречия, обратимся к таблице III, которая во многом определяла содержание таблицы II.

Первая товарная группа (см. таб. III), составлявшая в 1802—4 г. 39,0% всего привоза, к 1865—67 гг. уменьшается до 27,6%, а к 1896—98 гг. до—17,3%: цифры второй группы, напротив, постепенно возрастают: 24,0%, 44,3%, 52,7%. Другими словами, развитие первых двух групп по привозу идет в противоположном направлении этим группам по отпуску. Далее, привоз по группе „изделия" то подымается, то опускается, при чем возрастание этой статьи совпадает с пассивом в балансе, а ее падение—с активом.

Изображенная выше функциональная зависимость составных величин внешней торговли сводится к следующим положениям: по мере возрастания вывоза жизненных припасов уменьшается их привоз, и по мере падения вывоза сырья и полуобработанных материалов увеличивается привоз таковых, при чем наибольшая величина отпуска жизненных припасов совпадает с наименьшей величиной привоза „изделий". Если сказанное изобразить в кривых, то к 1896—98 гг. кривая экспорта первой группы стремительно подымается вверх, увлекая за собой кривую импорта второй группы, а кривая экспорта второй группы и импорта—первой и последней,—падают.

Переходим к истории нашей внешней торговли.

До 60-х годов прошлого столетия, до освобождения крестьян отпускная и привозная торговля не испытывали на себе глубокого влияния внешних факторов; крепостной труд и господство бумажно-денежного обращения разбивали в прах всякие протекционистские стремления, служа в то же время препятствием для притока иностранных капиталов. Главной статьей экспорта, насколько видно из таблицы II и ее анализа, являлось сырье (сало, кожи, пенька и проч.), и отправки хлеба—жизненных припасов—не достигали больших размеров. Из за-границы получались, главным образом, сахар, вина, соль, чай, хлопчато-бумажные, шелковые и шерстяные товары, хлопок, шелк, краски и проч. Отсутствие фабричной промышленности, крепостной труд и натуральная форма хозяйства определяли нашу вывозную торговлю: сырье, не подвергаясь переработке внутри страны, шло заграницу, которая посылала в Россию продукты фабрично-заводского производства. Таможенная политика преследовала, прежде всего, фискальные цели; охранительные тенденции тарифов 1822, 1841 и 1858 гг., вследствие вышеуказанных причин, не могли создать крупного эффекта и постепенно теряли свое значение. Тариф 1868 г. понизил пошлины на многие товары в целях наибольшего повышения дохода, т. к. им создавались более благоприятные условия для привоза, а следовательно и для роста таможенных сборов.

К концу 60-х годов положение меняется: реформа 1861 г. повлекла за собой усиление сбыта хлеба, а проведение железнодорожных магистралей к портам подняло хлебный экспорт, который теперь составляет уже 30,0% (вместо 19,4%) всей отпускной торговли; с другой стороны, рост денежных отношений, железнодорожное строительство и развитие отечественной промышленности уменьшили экспорт

сырья, вывоз которого падает с 70,1% до 50,0%, как результат внутреннего спроса для нужд индустрии; по тем же причинам возрастает привоз заграничного сырья и изделий, а привоз жизненных припасов опускается.

Умеренный таможенный тариф 1868 г., облегчив доступ иностранных товаров в Россию, натолкнулся на крупную металлическую задолженность и на бумажную валюту, которые тянули наш баланс в сторону пассива. Рост импорта, благодаря спросу на строительные материалы для железных дорог и фабрик, а также и на предметы потребления благодаря развитию внутренней торговли,—не угрожал бы нашему балансу, если-бы не существовал государственный долг, и если бы оплата % по займам была не велика. Платить по займам, значительнейшая часть которых была размещена за-границей, приходилось много (около 300 милл. руб.), и не бумажными деньгами, ходившими с крупным лажем, а золотом, что означало увеличение этих платежей на 10—14%. В результате, несмотря на быстрое возрастание хлебного отпуска, баланс начинает склоняться не в пользу России.

	Сальдо торгового баланса.	Перевес отпуска золота и серебра над привозом.
	В тысячах рублях.	
1851—1860	+12.470	6.805
1861—1870	+ 9.370	20.387
1871—1880	—42.750	16.333

Как видим, начиная с 50-х годов, отлив драгоценных металлов происходит непрерывно, а в 70—80 гг. усугубляется еще крупным пассивом в балансе.

Что случилось? Почему одновременно с пассивностью баланса драгоценные металлы уплывали за-границу?

Это об'ясняется, во первых, возрастанием задолженности, обусловленной войнами (крымская и турецкая); во-вторых, тарифом 1868 г. Для усиления финансовых рессурсов правительство, между прочим, реформирует таможенный тариф. Пониженные таможенные пошлины, привлекая иностранные товары в больших количествах, должны были повысить таможенный доход. Так и случилось. Но, с другой стороны, развитие железнодорожного строительства, промышленности и торговли форсировали импорт, который был поэтому плюсом для бюджета и минусом для баланса. При большой металлической задолженности, когда торговый баланс имеет целью уравновесить международные ликвидационные расчеты, и при господстве бумажной валюты, разбивающей всякие бюджетные и хозяйственные предположения, хронический пассив в балансе является смертоносным орудием разрушения государственного и народного хозяйства.

Возрастающая пассивность баланса, достигшая в 1875 году 162,2 милл. руб., с одной стороны, и потребность в новых займах, с другой,—толкнули правительство в лагерь протекционизма. (X)

Сравним пошлины тарифов 1868 и 1891 г. (в коп. с пуда):

	Тариф 1868 г.	Тариф 1891 г.
Руда железная	беспошл.	10½
Чугун	5	45—52½
Железо	20—50	90—150
Рельсы	20	90
Чугунные отливки и изделия	50—250	112½—255
Кузнечные и котельные поделки	100	255
Машины фабрично-заводские	беспошл.	255
Паровозы	75	300

На ряду с повышением таможенного тарифа, правительство изменяет и железнодорожные тарифы. Сокращение привоза совершается при одновременном увеличении вывоза.

Достигнув таким путем активности баланса, правительство накопляет золото для нужд валютной реформы, осуществление которой становилось возможным при излишках вывоза над ввозом. Усиление железнодорожного строительства для увеличения экспорта, повышение косвенного обложения для покрытия государственных расходов привело к сокращению внутреннего потребления и покупательных сил страны. Между тем государственные долги возрастали и в результате— рост заграничной задолженности и железнодорожной сети, рост бюджета и обеднение податных классов, широко развернутый, ненормально большой экспорт и сжатый, дорого оплачиваемый импорт, развитая промышленность и отсутствие рынка.

Рассмотрим какое действие оказала выше охарактеризованная таможенная политика на промышленность.

В известной работе В. Покровского сделан интересный расчет, какая часть товаров, потребляемых внутри России, удовлетворялась местным производством и какая привозом. Вот эти расчеты.

Проценты ввоза ко всему потреблению:

Годы.	Бумажная пряжа.	Хлопчато-бумажные издел.	Шерстяное произв.	Шерстян. изделия.	Льняное произв.	Льняные изделия.	Фаянс и фарфор.	Сахар.	Машины.	Медь.	Железо.	Нефть.	Сталь.	Чугун.	Каменный уголь
1876	24,9	9,1	77,3	20,7	61,4	20,0	32,3	4,0	40,3	64,7	36,5	20,0	90,4	12,5	44,1
1885	7,6	3,1	46,0	6,2	1,4	28,8	21,3	0,0	26,2	46,3	20,5	0,3	3,3	30,9	30,0
1892	3,4	1,4	12,7	4,3	0,8	6,7	15,2	0,0	30,8	65,3	9,6	0,0	3,3	7,4	29,4
1893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	14,5	18,5
1894	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	29,2	18,6
1895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	32,7	17,5

Рассматривая эти данные, мы видим, что привоз товаров непосредственного потребления широких масс понижается, что внутренний спрос все более и более удовлетворяется внутренним производством. Рост привоза чугуна и некоторых других предметов (напр. меди) об'ясняется железнодорожным строительством. Вследствие вышеозначенных причин изменяется и структура привоза. Развитие нашей промышленности требует сырых и полуобработанных материалов, импорт которых теперь возрастает за счет падения привоза предметов потребления.

К сказанному следует добавить, что экономическое влияние пошлин сказалось на иммиграции иностранных капиталов в Россию. Золотая валюта и высокий таможенный тариф непосредственно этому содействовали. Действие первого фактора выражалось в том, что им устранялись колебания денежной единицы, которая теперь не имела лажа и, следовательно, перевод ее на иностранные паритеты не сопровождался потерями на курсе. Действие второго фактора было прямо рассчитано на приток иностранного капитала, так как высокий таможенный тариф создавал условия для повышенной прибыльности предприятий.

Развитие внешней торговли накануне революции характеризуется следующими таблицами:

I. Общий оборот (в миллионах рублей).

Годы.	Вывоз.	Привоз.	Оборот.	Баланс.
1899	626,9	650,4	1.280,0	—023,5
1900	716,4	626,3	1.342,8	+090,1
1901	761,5	593,4	1.354,9	+168,1
1902	860,3	599,1	1.459,4	+269,2
1903	1.001,1	681,6	1.862,7	+319,5

Привоз и вывоз по основным товарным группам распределялся следующим образом (в миллионах рублей):

II. Вывезено.

	1899 г.	1900 г.	1901 г.	1902 г.	1903 г.	% отношение группы к общ. итогу [1].
Жизненных припасов	326,5	393,3	442,4	539,8	613,0	62,4%
Сырья и полуфабрикатов	252,9	272,3	259,4	260,8	318,9	31,9%
Животных	17,6	18,2	20,5	21,7	20,5	2,1%
Изделий	29,8	32,5	39,1	37,8	48,5	3,6%
Всего	726,9	716,4	761,5	860,3	1.001,1	100%

[1]) Расчет относится к 1903 г.

III. Привезено.

	1899 г.	1900 г.	1901 г.	1902 г.	1903 г.	% отношение группы к общ. итогу [1]).
Жизненных припасов	107,9	112,7	118,3	120,6	129,8	18,1%
Сырья и полуфабрикатов	314,1	320,7	304,5	312,6	365,3	53,1%
Животных	4,1	2,9	4,0	5,1	5,2	0,7%
Изделий	224,2	189,8	166,4	160,7	181,2	27,1%
Всего	650,4	626,3	593,4	599,1	681,6	100%

Таким образом к 1904 г. никаких улучшений в нашей внешней торговле не произошло. Экспорт первой группы—хлеба, составлявший в 1896—98 гг. 58,2% всей вывозной операции, в 1903 г. подымается до 62,4%. В усилении хлебного экспорта ясно видно влияние дифференциального тарифа и тех причин, которые заставляли крестьян выбрасывать хлеб на рынок, увеличение количества вывезенных хлебов повлекло за собою понижение его ценности. Все это служит показателем экономического регресса страны. Рост хлебного экспорта самым убедительным образом доказывает, что standard of life сельского населения идет на убыль.

С другой стороны, анализируя таблицу ввоза, мы видим, что привоз сырья растет параллельно уменьшению привоза „изделий". Это говорит нам, что под защитой таможенного тарифа наша развитая промышленность, удовлетворяя внутренний спрос, нуждается в сырых материалах, производимых за-границей.

Вопрос о том, какое значение имеет внешний рынок для продуктов индустрии не может здесь подвергаться серьезному обсуждению. Ведь последняя группа вывоза „изделия" составляет только 3,6% всей вывозной операции. (X)

Развитие внешней торговли и постепенное возвышение таможенного тарифа оказали существенное влияние на таможенный доход, который быстро рос, приобретая большое значение в нашем доходном бюджете. В 1869 — 76 г. он давал в среднем 55,5 милл. руб. в год, в 1877—80 г.—84½, 1881—84 г.—96,4, в 1885—91 г.—111,9, в 1892—1900 г.—187,7, в 1901—1903 г.—227,5 милл. руб. составляя за те же периоды 13,0%, 15,8%, 17,7%, 27,4% 34,0% и 38,0% ценности всего привоза. В 1904 г. таможенный доход равнялся 218,8 милл. руб. или около 24% всех поступлений от косвенных налогов. Выше приведенные цифры—процентных отношений показывают, как интенсивно росло у нас таможенное обложение (X).

Кредит.

Кредит вообще и коммерческий в особенности, могут проявить себя только при известных условиях, к числу которых прежде всего относится товарное хозяйство.

[1]) Рассчет относится к 1903 г.

До отмены крепостного права, до железнодорожного строительства, когда торговые обороты были невелики и медлительны, кредит не мог получить широкого развития. С другой стороны, тогдашние политические условия исключали возможность широкой постановки кредита.

Старые кредитные учреждения—ассигнационный банк (1769—1848), заемный банк (1786), сохранные и ссудные казны (1772) и коммерческий банк (1817—1860 г.)—находясь в руках правительства, монополизировали все кредитное дело. Никакого существенного влияния на торговлю и промышленность они не оказывали, так как вся деятельность их сводилась к поддержке дворянского землевладения и к предоставлению рессурсов правительству.

К концу 50-х годов, когда кредитные учреждения представляли из себя живописные руины, в самый разгар банкового кризиса учреждается комиссия для выработки основных принципов новой банковой политики, соответственно новым потребностям и условиям хозяйственного строя. Комиссия пришла к заключению о необходимости устройства частных банков и ликвидации старых кредитных установлений.

В 1860 г., указом 31 мая, учреждается Государственный Банк „для оживления торговых оборотов и упрочения денежной и кредитной системы", при чем на него возложены были „платеж процентов и возврат капитала по вкладам, внесенным в бывшие кредитные установления". Выполнения столь серьезных функций предполагалось достигнуть при помощи ничтожного основного капитала в 15 милл. руб. Поэтому, несмотря на более рациональную постановку коммерческих операций, вся деятельность банка в первое время его существования свелась к удовлетворению интересов клиентов дореформенных кредитных учреждений:

На 1 января.	Затраты за счет казны милл. руб.	Коммерч. затраты милл. руб.
1863—67	169,7	59,8
1868—72	160,0	79,2
1873—77	116,2	136,8

С другой стороны, интимная близость банка к правительству отодвигала экономические задачи банка на второй план, так что выпуски бумажных денег, производимые этим учреждением, совершались за счет казначейства (тыс. руб.):

Годы.	Разменный фонд.	Беспроц. долг государ. казнач.	Кредитн. билеты, выпущ. в обращ.
1860—64	89.495	597.367	686.886
1865—69	117.729	588.304	686.033
1870—74	192.607	566.086	758.693
1875—79	189.602	552.457	740.817
1880—84	171.472	545.042	716.515

Таким образом, влияние правительства на ход банковой деятельности было чрезвычайно сильным. Такое преобладание в центральном банке административного элемента над экономическим накладывало

на всю нашу кредитную организацию и денежный рынок специфический отпечаток.

Развитие частных банков и других кредитных учреждений совершалось при неусыпной помощи правительства, часто бравшего на себя реализацию их обязательств. После краха старых казенных банков разрешено было учреждать частные банки коммерческого и ипотечного кредита. Эти последние, благодаря развитию торговли и промышленности, возникали очень быстро, особенно в период 1865—75 гг., параллельно развитию частных банков растут и отделения Государственного Банка.

Постепенный рост кредитных учреждений представляется в следующем виде [1]):

Годы.	Государ. банк.	Акционерн. банки.	О-ва взаимн. кред.	Обществ. гор. банки.	Ссудо-сберег. товарищества.
1860	8	—	—	—	—
1861—1870	41	6	15	163	16
1871—1880	10	29	90	75	1.149
1881—1888	21	5	12	—	294
Итого	80	40	117	238	1.459

Допустив развитие частных кредитных учреждений, правительство принимает ряд мер, долженствующих упрочить частный банковый кредит на русском денежном рынке. Для этого Государственный банк открывает специальные текущие счета частным банкам под залог процентных бумаг, как бы поощряя их спекулятивные стремления. Поддерживая частные банки путем предоставления им дешевого кредита, правительство вместе с тем оказывало нашим частным кредитным учреждениям ряд специальных льгот (напр., освобождение от всяких налогов, за исключением гильдейского сбора). Подобная политика устраняла конкуренцию банков между собою и вся их деятельность ставилась в зависимость от правительственного усмотрения. Открывая или закрывая банковые кредиты, правительство могло решительным образом направлять частную банковую деятельность, и так зависимую от центрального органа кредита. Операция по переучету и перезалогу, к которой всегда прибегали частные банки, служила цепью, связывающей судьбу частного кредитного учреждения с Государственным Банком. В моменты спекулятивного увлечения частные банки, являясь очагом всякого грюндерства, черпали средства и получали помощь от Государственного Банка, который не чинил им в этом отношении никаких препятствий. В моменты паник и замедлений биржевого

---

[1]) Со времени передачи сберегательных касс в министерство финансов (1862) вплоть до 1890 г. развитие их шло медленно:

Годы.	Число касс.
1862	2
1872	66
1882	91
1892	2.436

Цифры взяты из отчета сбер. касс за 1905 г., стр. IV.

пульса, когда остывала ажиотажная горячка, частные банки становились под покровительство и защиту Государственного, который в таких случаях разыгрывал роль благородного спасителя, предоставляя свою кассу всякому зарвавшемуся спекулянту.

Вот почему строй наших кредитных отношений так глубоко отличается от того, что мы привыкли видеть на западе. Там развитие банков совершалось на почве борьбы за первенство на денежном рынке. Выработанные борьбою отношения отдельных банков между собою не имеют того паразитического и рабьего налета, который мы видим на отношениях русских частных банков к Государственному Банку, черпающему свои рессурсы из общенародных средств. В результате—банки у нас не имеют ни хорошей клиентуры, ни высокой банковой техники (×).

Концентрация ссудного капитала в кредитных учреждениях, обслуживающих торговлю и промышленность страны, совершается в зависимости, во-первых,—от темпа накопления прибавочной стоимости и во-вторых, от развития самой банковой системы. Как известно, процесс этой концентрации у нас начался давно, со времени господства старых кредитных установлений. Однако, количество вкладов в дореформенных казенных банках не могло служить мерилом нашего денежного рынка. При слабо развитой банковой системе наличные деньги находились в руках населения и лишь незначительная часть их поступала в банки. Поэтому до учреждения частных банков русский денежный рынок обладал очень ограниченными средствами. Последующее развитие банкового дела и рост кредитных учреждений шли параллельно развитию железнодорожной сети, товарного обращения и промышленности. Изменившиеся условия экономической жизни придают денежному рынку большую силу и предоставляют в его распоряжение солидные средства. Накопленные ренты, капиталы откупщиков, монастырей, купцов, военных, чиновников и проч. устремляются в банки. Сосредоточение капиталов в кредитных учреждениях, насыщенность рынка свободными деньгами форсируют капиталистический процесс, порождая манию учредительства. Выдающееся значение в торговле и промышленности страны денежный рынок приобретает у нас не сразу, а по мере организации ссудного капитала. В частности, период 60 — 70-х годов дает поразительную картину концентрации денег в кредитных учреждениях, что с несомненностью свидетельствует о той мощи, которой в это время обладал наш денежный рынок, а также и о том, что в данный момент торговое и промышленное развитие России шло вперед с лихорадочной быстротой:

	Государственный банк.		Акционерн. коммерч. банки.	
Годы	Текущие счета	Вклады срочн. ссрочн.	Текущие счета.	Вклады срочн. и бессрочн.
1865	255.998.000	47.976.000	91.771.000	1.049.000
1869	825,762.000	48.081.000	412,311.000	25.609.000
1873	1.041.251.000	42.393.000	1.479.314.000	190.855.000
1877	1.344.884.000	73.819.000	2.170.816.000	135.842.000
1880	1.585.031.000	185.086.000	2.151.754.000	138.425.000

Как видим, за пятнадцать лет средства денежного рынка чрезвычайно увеличились. Очевидно, за это время в хозяйственном строе России произошли глубокие изменения. Именно, здесь поражает факт галопирующего роста капиталов, ищущих производительных помещений: с 1865 г. по 1880 г. капиталы эти возрасли на 916,6%.

Однако, обращаясь к изучению причин этого явления, мы, между прочим, наталкиваемся на ряд факторов, действие которых на денежный рынок принаравливалось к тому, чтобы извне интенсифицировать его силу и внешним образом создать стимулы, для более сильного притока капиталов в банки. Хозяйственные условия в данном случае играли, конечно, главенствующую роль, но также важную роль играла и кредитно-денежная политика правительства.

Мы уже говорили, что Государственный банк имел ничтожный основной капитал (15 милл. руб.) и широкие задачи (ликвидация старых кредитных установлений, регулирование денежного обращения и обслуживание интересов торговли и промышленности путем широкого развития учетно-ссудных операций).

Невозможность сносного решения этих задач заставила Государственный банк пользоваться посторонними капиталами, прибегнуть к платным вкладам. Последние приобрести по дешевой цене было трудно вследствие конкуренции частных кредитных учреждений, основные капиталы которых были также невелики. К этому присоединялось еще расстройство денежной системы, препятствовавшей притоку капитала из за-границы, и железнодорожная горячка, повысившая спрос на капитал на местном рынке. Таким образом, к нашему молодому денежному рынку в момент его формирования были пред'явлены в высшей степени серьезные требования. Несоответствие между накоплением капитала и его потреблением, между наличными свободными запасами денег и спросом на них со стороны государства и промышленности породили такое глубоко-ненормальное явление, как постоянство высокого дисконта.

Дороговизна денег на русском рынке в конечном итоге оказывает дурное влияние на циркуляцию товаров, при чем расценка этих последних складывается далеко не к выгоде широких масс: сельскохозяйственные продукты, при неорганизованности производства, теряют цену вследствие дорогих подтоварных-варрантных ссуд и дорогого учета, а продукты промышленности подымаются в цене, вследствие дорогого банкового кредита для промышленников и торговцев.

Исходная причина высокого дисконта в России—и это бесспорно-политика правительства. Ему всегда нужны были деньги. В эпоху дореформенных кредитных учреждений оно банковыми капиталами, платя за них до 5%, покрывало дефициты и из этого же источника выдавало ссуды дворянам. Потом нужны были деньги для ликвидации многомиллионного наследия такой премудрой банковой политики. Опять приходилось стягивать к себе капиталы по дорогой цене. Затем, ту же роль сыграла постройка железных дорог, поддержка дворянского землевладения, накопление золота для валютной реформы, помощь промышленникам и т. д.; с течением времени нужда в деньгах отнюдь не устранялась и центральный банк, будучи орудием в руках правительства, выступал на денежном рынке не только

в качестве регулятора денежного обращения (эмиссия), но и как покупатель капиталов. При капиталистической бедности России и ее крупной задолженности такая банковая политика привела к конкуренции за вклады между банками, а это, в свою очередь, и к высокому дисконту.

Таким образом, процесс развития банковского дела и денежного рынка испытали на себе глубокое влияние правительственной политики, в конце концов приведшей страну в состояние хронического хозяйственного упадка. В частности, как мы уже видели, организация ссудного капитала во многом подчинялась этой политике. И хотя статистические данные свидетельствуют о быстром росте средств денежного рынка, но, как мы только что говорили, это не является показателем экономического благосостояния населения,—ведь эти средства куплены дорогой ценой [1]).

Коммерческие операции в Государственном банке не могли получить широкого развития уже по одному тому, что $^{9}/_{10}$ кассовой наличности, по крайней мере, в начале деятельности банка, были завязаны в дела по ликвидации старых кредитных установлений. Мы уже приводили цифры, которые весьма убедительно показывают нам, что до конца 70-х годов затраты банка за счет казны поглощали значительнейшую часть его рессурсов, не оставляя надлежащих средств для развития продуктивных коммерческих статей.

Ликвидировав к 1880 г. грехи дореформенных кредитных учреждений и получив в свою кассу большую часть кредитных билетов в возврат выпусков на нужды войны 1877 г., Государственный Банк, начиная с первой половины 80-х годов, упрочивает свое положение и приступает к расширению коммерческих активов [2]). Однако такая политика продолжалась недолго.

Министерство Вышнеградского ознаменовалось рядом специальных мер финансового характера, направленных на поддержку вымирающего дворянского сословия. „При Вышнеградском,—говорит профессор Мигулин, — была оказана исключительная помощь

---

[1]) Наши вклады „образовались главным образом не из оборотных средств, или домашних касс населения в широком смысле этого слова (как это наблюдается в Англии, Германии и других богатых государствах), а из денег, принадлежащих преимущественно сравнительно немногочисленному классу капиталистов, от самых мелких до самых крупных. Чтобы привлечь такие вклады, банкам приходится уже соблазнять вкладчиков сравнительно высоким процентом, еще более повышающимся вследствие взаимной конкуренции банков и дошедшим в зависимости от срока, до $4^{1}/_{4}$ и даже до $5^{1}/_{2}$%. Особенной интенсивности конкуренция эта достигает в Москве, значительнейшем центре депозитных операций, и в провинции благодаря конкуренции банковых отделений“.

[2]) Отношение коммерческих операций к затратам за счет казны представляется в следующем виде (милл. руб.).

Годы.	Счет казны.	Коммерческие операции.
1862—66	169,7	59,8
1867—71	160,0	79,2
1872—76	116,2	138,6
1877—1881	86,7	215,8
1882—1886	58,6	216,4

дворянскому землевладению за счет государственного казначейства... так что взамен только-что оконченной ликвидации старых кредитных установлений, связывавшей государственный банк в прежнее время, появились затраты на организацию новых кредитных учреждений, (дворянский и крестьянские банки), с развитием же собственно коммерческих операций опять приходилось обождать". По этим причинам затраты государственного банка на коммерческие операции падают: в 1880 г. они выражались суммою 264,6 милл. руб., в 1880—84 гг. — 230,7 мил. руб., в 1885 г. — 187,1 мил. руб., в 1886 г. — до 185,8 мил. руб. С другой стороны, утилизация средств казначейства, лежавших на текущем счету в государственном банке, завязывание их в операции по покупке выигрышных билетов дворянского банка и проч., заставляло государственный банк в видах безопасности держать большую кассовую наличность, которая, между прочим, служила вспомогательным фондом для подготовительных работ по скупке золота (для золотой валюты). Подобное обстоятельство, разумеется, не могло служить к выгоде торговли и промышленности и только сильнее стягивало вексельный портфель банка.

Годы.	Учтено векселей (мил. руб.).	Средняя валюта векселя (мил. руб.).
1872—76	191,6	1904,6
1877—81	203,6	1936,2
1882—86	252,3	1516,4
1887—91	279,5	957,4
1892	165,3	737,0

Отмеченное шатание банковой политики продолжалось и после, в министерство Витте.

Нижеследующая таблица дает представление о коммерческих (активных) операциях банка за последние годы (милл. руб.) [1]).

Годы.	Учет векселей.	Специальн. текущ. счет.	Ссуды под залог % бумаг.	Портфель бумаг. принадл. банку.	Ссуды промышленные.
1891	98,5	32,2	41,7	210.3	3,6
1892	107,6	47,4	41,5	215,2	3,5
1893	80,2	31,8	34,9	227,0	3,5
1894	169,6	47,8	40,6	228,3	3,7
1895	196,5	51,9	43,0	44,8	3,6
1896	196,7	57,0	48,1	50,3	16,7
1897	187,8	57,1	44,5	24,3	13,3
1898	147,4	34,0	33,7	25,4	10,9
1899	154,9	35,6	26,6	28,8	8,6
1900	224,9	59,7	31,3	51,5	22,5
1901	246,7	91,0	34,4	44,0	38,7
1902	251,6	118,8	34,2	39,8	38,2

[1]) По „Ежегод. м-ва ф-ов". — При пользовании этой табличкой следует иметь в виду, что в графу „специальн. текущ. счета" вошли два вида кредита: банковый—специальн. текущ. счет, обеспеченный векселями и биржевой—специальн. текущий счет, обеспеченный % бумагами. Выделить каждую статью по отдельности—нельзя, так как они представлены в общей сумме.

Нетрудно заметить, каким образом шатание банковой политики отражалось на операциях банка. В начале 90-х годов банк был занят поддержкой дворянского землевладения, почему портфель бумаг очень велик, а вексельный портфель стянут. Далее, облегчение портфеля бумаг совпало с преобразованиями валюты, так что в период 1894—96 гг. учетная операция хотя и расширяется (устав 1894 г.), а затраты на % бумаги падают, но в 1897 г. учет уже подвергается сжатию, каковое явление продолжается и в 1898—99 гг., когда появляются на сцену промышленные ссуды — результат финансирования банком разных дутых предприятий. В 1900 г., во время ликвидации грюндерства, крушения карточных домиков и всевозможных эфемерных предприятий — коммерческие активы банка стремительно расширяются, как будто-бы он мог предотвратить отчасти им же самим вызванную катастрофу. Начинается эпоха противоуставных ссуд и субсидий...

Частные банки, частный коммерческий кредит в частном и целом подчинялся влиянию правительственной банковой политики, Государственного Банка, который определял судьбы русского денежного рынка. Пользуясь большими кредитами в Государственном банке и получая от правительства всевозможные льготы, частные Банки теряли свою самостоятельность на денежном рынке, и вся их коммерческая деятельность носила рутинерский, безвольный характер.

Несмотря на все свое убожество, наши частные банки тем не менее играли видную роль в торговле и промышленности, усиливая рост товарного обращения и индустриализации страны.

Следующая таблица иллюстрирует развитие частного коммерческого кредита в России (милл. руб).

Годы.	Число банков.	Капиталы. Основные.	Запасные и проч.	Всего.
1870	6	15,4	0,3	15,7
1880	33	87,9	7,4	95,3
1895	34	138,3	37,7	175,5
1900	41	193,0	87,0	280,0

Таким образом за тридцатилетний период капиталы банков увеличились почти на 1.700%!

Обращаясь к рассмотрению коммерческих операций банков, мы видим перед собою тот же поразительный рост коммерческого кредита (тыс. руб.).

Годы.	Учет.	On call и ссуды.	Портфель бумаг.	Вклады и текущие счета.
1870	58.741	37.993	4.710	98.261
1895	205.500	258.400	56.700	309.700
1900	406.700	320.700	110.300	552.000
1903	555.851	332.057	106.932	640.332
Увеличение в %	833%	769,2%	2.500%	555%

Как видим, активы возрастали с большей стремительностью, чем пассивы, а это значит, что ссудный капитал, средства денежного рынка, использовались для нужд торговли и промышленности очень интенсивно, что наши частные банки мобилизировали имеющиеся у них сравнительно небольшие средства в должной степени.

Частный коммерческий кредит, не взирая на неблагоприятные условия его развития, обнаружил у нас достаточную жизнедеятельность и приобрел в экономике страны большое влияние, что с несомненностью свидетельствует о сравнительно высокой торговой технике и развитой промышленности. Конечно, при других условиях денежного рынка и народного хозяйства и коммерческий кредит получил бы у нас иное направление, а именно в западно-европейском, ультракапиталистическом духе (X).

Каковы бы ни были предпосылки развития коммерческого кредита в России, все же приходится сказать, что успехи, сделанные им, громадны. Банки собрали многомиллионные капиталы и путем учета и ссуд облегчили и ускорили рост капиталистических отношений, сами являясь в то же время непосредственным продуктом этих отношений. Приведенные выше цифры о росте этих операций свидетельствуют о той работе, которую совершили банки за сравнительно краткосрочный период своего существования. Давая шпоры русскому капитализму, они в известном смысле обостряли социально-экономические противоречия между капиталистическими формами хозяйства и феодальным политическим строем, который копал этому прогрессирующему развитию капиталистических отношений волчьи ямы, даже в сфере кредита.

Из всего вышеизложенного явствует, что в силу специальных исторических условий развития у нас банкового дела и присущей России капиталистической бедности наш денежный рынок обладает сравнительно небольшими средствами. Старый режим пожирал эти средства, являясь главнейшим потребителем отечественных капиталов. Это достигалось своеобразной банковой политикой государственного банка, дренировавшей денежный рынок и подчинившей деятельность частных кредитных учреждений служению интересам абсолютизма. В результате — развитая банковая система и абсурдная банковая техника, рост коммерческого кредита и колоссальные непроизводительные затраты капиталов в долгосрочные активы, увеличение средств денежного рынка и денежный голод, расширение банками коммерческих операций и постоянно высокие учетно-ссудные нормы.

Эти намеченные только что противоречия в сфере кредита обыкновенно сдерживались при помощи различных манипуляций, но в моменты кризиса они прорывались наружу с поразительной силой. И тогда вся торговля и промышленность страны находились под их влиянием в состоянии паралича.

X. Государственное хозяйство в России в пореформенную эпоху.

(Из статьи Н. А. Рожкова, во II т. его сб. ст.: Из русской истории". Птр. 1923 г. Стр. 149—183).

I.

Общая характеристика социально-экономических условий.

Так как государственное хозяйство стоит в теснейшей связи с социально-экономическими условиями, то для понимания государственного хозяйства России во второй половине XIX века необходимо припомнить, что представляла собою Россия в это время в социально-экономическом отношении.

Шестидесятые, семидесятые и почти все восьмидесятые годы представляют собою в экономической жизни России тот момент развития капитализма, который обыкновенно именуется периодом первоначального накопления. Все типические черты этого периода хозяйственного развития нашли себе в это время весьма характерное и яркое выражение.

Период первоначального накопления генетически связан с предшествующей ступенью экономического развития—с периодом докапиталистического денежного хозяйства, хозяйства крепостнического. Вот почему в период первоначального накопления сохраняется множество остатков крепостнического хозяйства, основанного на эксплоатации дарового подневольного труда, на крепостной кабале. Естественно, эти обломки прошлого сохраняются почти исключительно в той сфере народно-хозяйственной жизни, которая первенствовала, почти всецело господствовала в эпоху крепостного права,—в сельском хозяйстве. Они проявлялись в многочисленных широко-распространенных фактах применения отработочной аренды, испольщины и т. д.

Но влияние крепостнических традиций не ограничивалось и никогда не ограничивается в период первоначального накопления одним только непосредственным сохранением приемов старинного сельского хозяйства,—оно идет и далее, проникает и в область быстро растущей в это время индустрии. Здесь оно проявляется в чрезвычайно грубых приемах эксплоатации наемного труда. Непомерно длинный рабочий день, крайне низкая заработная плата, отсутствие какого бы то ни было обеспечения рабочих в старости, на случай болезни или потери способности к труду, преследование стачек и рабочих организаций,—вот к чему сводятся эти приемы. Результатом такой эксплоатации является крайний пауперизм рабочих масс. Два обстоя-

тельства особенно сильно влияют в смысле усиления грубой эксплоатации и увеличения пауперизма: неорганизованность рабочих масс и грюндерство (×).

Таковы общие основные черты развития русского капитализма в 60-х, 70-х и 80-х годах XIX века. К ним можно прибавить еще только одну, но очень важную: нигде, ни в одной стране этот период не протекал с такой стремительной быстротой, как в России. За эти тридцать лет Россия проделала работу, для выполнения которой западно-европейским странам понадобилось, по крайней мере, вдвое больше времени. Без сомнения, этой быстроте содействовали два обстоятельства: во-первых, обилие естественных ресурсов—обширность пространства, быстрый рост населения,—и, во-вторых, огромный прилив иностранных капиталов, обесцененных на западно-европейском денежном рынке пышным расцветом капитализма.

Этот экономический процесс выдвинул на арену социальной борьбы и новые общественные классы. К старым крепостникам-землевладельцам, многочисленным и по-прежнему весьма влиятельным, присоединились новые хищники,—грюндеры всякого рода, банкиры и промышленники. Развился и класс землевладельцев, усваивавших все более и более капиталистические приемы ведения сельского хозяйства. Появился, умножился и сложился в серьезную общественную силу рабочий пролетариат. Расслоилось, дифференцировалось в экономическом отношении крестьянство. Совершились глубокие перемены в положении городской мелкоты. Перевес, однако, принадлежал пока хищническим классам общества.

Такова в главных чертах была социально-экономическая подкладка тех явлений в области государственного хозяйства, с которым нам предстоит познакомиться.

II.

Таможенная политика.

(×) Протекционизм,—и притом крайний, уродливый, чрезмерный,—и отличает собою всю таможенную политику русского правительства во второй половине XIX века.

Шестидесятые годы унаследовали от предшествующего времени умеренный таможенный тариф 1857 года (×). Тариф 1857 года прежде всего выделил те продукты заграничной индустрии, которые не представляли собою опасности в смысле конкуренции с русской промышленностью по той простой причине, что соответствующих отраслей этой последней совершенно не существовало. Эти продукты были обложены невысокими пошлинами, имевшими в виду не покровительственные, а фискальные цели, т. е. получение определенного дохода государственной казной. Кроме того, по тарифу 1857 г. умеренно обложены были привозимые из за-границы средства продовольствия и материалы, орудия и машины, необходимые для фабрично-заводской промышленности.

Таможенные традиции пятидесятых годов были не только сохранены, но и развиты следующим десятилетием, что особенно ясно выразилось в тарифе 1868 года, который заслужил даже название фрит-

редерского, проводившего начало свободной торговли, хотя на самом деле был лишь умеренно-охранительным, оказывал умеренное покровительство существующим в России отраслям фабрично-заводской промышленности. Цель, преследовавшаяся тарифом 1868 года, была опять-таки по преимуществу фискальной: имелось в виду оживить внешнюю торговлю и увеличить таможенный доход государства. К тому же шестидесятые годы развивали главным образом хлебный экспорт, хозяйственная энергия направлялась в то время все еще главным образом на сельское хозяйство, индустрия не ставилась еще на капиталистическую ногу, эпоха грюндерства только еще приближалась.

Оно расцвело пышным цветом в семидесятых и особенно в восьмидесятых годах. Новые экономические и социальные условия разрушили основы тарифа 1868 г. и быстрыми шагами приблизили русскую таможенную политику к резко-выраженному, неумеренному протекционизму (X). Первый шаг в новом направлении был сделан в 1877 году, когда таможенные сборы стали исчисляться и взиматься не в кредитных билетах, а золотом. Так как курс кредитного рубля был в это время низок и постепенно подвергался колебаниям, то фактически это означало повышение таможенных пошлин на 30, 40, иногда даже 50% сравнительно с прежним их уровнем. Пошлины эти возрасли не только абсолютно, но и относительно—по отношению к ценности ввозимых товаров; в период времени с 1869 по 1876 год таможенный доход составлял только 13% ценности всего ввоза, в 1877—1880 годах он равнялся уже более 16%.

На этом дело не остановилось и не могло остановиться. К таможенному обложению стали постепенно привлекать многие товары, прежде ему не подлежавшие, и вместе с тем увеличивалось обложение уже и раньше оплачивавшихся высокими пошлинами товаров (X). В 1890 г. большая часть ставок таможенного тарифа была увеличена еще на 20%. Весь этот непрерывный ряд повышений, усилений и нововведений в таможенном тарифе, без которых не обходился почти ни один год, завершился покровительственным тарифом 1891 года, до крайности повысившим таможенное обложение (X). Таможенный доход под влиянием этой политики рос и абсолютно, и относительно. В 1880 году таможенный доход равнялся 96,4 мил. руб., в 1886 г.—уже 97,7 мил. руб., в 1890 г. —138,3 мил. руб., т. е. за 10 лет возрос на 43,5%. В 1880 г. таможенный доход составлял только 17% всех налогов—прямых и косвенных, в 1890 г.—около 20%, так что рост его шел быстрее, чем рост всего доходного бюджета государства. Понятно, что естественным результатом этого было то, что таможенные сборы крайне тяжело ложились на иностранные товары и сильно увеличивали их цену: в 1885—1890 годах таможенные пошлины составляли уже $27^1/_2$% ценности ввозимых в Россию товаров.

Рыцари первоначального накопления сполна использовали положение, созданное таможенной политикой правительства. С головокружительной быстротой создавались новые предприятия, большею частью дутые и потому часто лопавшиеся, наживались огромные состояния, разорялась масса мелких капиталистов, пауперизировались крестьянство и пролетариат. Это разорение и пауперизация не волновали правящих сфер, но эксцессы протекционизма вызвали противо-

действие со стороны земледельческого класса, главным образом, со стороны тех сельских хозяев, которые поставили свое хозяйство на капиталистическую ногу, но в значительной степени также и со стороны сельских хозяев, ведших хозяйство крепостническое, кабальное.

Обе эти общественные группы пострадали от русского протекционизма прежде всего по той причине, что протекционизм вызвал реакцию против себя за-границей: русский хлеб, особенно в Германии, был обложен пошлиной, затруднившей его вывоз тем более, что мировой сельско-хозяйственный кризис, вызванный заатлантической конкуренцией, до чрезвычайности понизил цены на хлеб. Уменьшение стоимости вывозимого за-границу хлеба противоречило интересам казны, вынужденной переводить за-границу огромные денежные суммы в виде платежей по внешним займам и стремившейся поддержать выгодный для России торговый баланс (перевес стоимости вывоза над стоимостью ввоза) для избежания отлива из России звонкой монеты: в интересах развивающегося капитализма необходимо было установить прочное металлическое денежное обращение, а для этого нужен большой металлический запас, т. е. и благоприятный торговый баланс. Чтобы расширить экспорт, приходилось хотя отчасти отказаться от крайностей протекционизма, перейти к системе торговых договоров с иностранными державами, понизить по крайней мере некоторые таможенные ставки. Отсюда вышел конвенционный тариф 1894 года, несколько смягчивший систему протекционизма, хотя и не поколебавший ее.

Конвенционный тариф, действовавший по отношению к ввозу из тех стран, с которыми были заключены торговые договоры, и некоторые последовавшие затем перемены в таможенном обложении были некоторым, небольшим, впрочем, ослаблением старой таможенной системы в пользу интересов сельских хозяев, ведущих в своих имениях капиталистическое хозяйство и нуждающихся поэтому в усовершенствованных машинах и искусственном удобрении. Так, по тарифу 1891 г. чугун оплачивался пошлиною в 45 коп. с пуда при провозе морем и в $52^1/_2$ коп. при провозе сухим путем, за сортовое железо и железные рельсы платили 90 коп. с пуда, а за железо листовое 1 р. 50 к. По конвенционному тарифу 1894 года с пуда чугуна всегда, как бы он ни привозился—сушей или морем, платилось 45 к., с сортового железа и рельс—75 к., с листового железа в некоторых случаях пошлина была понижена до 1 р. $27^1/_2$ к. с пуда, с пуда, привозимых из за-границы машин платилось 75 к. В 1898 году были совершенно отменены пошлины с таких сельско-хозяйственных машин, которые не выделываются в России, а также и пошлины с непроизводимых в России минеральных удобрений.

Скромность этих уступок наглядно показывает, что культурные сельские хозяева не были вполне правящим классом: они стремились к самодеятельности, лелеяли конституционные идеалы. Правительство было выражением классового господства крепостников, хищников периода первоначального накопления и хищников-бюрократов, при чем последние, опираясь, пополняли собою ряды первых двух разрядов хищников. Этим и обусловливались, как мы сейчас убедились, основные

черты русской таможенной политики с 60-х до начала 90-х годов XIX века.

III.

Железнодорожная политика.

Промышленный капитализм в процессе своего развития нуждается не только в таможенном покровительстве, но и в хороших путях сообщения для перевозки товаров. По условиям современного транспорта такими путями сообщения являются преимущественно железные дороги. Вот почему железнодорожная политика государства приобретает первостепенную важность (×).

К концу шестидесятых годов с особенной ясностью обнаружилась потребность в железных дорогах. Грюндеры всякого рода стали заваливать правительство просьбами о концессиях на постройку железных дорог. С 1867 года и начинается острый период концессионной горячки, длившейся с неослабевающей силой до половины семидесятых годов (×).

Грюндерский характер железнодорожного строительства в указанное время обнаруживается на каждом шагу, бьет в лицо, режет глаза (×). Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что доход с большинства акций частных железнодорожных обществ был гарантирован правительством, т. е., если дохода не получалось, или он был ниже гарантированного процента, то казна выплачивала недостающую сумму акционерам. Процент гарантии доходил до 5 и $4^1/_2$. Это вело, разумеется, к ежегодным огромным приплатам из казны (×). Надо еще заметить, что, ограничивая гарантии 4, $4^1/_2$, 5-ю процентами, правительство на деле обеспечивало акционерам несравненно больший доход, потому что допускало непомерно высокую поверстную расценку стоимости постройки дорог и гарантировало доход не на действительный, а на нарицательный капитал, в состав которого включались и получаемые акционерами премии, куртажи, комиссионные деньги и проч.

Понятно, что при таких условиях для учредителей весьма выгодно было основывать чисто-грюндерские, дутые, бездоходные железнодорожные предприятия, не считавшиеся с экономическими потребностями той или другой местности. Примером такого именно предприятия может служить Уральская горнозаводская железная дорога. Сумма обязательных годовых платежей этой дороги в 1886 году равнялась почти 4 миллионам рублей, а средний чистый доход (за исключением расходов по эксплоатации) за пятилетие с 1882 по 1886 год составлял всего около 300 тысяч рублей в год. Другой пример—Моршанско-Сызранская и Ряжско-Вяземская железные дороги. Для того, чтобы покрыть лежавшие на этих дорогах обязательства, требовался в восьмидесятых годах, за исключением расходов по эксплоатации, чистый доход почти в 2 миллиона для первой дороги и почти в 3—для второй, а на деле первая дорога давала только 1 миллион 100 тысяч рублей, а вторая 1 миллион 200 тысяч. Подобных примеров можно было бы привести сколько угодно (×).

Разорительность для казны частного железнодорожного хозяйства, созданного периодом первоначального накопления, и была одной из главных причин выкупа железных дорог в казну и расширения казенной железнодорожной сети, проявившихся ясно и определенно в железнодорожной политике правительства с восьмидесятых годов. Но это была не единственная главная причина выкупа. Другая коренилась в том влиянии, каким пользовались в правительственных сферах железнодорожные спекулянты, члены акционерных компаний, владельцы железнодорожных акций и облигаций. В их интересах было добиться выкупа на наиболее выгодных для себя основаниях, а так как правительство служило их интересам, то последние и находили себе большею частью полное удовлетворение. История выкупа частных железных дорог в казну как нельзя лучше иллюстрирует это положение (×).

С 1881 по 1894 г. было выкуплено всего в казну 24 железнодорожных линий, принадлежавшие 15-ти акционерным компаниям, протяжением почти в $12^1/_2$ тысяч верст. Русское железнодорожное хозяйство сделалось наполовину казенным. Несмотря, однако, на это, русская железнодорожная сеть вплоть до половины 90-х годов постоянно требовала огромных приплат из средств государственного казначейства. Казенные железные дороги в 1880 г. дали 56,4 мил. руб. убытка, в 1886 г.—34 мил., в 1892 г.—35,6 мил. рублей. Казенное хозяйство оказалось не лучше частного, чему особенно способствовала полная устарелость отжившей бюрократической машины, где формальный и фиктивный чиновничий контроль был совершенно бессилен в борьбе с хищениями и злоупотреблениями всякого рода.

IV.

Денежное обращение и Государственный Банк.

Протекционная таможенная политика и усиленное концессионное, сопровождаемое гарантиями и субсидиями, железнодорожное строительство были, как мы только что убедились, плотью от плоти и костью от кости эпохи первоначального накопления с ее хищническими приемами капиталистической эксплоатации, риском, биржевым ажиотажем, частыми и острыми кризисами. С этой эпохой мирились и господствовавшее в то время в России бумажное денежное обращение, бумажная валюта, неразменность бумажного рубля на звонкую монету. Нам уже известно, что серебряная валюта, введенная Канкриным после произведенной им девальвации, не оказалась прочной и устойчивой, и скоро снова восторжествовала валюта бумажная (×).

Для того, чтобы восстановить металлическое денежное обращение в России, правительству необходимо было скопить в своих руках достаточный металлический разменный фонд, золотой запас. Поэтому накопление такого золотого запаса и составляло ближайшую цель финансовой политики государства с шестидесятых по 90-ые годы. Но мало было восстановить металлическое денежное обращение,—надо было еще его упрочить, для чего недостаточно было накопления золотого разменного фонда государством, а необходимо было обеспечить,

чтобы золото не уплывало за границу. Другими словами, необходим был благоприятный для России расчетный баланс, т. е. русские платежи за границу не должны были превышать ту сумму, которую составляли поступления из за границы. Русские платежи за границу слагались из платежей по русским внешним займам и платежей за ввозимые из-за границы товары. Платежи по займам, как ниже увидим, не только не сокращались и не могли сокращаться, но росли. Не поддавались ограничению и расходы русских за границей. Таким образом, для достижения благоприятного расчетного баланса не оставалось ничего другого, как всеми силами добиваться благоприятного торгового баланса, т. е. перевеса—и притом по возможности большого перевеса—стоимости русского вывоза над стоимостью иностранного ввоза. Главным предметом русского вывоза является, как известно, хлеб; отсюда поощрение правительством русской вывозной торговли хлебом, поддержка им интересов крупных землевладельцев. Конвенционный таможенный тариф и развитие железнодорожной сети должны были именно прийти на помощь крупным землевладельцам, экспортирующим хлеб. В самой подготовке денежной реформы, как мы сейчас убедимся, интересы хлебных экспортеров и крупных землевладельцев оказали весьма крупное влияние. С другой стороны, для благоприятного торгового баланса необходимо было уменьшение стоимости иностранного ввоза. Так как в Россию из-за границы ввозились по преимуществу продукты обрабатывающей промышленности, то эта цель достигалась покровительством русской фабрично-заводской промышленности, таможенным протекционизмом. Так таможенная и железнодорожная политика и интересы господствующих в обществе классов теснейшим образом переплетались с реформой денежного обращения (×).

Мало-по-малу правительству удалось составить действительно огромный металлический фонд. В 1886 г. золотой запас равнялся всего 170 миллионам 346 тысячам рублей, при чем кредитных билетов в обращении числилось более 1 миллиарда 46 миллионов 400 тысяч рублей. В период времени между 1887 и 1890 годами было вновь приобретено в разменный фонд 309 мил. 269 тыс. рублей, а к 1 января золотые запасы составляли уже 514 мил. рублей. Если принять курс в $66^2/_3$ коп. зол. за кредитный рубль, то золотой запас равнялся 771 мил. руб. кред., что составляло уже 69,7% всех находившихся тогда в обращении кредитных билетов (×).

Регулирование денежного обращения и подготовка его реформы составляли одну из существенных задач деятельности нового кредитного учреждения, появившегося во второй половине века,—Государственного банка. Необходимо поэтому в связи с вопросом о денежном обращении рассмотреть сейчас в главных чертах вообще деятельность Государственного банка до его реформы в 1894 году (×).

Согласно уставу Государственного банка, на него возложен был „платеж процентов и возврат капитала по вкладам, внесенным в бывшие кредитные установления“. Правда, формально эти вклады были об'явлены долгом государственного казначейства банку, но то была пустая форма, совершенно лишенная реального содержания, так как платить по ним проценты и возвращать капитал должен был банк из собственных средств.

В 1886 г. эта ликвидация старых грехов была закончена. Казалось, Государственный банк окажется в состоянии исполнить свое прямое назначение эмиссионного и коммерческого кредитного учреждения, регулирующего денежное обращение и содействующего нормальному развитию торговли и промышленности. Это диктовалось и потребностями развившегося капитализма, интересами нарождавшейся и крепнувшей торгово-промышленной буржуазии.

Но крепостническое землевладение не умерло и не могло умереть в условиях первоначального накопления. И землевладельческие классовые интересы повели к замене одного ядра на ноге каторжника другим—не менее тяжелым: Государственный банк вынужден был выдавать из своих средств субсидии Государственному Дворянскому и Крестьянскому земельным банкам. Насколько оба эти учреждения служили интересам крепостнического землевладения,—хорошо известно. Достаточно указать на то, каких значительных размеров достигали эти субсидии: начавшись скромными суммами в 800 тыс. руб. в 1884 г. и тремя-четырьмя миллионами в 1885 и 1886 годах, субсидии повысились в 1887 г. до 57,7 милл., в 1888 г.—до 79,7 милл., в 1889 г.—до 79,6 милл. и в 1890 г.—до 40,5 милл. рублей.

Так черпало из кассы Государственного банка нужные ему средства дворянство. С ним успешно конкурировала в этом отношении и самодержавная бюрократия, сама постоянно пополнявшая собою ряды дворян-землевладельцев: правительство попрежнему беззастенчиво запускало свою хозяйскую руку в кассу банка и брало оттуда сколько ему было угодно, бухгалтерски записывая забираемые суммы в долг государственного казначейства Государственному банку. Таких долгов по позаимствованиям на текущие государственные расходы было сравнительно немного до конца 70-х годов, но в 1878 г. они сразу выросли до огромной суммы в 286 слишком милл. рублей, в 1879 г. дошли до 478,9 милл., в течение всей первой половины 80 годов колебались между 200 и 350 милл. и лишь позднее стали убывать, равняясь в 1886 г. 150 милл., в 1887 г.—100 милл. и т. д. Это и понятно: устав Государственного банка нисколько не гарантировал его самостоятельности и всецело подчинял его дискреционной власти министра финансов.

Понятно, что при таких условиях на развитие настоящего, серьезно и нормально поставленного коммерческого кредита у Государственного банка оставались одни жалкие обглодки. (×).

В 60-х годах коммерческие затраты Государственного банка не превышали 60-ти милл. руб. в год, в 70-х они дошли только до 130-200 милл. и только в 80-х перешли этот предел. (×)

V.

Система государственных расходов и доходов.

Мы подвергли последовательному обзору три важных отрасли государственного хозяйства в России второй половины XIX века,—таможенную политику, железно-дорожную политику и регулирование денежного обращения в связи с деятельностью Государственного банка.

Таможенная политика, если не считать системы явных и скрытых премий—вроде возврата сахарного акциза при вывозе сахара за-границу,—приносила государству огромный доход, но политика железнодорожная и подготовка введения золотой валюты требовали напротив огромных финансовых жертв. Колоссальные суммы поглощались, кроме того, другими, текущими, так называемыми обыкновенными государственными расходами, распределявшимися опять таки сообразно тем классовым интересам, выразителем которых являлось государство. (×)

Первое обращающее на себя внимание явление, которое обнаруживается при изучении русских государственных расходов с 60-х годов XIX века до его конца,—это огромный рост этих расходов. Если взять даже один обыкновенный бюджет, то рост обыкновенных расходов окажется поразительным. В 1861 г. вся израсходованная казной сумма равнялась всего 348 миллионам 600 тысячам рублей, а в 1892 г. одних обыкновенных расходов было произведено на 911 миллионов рублей. К этому надо прибавить еще громадные чрезвычайные расходы, которые в 1892 г. доходили до 400 миллионов. (×)

Нам уже известно, какое важное значение для новорожденного капитализма вообще и для грюндерства в частности имеют железные дороги. Известны отчасти и те жертвы, которые несло государство для целей железнодорожного строительства и для покровительства железнодорожным дельцам. Остается только дополнить приведенные выше сведения некоторыми другими данными. Обыкновенный расходный бюджет министерства путей сообщения постепенно увеличивался: в 60-х и 70-х годах он не превышал 25 милл. руб., в 1880 г.—равнялся 69 $^1/_2$ миллионам, в 1886 г. дошел уже до 86,4 милл., а в 1892 г.—до 146,7 милл. руб. Таким образом, расходы казны по министерству путей сообщения в 1892 году увеличились сравнительно с 60-ми годами почти в шесть раз. Принимая во внимание, что и рост задолженности государства проистекал главным образом из стремления увеличить траты на железнодорожное дело, легко понять, как усердно служило государство интересам развивающегося капитализма и общественных классов, выдвигающихся под влиянием этого развития на первый план.

Другая дань, которую государство платило прямо и непосредственно капиталистам,—это платежи по государственным займам. И здесь дань прогрессировала в своих размерах, несмотря даже на произведенные во второй половине 80-х годов конверсии многих государственных займов. В 1866 г. расходы по системе государственного кредита доходили почти до 75 миллионов рублей, в 1879 г. поднялись до 172$^1/_2$ миллионов, в 1889 г.—до 258$^1/_2$ миллионов, так что с 1866 г. по 1889 г. возрасли почти в 3$^1/_2$ раза. В 1891 г. система кредита поглощала 28,26$^0/_0$ всего бюджета.

Развивающийся капитализм для охраны и приобретения внешних и внутренних рынков, а также для защиты карманов г. г. капиталистов от „врагов внешних и внутренних“ и для поддержания буржуазного „порядка“, нуждается в армии, флоте и полиции. И соответственно этому увеличиваются расходные бюджеты министерств военного, морского и внутренних дел. В 1860 г. на военное и морское министерства было израсходовано всего около 129 милл. руб., что уже

тогда составляло более 36% общих государственных расходов. В 1898 г. соответствующий расход достиг почти 371 милл., т. е. увеличился почти втрое. Министерство внутренних дел потребовало в 1862 г. менее 9 миллионов казенных денег, в 1898 г. оно поглотило более 80 миллионов рублей. Необходимо прибавить, что армия, флот и администрация, увеличиваясь количественно и поглощая все большие денежные суммы, служат источниками жизненных средств и для старого поместного и растерявшего свои поместья крепостнического дворянства, из среды которого пополняются почти исключительно сухопутный и морской офицерский корпус и штат высшей центральной и местной администрации. Зато государство было очень осторожно в расходовании средств на нужды массы населения. Бюджет министерства народного просвещения занимал в ряду бюджетов различных ведомств последнее место. Как далеко оно отставало от ведомств наиболее привилегированных, покажут несколько цифр. В смете на 1881 год—почти середина рассматриваемого нами периода—расходы министерства просвещения фигурируют в сумме 17.414.000 рублей, тогда как военное министерство в этом году располагло 225.664.000 р., министерство финансов—108.369.000 руб. Так, даже в конце царствования Александра II, российская империя продолжала быть, главным образом, тою же военно-финансовой организацией, какой было Московское государство XVII века. Если мы сравним, в этом отношении, полуфеодальную Россию с развитыми буржуазными странами западной Европы и внеевропейскими, архаизм русского строя еще больше бросится нам в глаза. В конце XIX века Россия затрачивала на начальное народное образование по 31 коп. на каждого жителя: т. е. вдвое менее Испании (62 к.), в два с половиной раза менее Румынии (80 коп.) и Венгрии (79 коп.), почти в восемь раз менее Пруссии (2 руб. 45 коп.) и в четырнадцать раз менее Соединенных Штатов (4 руб. 36 коп.).

Так главные массы средств, сосредоточивавшихся в государственной казне, широким и глубоким потоком направлялись в карманы правящих классов общества, служили надежной их материальной опорой и поддержкой. Откуда же брались эти материальные средства, какие классы общества несли по преимуществу жертвы в интересах господствующего меньшинства? Этот вопрос приводит нас к необходимости представить общую характеристику системы русских государственных доходов во второй половине XIX века.

Русская податная система 60-х и 70-х годов XIX века представляла собою такое же наследие крепостной эпохи, как и очень многое в хозяйственной жизни России того времени. Она вся покоилась на эксплоатации платежных сил и средств малоимущего населения, по преимуществу крестьянской массы. Среди прямых налогов определяющую роль играла в то время подушная подать, прямой обломок старины. Из 83 миллионов рублей, собранных в виде прямых налогов с населения в 1869 г., на долю подушной подати приходилось $38^1/_2$ миллионов, т. е. более 46%. В 1879 г. подушная подать доставила казне 52 милл. рублей, а всех прямых налогов поступило менее $117^1/_2$ милл. рублей, так что процентное отношение подушного сбора ко всем остальным прямым налогам почти совсем не изменилось. А подушная подать лежала именно на крестьянстве.

Еще более важное значение в ряду прямых налогов принадлежало другому обломку исторического прошлого—выкупным платежам, налогу, платившемуся крестьянами в виде выкупа за полученную при освобождении землю. Насколько тяжел был этот налог,—видно из того, что, по приблизительному расчету, в 90-х годах на десятину крестьянской земли выкупных платежей падало в среднем по 89 коп. в год, тогда—как других прямых казенных сборов всего по 6 коп., земских по 26 к. и мирских по 40 к. Другими словами, выкупные платежи составляли 55,3% всей суммы прямых сборов, уплачивавшихся крестьянами и 93,6% всех прямых казенных сборов с крестьян. (×)

Еще более важную роль в бюджете играл важнейший для того времени косвенный налог—питейный; в 1869 г. он доставил казне почти 138 милл. руб., что составляет более 31½% всех доходов от прямого и косвенного обложения. В 1879 г. поступления от питейного дохода превысили 228 милл. руб., или 34½% всех государственных доходов. Питейный сбор главной своей тяжестью опять-таки ложился на массу населения. (×).

В первой половине 80-х годов, в министерстве Бунге, сделаны были некоторые шаги к реформе податного обложения: с 1883 г. подушная подать стала постепенно уничтожаться; в 1882 г. был введен особый налог на наследства и дарения. Предполагалось и введение подоходного налога. Но последнее предположение так и осталось неосуществленным. К тому же порядок раскладки других прямых налогов—поземельного и подомового, из которых первый был введен в 1875 г., а второй в 1863 г.,—установлен был такой, что и в данном отношении интересы малоимущих слоев населения приносились в жертву интересам обеспеченного и господствующего крепостнического и капиталистического меньшинства. (×)

Если взять даже общий итог сбора государственного поземельного налога для всей России, то оказывается, что десятина крестьянской земли в среднем обложена этим налогом на 20% сильнее, чем десятина земли дворянской. (×).

В 1885 г. введен налог на доходы с денежных капиталов, но он значительно ниже поземельного. В общем все эти робкие полумеры, как и последовавшие за ними уменьшения выкупных платежей, не привели к изменению системы податей, а постоянная нужда правительства в деньгах и покровительственная политика вызвали усиленный рост косвенного обложения. Фискальный, а не принципиальный характер носит и введение такого прямого налога, как квартирный в 1894 г.; вопреки утверждениям министерства финансов, квартирный налог не имеет ничего общего с подоходным, а представляет собою обложение многосемейных лиц тем более, что прогрессия для более дорогих квартир весьма невелика, и допускается множество важных исключений из платежа налога.

Отмена подушной подати и вынужденное совершенной неплатежеспособностью крестьянской массы понижение выкупных платежей повели к дальнейшему понижению прямого обложения. Прямые налоги дали в 1889 г. только 89 милл. руб. Выкупных платежей поступило в то же время 94½ миллиона. Это—капля в море русского бюджета. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить, что общая сумма

одних обыкновенных доходов простиралась в 1889 г. до $914^1/_2$ мил. руб. (×)

Главное значение в системе русских государственных доходов продолжало и во второй половине XIX века оставаться за косвенными налогами, которые вместе с пошлинами составляли немногим менее половины всех доходов. Если взять чистый бюджет, т. е. исключить оборотные суммы, имеющие чисто-счетное бухгалтерское значение, то окажется, что в 1880 году косвенные налоги составляли 69,2% всего дохода, а в 1892 г.—$71,6^0/_0$.

Спрашивается теперь: удалось ли в 80-х годах уничтожить тот хронический дефицит, каким страдала русская казна в течение всего XIX столетия? (×) Если взять сколько-нибудь продолжительный период времени и оценить его финансовые результаты, (×) тогда окажется, что государство все время жило в долг, и что так называемая „свободная наличность" получалась именно путем займов. Так, в десятилетие с 1889 по 1898 г., если сбалансировать все—и обыкновенные и чрезвычайные—доходы и расходы, то окажется дефицит в 28 миллионов рублей. А в то же время было заключено займов на 760 мил. руб. Стало быть, реальный дефицит простирался за 10 лет до 788 мил.

Понятно, какую важность имеет при таких условиях система государственного кредита. Россия живет в долг. Это так. Но не менее важно знать, на каких условиях принимала она на себя долговые обязательства. Это заставляет нас обратиться к рассмотрению характеристичных черт русского государственного кредита.

VI.

Государственный кредит.

Предшествующее изложение—в особенности рассмотрение основных характеристических признаков русского государственного бюджета, доходов и расходов государства,—делает вполне естественным то заключение, что задолженность государства должна была расти и при том чрезвычайно быстро. Если считать не только государственные займы, заключенные на удовлетворение общих потребностей, но и железнодорожные консолидированные займы и обязательства выкупной операции, то окажется, что уже в 1892 г. сумма государственного долга приближалась к $5^1/_2$ миллиардам рублей, между тем как в половине века государственный долг составлял всего немногим более миллиарда рублей и даже в 1861 г. равнялся только 2 миллиардам 180 миллионам. (×).

Тяжесть этого долгового бремени в значительной степени усиливалась теми условиями, при которых русское правительство заключало свои займы. Во-первых, оно, за исключением немногих внутренних займов, составивших лишь небольшую часть общей суммы государственного долга, никогда не имело возможности обращаться непосредственно к той массе мелких сберегателей, в руках которых размещались, в конце концов, русские процентные бумаги. Непременным условием,—и это подчеркивает лишний раз средневековый характер

русского государственного кредита,—было посредничество крупных банкирских фирм и синдикатов. Ближайшими кредиторами русской казны являлись они, и, чтобы попасть в русский казенный сундук, деньги западно-европейской публики должны были пройти через их руки. Само собою разумеется, что посредничество это отнюдь не было даровым или хотя бы только дешевым. При выпуске гарантированных правительством железно-дорожных займов, в 60-х—70-х гг., эта комиссия банкиров доходила иногда до 10% всей суммы.

Для займов самого правительства она составляла, до начала 80-х годов, не менее 4% (например, для 5% консолидированного железнодорожного займа 1884 года—4,37%). Лишь наступившая в конце этого десятилетия на международном денежном рынке большая дешевизна, позволившая, между прочим, Вышнеградскому провести его конверсии, о которых дальше, позволила понизить и эту комиссию до 2% и даже несколько ниже. Расходы и при таком понижении все же оставались миллионными и, например, общий итог вознаграждения за посредничество при сейчас упомянутых конверсиях составил ни много, ни мало, как 21.667.000 рублей. (X)

Система русского государственного кредита носит на себе, таким образом, как и другие стороны государственного хозяйства, ясный отпечаток эпохи первоначального накопления — с ее хищническими приемами добывания и самыми нерациональными способами траты добытых денег. Но к началу 90-х годов эта эпоха, видимо, уже заканчивалась. Русский государственный долг понемногу европеизировался: он стал менее пестрым и более дешевым. В начале рассматриваемого периода, в 1866 году, Россия была должна 2.267.857.000 руб. в конце—в 1892 году—5.874.111.000 руб., расходы же „по системе государственного кредита“ и % по этому долгу составляли, в отношении ко всему бюджету, в 1862 году—29%, а в 1892 только 28%: абсолютная сумма долга выросла слишком вдвое, а относительная его тяжесть даже чуть-чуть уменьшилась. В начале этого периода займов с производительной целью совсем не числилось в его составе; в конце же консолидированные железнодорожные займы составляли почти четверть всей его суммы (1.412.938.000 руб.). Мы уже знаем, как строились наши железные дороги, но, тем не менее, расходы на их постройку все же нельзя не признать более рациональными, нежели расходы по вознаграждению помещиков за отмену барщины, — что, в сущности, представляла собою выкупная операция, главная кредитная операция русского правительства в начале 60-х годов. Классовый смысл финансовой политики этого правительства не изменился: дворянин-помещик попрежнему оставался и суб‘ектом и об‘ектом распределения всех благ, изливавшихся из казенного сундука. Но рядом с дворянином все определеннее выступает другая фигура—фигура купца, от которого зависело, будет что-нибудь в этом сундуке или нет. Только в то время, как русский дворянин продолжал оставаться строго национальным типом—его сверстники в западной Европе давно вымерли,—представитель капитала, как и сам этот последний, был личностью интернациональной. В противоположность своему прототипу французскому „генеральному контролеру“ XVIII века, русский министр финансов конца XIX должен был ухаживать не столько за

буржуазией своей родной страны, сколько за буржуа стран далеких, но более богатых золотом. Вершитель судеб русской казны жил тогда в Париже, Лондоне или Амстердаме; чтобы его умилостивить, его нередко удостоивали привилегии российского дворянина — получать даром, ни за что ни про что, русские народные деньги. Так, например, при конверсии серебряного займа 1855 года, произведенной в 1890 году, владельцам билетов этого займа была предложена цена на 20% выше действительной. Экономически, с точки зрения развития международного капитализма, дело, конечно, не менялось от этого: но для русской внутренней политики было, конечно, совсем не все равно, зависело ли то, чем держался государственный механизм от тех, кто непосредственно выносил на себе его толчки, или от тех, кто смотрел на его работы со стороны,—интересуясь только тем, хорошо ли он выжимает соки из русского плательщика налогов. Россия конца XIX века становилась, очень медленно и поздно, тем, чем давно были Англия и Франция—буржуазной страной; но в числе громадных различий между этими странами не следует упускать из виду и того, что ни у Англии, ни у Франции вовсе не было заграничных долгов, тогда как из шести, приблизительно, миллиардов русского долга (без кредитных билетов) половина (2.118.869.000 руб. металлических — слишком 3 миллиарда рублей кредитных) была в руках иностранцев.

VII.

Влияние финансовой политики на благосостояние народных масс.

Мы видели, как промышленный, торговый и ростовщический капитал и хищники всякого рода—неограниченные властители хозяйственной жизни в период первоначального накопления—извлекали из финансовой политики самодержавного правительства великие и богатые милости. Нам предстоит теперь в виде заключительного аккорда изобразить в главных чертах влияние той же финансовой политики на благосостояние народных масс, расчленимых экономически, организуемых социально и развиваемых идейно процессом развития самого капиталистического строя (X).

Для того, чтобы точнее и правильнее определить влияние финансовой политики на благосостояние населения, мы рассмотрим особо влияние отдельных сторон этой политики, характеризованных выше.

Влияние таможенной политики удобнее рассмотреть в связи с влиянием вообще косвенного обложения. Поэтому мы начнем с определения влияния русской железнодорожной политики (X).

Уже к половине 70-х годов влияние железных дорог на наш ввоз и вывоз сказалось с чрезвычайной силой. Если мы примем размеры русского хлебного экспорта в трехлетие 1857—59 гг., когда русской железнодорожной сети еще не существовало, за 100, то уже для трехлетия 1866—68 гг., когда эта сеть только что начала создаваться, мы получим 149,80, а для трехлетия 1872 — 74 гг. — 239,97%. В 1859 году вывоз хлеба из России за-границу составлял 8.900.000 четв., в 1874 г.—26.723.000 четвертей; в первом случае весь хлеб был подвезен к портам лошадьми и водными путями, во втором только немного более $^1/_3$—9.032.000 четвертей; остальные 17.691.000 четв. были подвезены по железным дорогам. Но увеличение сбыта вызвало и интенсификацию производства в размерах, не слыханных в крепостную

эпоху: уже к половине 70-х годов наблюдатели отмечали, что в Курской, напр., губернии было распахано все, что только возможно: склоны оврагов, дно спущенных прудов и т. д. Железные дороги в колоссальных размерах ускорили тот процесс приспособления России к требованиям всемирного рынка, который в первой половине века так помог разложению крепостного хозяйства. Но нужно прибавить, дорого обошлось России это приспособление. Цены на международном хлебном рынке отнюдь не поднимались, а падали; чтобы удержать доходность русского земледелия на прежнем уровне, приходилось выбрасывать на рынок все больше и больше хлеба. За восьмилетие 1893—1901 гг. было вывезено хлеба более предшествующего восьмилетия (1884—1892 гг.) на 31,6%—более почти на миллиард пудов, — а выручка за него увеличилась лишь на 9,5%. Как интенсификация барщины в свое время покупала увеличение количества продукта истощением и вырождением населения, то же повторялось и теперь с интенсификацией „вольного труда“ за пределы экономической разумности. Русская деревня конца 80-х и начала 90-х годов не только ничего не оберегала, но тратила свой „капитал“ —продавая свой инвентарь, лишая тем себя возможности не только вести „интенсификацию“ дальше, но и оставаться на прежнем уровне (×).

Это так сказать, абсолютное обнищание русской черноземной деревни—независимое от относительного разорения отдельных слоев крестьянства, на счет которых обогащались и поднимались другие — не всецело, разумеется, об'ясняется давлением мирового сельско-хозяйственного кризиса, давшего почувствовать себя „глубине России“, благодаря паровому транспорту вообще и железным дорогам в частности. Значительную долю здесь приходится отвести и последствиям той классовой финансовой политики, которую вело русское правительство второй половины XIX века, и итоги которой именно в этом отношении мы сейчас попытаемся здесь подвести (×).

Уже в 70-х годах было установлено, что прямые налоги всяких наименований, падающие на десятину надельной крестьянской земли, обыкновенно превышают доходность этой десятины, — превышают в пропорции иногда прямо фантастической. Для черноземной полосы с общинным землевладением платежи составляли, по вычислению профессора Янсона, от 30 до 148% доходности у бывших государственных крестьян, а у бывших помещичьих превосходили ее от 24 до 124% при среднем наделе и до 200% (иначе говоря, втрое) при низшем. Цифры нечерноземной полосы, вообще говоря, гораздо грандиознее, как этого и можно было ожидать. Приводим составленную тем же статистиком табличку. Платежи составляли по отношению к доходности земли:

В губерниях.	Для крест. бывш. госуд.	Для крест. бывш. пом.
Тверской	244%	252%
Смоленской	166%	220%
Костромской	146%	240%
Псковской	130%	213%
Владимирской	168%	276%
Вятской	97%	200%

Прибавим к этому, что доходность здесь (т. е. в нечерноземной полосе) есть величина совершенно фиктивная, так как если земельный надел не может обеспечить насущных потребностей крестьянской семьи, то еще менее, конечно, он может давать действительного дохода. Попросту говоря, налог, поземельный по форме, был, в сущности дела, личным — падал на личный заработок крестьянина и вынуждал его итти на поиски этого заработка при наименее выгодных условиях, оставаясь юридически привязанным к своему голодному наделу,—чем налоги и выполняли свою социальную функцию (×).

Но не черноземная полоса, благодаря близости столицы, развитию промышленности и сравнительно густой железнодорожной сети, представляла, в смысле „сторонних заработков", особенно благоприятные условия: в черноземной эти заработки почти отсутствовали (в Самарской, например, губернии они не покрыли бы и половины податей). Здесь фискальная политика выжимала из крестьянина не деньги для казенного сундука, а рабочую силу для помещичьей экономии, вынуждая крестьян приарендовывать землю к своему скудному наделу на условиях, которые привели бы в ужас европейского фермера. Напомним только читателю, что арендные цены на землю в период 1861—1871 гг. возрасли, в черноземной полосе России, на 300—400%, тогда как цены на хлеб повысились лишь на 50—80%: т. е. что эксплоатация помещиком арендатора-крестьянина в течение десяти лет после „освобождения" последнего увеличилась, по крайней мере, в два с половиною раза (×).

Косвенные налоги, особенно таможенные пошлины и акцизы, влияли на хозяйственное положение населения прежде всего в том смысле, что уменьшали потребление многих весьма полезных продуктов и тем, с одной стороны, задерживали развитие производительных сил, с другой, понижали жизненный уровень населения. В этом отношении особенно важное значение имеют таможенные пошлины на железо, машины и удобрительные материалы и акциз на сахар, связанный с знаменитой сахарной нормировкой.

Что касается машин, железа и искусственных удобрений, то обложение их высокими таможенными пошлинами сокращало их приложение, в особенности в сельском и в частности в крестьянском хозяйстве. Таможенный протекционизм в данном отношении прямо и непосредственно становился поперек дороги развитию производительных сил страны, преимущественно повышению сельско-хозяйственной техники на крестьянских землях (×).

Еще тяжелее отзываются на интересах несостоятельного населения высокий акциз на сахар и сахарная нормировка. Акциз на сахар, равнявшийся до 1892 г. 1 рублю с пуда, в этом году был повышен до 1 р. 40 к., а в 1893 г. до 1 р. 75 к. Уже это одно увеличивает цену на сахар, по крайней мере, вдвое, следовательно, соответственно сокращает и его потребление. Но еще большее повышение цен и еще более сильное сокращение потребления вызывается сахарной нормировкой, установленной в 1895 г. в интересах сахарозаводчиков.

Вследствие всего этого, а также вследствие освобождения русского сахара, вывозимого за-границу, от акциза, сахар в России стоит в $2^1/_2$ раза дороже, чем в Англии, а потребление сахара у нас

в 40 раз слабее, чем в Англии; в Англии потребляется на одного жителя по 80 фунтов сахара в год, а у нас едва по 2 фунта. (X)

Начиная настоящую главу, мы оговорились, что тяжелое положение крестьянской массы, ее пауперизация, вытекает далеко не из одной финансовой политики правительства, а обязано своим существованием целому ряду известных условий, среди которых государственное хозяйство является только одною из производных от них частностей. При всем том, однако, ясно на основании предшествующего изложения, что в деле разорения массы населения финансовой политике правительства принадлежала далеко не последняя, а, напротив, весьма видная и влиятельная роль. (X)

Таков жизненный уровень среднего русского крестьянина. Интересы правящих классов общества, которым так усердно служила финансовая политика государства во второй половине XIX века, обеспечивались протекционизмом аграрным и промышленным в величайшей степени (X). Те препятствия, которые правительство своей финансовой политикой, в частности эксцессами протекционизма, ставило развитию производительных сил страны, сильно содействовали тому сохранению крепостнического, кабального хозяйства, которое повышало земельную ренту далеко за пределы нормы, допустимой и возможной при нормальной капиталистической организации хозяйства. Арендные цены на землю непомерно вздувались, и в результате получалась еще большая пауперизация масс, столь характерная для эпохи первоначального накопления.

В полном соответствии со всем этим находились, разумеется, и те огромные прибыли в 20, 30, 50, 70 и более процентов, какие извлекали из своих предприятий рыцари первоначального накопления.

Для полноты характеристики, в виде заключительного аккорда, остается прибавить только одно: все здание государственного хозяйства, столь колоссальное, даже грандиозное на первый взгляд, на деле увенчивалось и вместе с тем подрывалось хищениями и злоупотреблениями совершенно невероятных размеров. Подрядчики при постройке казенных железных дорог, благодаря взяточничеству строителей-чиновников, получали на сотни тысяч и миллионы рублей более, чем следовало; броня для военных судов обходилась вдвое дороже обычного; при организации общественных работ в голодный 1891 год было израсходовано без всякого контроля и в значительной степени расхищено 16 миллионов рублей; при казенных подрядах и поставках чиновники соглашались сплошь и рядом на непомерно высокие цены, получая за это от поставщиков „комиссионное вознаграждение“ в 10—20% суммы, за которую сдан подряд или поставка. Государственное хозяйство России с 60-х до начала 90-х годов все было построено на принципе покровительства хищническому капитализму и докапиталистическому хищничеству. (X)

XI. Финансовая политика правительства в исходе XIX в.

(Из статьи М. Боголепова в I т. издания: „Обществ. движение в России в начале XX в. СПБ. 1909 г. Стр. 158—177).

Рост государственного бюджета, в период 1892—1903 г., поражает своею напряженностью и быстротою. За указанные 11 лет, обыкновенные государственные доходы более, чем удвоились: они возрасли на 110%. В некоторые годы, увеличение государственных доходов составляло 12%, 11, 10%. Эти отношения уже ясно говорят за то, что рост государственного хозяйства значительно опережал развитие общей экономической жизни: нельзя предположить, чтобы такая экономически отсталая страна, как Россия, где образование капиталов совершается слишком медленно, могла естественным путем создать условия для такого интенсивного, беспримерного даже для богатых стран, роста государственных доходов.

Правда, этот изумительный рост государственного бюджета отчасти об'ясняется тем обстоятельством, что в общую сумму государственных доходов были включены оборотные суммы по железнодорожному хозяйству казны, которое расширилось вследствие выкупа в руки государства частных железных дорог, а также и потому, что были включены оборотные суммы по казенной винной монополии. Но существенную роль играло в этом галопирующем возрастании государственных доходов увеличение налогового бремени. (X)

В одном из своих докладов министр финансов Витте обронил фразу: „финансовое искусство—не магия". Да, это—верно, а потому необычайный рост государственного бюджета и еще более необычайная выносливость податных классов нуждаются в об'яснении. Какие силы поддерживали государственный бюджет, что помогло старому режиму усилить свои позиции, как раз накануне русско-японской войны и народной революции?

Для того, чтобы найти ту существенно-важную причину, которая могла бы об'яснить только что указанное явление, нужно обратить внимание на прилив иностранных капиталов.

С половины прошлого века экономическая жизнь главнейших стран Западной Европы уже окончательно встала на ноги. На рынках накапливались огромные свободные капиталы, благодатным дождем орошавшие и капиталистическое хозяйство, и государственные финансы. Государственная власть попала в руки промышленных и владеющих классов, которые сумели приспособить государственный аппарат к обслуживанию руководящих экономических интересов. Несчастный исход для Франции ее столкновения с Германией не только не погубил богатую страну, но почти не остановил роста француз-

ского национального богатства. Этот факт говорит за то, что народное хозяйство передовых промышленных стран окрепло и приобрело значительную упругость. Мало того, капитализм западно-европейских стран развился уже настолько, что образование новых капиталов зачастую опережало потребность в них внутри страны. Капитал оставался свободным, незанятым, он давил внутри страны на уровень процента, понижал доходность той все возраставшей категории лиц, которая владела капиталами и из среды которой постепенно вырастал класс рантье. Подобное положение вещей понуждало к экспорту капитала. Экспорт капитала в самых разнообразных формах—характерное явление новейшей эпохи экономической истории Западной Европы.

Экспорту капиталов должен был, конечно, соответствовать импорт. Это и случилось за счет экономически неразвитых или быстро развивавшихся новых стран, или отсталых, изнуренных стран. Во всех этих странах общим знаменателем было отсутствие или недостаток свободных капиталов. В России жажда прилива капиталов из за-границы обострялась и тем, что страна оставалась в стадии перехода к промышленному типу стран, следовательно, образование капиталов внутри ее было очень слабое, а потребность в них очень сильная; эта же жажда прилива капиталов обострялась и тем, что правительственная политика не считалась с наличными рессурсами страны и требовала больше, чем страна могла дать, не истощая своих сил. Истощение экономических сил, угрожавшее народному хозяйству и государственным финансам, могло маскироваться притоком иностранного капитала.

И, действительно, вторая половина XIX века в истории русского государственного хозяйства и, равным образом, в истории русского народного хозяйства характеризуется усиленным приливом иностранного капитала. (X)

Прилив иностранных капиталов задерживал разложение государственного строя, почти всегда стоявшего в преддверии финансового банкротства. Но в то же время чужеземный капитал не приносил с собой зародышей оздоровления России. Общий уклад жизни препятствовал нормальному развитию русской экономической жизни. Правительство напрягало свои усилия не только к тому, чтобы оросить русские производительные силы золотым дождем занятых денег, но вместе с тем оно сознательно стремилось к тому, чтобы экономическая и финансовая политика была выгодна и полезна определенным общественным классам. Деньги шли не туда, где они были не только нужны, необходимы, но и полезны для развития хозяйства. Деньги шли туда, где правительство видело и чувствовало опору и поддержку. Многомиллионное крестьянство вместо денег получало только подати, крестьянство только косвенным путем испытывало на себе последствия прилива иностранных капиталов. Этот прилив вызывал спрос на рабочие руки и влиял на развитие некоторых отраслей промышленности. Податная политика отсекала все эти плюсы в свою пользу. Мало того, эта податная политика, не порывая своих связей с недавним прошлым, сама по себе являлась фактором, поддерживавшим существовавший порядок вещей (X).

Исторической датой, которая отмечает начало усиленного покровительства сельскому хозяйству помещиков, дворян по преимуществу, является падение крепостного права, когда бывшие рабовладельцы переходят на государственное содержание. Правительство совершает грандиознейшую выкупную операцию, оплачивая на счет крестьян потери помещиков, обусловленные надрывом крепостных отношений. Помещики получают деньги не только за отошедшую от них землю, но и—в скрытом виде—за „души“ своих бывших рабов, т. е. за утерянную даровую рабочую силу.

Однако, несмотря на то, что крупное землевладение получило такую мощную поддержку в форме выкупных платежей, его положение, тем не менее, было довольно шатко. Преобразование социальных отношений, оказавших воздействие на русское сельское хозяйство, совпадало с крупным всемирным экономическим течением в области сельско-хозяйственной промышленности. Сельское хозяйство европейского континента очутилось во власти затяжного кризиса, обусловленного многими причинами, между прочим конкуренцией новых заокеанских стран, производивших массу дешевого хлеба. Экономические условия, в которых находилось европейское сельское хозяйство, складывались таким образом, что землевладельцы должны были считаться с падающими хлебными ценами и дорожающими рабочими руками. Эти перспективы обрекали земельное владение на постепенное понижение доходности.

Поэтому на Западе начинается политика поддержания землевладения, окрасившая в свой цвет финансовые отношения; особенно это заметно в Германии и ее союзных государствах.

В России эта политика, имевшая, кроме того, свои особые мотивы,—сохранение режима,—приняла резко выраженную окраску. Государственные финансы сильно впитали в себя это новое течение, финансовые отношения стали неизменно складываться под углом помещичьих интересов. Из массы фактов, иллюстрирующих это течение русской финансовой политики, можно указать на следующие:

В области прямого обложения русское помещичье землевладение никогда не было обиженным, оно всегда находилось в привилегированном положении (X). Введенный в 70-х годах XIX в. государственный поземельный налог был совсем необременителен; никогда со стороны землевладельцев не раздавалось громкого протеста против этого налога. Взимание налога было обставлено таким образом, что облагался не действительный доход земли, а средняя ее доходность, оценка которой находилась в руках самих помещиков. В конце концов само министерство финансов признало, что эти оценки черезчур проникнуты классовыми интересами, но это не мешает такому способу взимания налогов существовать до сих пор. Мало того, в 1896 г. незначительный нормальный налог понижается, сроком на 10 лет, на 50%. Сделано это в виду всемирного сельско-хозяйственного кризиса. На год ранее понижается для имений налог с наследств, введенный в 1882 году,—до этого времени владеющие классы сумели отстаивать свои интересы и не допускали введения наследственного налога. Один из министров ссылался при этом на опыт Англии, где точно так же помещики противились наследственному налогу. Русский министр

говорил: „налог, доказательствами мудрых людей опороченный... Англия обложила и свет солнца, но знала, что всему есть предел и мера, и видела в налоге на наследства оскорбление святыни праха родственников". Если русским помещикам не удалось в 1875 г. и в 1882 г. воспрепятствовать введению поземельного налога и налога с наследств, то в 1895 и 1896 гг. оба эти ничтожные по своим размерам налога все же были понижены. Заметим кстати, что взимание наследственного налога производилось опять таки не по действительной ценности имущества, а по оценкам, которые находились в руках помещиков и дружественной им, родной по интересам, бюрократии.

Когда правительство ввело „прямой" квартирный налог, который на самом деле является косвенным налогом на потребление, то и здесь оно создало льготу для помещиков: их квартиры в имениях по закону остаются свободными от обложения. Подомовый налог опять-таки совершенно не взимается с помещичьих домов, находящихся за чертою городских поселений...

Очевидные льготы все тому же классу помещиков были проведены и в земских финансах, по своей конструкции непосредственно примыкающих к государственному прямому обложению. (×) Вот две коротеньких, но красноречивых таблички:

в 30 земских губерниях состав земств следующий:

дворян и помещиков	57,1%
разночинцев	13,3%
крестьян	29,6%
	100%,

а потому средное обложение десятины земли земскими сборами было:

Годы.	С крестьянской земли.	С удельной и помещичьей.
1871	10,6 коп.	5,3 коп.
1880	15,5 „	7,4 „
1889	17,3 „	9,7 „
1895	21,6 „	11,0 „

Вряд ли эти цифры нуждаются в пояснении: слишком очевидна та рука, которая устраивала земские финансы. (×)

В косвенном обложении крупное сельское хозяйство получает не меньшие выгоды. Прямых из'ятий из косвенного обложения нет, так как технически трудно организовать такие привилегии, но за то в конструкции косвенного обложения находится не мало следов помещичьего влияния и не мало признаков правительственной любви к этому счастливому классу.

Львиную долю русского бюджета составляет доход от продажи спиртных напитков. Этот огромный доход, помимо своего бюджетного значения, имеет крупное экономическое значение. Налог на производство, налог на потребление представляют из себя мощные орудия экономической политики. Налог же на спирт затрагивает почти всю сферу сельского хозяйства. Перегонка хлеба, картофеля в спирт, это фактор, который при одних условиях может убить сельское хозяй-

ство, при других—создать для него источник неиссякаемых доходов. Мало того, обложение спирта можно организовать таким образом, что сельское хозяйство одной полосы будет процветать, а другой—хиреть; можно все прибыли направить в сторону крупного сельского хозяйства и все невыгоды—в сторону мелкого. Финансовая история многих стран представляет так много разительных примеров определяющего влияния налога, что все общественные классы давно убедились в необходимости напряженной борьбы около каждого налога. Русские помещики точно так же давно и основательно убеждены в этом.

При введении акцизной системы обложения спирта налог взимался не с действительного выхода спирта, а с нормального, т. е. правительство облагало предполагаемый при данном количестве приборов выход спирта. Если помещику удавалось выкурить спирту более нормы, то этот „перекур" шел в пользу помещика, т. е. оставался свободным от налога, на рынке же продавался и этот перекур, как будто бы он был обложен, но эта надбавка шла в пользу помещика-заводчика. Естественно, что при таких условиях все выгоды были на стороне богатых, сильных предпринимателей, которые лучше могли оборудовать свои заводы. Крупные заводы, конечно, побили мелкое винокурение: с 1860 г. по 1899 число заводов сократилось с 5.160 до 2.049. В начале 90-х годов начинается эра покровительства сельско-хозяйственному винокурению; вместо перекура, который выродился в поощрение промышленников, а не сельских хозяев, практикуется безакцизное отчисление спирта сельско-хозяйственного винокурения; этого было мало—ввели дополнительное безакцизное отчисление. Размер безакцизных отчислений, выданных, напр., в 1904 г. заводчикам, составил около $13^1/_2$ милл. рубл., т. е. по 17 коп. на ведро. Этот „дар любви" оплачивается, конечно, потребителем. Но и этот дар попал в руки только одного крупного землевладения, так как закон признает сельско-хозяйственную винокурню не в зависимости от ее силы, а от соотношения между силою винокурни и количеством принадлежащей помещику-хозяину винокурни пахотной земли. При таком условии помещик, чем больше у него десятин, тем больше получает безакцизных отчислений. И действительно, увеличения количества заводов почти не замечается: среднее и мелкое винокурение забито крупным. Легко представить себе всю ту выгоду, которую от таких порядков получало крупное землевладение: хлеб в натуре сбывать было трудно, цены падали, хлеб же в форме спирта находил явно привилегированный сбыт за счет налогоплательщиков.

Правительство изыскивало всякие способы к поощрению сельского хозяйства крупного калибра; оно не остановилось даже перед попыткой организовать монополию продажи хлеба с целью повышения на него цен, затратило на эту операцию деньги, но в конце концов, ограничилось введением казенной винной монополии. Не входя в подробности, в которых, между прочим, скрывается интересная сторона покровительства помещикам, заметим, что, по существу дела, монополия прибылей казне не принесла, потребление значительно удорожила, и это удорожание пошло отчасти в пользу сельских хозяев. Правительство теперь является единственным приобретателем спирта, и в назначении цен на спирт, цен за очистку спирта оно

явно поступается интересами государственного казначейства, интересами налого-плательщиков в пользу помещиков. Цены на спирт искусственно взвинчены при непосредственном участии министерства финансов. Высокими ценами министерство поддерживает сельское хозяйство даже в таких районах, где оно немыслимо по природным условиям. Иногда установленные цены резко колеблются в пределах одной и той же губернии. Это означает, что в данном уезде дела какого нибудь помещика пришли в упадок и правительство пришло к нему с своею помощью...

Падение на всемирном рынке хлебных цен сделало выгодным для сельского хозяйства переход к другим культурам, в особенности к свекловичному производству. Правительства всех стран Европы с энергией поддерживают свеклосахарную промышленность, но пальму первенства в этом соревновании получает опять-таки русское правительство. Поощряя сахарное производство, правительство вводит знаменитую сахарную нормировку, т. е. казенный обязательный синдикат, который не допускает падения цен внутри страны ниже известного, весьма высокого, уровня. Свеклосахарное производство получает искусственный стимул для своего развития. Цены на сахар внутри страны держатся на высоком уровне, внутренний потребитель создает южно-русским плантаторам и сахарозаводчикам основательные барыши. Вообще, в России потребление широких народных масс, которое только и может итти в соображение при финансовых расчетах, оказалось сильно перегруженным всякими налогами. Для свеклосахарной промышленности это могло представить значительные неудобства, так как рост ее прибылей стоял в зависимости от расширения потребления. Чтобы избежать сахарного перепроизводства, чтобы вознаградить свеклосахарных королей за недостаточную емкость внутреннего рынка, правительство снова идет на жертвы. Оно организует искусственный вывоз сахара за-границу, где русский сахар продается по баснословно дешевым ценам. Чтобы всячески понизить цену русского сахара за-границей и тем создать ему возможность конкуренции с дешевым иностранным сахаром, заводчикам за счет казны выдаются премии за вывезенный сахар, понижается для вывозного сахара железно-дорожный тариф. Перевезти пуд сахара внутри России на протяжении 1.000 верст стоит 49,39 к., а сахар, назначенный для вывоза, за то же расстояние оплачивается 23,70 к. с пуда. Ежегодно за-границу вывозилось более 10 т. пудов сахара. Цена пуда сахара в Петербурге в 1904 г. была—без акциза 4 р. 10 к. (акциз 1 р. 75 к.), цена русского вывезенного сахара в Гамбурге — 1 р. 95 к. В тех же целях понижен вывозной тариф и на спирт: внутренний тариф на 1.000 в. равняется 34,16 к., вывозной — 23,61 коп. Недаром крупные землевладельцы стояли за выкуп всех частных железных дорог в руки государства, они знали размер своего влияния на правительство, верили, что им легко будет столковаться относительно понижения в их пользу железно-дорожных тарифов (×).

Если мы обратимся к государственному кредиту, то увидим здесь следы влияния того же класса.

Большую службу сослужил помещикам государственный кредит при освобождении крестьян. Не меньшую службу он сослужил при

организации дворянского ипотечного кредита. История этого кредита весьма богата проявлениями правительственной милости к дворянскому классу. Часто эти милости доходили до геркулесовых столбов; напр., предоставление в пользу дворянского банка выигрышного займа, что, при русских условиях государственного кредита, является величайшею роскошью. Листы дворянского банка, имевшие плохой сбыт на свободном рынке, принимались управлением сберегательных касс. При огромной русской государственной задолженности привилегии дворянскому кредиту означали сужение рынка для государственного кредита, удорожание его. Мало того, дворянский земельный кредит был организован таким образом, что он явился исключительно дешевым. Эта исключительная дешевка, противоречащая наличным условиям рынка капиталов, создавалась опять-таки за счет государственного казначейства (×).

Если мы развернем отчеты государственного банка, то и там увидим те же льготы крупному землевладению. Из года в год тянутся по отчетам миллионные цифры о ссудах сельскому хозяйству; а ведь эти ссуды противоречат основным устоям практики центральных эмиссионных банков...

Словом, на каждой странице русской финансовой истории можно встретить неоспоримые следы особо привилегированного положения крупного землевладения. Класс землевладельцев был любимым детищем старого строя и государственная власть, вечно нуждавшаяся в деньгах, не жалела средств на материнский уход за капризным классом, под ногами которого всегда была зыбкая почва...

Покровительство крупному землевладению создавало такое положение вещей, что сохранение привилегий, обильно розданных помещикам, по необходимости предполагало сохранение старого строя государственно-правовых отношений: одно обусловливало другое. Ту же тенденцию правительство проводит и по отношению к промышленной буржуазии. Правительственная власть так налаживает экономическую политику, чтобы промышленный капитал всегда чувствовал, что его счастье и несчастье находятся в руках всесильного правительства. Для правительства очень трудно было осуществлять такую политику, которая одинаково была бы выгодна и землевладельцам, и промышленникам. Иногда интересы этих классов были противоположны. Укажем на такой пример: для развития горной промышленности необходимо установление так называемой горной свободы, т. е. права искать горные богатства на чужих землях и входить с собственником земли в определенные законом соглашения. Горная свобода выгодна промышленности и невыгодна помещикам. Последние при отсутствии горной свободы вольны войти или не войти в соглашение с предпринимателем, а это, конечно, повышает цену за право разработки недр. До сих пор помещикам удавалось отстоять свои позиции, и „горная свобода“ до сих пор лежит под сукном в петербургских канцеляриях. Таких примеров можно привести не мало. В подобных случаях правительство вынуждалось итти на компромисс, вознаграждать привилегию одного класса подачкой другому и т. п. Но несомненно одно, что покровительство промыш-

ленности была и есть характерная черта русской политики, наложившая на русские финансы вторую резкую черту.

Если мы возьмем обложение промышленности и торговли, то встретимся с фактом льготного обложения. Финансовый опыт западных стран и русский опыт достаточно убедительно показали, что, если нужно по настоящему обложить доход от торгово-промышленных предприятий, то остается один действительный способ—введение подоходного налога. Обложение торговли и промышленности путем реального промыслового налога не достигает своей цели, так как в данном случае облагается предполагаемый доход предприятия, действительный доход ускользает от обложения, а равным образом ускользает от обложения и коньюнктуральный доход, который играет выдающуюся роль в современных условиях капиталистического хозяйства. Само правительство сознавало, что прямое обложение торговли и промышленности является очень слабым (X).

Торгово-промышленному классу в сфере прямого обложения могла угрожать серьезная опасность со стороны земских учреждений, как представителей сельского хозяйства. Земства в первые годы своей деятельности, действительно, обнаружили тенденцию переложить бремя земских налогов на торговлю и промышленность. Но правительство заступилось за промышленников и рядом законов оградило их карманы от земских поползновений. Крестьяне должны были ответить за эту привилегию купеческого кармана...

В сфере местного самоуправления правительству было очень удобно разграничить интересы землевладения и торгово-промышленного класса. Земство было отдано под ферулу помещиков, город—под опеку торговцев и промышленников. Торгово-промышленный класс не замедлил воспользоваться городским управлением в своих интересах. Оценочный сбор с недвижимых имуществ находится в руках домовладельцев, которые по всей России сумели обставить дело так, что городская недвижимость обложена очень слабо. За то городские управления с охотою взялись за так называемые муниципальные предприятия, быстро приспособив их к нормальным интересам торгово-промышленного класса. При помощи муниципальных предприятий городское управление добивается монопольного положения на внутреннем городском рынке, поднимает цены на товары муниципального производства, и, таким образом, жители города несут скрытый косвенный налог на потребление. Такая постановка муниципальных предприятий обеспечивает за ними солидную доходность, а это в свою очередь создает возможность не повышать оценочного сбора с городских недвижимостей... (X).

Но главные выгоды извлекал этот класс из политического строя самодержавной России. Эти выгоды были сконцентрированы в таможенной, железно-дорожной и биржевой политике государства и его органов.

Таможенная политика России с давних пор носила покровительственную окраску, с течением же времени покровительственные мотивы все усиливались и в 1891 г. достигли своего апогея. Некоторые тарифы из покровительственных превратились в запретительные. Внутренний рынок был огорожен плотною стеною таможенных преф-

рад, русской промышленности нечего было бояться иностранной конкуренции. При наличности стойких высоких цен она могла свободно развиваться, имея перед собою пространный внутренний рынок. Таможенные пошлины, или, вернее, таможенные налоги повышались под давлением двух факторов. С одной стороны, о повышении таможенного тарифа непрестанно и неустанно ходатайствовали промышленники: „припадаем к подножию священного престола не с жалобой, не с ропотом, но с душевной доверенностью к отеческому попечению",—вот формула старых ходатайств о повышении таможенных тарифов. Иногда ходатайства на ту же тему принимали социальную окраску: „воля вашего величества для нас священна, мы без ропота готовы ее исполнить, перенести потери, лишиться значительной части своих капиталов, лишиться всего и сделаться несостоятельными, но мы не можем без сострадания подумать о рабочих и ремесленниках, которые теряют сходные им занятия, не будут знать, куда им обратиться",—все это случится, если правительство не повысит таможенных тарифов...

Правительство охотно шло навстречу промышленным ходатайствам о повышении таможенного обложения. С одной стороны это повышало таможенный доход правительства, а с другой—взвинчивание таможенных налогов служило могучим средством правительственной политики по удержанию в стране золота. Введение в России золотой валюты не было капризом правительственной политики. Золотая валюта явилась необходимым условием экономического и финансового развития страны, она сделалась неизбежным постулатом правительственной политики с тех пор, как государственная задолженность в металлической валюте возрасла до огромных размеров. В продолжение десятилетий, когда Россия вынуждена была довольствоваться расстроенным бумажно-денежным обращением, русское народное хозяйство очень дорого заплатило за этот опыт, а правительственные финансы всегда рисковали быть дефицитными или даже притти в окончательный упадок.

Последние десятилетия XIX века характеризуются упорной борьбой за золото, которое уплывало за-границу. Правительство ставило своей задачей прекратить всякий доступ иностранного товара внутрь России, так как такие покупки ухудшали наш расчетный баланс, и, напротив, поощрялся вывоз русских товаров за-границу—это улучшало расчетный баланс. Таможенная политика России развертывалась в двух направлениях: ничего из за-границы и все за-границу. „Сами не доедим, а вывезем",—откровенно говарил министр финансов Вышнеградский. Кроме того, повышение ввозных таможенных пошлин преследовало еще одну цель: если иностранный товар не мог перейти русскую границу, то иностранный капитал тем охотнее мог ее переходить. Отчаянное повышение таможенных пошлин и было средством в руках правительства заставить иностранный капитал переходить русскую границу не в товарной, а в денежной форме.

Естественно, что в атмосфере такого таможенного законодательства русская промышленность могла пользоваться полным простором на внутреннем рынке. Таможенная политика, действительно, созда-

вала верный стимул для промышленного развития. Само правительство совершенно официально констатировало „поистине блестящее“ состояние русской торговли и промышленности, прибавляя к этому диплому следующее замечание: „в особенности эта характеристика применима к нашей фабричной и заводской промышленности, огражденной высоким таможенным тарифом, под защитою которого она может развиваться беспрепятственно и в самом деле быстро подвигается вперед“... (X).

Если мы обратимся к железнодорожной политике русского правительства, то и здесь найдем слишком яркие, несомненные следы заботливости государственной власти о торгово-промышленном классе. Самый факт усиленного железнодорожного строительства отчасти был обусловлен стремлением правительства оказать содействие промышленности не в форме создания общих, благоприятных для промышленного развития, условий, а в непосредственной форме—предоставления выгодных заказов. При усиленном казенном железнодорожном строительстве, казна прежде всего является одним из самых крупных потребителей продуктов горнозаводской промышленности. Для 1900 г. участие казны в потреблении горнозаводской и металлургической промышленности определялось почти в 50%, если не больше. Чтобы понять все значение этой цифры, необходимо привести другую: народная масса за этот же год потребила 14% всех продуктов металлургической промышленности. Легко себе представить, что стало бы с нашей промышленностью, если бы ей пришлось опереться только лишь на потребление народных масс!.. Не нужно также упускать из вида и того обстоятельства, что казна, являясь потребителем продуктов частной промышленности, за все платила изумительно высокие цены. Внимательное изучение истории русского казенного железнодорожного строительства приводило исследователей к тому заключению, что значительная часть затраченного в железные дороги капитала ушла на надбавки к нормальным ценам при заказах и на тот безудержный грабеж казенных денег, который так характерен для старого режима. Система заказов для строительства железных дорог в целях поддержания промышленности сделалась существенным условием не только для развития известных отраслей промышленности, но и для поддержания их status quo. Возник особый комитет для распределения заказов на рельсы и подвижной состав железных дорог. Этот комитет орудует с фиксированными ценами. Когда в 1906 г. правительство хотело уничтожить этот комитет, то промышленники подняли тревогу и возбудили ходатайство о сохранении этого благотворительного учреждения.

Итак, крупному сельскому хозяйству—сахарная нормировка, крупной промышленности—распределительный комитет. Правительство, таким образом, являлось необходимым посредником и пособником успеха двух крупных и влиятельных общественных групп...

Некоторые заводы сумели изготовлять рельсы в 89 коп., 79 коп., 77 коп. за пуд, а казна платила по 1 р. 23 коп. Отсюда ясно, что и распределительный комитет был „даром любви“. Что при этом терпела казна, т. е. налого-плательщики, легко себе представить. Если при заказе 42 милл. пудов рельсов переплата в одну копейку соста-

вляет уже 420 тыс. руб., то какие огромные суммы ушли „на поддержание отечественной промышленности“, если, как правило, переплачивались не копейки, а более крупные единицы... Та же самая, если не более выпуклая, картина наблюдалась при заказах военного и морского ведомства. (×).

В области банкового дела, почти всецело находившегося в руках правительства, или под его давлением, произошел тот же раздел „сферы влияния“ между двумя классами, какой мы только-что констатировали в области производства. Крупному землевладению был отдан дворянский земельный банк, который в крестьянском земельном банке нашел себе деятельного помощника по поддержанию помещичьего землевладения; промышленность и торговля получили в свое распоряжение государственный банк. Что центральный эмиссионный банк обслуживает нужды промышленности и торговли, это— в порядке вещей в современных государствах. Но в русских условиях и эта форма содействия промышленному развитию сразу приняла уродливые размеры. Правительство не остановилось перед нарушением банкового устава; нарушая на каждом шагу свои же собственные законы и уставы, правительство начало выдавать долгосрочные ссуды, в особенности таким предприятиям, дела которых сильно пошатнулись или совсем пришли в окончательное расстройство. Промышленное грюндерство нашло в государственном банке своего верного союзника. В годы кризиса, когда первыми лопаются мыльные пузыри, деятельность государственного банка по выдаче противозаконных ссуд принимает особенно крупные размеры. Банк поддерживает и прочные предприятия, и дутые; прогоревший трактир, предприятие авантюриста, грюндерская затея—все это находит в государственном банке, превратившемся в агентуру министерства финансов, деятельную денежную помощь. Официально такой порядок оправдывается тем, что „в промышленных ссудах возмещение ссуды обеспечивается в значительной мере именно производительной затратой денег; в этом смысле она является самообеспечивающейся“. Это изобретение министра финансов стоило для государства не малых денег. Официально сообщалось: „банк обеспечен валютой честности и ума. Неужели эта валюта у нас ничего не стоит?“ И практика показала с очевидностью, что эта „валюта“ в русских условиях обходится государству очень дорого...(×).

Позиции правящих сфер должны были казаться неприступными, непоколебимыми. В России и создавалось такое впечатление в эпоху 80-х, 90 годов прошлого века. Престиж государственной власти ослеплял даже Европу, ту Европу, которая так скоро и основательно забыла свой недавний печальный опыт. Обаяние этого престижа сказывалось в высоких курсах русских государственных фондов, в постоянной готовности западно-европейских капиталистов ссужать деньги правительству России.

Но притязания государственной власти на часть народно-хозяйственного дохода росли в чрезмерной прогрессии, затрудняя накопление сбережений, сокращая народное потребление, подчеркивая все невыгодные стороны несоответствия между ростом населения и увеличением народно-хозяйственного дохода. Для неограниченной власти,

жизненную задачу которой всегда составляло развитие своей силы, чрезмерное напряжение податных сил низших классов было роковым уделом. Если привилегированные классы при демократическом устройстве государства находят тысячу способов уклониться от несения податной тяжести, то что же нужно сказать об абсолютных монархиях, где раздача привилегий, льгот влиятельным общественным группам имеет особый политический смысл и значение...

В области прямого обложения в России вся тяжесть упала на крестьянскую массу, потому что помещичье землевладение не хотело нести налогов. Высчитывают, что всякие сборы с земли поглощали 60% и даже больше дохода крестьянской земли, в то время как частновладельческая земля платила только от 4 до 6% с своего дохода. В среднем для всей России обложение крестьянской земли поглощало 35% дохода, а частно-владельческой—всего только 5%. Это соотношение очень наглядно обрисовывает сущность сложившихся социальных отношений.

Но прямое обложение в русском государственном бюджете играет теперь ничтожную роль. Центр бюджетной тяжести лежит в обложении потребления. Наши косвенные и таможенные налоги, как было указано выше, питаются на счет самых основных элементов народного потребления; следовательно, то, что не добирало прямое обложение, подбирало косвенное. Обнищание широких народных масс было неизбежным последствием финансовой политики самодержавного правительства. Это обнищание, спорадически переходившее в самое возмутительное голодание, вырывает огромную пропасть под самыми опорами старого строя...

XII. Политическая позиция командующих классов—дворянства и буржуазии.

(Из „Русской истории“ М. Н. Покровского, Т. V. Изд. 2. Стр. 215-227).

В начале 60-х годов наметились три основные политические течения—которые потом провожают нас через всю новейшую русскую историю, до 1905 года, даже далее: либерально-монархическое, буржуазно-демократическое и социалистическое (×). Либеральный монархизм был отличительною чертою прогрессивного среднего землевладения—в 1865, как и в 1895 году. Буржуазный демократизм опирался, в идеале, на крестьянство—а в действительности на ту, несколько неопределенную теоретически, но на практике вполне реальную группу, которая в России получила название „интеллигенции“. Социализм (×) и в идеале и в действительности имел своею опорою пролетариат. (×)

Для более ранней эпохи, когда либерально-монархические иллюзии не были еще окончательно разбиты, характерен адрес московского дворянства, представленный в январе 1865 г. Основная мысль этого адреса была выражена московскими дворянами в следующих словах: „Довершите же, государь, основанное вами государственное здание созванием общего собрания выборных людей от земли русской для обсуждения нужд, общих всему государству. Повелите вашему верному дворянству, с этой же целью, избрать из среды себя лучших людей. Дворянство было всегда твердою опорой русского престола. Не считаясь на государственой службе, не пользуясь сопряженными с нею наградами, безвозмездно исполняя свой долг для пользы отечества и порядка, эти люди, по самым условиям своего государственного положения, будут призваны охранять драгоценные для народа и необходимые для истинного благоустройства нравственные и политические начала, на которых зиждется государственный строй. Этим путем, государь, вы узнаете нужды нашего отечества в истинном их свете, вы восстановите доверие к исполнительным властям, вы достигнете точного исполнения законов всеми и каждым и применимости их к нуждам страны. Правда будет доходить беспрепятственно до вашего престола, и внешние и внутренние враги замолчат, когда народ в лице своих представителей, с любовью окружая престол, будет постоянно следить, чтобы измена не могла никуда проникнуть. Как видим, ничего менее демократического нельзя себе и представить. При этом, взяв на себя такую трудную и ответственную обязанность, „народные представители“ не домогаются никаких прав: они не тре-

буют для себя непременного участия в законодательстве; „законосовещательная дума“ вполне удовлетворила бы авторов московского адреса. (×)

Если исключить сословно-дворянские вожделения,—являвшиеся в адресе 1865 г. отчасти отзвуком прошлого, отчасти результатом известной неопытности (практика губернских земств скоро показала, что вовсе не нужно сословного ценза для того, чтобы получить собрание чисто-дворянского состава)—если исключить это, можно сказать, что линия политического поведения, взятая московскими дворянами в этом году, надолго осталась определяющей для данной социальной группы. Даже адреса земств 1894—95 гг. дальше совещательного представительства не идут. „Просим открытого доступа голоса земства к престолу“,—такими словами одного из этих адресов (тульского) можно резюмировать содержание всех их. И (×) Б. Н. Чичерин не клеветал на помещичье общественное мнение в России, когда он писал, в 1880 г., Лорис-Меликову: „Толки о представительстве вызваны у нас вовсе не стремлением ограничить самодержавие. В России большинство не ищет ни большой личной свободы, ни гарантий против власти; той общественной свободы, которой у нас пользуется гражданское лицо, совершенно достаточно. В советах власти призвать к содействию выборных людей сказывается иное побуждение, по крайней мере у тех, кто не примешивает к общественному делу личных целей. Русское общество чувствует, что, в виду усложняющихся интересов и грозящих опасностей, правительству необходимо найти лучшие орудия, и что оно найдет их только в его (общества) содействии“. Здесь сомнителен был только знак равенства, поставленный между русским обществом и односословниками Чичерина: по отношению же к последним здесь едва ли было какое-либо преувеличение. (×)

Но если среднее землевладение не добивалось расширения своих прав, то отчего же в его среде так долго ютилось какое-то, как бы оппозиционное, движение? Чего-то оно все-таки добивалось? Ответ на этот вопрос нами отчасти уже дан. Неоднократно нам приходилось называть русское правительство XIX в. дворянским правительством. Теперь приходится подчеркнуть, что есть условного в этом наименовании. Уже на протяжении истории XVIII столетия нам приходилось констатировать, что дворянство в целом было у нас не столько суб‘ектом, сколько об‘ектом управления. Управляло крупнейшее землевладение: рядом с ним, в качестве второстепенных, но все же влиятельных, пайщиков, мы встречаем скорее крупных капиталистов, чем средних землевладельцев. Крупный капитал, сначала торговый, потом и промышленный, был тысячами нитей связан со „знатью“—связи эти идут со времен Бориса Годунова, участвовавшего в операциях и прибылях английской московской компании, до Строгановых, Шереметьевых и Юсуповых XVIII—XIX вв. Крупнейшие заводы и фабрики долго были в тех же руках, что и крупнейшие земельные имения—в „тех же“ социально говоря, т. е. не в руках тех же именно лиц, но той же общественной группы. Когда появилась чисто буржуазная текстильная промышленность, „знать“ оказалась и в ней заинтересованной: вспомнить хотя бы тех фабрикантов шуйско-ивановского

района, которые имели свои дома, своих лошадей, свою крепостную прислугу—и сами продолжали оставаться крепостными гр. Шереметьева. Когда начали строиться железные дороги, в их советах нашла себе приют чуть не вся „Бархатная книга". С Петра и до Александра II комбинация существенно не менялась: и тут нет ничего специфически русского, нужно прибавить; на всем Западе дело обстояло не иначе; колониальная политика Англии XVIII в.—закрытая книга для того, кто забудет о связях крупного землевладения и торгового капитала; и до сих пор в числе главных акционеров фирмы Крупп можно найти виднейшие дворянские имена Пруссии с фамилией Гогенцоллернов во главе. Во Франции, несмотря на ее республиканско-демократическую этикетку, то же самое; один из крупнейших синдикатов страны, об'единяющий производство химического удобрения (нет надобности пояснять, какое значение имеет это последнее в земледельческой стране, какова Франция), находится в руках герцогов и графов бонапартистского и орлеанистского лагерей. Целый ряд явлений политической области, для которых либеральная историография не находит другого об'яснения, как „странности", „пережитки прошлого", „местная оригинальность"— и тому подобные, ничего не говорящие, определения—на самом деле происходят из этого источника: такова английская палата лордов, или тот факт, что во французской республике армия и дипломатия и теперь, через сорок лет после официального упразднения монархии, через десять после отделения церкви от государства, продолжают оставаться к услугам отпрысков титулованных фамилий, вышедших из иезуитских школ. Из этого, конечно, не следует, что в Англии или во Франции мы имеем „дворянское" правительство: правительство там буржуазное, но верхушки феодального общества „взросли" в буржуазный строй—сильные прежде только своей землей, они сильны теперь, помимо земли, еще своими акциями и облигациями. Мы уже видели, что крупнейшее землевладение в России было, экономически, ближе к буржуазному типу, чем среднее. Совершенно естественно, что и его политика шла гораздо больше на пользу развивавшемуся капитализму, нежели среднему дворянству (×). Мы видели, какое громадное значение для помещиков, при переходе от крепостного хозяйства к буржуазному, имел оборотный капитал: около этой оси вертятся все проекты выкупной операции. „Дворянское" в тесном смысле этого слова правительство все средства казны, вероятно, употребило бы на это дело: на самом деле, тогдашнее правительство, удовлетворив дворян на выкупе крестьянских земель (далеко не в меру дворянских аппетитов—вспомните отзывы о выкупной операции тверичей), закрыло перед ними все другие источники получения капитала. В до-реформенное время такими источниками являлись сохранные казны при московском и петербургском воспитательных домах и приказы общественного призрения. „Благотворительные" капиталы, которыми располагали эти учреждения, разрешалось отдавать под залог помещичьих имений: в результате учреждения, по идее филантропические, превратились в крупнейшие банки крепостной России. (×) Старые кредитные учреждения были ликвидированы, и на место их не создано ничего. Одного этого факта было бы достаточно, чтобы снять с прави-

тельства обвинение в служении исключительно дворянским интересам. Чьим интересам оно служило в данном случае, никаких сомнений возбудить не может: выброшенные на рынок, при ликвидации старых кредитных учреждений, капиталы—до 600 милл. р.—пошли на постройку железных дорог: потерями помещика воспользовался торговый капитал. Крупнейшее землевладение воспользовалось также и поскольку его хозяйство было наиболее буржуазным, т. е. наиболее зависело от рынка, и поскольку оно являлось получателем ренты со своих бесчисленных арендаторов-крестьян: ибо наша железно-дорожная сеть, несомненно, облегчала крестьянину конкуренцию на рынке со средним и мелким помещиком. Крупный же помещик выигрывал в обоих случаях—и если его хозяйство было „прогрессивным", и если оно было „отсталым".

Это пожертвование интересами дворянской массы—дворянского плебса, если позволительно употребить такое внешне противоречивое выражение—интересам крупного капитала повторялось систематически, когда данные интересы сталкивались. Земские учреждения сразу оказались в руках среднего дворянства; нет надобности говорить—факт слишком общеизвестен—что денежные средства эти учреждения добывали не из дворянского хозяйства. Кроме дворянских земель было два возможных источника—земли крестьянские, надельные и промышленные предприятия: последний источник, по мере развития народного хозяйства, обещал становиться все более обильным, и земства 60-х гг. очень на него рассчитывали. Расчеты были быстро подрезаны законом 1866 г., поставившим земское обложение промышленных предприятий в чрезвычайно тесные рамки (не выше 25% казенного налога) (×). Характерно, что с этого времени начинает расти земское обложение крестьянских надельных земель (еще в 1868 г. они платили 6,8 коп. с десятины, а дворянские 6,4 коп.; уже в 1871 г. первая цифра поднялась до 10,6 коп., вторая опустилась до 5,3): оставалось, ведь, выбирать между ними—и дворянскими землями; выбор был ясен. Не менее характерно и то, что закон 1866 г. был издан по ходатайству, главным образом, крупных винокуренных заводчиков: а среди них дворян, по званию, было едва ли не больше, чем купцов. Буржуазия опять экономически была солидарна с крупным землевладением. В дальнейшем эта солидарность нашла себе наиболее резкое выражение в таможенной политике. Среднее дворянство в России искони было „фритредерским"—искони стояло за низкие таможенные пошлины, т. е. за низкие цены мануфактурных товаров внутри России. Льготные таможенные тарифы 1857 и 1868 г. г. были уступкою столько же сложившейся международной коньюнктуре, сколько дворянскому общественному мнению (первый из них совпал, по времени, с призывом дворянства к участию в крестьянской реформе). Но с 70-х годов таможенное обложение начало вновь подниматься—и достигло, понемногу, пределов, не слыханных со времен Николая I и протекционных тарифов Канкрина. Притом, в то время, как последние защищали, главным образом, текстильную промышленность, тариф 70-х—90 г. г. взял под свою охрану металлургию: пуд железа оплачивался в 60-х г. г. 35-40 копейками, в 90-х—74; пошлина за пуд чугуна с 6 коп. поднялась до 45. Тариф бил по одному из самых чувствительных мест про-

грессивного сельского хозяйства—стеснял применение машин. На всероссийском с'езде сельских хозяев в 1895 г. тарифная политика правительства была об'явлена ни более, ни менее, как главной причиной сельско-хозяйственного кризиса, в эти годы всего более угнетавшего помещиков (×). Если об'ективно в такой оценке положения было грубое преувеличение — действительной причиной кризиса было падение цен на мировом рынке—то суб'ективно она совершенно точно отражала настроения помещиков. „Основным требованием возрождавшейся в 90-х гг. помещичьей оппозиции явилось требование изменения фискально-таможенной политики в интересах сельского хозяйства"—так резюмирует это настроение автор статьи, откуда мы заимствовали приведенную выше цитату.

Такое соотношение политических сил об'ясняет нам многое, на первый взгляд загадочное, в русской истории последних десятилетий истекшего века. Давно уже обратило на себя внимание, что буржуазия в России не выполняет функции, отводившейся на ее долю классическим марксизмом. В эволюционной схеме этого последнего буржуазия играет роль трусливого либерала, которого нужно подталкивать, за которым нужно зорко следить, чтобы не изменил—но с которым, до конституции, можно все же жить, итти рука об руку: борьба с ним начнется только после завоевания политической свободы. В России эта роль досталась именно на долю среднего землевладения; среди земцев всегда можно было найти—до 1905 г.—некоторые симпатии к конституции, не очень яркие, не слишком распространенные,—но несомненные. Что касается нашего крупного предпринимателя, то он, явным образом, был к политической свободе совершенно равнодушен до самого последнего времени*). Один из крупнейших выразителей мнений этой группы, Крестовников, говорил в 1882 г.—как раз в пору наибольшей живости земских конституционных чаяний: „Выборные учреждения для России вообще новы и вряд ли могут считаться хорошо привившимися, а потому полагаю, что польза от сих учреждений сомнительна по отношению к интересам торговли и промышленности". В известном марксистском документе конца 90-х годов это явление отмечено ярко и выразительно, но об'яснено исключительно моральными причинами: именно, что буржуазия, чем дальше на восток Европы, тем становится трусливее. Об'яснение, нужно сказать, более хлесткое, нежели действительно материалистическое. Для факта не трудно найти „экономический базис". К концу XX столетия в русскую промышленность было вложено:

		% %
капиталов русского происхождения	447,2 м. р.	21,1
„ иностранного „	762,4 м. р.	35,9
полученных от продажи русских фондов	915,6 м. р.	43,1

Последняя категория представляет собою, в сущности, тоже капиталы, полученные из за-границы, благодаря переводу туда, с конца 80-х г.г., большей части русского государственного долга. Итак, только одна пятая капиталов, которыми оперировала русская промышленность пятнадцать лет назад, была результатом туземного

*) Меткой перелома здесь является образование прогрессивной партии в 1912 г.

накопления: четыре пятых были получены от иностранцев. Отсюда следовало во, первых, что русское предпринимательство должно было быть холоднее к развитию производительных сил внутри страны, нежели следовало бы ожидать при более нормальных условиях. Монополизировав внутренний рынок, благодаря высоким таможенным пошлинам, обеспеченное притоком капиталов извне, оно могло хлопотать об одном—о завоевании рынков внешних, о расширении той территории, на которой оно было монополистом; но и тут, как в деле добывания денег из за-границы, оно зависело от „правительства", т. е. от крупного землевладения. За-граница, пока что, верила этому последнему; без государственной гарантии иностранный капитал неохотно шел в „дикую страну"; и в руках того же правительства были дипломатические и военные средства расширения экономической территории. Но не следует думать, что „купечество" по отношению к управлявшей страною „знати" играло роль послушного и почтительного клиента,—как тоже нередко себе представляют. То, чего только домогалось дворянство,—совещательного голоса в управлении—торгово-промышленный капитал давно имел. Ни один закон, задевавший интересы русских предпринимателей, шло ли дело о таможенном или о фабричном законодательстве, не проходил без того, чтобы они не были предварительно опрошены — не говоря уже о том, что им же принадлежала и инициатива. В то время, как земцы были лишены всякой центральной организации и могли устраивать свои с'езды лишь частным образом, почти конспиративно, с'езды фабрикантов и заводчиков были официально признанным и регулярно действовавшим учреждением, влиятельность которого можно без труда видеть на множестве примеров. Берем лишь два—три. Пошлины на каменный уголь (с 2 коп. золотом за пуд в 1884 г.—до 4 коп. в 1892-м) были прямым ответом на ходатайства с'ездов южных горнопромышленников—самостоятельность министерства финансов выразилась только в том, что оно позволяло себе „торговаться": копевладельцы просили $3^1/_2$ копейки—им давали 3; просили 6, получали 4. Но когда речь заходила о металлургии, даже и торг становился весьма робким: пошлина в 15 коп. золотом с пуда аккуратно отвечала заявлениям 5-го—8-го с'ездов, при чем последний заявил свое „прошение" в 1883 году, а уже в 1884-м оно было полностью удовлетворено. Немедленно же следующий с'езд пожелал иметь 25 копеек: спустя три года, министерство финансов уступило и в этом пункте—в 1887 г. горно-промышленники получили свой четвертак. Представитель министерства строго держался пределов истины, когда он заявлял на торгово-промышленном с'езде 1896 г.: „Министерство финансов признало нужным ознакомиться со взглядами представителей торгово-промышленного класса по вопросам наиболее их интересующим. Так поступало оно и прежде. Свыше 40-летняя деятельность моя по министерству финансов дает мне право и основание засвидетельствовать, что министерство всегда чутко прислушивалось к голосу промышленников и купечества".

Как видим, у анти-либералов крупного капитала была еще и одна, добавочная, причина: раз „совещательный голос" был купеческой привилегией, что за смысл был делиться ею с классом, эконо-

мические интересы которого были противоположны интересам „промышленников и купечества“? И в то же время мы видим, почему помещики так настойчиво добивались этого „совещательного голоса“: без него их позиция была уже слишком невыгодной. Вот в чем причина устойчивости их политической позиции с 60-х по 90-е годы; и не добившись тут своего, дворянство, очевидно, успокоиться не могло. Но больше этого, экономически, ему не было необходимости добиваться. За пределы совещательного представительства, к настоящей конституции, помещичья оппозиция выдвигается лишь толкаемая снизу более демократическими течениями. В начале 60-х годов эту последнюю роль играли крестьянские волнения, угрожавшие революцией: конституция казалась противоядием этой последней. Пятнадцать, двадцать лет спустя то же значение приобрело интеллигентско-демократическое движение.

XIII. Социальные условия, породившие народническую идеологию.

(Из статьи М. Ольминского: „Заря революционного романтизма“, в его сб. статей: „Из прошлого“. Москва,—1919 г. Стр. 14—59).

Развитие производительных сил привело Россию XIX века к небывалому росту товарного хозяйства. Хлеб уже имеет все свойства товара,—констатировал Заблоцкий-Десятовский во второй половине 40-х годов. Прежний естественный характер сельских отношений,—писал Кирееский в 1845 году,—заменился характером фабричной напряженности. „Проникая все глубже и глубже в русскую жизнь, товар разрушал хозяйственную обособленность натурального строя, делал уже невозможным существование самопотребительного хозяйства, невольно связывая обособленные хозяйства воедино, крепкими узами обмена“. (Р. Гвоздев). Товарное хозяйство, бравшее перевес над хозяйством натуральным, обрекало на гибель социальные организации умиравшей хозяйственной эпохи. Правящий класс,—помещики-чиновники и помещики-офицеры,—на вид еще господствовал безраздельно и казался единым классом. Он не имел против себя сколько-нибудь планомерной, сколько-нибудь сознательной и организованной политической оппозиции. Погибель таилась в груди самого правящего класса. Товар проник в его сердце, заразил дворянскую кровь бациллой денежного обмена,—и правящий класс крепостнической эпохи погиб, как класс владельцев крепостных душ.

В момент ликвидации старого порядка по внешности все обстояло благополучно. Помещичье-чиновничий класс,—не класс чиновников и помещиков, а класс помещиков-чиновников,—оставался правящим классом и сам рыл себе могилу, как классу. Разлагавшееся дворянство превращалось в класс новой формации. Операция не из легких: приходилось выбрасывать из себя вон неприспособившиеся элементы, — родственные по прошлому, близкие сердцу,—и включать в свой состав, как класса (не как сословия,—сословность сохранялась больше для декорации), элементы, чуждые в прошлом, недавно еще презираемые, плебейские. Государство владельцев крепостных душ уступало место государству собственников эпохи товарно-буржуазного хозяйства.

Задолго до реформы дворянство уже не было единым целым, и правительство не было правительством всего дворянства. Отсюда слабосилие власти по отношению к отдельным частям дворянства,—слабосилие, бросавшееся в глаза уже современникам. Наблюдательный А. В. Никитенко в 1843 году писал в своем дневнике; „Важную роль в русской жизни играют воровство и так называемые злоупотребления: это наша оппозиция наш протест против неограниченного своевластия. Власть думает, что для нее нет невозможного, что ее

воля нигде не встречает сопротивления; между тем, ни одно ее предписание не исполняется так, как она хочет".

„Наша оппозиция" проявляла себя в воровстве. На смену людей старого порядка шел человек будущего, герой пореформенной эпохи, „негодяй", будущий „властитель дум" своего времени: представитель господствующего класса эпохи так называемого „первоначального накопления" поднимал голову. Он еще прятался, был раболепен,— он временно приспособлялся, чтобы с тем большей гордостью исполнять впоследствии роль победителя. Он уже ковал под спудом историю в то время, как дворянские идеалисты-литераторы только воображали себя кузнецами будущего.

В 50-х годах наступает перелом: власть попадает в руки людей, решивших порвать с крепостничеством. И опять та же картина слабосилия власти, — крепостничество еще сильно. В декабре 1858 г. тот же Никитенко пишет: „Говорят, государь в совете министров заявил свое неудовольствие за сопротивление, которое он встретил в комитете. Он прямо указал на М. Н. Муравьева и В. П. Буткова, которые во время своих поездок летом по России распускали слух, что проект освобождения существует только для вида: поговорят да тем и кончится. Но странное же дело! Государь видит в некоторых лицах прямое противодействие своим великодушным намерениям, а между тем лица эти крепко сидят на своих местах"!

В конце-концов, крепостники отступили, чтобы вынырнуть в качестве членов нового класса: „наша оппозиция"—это были прежде всего они. Им открывались перспективы... Деятели реформ были неприятны им лишь постольку, поскольку они могли увлекаться соображениями идеалистического характера, влекущими за собой отрицание специфических приемов „нашей оппозиции".

Ликвидаторами надстроек натурального хозяйства были члены центральной (петербургской) помещичьей организации. Владельцы преимущественно имений оброчных, живущие вдали от поместий, они были больше других помещиков заинтересованы в торжестве новых общественно-хозяйственных отношений. Отдаленность столицы от местностей барщинного хозяйства облегчила и ускорила ликвидацию. Принадлежность инициаторов реформы к центральной организации класса (центральной государственной организации) ставила их личные интересы в наиболее тесную связь с интересами государственной казны. Реформаторы, столичные душевладельцы-бюрократы, были сами распорядителями казенных сумм,—им было естественнее всего выступить в роли поборников интереса „государственного" против притязаний губернских душевладельцев-бюрократов и против вожделений дворянских отбросов, негодных даже для службы в тогдашних примитивных сословных и казенных местных учреждениях.

Деятели реформ не были борцами за освобождение трудящихся классов от всякого угнетения и всякой эксплоатации. Толкаемые вперед стихийной силой развития товарного хозяйства, они боролись против крепостничества ради собственных интересов, боролись не против эксплоатации и господства вообще, а только за перемену формы эксплоатации и господства. Сторонники денежной формы зависимости, заступавшей место зависимости натуральной, они пере-

шли в либеральную историю с венком, на котором значится: „деятели освободительного движения“. Идеологические (поскольку в их деятельности был элемент идеологический) провозвестники капиталистической эксплоатации, они фактически открывали двери прежде всего „нашей оппозиции“, хищнику-эксплоататору эпохи первоначального накопления. Крепостники быстро сообразили это: они поняли выгоды своего превращения и легко примирились с „великими реформами“.

„Освободители были сторонниками общественного строя, соответствующего новым требованиям эксплоатации и господства. Они были деятелями „прогресса“, как тогда выражались. И обратно: тогдашние идеалистически - настроенные прогрессисты отдавали свои симпатии правительству. „Вся лучшая, мыслящая часть русского народа решительно склонилась на сторону передового правительства“, — писал Н. А. Серно-Соловьевич, сам „склонявшийся“, а потом осужденный и погибший в Сибири за то, что готовность склоняться не подавила в нем желания остаться „лучшей, мыслящей частью“. Все либералы и демократического и социалистических оттенков питали вначале полнейшее доверие к номинальным инициаторам освобождения. Можно сказать, что у правительства в деле крестьянской реформы не было более верных и более преданных слуг в то время, нежели декабристы и петрашевцы.

Смысл „великих реформ“ заключался в политической реорганизации экономически-господствующего класса применительно к требованиям товарного хозяйства. Дворянский герб не повышает стоимости товара; биржа не котирует красных околышей. Привилигированная собственность должна была раствориться в просто собственности.

Пала привилегия владения душами,—должны были итти на слом и перегородки в области суда, налогов местного самоуправления. „До сих пор,—писал М. Н. Катков, приветствуя земские учреждения,—мы имели отдельные гражданские состояния, чуждые друг другу, раздроблявшие народ или скрывавшие его единство и препятствовавшие течению его жизни. Теперь положено начало живой, цельной организации земства, основанцой на всеобщем начале собственности“. Другими словами: шире дорогу „нашей оппозиции“! Не примкнувшие своевременно к этой оппозиции, растерявшие реальную собственность владельцы титулов и красных околышей исключались из состава земства, из состава правящего класса; вместе с тем раскрывались об‘ятия правящего класса непривилегированному собственнику-ростовщику, кабатчику, вчерашнему камердинеру, удачливой проститутке. Преобразованные крепостники пополняли свой стан; идеалисты-прогрессисты приветствовали зарю равноправия всех эксплоататоров.

Товар часто меняет владельца: ему понадобился суд скорый. Товар не знает родословного дерева, — ему дали суд равный для всех. Товар сталкивает между собою собственников по тысяче направлений,—он потребовал суда „правого“.

Равный для всех суд предполагается слепым к сословным и классовым преимуществам,—товар предпочитает суд милостивый. Все это было опять таки очень прогрессивно... Стихийный рост товарного хозяйства ломал состав политических организаций. Все начальники

отдельных правительственных частей,—говорилось в рескрипте 13 мая 1866 года на имя кн. Гагарина, — должны иметь в виду содействие „сил здравых, охранительных и добронадежных". Для политической организации иметь в виду содействие каких-либо социальных групп означает, если исключить временные союзы и демагогию, оказывать содействие этим группам и быть, по своему составу, организацией этих групп. В упомянутом рескрипте резюмирующем эпоху реформ, группы указаны вполне определенно. Это—„сословия, которым дороги права собственности, права обеспеченного и огражденного законом землевладения, права общественные, на законе основанные и законом определенные", т. е. опять права собственников. На содействие их рассчитывали составители рескрипта; к содействию им же обязываются все начальники: „надлежит по всем частям управления оказывать полное внимание охранению прав собственности", пресекать возбуждение вражды „против дворянства и вообще против землевладельцев".

Наконец, теми же социальными элементами должен был определяться самый состав государственной организации: „надлежит пользоваться этими силами и сохранять в виду их важные свойства при назначении должностных лиц по всем отраслям государственного управления".

Рескрипт 1866 года правильно оценивал создавшееся соотношение социальных сил и правильно учитывал его отражение в политической области (X).

Веления экономического развития привели к замене привилегированной собственности собственностью бессословной. Но словом „бессословность" не все сказано. Бессословная собственность может иметь различный характер в зависимости от роли в хозяйственной жизни страны. Собственность - капиталистическая — далеко не единственная категория бессословной собственности. В истории между падением сословной собственности (крепостного права) и превращением большинства собственников капиталистов лежал более или менее длительный период отделения производителей от средств производства.

Крестьяне были освобождены с землей. Оставляя в стороне такой мотив оставления части земли в руках крестьян, как боязнь новой пугачевщины, коснусь лишь целей реформаторов: этими целями определился если не самый факт оставления земли за крестьянами, то, по крайней мере, размер надела.

Земля, по мысли законодателя, оставлялась крестьянину в той мере, в какой она ему была необходима для обеспечения быта и для выполнения обязанностей перед правительством и помещиком. Другими словами: крестьянин был нужен господствующему классу постольку, поскольку он мог выполнять повинности; земля оставлялась крестьянину в той мере, в какой он нуждался в ней, чтобы оставаться исправным плательщиком. Предполагалось, следовательно, что и отдельные помещики, и организация помещиков (государство) будут строить свое благополучие на труде мелкого хозяина-собственника. Этот план являлся отражением крепостнических воззрений и навыков господствующего класса. Он был обречен на неудачу, так

как находился в противоречии с новыми хозяйственными потребностями и с интересами самого обновленного господствующего класса.

Хозяйственным развитием определялись отделение работника от средств производства и концентрация производства в руках более крупных собственников, а обеспеченный в своем быте и выполнении повинностей крестьянин не идет в наемники капитала. Новому собственнику земли и денег нужен был не „обеспеченный“ землею крестьянин, а как раз напротив—ничем необеспеченный пролетарий. Государство собственников должно было, в интересах своего класса, прежде всего отделить работника от средств производства. Началась вакханалия нового, ничем не сдерживаемого, торжествующего хищничества. Тон эпохи дает так наз. „первоначальное накопление“.

На частном примере можно достаточно уяснить себе отличие новой эпохи крепостного хозяйства. Возьмем политику господствующего класса относительно обширных площадей государственной и вообще не занятой населением земли. До реформы и после реформы тут—резкая разница.

Крепостническому государству нужен был для выполнения повинностей обеспеченный в быте хозяин,—государственный крестьянин. И к обеспечению его быта прилагались усилия. Если вследствие прироста населения надел падал ниже нормы в 5 десятин на душу, а поблизости не было свободной казенной земли, то часть крестьян назначалась к переселению. Переселенцы освобождались на шесть лет от воинской повинности, на 4 года от всяких податей, на следующие 4 года от половины податей; по дороге для них заготовлялось казенное продовольствие, на месте нового поселения—хлеб, сено, скот, орудия. За время 1831—1866 гг. таким образом были переселены 320.000 душ государственных крестьян.

После реформы картина меняется. По старой памяти кое-где еще допускались переселения государственных крестьян на свободные казенные земли, но как неизбежное зло, против которого нужно было бороться. В 1876—81 годах министру внутренних дел было подано около тысячи прошений о разрешении переселиться, и на все прошения последовал отказ, мотивированный „отсутствием законных оснований“. А в это время оказывалось полное „присутствие законных оснований“, для самого бесшабашного расхищения казенных и крестьянских земель членами господствующего класса. Разоблачение этих хищений в печати вызвало против авторов обвинение в потрясении основ, нигилизме, социализме, в возбуждении ненависти и презрения между сословиями. Тем не менее фактов было опубликовано в свое время много.

„Законные основания“ земельного хищничества были найдены теми, кому они были нужны. Это были: продажа и обмен казенных земель, подложные приговоры об отчуждении земель общественных и административные репрессии против крестьян, обращавшихся в суд за восстановлением своих прав. „Продавались“ за гроши участки казенной земли наиболее доходные, иногда уже занятые переселенцами или находившиеся в аренде у крестьян. О характере „продаж“ можно судить по ценам. Например, в Уфимской губ. участок в 1017 десятин „покупается“ у казны за 4804 р. и перепродается крестья-

нам за 25.000 р.; соответственная цена другого участка 506 р. и 15.000 р. и т. д. „Баззастенчивость при распределении участков при продаже их в частные руки не имела границ. Отец получает 6.000 дес. земли, сыновья и дочери — по 1 — 2 тысяче; сын женится, — получают родственники жены; дочь выходит замуж, — ей уступается участок, как приданое, продается участок родственникам мужа“ и т. д. В одной Самарской губернии было таким образом расхищено 700.000 дес.; в Черноморском округе — более 100.000 дес. Общее же количество расхищенной с 1861 по 1881 год казенной, крестьянской и инородческой земли считается многими миллиардами десятин (X).

Пореформенное государство, концентрирующее общую тенденцию своего класса, заботилось уже не столько о сохранении хозяйства мелкого производителя, сколько об отделении работника от средств производства: оно выполняло задачу эпохи первоначального накопления и не в одной области земельной политики. Еще в большей мере—в области податной: здесь политическая организация (политически-организованное общество первоначального накопления) через свои бесчисленные органы занималось перекачиванием мужицких доходов в карманы своих сочленов: администраторов, предпринимателей, банкиров. Она же охраняла и поощряла функционирование ростовщического и посреднического капитала. Само собою разумеется, что хозяйственный характер эпохи определил ее социальные и политические формы, определил и общественную идеологию.

Таковы внешние условия, в которых зародилась и развивалась в пореформенную эпоху демократическая мысль, отражавшая „интересы народа“, под которым разумелся весь слой населения, не приобщившийся к торжествующим верхам: сюда, в понятие „народа“, входили и обезземеленные пролетарии, и крестьянин, стоявший на пути к обнищанию и обезземелению, и так называемый „разночинец“— предшественник будущей „интеллигенции“.

Ознакомимся с некоторыми характерными чертами тогдашней демократической мысли.

При ознакомлении с политическими документами начала 60-х гг. поражает уверенность авторов в близости революции в России. Даже политичный А. Герцен высказывал в 1862 году мысль, что приближается что-то великое, чем воздух полон, чем земля колеблется, но чего еще нет.

М. Бакунин не скрывал от себя, что „теперь народ за царя и против дворянства, и против чиновничества, и против всего, что носит немецкое платье“ (X).

„Русской земле грозит волнение, электричество реет в воздухе, гроза собирается со всех сторон. У вас в руках снаряд громоотвода“,— писал имп. Александру I Т. А. Мартьянов (X).

Не забудем, что Россия действительно переживала момент ломки старых экономических основ и приспособляла форму политической организации экономически господствующего класса к требованиям обновленной хозяйственной жизни. Ломка не могла обойтись без борьбы, без того, что задевались экономические интересы массы лиц. Но борьба шла в первую очередь внутри правящего класса, задевались интересы этого класса; и как только было достигнуто согла-

шение сторон в главном,—в вопросе о личной зависимости крестьян, об отрезках и выкупе, — правящий класс был уже гарантирован от междоусобной войны. Осталась борьба по второстепенным вопросам и на почве проведения в жизнь принятых принципов соглашения.

В государстве с цензовым представительством и ответственным министерством период после 1861 года характеризовался бы дробной группировкой парламентских фракций, их неустойчивостью и частой сменой министерства. Правительство того или иного временного большинства имело бы врагов и друзей и так называемое болото. Но в России не было ответственного министерства, не могло быть смены лиц в составе высшей власти: несменяемый глава правительства должен был принимать на себя нападки со всех сторон. Получалось впечатление всеобщего недовольства.

Недовольства против „деспотизма". Когда правительство решительно стало на путь реформ, и вся „мыслящая часть" общества „склонилась" на его сторону, против деспотизма и „бюрократии" подняли вопль сторонники натуральных форм зависимости (крепостники) (X). Когда же было достигнуто соглашение между борющимися частями помещичьего класса, и правительственная политика получила соответственный новый курс, — этот новый курс стал рассматриваться „мыслящей частью" не как результат партийной борьбы, отражающей борьбу классовых интересов, а как результат единоличной воли царя. Тот же Герцен переходит от защиты к нападению, следующим образом формулируя причины своего недовольствия:

„Нельзя желать гласности и усиливать цензуру. Нельзя желать просвещения и гнать студентов от университетских ворот. Нельзя стать со стороны народа и называться первым дворянином. Нельзя желать гласного суда и держать гайдука юстиции Панина. Нельзя желать законности и иметь в своей собственной канцелярии целое отделение шпионов". Одним словом, — можем мы резюмировать сущность речи Герцена, — нельзя желать и не исполнить своего желания. Оставалось бы спросить: возможно ли исполнение желания в тех случаях, когда на пути к исполнению лежит встреча с явлениями, аналогичными по своим последствиям, как выражался Герцен, „тифусу или холере". Если А. Герцен, вопреки очевидности, отвечает на этот вопрос утвердительно, то источника этой ошибки следует искать в тех примитивных взглядах на сущность государства, которыми характеризуется эпоха 60 х годов.

Мы слышали признание Бакунина: среди крестьянства того времени не было мысли о политическом протесте. Как раз напротив. И революционное движение эпохи началось не из среды угнетенной массы, а со стороны дворянской молодежи. С падением крепостного права эта молодежь увидела себя вынужденной строить жизнь по новому, искать новых путей приложения своих сил. Как отчасти и сами деятели „великих реформ", молодежь рассчитывала на скорое,—без задержек и помехи, — введение в нашу жизнь институтов европейского буржуазного строя.

Она охотно рвала с привилегиями своего сословия, так как эти привилегии уже не представляли экономической ценности. Тем

более ей приходилось дорожить институтами буржуазного строя Обратите внимание на пункты недовольства, высказанные А. Герценом: они заключают в себе требования свободной печати, гласного суда, бессословности государственной власти, проведения в жизнь принципа законности. Все это, как и университетская наука, — необходимые условия капиталистического производства.

Вокруг себя молодежь непрерывно слышала либеральные разговоры сторонников денежной формы зависимости (вместо натуральной — крепостничества) и либеральное сквернословие „нашей оппозиции" в смысле А. В. Никитенко. Это сквернословие также сыграло свою роль, претворяясь в головах молодежи, получая более чистое, идейное содержание.

Натуральная форма зависимости предполагает меньшую денежную силу экономически-господствующего класса. Экономическая зависимость в каждом частном случае поддерживается не столько рублем, сколько дубьем. Она предполагает организацию систематического грубого насилия над личностью крепостного крестьянина и вместе с тем — напряженную мобилизацию сил господствующего класса по военному образцу, на иерархическом начале. Насилие и произвол над низшими покупаются ценою раболепия перед высшими.

Сознание возможности иных, кроме дубья, форм подчинения трудящейся массы пробуждает в самом владельце крепостных душ настроение, высказанное Чацким: „служить бы рад, прислуживаться тошно". Разрушая натуральное хозяйство, подкапываясь под крепостное право, товар пробуждает сознание своей личности у дворянина; это сознание усиливалось во много раз с открытым провозглашением ликвидации старого порядка, — и дворянская молодежь пропитывалась отрицательным отношением к иерархической организации. Лозунг „долой бюрократию", пущенный крепостниками в борьбе против центральной организации дворянства, приступившей к ликвидации крепостной зависимости, был подхвачен молодежью, и вообще идеологами денежного хозяйства, при чем старым словам был придан новый смысл.

По мере того, как вместо оппозиции (реформаторов) завладевала политической властью „наша оппозиция", росло разочарование молодежи, усиливалось ее недовольство. Но первоначально тщетно стали бы вы искать у нее принципиально отрицательного отношения к дворянству и к высшей власти.

Где у нас люди, способные пред'явить свои требования? — спрашивают составители воззвания „К молодому поколению" и прежде всего обращают взор именно к дворянству. Но оказывается, что на дворян нельзя надеяться в деле разрушения иерархической организации: „в дворянство мы не веруем, оно показало уже свое бессилие, непонимание своих выгод и неумение пользоваться обстоятельствами. Когда государь сказал им: я хочу, чтобы вы отказались от своих прав на крестьян, — им следовало ответить: государь, мы согласны, но и вы должны тоже отказаться от безусловной власти; вы ограничиваете нас, мы хотим ограничить вас. Это было бы последовательно, и в руках дворянства была бы конституция. Дворянство

струсило, в нем недостало единодушия, и теперь очередь не за ним". Революционная молодежь, таким образом, отрекалась от дворянства не за то, что оно тормозило и урезывало реформу девятнадцатого февраля, а за то, что оно будто бы не понимало своих выгод, за то, что ради своих выгод не тормозило реформы требованием конституции (X).

Она хотела бы, может быть, остановиться в этом разрыве на слиянии с буржуазным обществом в европейском смысле слова, если бы это общество было на лицо и представляло собою силу. Автор воззвания „К молодому поколению" очень горячо писал в защиту „аристократии мысли", — „литераторов, поэтов, ученых, художников, фабрикантов" — тех людей, „в произведениях которых высказывается гений и все способности народа, которые составляют гордость и славу наций". К несчастью, такого общества, притом сколько-нибудь заметного по своей силе, не существовало. Возражая „Великоруссу", один из авторов воззвания „К молодому поколению", указывает, что русское „общество" — это помещики-чиновники, у которых одни начала, одни стремления с правительством, общность интересов; между ними не может быть серьезной вражды,—возможна только размолвка о том, как поровнее делиться правом теснить народ. „К тому же это общество точно так же дрябло и бессильно, как правительство, которому оно постоянно служило дворней".

К кому же оставалось обратиться? К пролетариату? Но ведь еще шел спор не только о существовании, но даже о возможности у нас пролетариата. Возможность эта если и представлялась в будущем, то представлялась как зло: „Освобождение крестьян есть первый шаг или к великому будущему России, или к ее несчастью: к благосостоянию политическому и экономическому, или к экономическому и политическому пролетариату. От нас самих зависит избрать путь к тому или другому". Само собою разумелось, что при таком свободном выборе не могло быть и речи о предпочтении для России ее несчастья, — „экономического и политического пролетариата".

Для последовательно кающегося дворянина оставался один исход,— стать на точку зрения интересов мелкого производителя (крестьянина), слиться идеологически с крестьянством, проникнуться крестьянской политической идеологией, лишь несколько подновленной и очищенной от слишком явных заблуждений, — продуктов простого незнания фактов. Из числа привилегированной молодежи, пошедшей по этому пути, вышли впоследствии самоотверженные энтузиасты; они давали тон движению; к ним примкнул поднимавший голову разночинец. Именно сознание своего происхождения из высшего класса заставляло наших революционеров, — даже много времени спустя, — толковать о своем долге народу (X).

Давно замечено, что политическая идеология, как и всякая другая идеология, строится по образу и подобию экономической физиономии общества. Члены общества мелких, изолированных в своем личном хозяйстве, производителей обыкновенно мнят себя независимыми и самостоятельными в своем поведении: от их сво-

бодной воли зависит будто бы дать хозяйству то или иное направление: от их личных качеств, — способностей, трудолюбия, — зависит будто бы всецело успех или неуспех хозяйства. Мелкий хозяин привыкает ставить личные качества, — личность вообще, — во главу угла своих суждений о проявлениях человеческой деятельности.

Распространение этих представлений на более широкий круг явлений дает основу известным теоретическим заключениям о главенствующей роли личности в истории, в политике и т. д., вплоть до миротворения. Мир ставится, таким образом, на собственную голову, продукт возводится в ранг первопричины. В истории источником явлений считаются „великие люди", на самом деле только выдвинутые на поверхность волною событий. В политике ход событий считается выясненным постольку, поскольку выяснены личный характер и личные мотивы наиболее заметных участников событий. Идеал общественной организации рисуется по типу идеальной организации частного хозяйства, с энергичным и способным хозяином во главе. Мысль о благе потомка-наследника поддерживает энергию и бережливость частного хозяина; представление об этой положительной стороне наследования частной собственности переносится и в область преемства общественных должностей.

В России накануне реформы мы встречаем изолированного производителя уже как второстепенное явление. Деревенская Русь сложилась в сельские общества. Связь между владельцами деревень, вызываемая потребностями обмена и охраны господства, уже в VIII в. окрепла настолько, что господствующий класс стал сознавать себя единым целым, закрепил это сознание сословным законодательством и уже приходил к новой политической идеологии, — к представлению о государственной организации, как об организации класса. Мысль о цензовой конституции заняла прочное место в умах правящего класса.

Крестьянство, сорганизованное в сельские общества, еще не заглядывало, в смысле политической идеологии, за деревенскую околицу; оно еще не вышло из примитивного представления о государстве, как о расширенном частном хозяйстве. Сельское общество (или община) не вмешивалось в дела государственного хозяйства; его общественные интересы ограничивались пределами деревенского „мира". Такая община чувствует себя тем лучше, чем меньше имеет она дела с внешним миром. Между общинами нет органической связи, и государственное целое основывается только на связи представителей господствующего класса. Этот класс, как единое, организованное целое, противостоит разрозненным сельским общинам. Отсюда — давно замеченная неограниченная власть господствующего класса над совокупностью изолированных общин. Сельское население лишается политических и гражданских прав, — оно становится об'ектом частной собственности.

С дальнейшим под'емом производительных сил, с развитием денежного и товарного хозяйства растет экономическая связь между сельскими обществами. Вместе с тем начинается разложение деревенского „мира"; из него выходит контингент более зажиточных

хозяев, торговцев, ростовщиков. В качестве крещеной собственности они еще по возможности прячут в кубышку свои капиталы, чтобы развернуться во всю после ликвидации крепостного права. Тогда, в качестве собственников, они входят в состав правящего класса, в то время как их однодеревенцы экономически падают со ступеньки на ступеньку, деморализуются и дезорганизуются. Только в далеком будущем предстоит для деревенской бедноты получить из об'ективного хода хозяйственной жизни основу и стимул для организованной политической и экономической жизни.

В России, в момент ликвидации крепостного строя, положение осложнилось тем, что в соседних странах уже была на лицо высоко развитая промышленная техника, что там крепкое капиталистическое производство задавало тон жизни. Естественное для господствующего класса желание воспользоваться последним словом техники должно было толкнуть его на усиленную заботу о пролетаризации крестьянских масс (о создании контингента свободных рабочих рук) и о скорейшем внехозяйственном накоплении капиталов за счет этих же масс. Началось, с помощью политической организации собственников, якобы искусственное, а на самом деле вполне естественное, хищническое,—на счет крестьянства,—развитие новейшей промышленности „по масштабу, достойному великой страны".

Старые классы умирали, нарождались новые. Но для 1861—62 годов это нарождение было в будущем; наблюдался еще лишь первый порыв к новой жизни,—хищнический порыв в сторону сокращения крестьянских наделов и повышения выкупных платежей. И русским идеалистам, искателям правды новой жизни, ничего не оставалось, как стать всецело на сторону мелкого производителя-крестьянина, слиться с ним идеологически, смотреть на мир его глазами и, в большей или меньшей мере, проникнуться его миросозерцанием.

Молодежи предстоит подвиг не учительский, а очистительный,—писал М. Бакунин в 1862 году, — подвиг сближения и примирения с народом. Она должна очиститься от привычек жизни и мысли, создавшихся у нее под влиянием воспитания в привилегированной среде. Прежде всего очиститься! Ведь у нас „не к новой жизни надобно их вести, а отнять то, что подавляет их собственный стародавний быт",—писал А. Герцен несколько раньше (X).

В какую форму, благодаря тяготению к стародавнему быту, отлилась стремившаяся к примитивному политическому мировоззрению мысль людей, отведавших скверны университетской, — а подчас и европейской,—науки? Из публицистов начала 60-х годов, не стесненных цензурными рамками, кажется, полнее всех успел высказаться М. А. Бакунин. В его листках, речах и письмах легко видеть следы более обстоятельных, но менее ясных по выводам, публицистических и научно-исторических легальных статей того времени.

Надвигающаяся революция представлялась Бакунину возвращением к временам Степана Разина. Приветствуя такую революцию, неизбежно притти к отрицанию всего того, что создано русской историей, развитием хозяйственной и культурной жизни России не только после XVII века, но и раньше этого. Все, против чего боролся Разин,

должно было встретить себе непримиримого врага и в Бакунине, как вредное, ненародное, наносное.

Уже на образование Московского государства Бакунин смотрел, в сущности, как на дело рук врагов русского народа, — татар. Московские князья с их властью не были будто бы выдвинуты органическим развитием русской жизни, — они возвысились, как вассалы татар, их „управляющие", униженно рабские, страшно корыстные и неутомимо-жестокие. Благодаря покровительству татар, они увеличивали „свои владения", а затем, почувствовав себя достаточно сильными, прогнали собственных господ. Но татарщина, вместе со своими скверными качествами, успела глубоко укорениться в официальном и официозном мире Москвы: „подобное политическое начало достаточно об'ясняет дальнейшее развитие Российской империи".

Кроме татар, русские исконные начала подверглись осквернению еще со стороны византийцев: Византия завещала нам всю свою испорченность и ужасный азиатский деспотизм в политической, социальной и религиозной жизни.

Но наплывом татарщины и византийства не ограничились несчастия русского народа. Новым источником осквернения истинно-русской души и истинно-русского строя жизни явилась Западная Европа. Петр понял, что для основания могущественной империи, способной бороться против Западной Европы, уже недостаточно татарского кнута и византийского богословия. И он заимствовал с Запада „бюрократическую науку". Из татарских элементов и с помощью „этой немецкой науки" он основал „чудовищную бюрократию, которая и до сих пор давит и угнетает нас" (X).

Бакунин не был одинок в своем построении русской истории. Точка зрения мелкого производителя, видящего в государстве большое частное хозяйство и считающего волю „хозяина" первоисточником общественных отношений, — эта точка зрения разделялась, например, и Герценом, и отчасти даже Чернышевским. Крепостное право,—писал Чернышевский в „Письмах без адреса",—было создано и распространено властью; всегдашним правилом власти было опираться на дворянство, которое и образовалось у нас не само собою и не в борьбе с властью, как во многих других странах, а покровительством со стороны власти, добровольно дававшей ему привилегии.

А. Герцен считал дворянскую Россию искусственной подражательной и потому бессильной, как аристократию. Дворяне знают, — говорил он,—что права их высочайше пожалованные и притом добровольно дарованные (X). Задачу предстоявших реформ А. Герцен видел в переходе „от военного деспотизма и немецкой бюрократии к более простым и народным началам государственного строения".

Однако, выдержать последовательно эти примитивные взгляды было невозможно людям, испорченным уже немецкой и всякой другой наукой, а тем более наукой русской жизни, далеко ушедшей от времен Степана Разина. В этом—источник бесконечного трагизма для представителей русского революционного романтизма.

Не выдерживает своей точки зрения и Бакунин. Его „хозяин" не всегда является политической первопричиной, единственным

источником добра и зла. Временами Бакунину приходится уже говорить о союзе царя, дворян и высшего духовенства, как об источнике рабства. Смутное время было восстанием народных масс против тирании „Московского государства, бояр и церкви". Иногда царь, церковь и дворянство московской Руси ставятся рядом, и происхождение дворянства об'ясняется не волею царя и не татарщиной: оно образовалось и из потомков русских удельных князей, и из новых и старых бояр, и из литовских князей, и проч. Само его государство об'является „чиновно-дворянской и казенно-поповской цивилизацией". Далее, самой сущностью императорского могущества, самой существенной стороной империи об'является дворянство, государственные чиновники и официальная церковь. И наконец, Бакунин доходит до полного отрицания, отрицания силы высшего представителя власти в России. „Нынешний государь,—пишет он Фрику в 1862 году, — и желал бы сделать кое-что хорошее, но он ничего не может: положение и необходимость той системы, коей он сам верхушка, сильнее его воли".

Размах противоречий от признания, что правители—„источник всего", до утверждения, что глава государства „ничего не может",— это размах того противоречия, в которое была поставлена русская передовая интеллигенция, искавшая союзника в мелком хозяине, мечтавшая о мужицком царстве и в то же время стоявшая на уровне европейской общественной науки, осуществлявшая политические задачи капиталистической буржуазии. Из противоречий в оценке прошлых судеб России вытекали противоречия в оценке политических условий данного момента, как и в определении задач деятельности.

Царь Александр II „не может ничего", — говорил Бакунин. На первый взгляд А. Герцен—полный антагонист Бакунина: он высказывал мысль, что правительство, без малейшей опасности для себя, могло бы сделать чудеса в области реформ, „опираясь на народ с одной стороны, с другой—на всех мыслящих и образованных людей в России". „Самодержавная революция,—верил Герцен в 1860 году,— могла вести Россию к великому развитию всех ее неистощимых сил, неведомых возможностей, не проливши ни одной капли крови, не поставивши ни одной виселицы и делая из Сибирского тракта путь богатства и обмена вместо пути слез и скрежета зубов".

Обращаясь к Бакунину, мы находим у него почти совершенно те же речи, что и у Герцена: оказывается, что Александр II все может... „Александр II,—говорит Бакунин,—мог бы так легко сделаться народным кумиром, первым русским земским царем, могучим не страхом и не ...насилием, но любовью: свободою, благоденствием своего народа. Опираясь на этот народ, он мог бы стать спасителем и главою всего славянского мира". 19-го февраля император Александр II был „самым великим, самым любимым, самым могучим царем". Но он, — полагает Бакунин, — не понял своего положения и думал об укреплении „народо-ненавистного тюремного здания петровского государства", думал о сохранении дворянского сословия наперекор воле самого дворянства. От воли и „понимания" Александра II зависело будто бы созвать земский собор. И если бы перед этим собором пред-

стал царь, готовый устроить народ по воле его, то кто смел бы восстать против него? — спрашивает Бакунин. Понадобилось семь лет, чтобы он же сам ответил на этот вопрос: оказывается, что Александр II вообще находил поощрение своей политике со стороны всей отечественной литературы, „славянофилов и западников, плантаторов и либералов". И тем не менее, — таково противоречивое положение романтика, стоящего на точке зрения мелкого хозяина,—Бакунин оставался при мысли, что корень „зла" не в плантаторах и либералах, а в главе государства: в 1867 году он еще думает, будто глава государственной организации — „главнейшая причина" всех бедствий крестьянства. И в 1870 году „час последней борьбы" представляется ему часом борьбы не крестьянства против либералов и плантаторов, а народа против династии (×).

На ряду с неустойчивостью в определении сущности государственной организации идет такого же размаха неустойчивость в определении как задачи революции, так и революционных общественных элементов. Революционеры той эпохи не считают себя выразителями интересов определенных групп или классов. Выбитые из состава землевладельческого класса, они порывают с ним идейно (и то не вполне, как мы видели на примере даже Бакунина) и затем ищут себе „опоры".

Иметь опору, опираться — это излюбленный междуклассовыми промежуточными элементами политический термин; не чувствуя силы в самой себе, деклассированная интеллигенция искала силы вне себя, искала „опоры" и, становясь на точку зрения мелкого производителя, конструировала представление о политическом строе по своему образу и подобию.

Из этих представлений, в связи с мелкобуржуазным представлением о роли личности в истории, получилось то, до сих пор распространенное у нас, представление о государственной власти, которое формулируется словами: опора, опирается. Государство, по этому представлению, всюду и всегда на что-то опирается, а не является само организацией класса, экономически господствующего и потому „опирающегося" только на самого себя.

Понятно, что и для промежуточных в классовом отношении революционных романтиков начала 60-х годов вопрос прежде всего шел о том, на кого „опирается" правительство и на кого нужно „опираться" революционерам. Авторы листка „Великорусс" обращались к „обществу". Суровый критик „Великорусса", автор „Ответа Великоруссу", напечатанного в № 107 „Колокола" в 1861 году, восстает против обращения к „обществу" не только потому, что у общества помещиков-чиновников „одни начала, одни стремления с правительством", но и потому, что это общество „так же дрябло и бессильно", как и правительство, „которому оно постоянно служило дворней". Неудачи 1825 и 1848 года свидетельствуют, что ничего нельзя добиться „силами одного общества, без содействия народа". Поэтому автор ответа возражает всем, кто думает, что „у нас не на что опереться": „наша опора",—говорит он,—это те несчетные массы, которым нечего терять от крушения старого порядка.

Но, решив „искать опоры“ в массах крестьянства, автор ответа становится уже вне того самого движения в пользу конституции, стремление к которой (в связи со „свободами“) и было исходным пунктом революционных настроений дворянской молодежи. Пусть конституции добиваются,—говорит он,—те, кому она может быть полезна; при ней больше простора, если она принесет право собраний и свободу печати; но не она—цель и последнее слово: „наша цель—полное освобождение крестьян, право народа на землю, право его устроиться и управляться самим собою, освобождение и свободный союз областей“. Стремясь к этой цели, не следует в данный момент „ни помогать, ни мешать“ борьбе за конституцию.

Полное освобождение крестьян представляется почти в том же виде и М. Бакунину: вся земля—крестьянам, свобода промыслов, равноправие, самоуправление, союз общин. И венец здания—Всенародный Земский Собор. Потребность „найти опору“ в крестьянстве быстро превращается в умах революционных романтиков в свою собственную противоположность: из „мяса освобождения“ народ становится самоцелью, а революционеры должны смотреть на себя, как на слуг народных, если народ согласится использовать их услуги. Чтобы приобрести способность и право служить народному делу, революционная молодежь, по мнению Бакунина, должна „утопиться в народе“. Революция должна уничтожить все без исключения формы современной жизни и создать новые формы из совершенной аморфности. К этой аморфности,—к уничтожению всего, что создано вопреки идеалам Стеньки Разина,—должна стремиться молодежь. Коллективный Стенька Разин—вот смысл ее движения.

Но людям, ставшим на точку зрения идеалов Стеньки Разина, идеалов натурального мелкого хозяйства, мудрено удержаться на высоте политической коллективности. Им необходима личность, представляющая целое по образу и подобию отдельной единицы, входящей в состав целого. Им необходим хозяин, воля которого— источник политической жизни. Поэтому Бакунин не мог не поставить вопроса: за кем, за какою личностью, за каким героем пойдет революционная молодежь? За представителем ли уже существующей власти, или за Пугачевым, за Пестелем?

Мы не враги и не друзья нынешнего императора, — отвечал Бакунин.—Мы охотнее всего пошли бы за ним,—между прочим и потому, что „он один (курс. подл.) мог совершить и окончить мирную революцию, не пролив ни одной капли русской или славянской крови“. Но если имп. Александр II остановится в деле революции на полпути, то Бакунин готов итти и за „самозванцем царем Пугачевым“, и за „новым Пестелем—диктатором“; а может быть и Земский Собор спасет Россию,—заканчивает он свое рассуждение о возможных путях полного освобождения крестьянства. И здесь, таким образом, как и в вопросе о сущности государства, размах противоречий и шатаний равен 180 градусам.

И все-таки, просматривая статьи и прокламации начала 60-х г.г., вы легко замечаете, что мысль романтиков неизменно возвращается к одному пункту,—к вопросу о политической свободе. Забота о переустройстве общественных отношений в духе буржуазного общества в

эпоху, когда это общество еще не сложилось, толкало выбитую из колеи дворянскую молодежь к отрицанию самого буржуазного общества. Реформы 60-х годов обманули ожидания тех, кто надеялся на немедленный переход из крепостничества к капиталистическим формам эксплоатации рабочей силы. Предстояло, как оказалось, пережить раньше период необузданного хищничества, эпоху отделения работника от средств производства, эпоху так называемого первоначального накопления. На хищников не могла возложить своих упований часть молодежи, искавшая правды обновленной жизни.

Образовался слой отщепенцев нового хищнического общества, метавшийся в поисках „опоры", остановившийся в этих поисках на мелком производителе, старавшийся стать на точку зрения крестьянства и пропитаться его миросозерцанием.

Но эта последняя задача—абсолютная утопия для выходцев из того класса, который давно перерос примитивное миросозерцание изолированного производителя эпохи натурального хозяйства. И социальное положение образованной, передовой молодежи постоянно возвращало его из мира романтических грез к реальным,—хотя далеко еще не злободневным—интересам нарождающегося буржуазного класса, к борьбе за формы политической организации развитого капиталистического общества.

Такого общества еще не создалось,—противоречия между жизнью и передовыми идеалами оставалось налицо. Оставался,—вплоть до наших дней,—и революционный романтизм, известный под именем народничества: он преобразовывался, принимал самые разнообразные формы, то воскресал, то как будто замирал, и неизменно накладывал отпечаток на политическое миросозерцание своих представителей.

XIV. Вожди народничества: Бакунин, Ткачев и Тихомиров.

(Из работы Г. В. Плеханова: „Наши разногласия". См. его „Сочинения". Т. II. М. и П. 1923 г. Стр. 113—331).

Еще в начале пятидесятых годов А. И. Герцен, доказывая неизбежность социалистической революции на Западе, уже ставил перед нарождающейся русской демократией тот

Вечно тревожный и новый вопрос,

который с тех пор

Столько голов беспокойных томил...
Столько им муки принес... (X).

„Должна-ли Россия пройти всеми фазами европейского развития, или ее жизнь пойдет по иным законам"?—спрашивал он в своих „Письмах к Линтону".

„Я совершенно отрицаю необходимость этих повторений,—спешил ответить знаменитый писатель.—Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаниями исторического развития предшественников, но так, как зародыш проходит до рождения все низшие ступени зоологического существования. Оконченный труд и добытый результат входят в общее состояние всех понимающих—это круговая порука прогресса, майорат человечества... Всякий школьник должен сам найти решение Евклидовых предложений — но какая огромная разница между трудом Евклида, открывшего их, и трудом ученика нашего времени!..." „Россия проделала свою эмбриогению в европейском классе. Дворянство с правительством представляют у нас европейское государство в славянском. Мы прошли все фазисы политического воспитания, начиная от немецкого конституционализма, от английского канцелярского монархизма, до поклонения 93 году... Народу русскому не нужно начинать снова этот тяжкий труд... Зачем ему проливать кровь для достижения тех полурешений, до которых мы дошли, и которых вся важность состояла только в том, что мы через них дошли до иных вопросов, до новых стремлений. Мы за народ отбыли эту тяжелую работу—мы поплатились за нее виселицами, казематами, ссылкою, разорением и нестерпимою жизнью, в которой живем".

Связующее звено, мост, по которому русский народ может перейти к социализму, Герцен видел, конечно, в общине и связанных с нею особенностях народного быта. „Русский народ собственно стали узнавать,—говорит он,—только после революции 1830 года. С удивлением увидели, что русский человек, равнодушный, неспособный ко

всем политическим вопросам—бытом своим ближе всех европейских народов подходит к новому социальному устройству"... „Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное self governement по городам и всему государству, сохраняя народное единство—вот в чем состоит вопрос о будущем России, т. е. вопрос той-же социальной антиномии, которой решение занимает и волнует умы Запада". (×).

Авторитет его был так велик, предлагаемое им сокращение пути к социализму было так соблазнительно, что русская интеллигенция начала шестидесятых годов мало была склонна скептически относиться к найденному им решению „социальной антиномии" и вовсе, повидимому, не задумывалась над вопросом о том,—через какие именно местности пролегает этот исторический проселок, и кто же именно поведет им русский народ, „равнодушный, неспособный ко всем политическим вопросам"? Для нее важно было прежде всего найти хоть какую-нибудь философскую санкцию своим радикальным стремлениям, и она довольствовалась на первый раз тем отвлеченным соображением, что никакая философия в мире не может заставить ее примириться с буржуазными „полурешениями".

Но этого отвлеченного соображения было, конечно, недостаточно для начертания практического способа действия, для выработки сколько-нибудь целесообразных приемов борьбы с окружающей обстановкой. Данных для решения этой новой задачи нужно было искать вне философии истории, хотя бы и более строгой и научной, чем философия Герцена. Между ее абстрактными формулами и конкретными нуждами общественной жизни лежала целая пропасть, которую можно было заполнить лишь целым рядом новых, все более и более частных формул, требовавших знакомства опять таки с целым рядом все более и более сложных явлений. Впрочем, философия оказала в этом случае русской мысли косвенную услугу, познакомив ее с диалектическим методом и научивши ее той, столько раз забытой потом, истине, что в общественной жизни „все течет", „все изменяется", и что явления этой жизни могут быть поняты лишь в движении, в процессе своего возникновения, развития и исчезновения.

„Критика философских предубеждений против общинного землевладения" была и остается самым блестящим в нашей литературе опытом приложения диалектики к анализу общественных явлений. Известно, какое огромное влияние имела эта статья на развитие нашей революционной интеллигенции. Она укрепила ее веру в общину, доказавши, что этот вид землевладения может, при известных условиях, прямо перейти в коммунистическую форму развития. Но, строго говоря, как сам Н. Г. Чернышевский, так и его последователи делали из „критики философских предубеждений" выводы более широкие, чем это допускалось характером посылок. Найденное Чернышевским решение вопроса о судьбе общины было, в сущности, чисто алгебраическим, да и не могло быть иным, так как он противопоставлял его чисто алгебраическим формулам своих противников. Русские манчестерцы доказывали, что общинное землевладение необходимо и везде должно уступить мало по-малу место частной поземельной собственности. Такова была выставленная ими

схема развития имущественных отношений. Н. Г. Чернышевский доказал, во-первых, что схема эта не охватывает всего процесса развития, так как на известной его стадии общественная собственность снова должна стать господствующей формой; кроме того, он совершенно основательно указывал на то обстоятельство, что нет никаких оснований приписывать неизменную, раз-навсегда определенную продолжительность тому историческому промежутку, который отделяет эпоху первобытного коммунизма от времени сознательного переустройства общества на коммунистических началах. Говоря вообще, этот промежуток есть „x", который в каждой отдельной стране приобретает особое арифметическое значение в зависимости от комбинации внешних и внутренних сил, определяющих ее историческое развитие. Так как эта комбинация сил необходимо должна быть очень разнообразна, то неудивительно, что интересующий нас „x",—т. е. продолжительность господства частной собственности,—становится в известных случаях бесконечно малой величиной, т. е. может, без большой ошибки, быть приравнен нулю. Таким образом была доказана абстрактная возможность непосредственного перехода первобытной общины в „высшую коммунистическую форму". Но именно благодаря абстрактному характеру аргументации этот общий результат философско-исторической диалектики был одинаково применим ко всем странам и народам, сохранившим общинное землевладение,—от России до Новой Зеландии, от сербской задруги до того или другого племени краснокожих индейцев [1]. Поэтому он оказывался недостаточным для приблизительного хотя бы предсказания будущей судьбы общины в каждой из этих стран, взятой в отдельности. Абстрактная возможность еще не есть конкретная вероятность; тем не менее можно считать ее окончательным доводом там, где речь идет об исторической небходимости. Чтобы сколько-нибудь серьезно говорить об этой последней, нужно было бы перейти от алгебры к арифметике и доказать, что в интересующем нас случае,—все равно, в России или в государстве ашантиев, в Сербии или на Ванкуверовом острове,—„x" действительно будет равняться нулю, т. е. частная собственность должна погибнуть еще в зародыше. Для этого необходимо было бы обратиться к статистике, к оценке внутреннего хода развития данной страны или данного племени и внешних влияний на них, иметь дело уже не с родом, а с видом, или даже с разновидностью, не с первобытно—коллективной недвижимой собственностью вообще, а с русской, или сербской, или ново-зеландской поземельной общиной в частности, принимая в соображение как все враждебные или благоприятные ей влияния, так и то состояние, в которое она пришла в данное время, благодаря этим влияниям.

Но на такое исследование мы не находим даже намека в „Критике философских предубеждений против общинного землевладения", в которой Н. Г. Чернышевский имел дело с „философствующими мудрецами" (×).

---

[1]. Примеч. ко второму изд. В то время еще не было окончательно выяснено, что русская сельская община не имеет ничего общего с первобытным коммунизмом. Теперь это стоит вне сомнения.

Впрочем, с его стороны это нисколько неудивительно. Критик Милля мог иметь в виду лишь дореформенную общину, еще не вышедшую из условий натурального хозяйства и приведенную к одному знаменателю нивелирующим влиянием крепостного права. Это влияние не устраняло, конечно, свойственных сельской общине „экономических противоречий", но оно держало их в скрытом состоянии и тем доводило их практическое значение до ничтожного минимума. Поэтому Н. Г. Чернышевский мог довольствоваться тем соображением, что у нас „масса народа до сих пор понимает землю, как общинное достояние", что „каждый русский имеет и родную землю, и право на участок ее. И если он сам откажется от этого участка или потеряет его, то за детьми его остается право, в качестве членов общины, самостоятельно требовать себе участка". Хорошо понимая, что освобождение крестьян поставит их в совершенно новые экономические условия, что „Россия, доселе мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него, и наш быт, доселе остававшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при усилении экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе", что „скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции", он заботился лишь о сохранении той формы землевладения, которая помогла бы крестьянину начать новую экономическую жизнь при наиболее выгодных условиях. „Каковы бы ни были ожидающие Россию преобразования,—писал он еще в апреле 1857 года,—да не дерзнем мы коснуться священного, спасительного обычая, оставленного нам нашей прошедшею жизнью, бедность которой с избытком искупается одним этим драгоценным наследием,—да не дерзнем мы посягнуть на общинное пользование землею,—на это благо, от приобретения которого теперь зависит благоденствие земледельческих классов Западной Европы. Их пример да будет нам уроком".

Мы не пишем здесь разбора всех взглядов Н. Г. Чернышевского на общинное землевладение, а только стараемся оттенить их наиболее характерные черты. Не вступая в неуместные здесь детали, мы скажем только, что выгоды, ожидаемые им от общинного землевладения, могут быть сведены к двум главным пунктам, из которых один относится к области права, а другой—к области сельско-хозяйственной техники.

ad I. „Русское общинное устройство, говорит он словами Гакстгаузена, бесконечно важно для России, особенно в настоящее время, в государственном отношении. Все западно-европейские государства страдают одной болезнью, исцеление которой доселе остается неразрешенной задачей—они страдают пауперизмом, пролетариатством. Россия не знает этого бедствия; она предохранена от него своим общинным устройством. Каждый русский имеет и родную землю, и право на участок ее. И если сам он лично откажется от этого участка, или потеряет его, то за детьми его остается право, в качестве членов общины, самостоятельно требовать себе участка".

ad II. Описавши „по тому-же Гакстгаузену, быт уральских казаков, „вся область которых составляет одну общину и в хозяйственном, и в военном, и в гражданском отношениях", Н. Г. Чернышевский заме-

чает: „Если уральцы доживут в нынешнем своем устройстве до того времени, когда введены будут в хлебопашество машины, то уральцы будут тогда очень рады, что сохранилось у них устройство, допускающее потребление таких машин, требующих хозяйства в огромных размерах, на сотнях десятин“ (X).

Для полноты исследования вопроса об общинном землевладении Н. Г. Чернышевскому нужно было-бы взглянуть на дело именно с (X) социально-политической точки зрения. Ему нужно было показать, что общинное землевладение не только способно предохранить нас от „язвы пролетариатства“, не только представляет много выгодных условий для развития сельско-хозяйственной техники (т. е. для машинной обработки больших пространств земли), но и способно создать в России такое-же подвижное, такое-же восприимчивое и впечатлительное, такое-же энергичное и революционное население, как западно-европейские пролетарии. Но этому-то и мешал его взгляд на „народ“ „почти всех стран“ Западной Европы, как на „невежественную“ и в большинстве случаев „безграмотную“ массу, равнодушную к „отвлеченным“ политическим правам. (X)

Этот вопрос так и остался невыясненным. А вследствие этого остался невыясненным и вопрос о способах перехода от общинного землевладения к общинной обработке и—главное—к окончательному торжеству социализма. Каким образом современная сельская община перейдет в коммунистическую общину или растворится в коммунистическом государстве? Как может содействовать этому революционная интеллигенция? „Что делать“ этой интеллигенции? Отстаивать общинное землевладение и вести коммунистическую пропаганду, заводить производительные ассоциации, вроде швейных мастерских Веры Павловны надеясь, что современем как эти мастерские, так и сельские общины поймут выгоды социалистического строя и возьмутся за его осуществление? Допустим, что так; но путь этот долог, можно-ли поручиться, что он на всем своем протяжении будет прям и гладок, что на нем не встретится непредвиденных препятствий и неожиданных поворотов? А что если правительство будет преследовать социалистическую пропаганду, запрещать ассоциации, отдавать под полицейский надзор и ссылать их членов? Бороться с правительством, завоевать свободу речи, сходок и ассоциаций? Но тогда нужно будет признать, что Сибирь не выше Англии, что „отвлеченные права“, о которых „хлопочут либералы“, составляют необходимое условие народного развития, нужно, словом, начать политическую борьбу. Но можно-ли рассчитывать на ее благоприятный исход, можно-ли завоевать сколько нибудь прочную политическую свободу? Ведь „как ни рассуждать, а сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массою народа“, а эта масса, если не в других странах, то в России не придает никакого значения „праву свободной речи“ и ровно ничего не понимает в вопросе о „праве парламентских прений“. Если либерализм именно „поэтому обречен на бессилие“, то откуда возьмутся силы у социалистов, которые станут бороться за „права, составляющие предмет желаний и хлопот либерализма“? Как выйти из этого затруднения? Занести в свою программу вместе с „отвлеченными правами“ политической свободы конкретные требова-

ния экономических реформ? Но нужно ознакомить народ с этой программой, т.-е. нужно опять вести пропаганду, а, ведя пропангаду, мы опять встречаемся с правительственными преследованиями, а правительственные преследования опять толкают нас на путь политической борьбы, безнадежной вследствие равнодушия народа, и т. д., и т. д. (×).

Если такие вопросы не возникали в уме Н. Г. Чернышевского, который писал об общинном землевладении до уничтожения крепостного права и мог надеяться, что развитие сельского пролетариата будет сделано невозможным—путем тех или других законодательных постановлений, то неизбежно все или почти все они должны были явиться перед нашими революционерами семидесятых годов, которые знали характер пресловутой реформы 19 февраля. (×)

Различные фракции нашего движения различным образом решали эти вопросы. Большая часть революционеров готова была согласиться с Герценом в том, что русский народ „равнодушен, неспособен" к политике. Но склонность к идеализации народа была так велика, взаимная связь различных сторон общественной жизни была так плохо выяснена в умах наших социалистов, что в этой неспособности „ко всем политическим вопросам" видели как-бы гарантию против буржуазных „полурешений", как-бы доказательство большой способности народа к правильному решению вопросов экономических. Интерес и способность к политике считались необходимыми лишь для политических революций, которые во всей нашей социалистической литературе того времени противополагались „социальным" революциям, как злое начало—доброму, как буржуазный обман—полному эквиваленту за пролитую народом кровь, за понесенные им потери. „Социальной" революции соответствовал, по нашим тогдашним понятиям, интерес к социальным же вопросам, который и усматривался в жалобах крестьянства на малоземелье и податные тягости. От сознания народом своих ближайших нужд до понимания „задач рабочего социализма", от горьких сетований на эти нужды до социалистической революции—путь, казалось, был недолог и лежал опять-таки через общину, казавшуюся нам прочной скалой, о которую разбились все волны экономического движения.

Но как одна точка не определяет положение линии на плоскости, так и поземельная община, на идеализации которой сходились все наши социалисты, не обусловливала собою сходства их программ. Все чувствовали, что и в самой общине, и в миросозерцании и в привычках общинников есть много—частью недоделанного и недоконченного, а частью и прямо противоречащего социалистическим идеалам. Способ устранения этих недостатков и служил яблоком раздора для наших фракций.

Впрочем и в этом отношении была черта, которую можно признать общею всем нашим революционным направлениям.

Этой общей им всем чертой была вера в возможность могущественного, решающего влияния нашей революционной интеллигенции на народ. Интеллигенция играла в наших революционных расчетах роль благодетельного провидения русского народа, провидения, от воли которого зависит повернуть историческое колесо в ту или иную сторону. Как бы кто из революционеров ни об'яснял современное по-

рабощение русского народа—недостатком-ли в нем понимания, отсутствием-ли сплоченности и революционной энергии, или, наконец, полною неспособностью его к политической инициативе—каждый думал, однако, что вмешательство интеллигенции устранит указываемую им причину народного порабощения. Пропагандисты были уверены, что они без большого труда научат крестьянство истинам научного социализма. Бунтари требовали немедленного создания „боевых" организаций в народе, не воображая, что оно может встретить какие-либо существенные препятствия. Наконец, сторонники „Набата" полагали, что нашим революционерам стоит только „захватить власть",—и народ немедленно усвоит социалистические формы общежития. Эта самоуверенность интеллигенции уживалась рядом с самой беззаветной идеализацией народа и с убеждением—по крайней мере большинства наших революционеров—в том, что „освобождение трудящихся должно быть делом самих трудящихся". Предполагалось, что формула эта получит совершенно правильное применение, раз только наша интеллигенция примет народ за об'ект своего революционного воздействия. (×)

Тяжелый опыт скоро показал нашим революционерам, что от жалоб на малоземелье бесконечно далеко до выработки определенного классового сознания, и что от бунтов, происходивших 100 и 200 лет тому назад, нельзя умозаключать о готовности народа восстать в настоящее время. История нашего революционного движения семидесятых годов была историей разочарований в „программах", казавшихся самыми практичными и безошибочными.

Но нас интересует в настоящее время история революционных идей, а не история революционных попыток. Для нашей цели необходимо подвести итог всем тем социально-политическим воззрениям, которые достались нам в наследство от предшествующих десятилетий.

Посмотрим же, что завещала нам, в этом случае, каждая из главных фракций семидесятых годов.

Поучительнее всего будут для нас теории М. А. Бакунина и П. Н. Ткачева. Программа так называемых пропагандистов, сводившая к распространению социалистических идей всю дальнейшую историю России, вплоть до революции, страдала слишком заметным идеализмом. Они рекомендовали русским социалистам пропаганду так же точно, как рекомендовали бы они ее при случае социалистам польским, сербским, турецким, персидским,—словом, социалистам любой страны, лишенной возможности организовать рабочих в открытую политическую партию. (×)

Не так рассуждал Бакунин. Он понимал, что воздействие революционной интеллигенции на народ возможно лишь при наличности известных исторических условий, лишь при существовании в самом народе более или менее сознательного стремления к социалистическому перевороту. Поэтому он исходил из сравнения „народных идеалов" с идеалами нашей интеллигенции, конечно, анархического направления.

По его мнению, в русском народе существуют в самых широких размерах те два элемента, на которые мы можем указать, как на необходимые условия социальной революции. „Он может похвастаться чрезмерной нищетой, а также рабством примерным (sic). Страданиям его

нет числа, и переносит он их не терпеливо, а с глубоким и страстным отчаянием, выразившимся уже два раза исторически, двумя страшными взрывами: бунтом Стеньки Разина и пугачевским бунтом, и не перестающим поныне проявляться в беспрерывном ряде частных крестьянских бунтов". (×)

Такой идеал существует в представлении русского крестьянства, „и нет даже необходимости слишком далеко углубляться в историческое сознание нашего народа, чтобы определить его главные черты".

Автор „Государственности и анархии" насчитывает шесть „главных черт" русского народного идеала: три хороших и три дурных. (×)

„Первая и главная черта—это всенародное убеждение, что земля, вся земля принадлежит народу, орошающему ее своим потом и оплодотворяющему ее своим трудом. Вторая столь-же крупная черта, что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами; третья черта одинаковой важности с двумя предыдущими, это—квази-абсолютная автономия, общинное самоуправление, и вследствие того решительно враждебное отношение общины к государству." (×)

Однако русский народный идеал омрачен тремя другими чертами, которые искажают его характер и чрезвычайно (Nota bene) затрудняют и замедляют осуществление его... Эти три затемняющие черты: 1) патриархальность; 2) поглощение лица миром; 3) вера в царя... Можно было бы прибавить, в виде четвертой черты, христианскую веру, официально-православную или сектаторскую, но... у нас в России этот вопрос далеко не представляет той важности, какую он представляет в Западной Европе.

Против этих-то отрицательных черт народного идеала и должны бороться „всеми силами" русские революционеры, и такая борьба „тем возможнее, что она уже существует в самом народе". (×)

Но Бакунин не даром изучал когда-то немецкую философию. Он понимал, что предложенная им классификация „черт народного идеала"—берем ли мы одни хорошие, или одни „несчастные", или, наконец, и счастливые и несчастные черты—об'ясняет только китайскую сторону вопроса. Он понимал, что народ нужно „брать" не „каков он есть", а каким он стремится стать и становится под влиянием данного исторического движения. (×).

Но Бакунину изменила диалектика, или, вернее, он изменил ей

Вместо того, чтобы исходить из „экономических фактов" в своем анализе социально-политического идеала русского народа, вместо того, чтобы ожидать переработки этого старого „идеала" от влияния новых тенденций в экономической жизни народа, автор „Государственности и анархии" устанавливает совершенно произвольную иерархию „недостатков" народного идеала, стараясь найти такую комбинацию „несчастных" его „черт", при которой одна из них нейтрализируется или даже совершенно уничтожается другою. Это превращает всю его аргументацию в совершенно произвольную игру совершенно произвольными определениями. Автор, бывший, казалось, так недалеко от истины, вдруг удалился от нее на бесконечное расстояние по той простой причине, что он лишь чувствовал необходимость диалектической оценки народного миросозерцания, но не сумел или не захотел сделать ее. Вместо ожидаемой диалектики

явилась на сцену софистика. „Бакунизм“ был спасен, но выяснение задач русской революционной интеллигенции не подвинулось ни на один шаг вперед.

Иерархия различных недостатков народного идеала устанавливается таким образом. „Поглощение лица миром и богопочитание царя собственно вытекают, как естественные результаты.... из патриархальности“. Сама община оказывается „ничем иным, как естественным расширением семьи, рода“, а царь—„всеобщим патриархом и родоначальником, отцом всей России“. Именно „поэтому власть его безгранична“. Отсюда понятно, что патриархальность оказывается „главным, историческим злом“, против которого мы обязаны „бороться всеми силами“. Но как бороться „против исторического зла“ анархисту, не имеющему „намерения и ни малейшей охоты навязывать нашему или чужому народу какой бы то ни было идеал общественного устройства, вычитанного из книжек или выдуманного им самим“? Не иначе, как опираясь на историческое развитие народного идеала. Но способствует ли развитие русского народного идеала устранению из него затемняющей черты патриархальности? Несомненно, и именно вот каким образом: „война против патриархальности ведется ныне чуть ли не в каждой деревне и в каждом семействе, и община, мир до такой степени обратились теперь в орудие ненавистной народу государственной власти и чиновнического произвола, что бунт против последних становится вместе с тем и бунтом против общинного и мирского деспотизма. Не смущаясь тем, что борьба против общинного деспотизма не может не пошатнуть самого принципа общинного землевладения, автор считает вопрос окончательно решенным и уверяет, что „остается богопочитание царя“, которое „чрезвычайно поприелось и ослабло в самом сознании народном за последние десять или двенадцать лет“, даже не потому, что пошатнулась „патриархальность“, а „благодаря мудрой и народолюбивой политике Александра II благодушного“. После многих испытаний русский народ „начал понимать, что у него нет врага пуще царя“. Интеллигенции приходится только поддерживать и усиливать это антицарское направление в народной мысли. В заключение, той же интеллигенции рекомендуется бороться против еще одного „главного недостатка“, не упомянутого при вышецитированном перечислении черт народного идеала. Недостаток этот, „парализирующий и делающий до сих пор невозможным всеобщее народное восстание в России, это—замкнутость общин, уединение и раз‘единение крестьянских миров“... Если принять во внимание, что „раз‘единение крестьянских миров“ есть результат того обстоятельства, что „каждая община составляет в себе замкнутое целое, вследствие чего ни одна из общин не имеет, да и не чувствует надобности иметь с другими общинами никакой самостоятельной органической связи“, что „соединяются они между собою только посредством батюшки-царя, только с его верховной, отеческой власти“, то приходится сознаться, что на интеллигенцию возлагается нелегкая задача. „Связать лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности областей... между собою, и там, где это возможно, провести такую же живую связь между фабричными работниками и крестьянством“... сделать так, „чтобы лучшие или передовые

крестьяне каждой деревни, каждой волости и каждой области знали таких же крестьян всех других деревень, волостей, областей"... „убедить их в том, что в народе живет несокрушимая сила, которая могуча только, когда она собрана и действует одновременно... и что до сих пор она не была собрана"; связать и организовать „села, волости, области по одному общему плану и с единою целью всенародного освобождения",—словом, прибавить несколько новых, очень хороших „черт" к народному характеру и идеалу и устранить из них несколько коренных недостатков, это—работа, достойная титанов! И за это то гигантское предприятие приходится браться в том убеждении, что „нужно быть олухом царя небесного или неизлечимым доктринером для того, чтобы вообразить себе, что можно что-нибудь дать народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо или новое умственное или нравственное содержание, новую истину и производительно дать его жизни новое направление или, как утверждал... покойный Чаадаев, писать на нем, как на белом листе, что угодно"... Можно ли вообразить более вопиющее противоречие между теоретическими положениями „программы" и намеченными ею практическими задачами?

Людям, не желавшим окончательно разрывать с логикой, оставалось или отказаться от практической части этой программы, удерживая основные ее положения, или преследовать указанные ею практические задачи, стараясь подыскать для них новое теоретическое обоснование. Так оно и вышло впоследствии.

Но рядом с бакунизмом, носившим в своих собственных недрах элементы своего разложения, существовало другое течение в русской революционной партии. Крайне враждебное анархической философии М. А. Бакунина, оно сходилось с ним (X) в оценке современной русской действительности. В то-же время от многих промахов автора „Государственности и анархии" направление это было застраховано, так сказать, меньшей претенциозностью, низшим логическим типом своей аргументации.

М. А Бакунин пытался найти оправдание для рекомендуемого им способа действий в самом ходе развития народного миросозерцания, но, употребивши в дело неподходящий критерий, он вынужден был подставить на место исторического развития русской общественной жизни логические скачки своей собственной мысли. П. Н. Ткачев, родоначальник того направления, к которому мы переходим теперь, совсем не задумывался о диалектическом анализе наших общественных отношений. Он умозаключал к своей программе непосредственно от статики этих отношений. Современный склад русской жизни казался ему как-бы нарочно придуманным для социальной (что, по его терминологии, значило — социалистической) революции. Толковать о прогрессе, развитии—значило для него изменять народному делу. „Теперь, или очень не скоро, быть может никогда"! таков был девиз его органа „Набат". Ту-же мысль высказывает он в своей брошюре „Задачи революционной пропаганды в России", она-же проходит через каждую строку его „Открытого письма к Энгельсу". Не пускаясь в трудный путь диалектики, он не делал свойственных Бакунину неверных логических шагов, над которыми он так едко

смеялся в своей „Анархии мысли“. Он был последовательнее Бакунина в том смысле, что тверже держался своих посылок и делал из них более логические выводы. Вся беда заключалась лишь в том, что не только эти посылки, но и та точка зрения, на которую он становился при их выработке, были ниже бакунинских, по той простой причине, что они были ни чем иным, как упрощенным бакунизмом, бакунизмом, отказавшимся от всякой попытки создать свою философию русской истории и предавшим такого рода попытки революционной анафеме. Немногих выписок из сочинений Ткачева будет достаточно, чтобы подтвердить все сказанное.

Начнем с „Открытого письма к г. Фридриху Энгельсу“.

Письмо это имеет целью „помочь невежеству“ Энгельса, доказать ему, что „осуществление социальной революции не встречает в России никаких препятствий“, и что „в каждую данную минуту возможно возбудить русский народ к единодушному революционному протесту“. Способ доказательства этого тезиса так своеобразен, так характерен для истории развития „бедной русской мысли“, так важен для понимания и правильной оценки программы „партии Народной Воли“, (X) г. Тихомирова, что заслуживает самого серьезного внимания читателей.

По мнению П. Н. Ткачева, было-бы ребячеством мечтать о пересаждении на русскую почву „Международной Ассоциации Рабочих“. Этому препятствуют социально-политические условия России. „Да будет Вам известно,—говорит он Энгельсу,—что мы в России не располагаем ни одним из тех средств революционной борьбы которые находятся к вашим услугам на Западе вообще и в Германии в частности. У нас нет городского пролетариата, нет свободы прессы, нет представительного собрания, нет ничего, что давало-бы нам надежду соединить (при современном экономическом положении) в один хорошо-организованный, дисциплинированный рабочий союз... забитую, невежественную массу трудящегося люда“... (X). Но все эти неблагоприятные условия,—уверяет Энгельса автор письма,—„не должны приводить Вас к той мысли, что победа социальной революции более проблематична, менее обеспечена в России, чем на Западе. Ни в каком случае!... Если у нас нет некоторых из тех шансов, которые есть у вас, то мы можем указать много таких, которых не хватает у Вас“.

В чем-же заключаются эти шансы? Почему мы можем ждать революции и чего должны ожидать от нее?

„У нас нет городского пролетариата, это, конечно, верно; но зато у нас совсем нет буржуазии. Между страдающим народом и угнетающим его деспотизмом государства у нас нет никакого среднего сословия; наши рабочие должны будут бороться лишь с политической силой—сила капитала находится у нас еще в зародыше“...

„Наш народ невежествен—это также факт. Но зато он в огромном большинстве случаев проникнут принципами общинного владения; он, если можно так выразиться, коммунист по инстинкту, по традиции“...

„Отсюда ясно, что, несмотря на свое невежество, народ наш стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Запада, хотя они и образованнее его“.

„Народ наш привык к рабству и повиновению — этого также нельзя оспаривать. Но Вы не должны заключать отсюда, что он доволен своим положением. Он протестует, непрерывно протестует против него. В какой-бы форме ни проявлялись эти протесты, в форме-ли религиозных сект, называемых расколом, в отказе-ли от уплаты податей, или в форме восстаний и открытого сопротивления власти—во всяком случае он протестует, и по временам очень энергично"... (X)

„Наша интеллигентная революционная партия немногочисленна,— это также верно. Но зато она не преследует никаких других идеалов, кроме социалистических, а враги ее почти еще бессильнее ее, и это их бессилие идет ей на пользу. Наши высшие сословия не представляют собой никакой силы,—ни экономической (они для этого слишком слабы), ни политической (они слишком тупы и слишком привыкли во всем полагаться на мудрость полиции). Наше духовенство не имеет никакого значения... Наше государство только издали представляется силой. В действительности его сила—кажущаяся, воображаемая. Оно не имеет корней в экономической жизни народа. Оно не воплощает в себе интересов какого-либо сословия. Оно равномерно давит все классы общества и пользуется равномерною ненавистью со стороны их всех. (X).

Такова социально-политическая философия П. Н. Ткачева (X).

Фр. Энгельс был совершенно прав, говоря в своем ответе Ткачеву, что аргументация этого последнего построена на обычных „бакунистских фразах".

Но к чему же приводит бакунизм, потерявший веру и возможность устранить путем непосредственного влияния „несчастные черты" народного идеала и сосредоточивший свое внимание на том счастливом обстоятельстве, что наше государство „висит в воздухе" и „не имеет ничего общего с существующим социальным порядком", а „осуществление социальной революции не представляет никаких трудностей? Понятно—к чему. „Если капитал у нас еще в зародыше", и „рабочим приходится бороться лишь с политической силой" царизма, если народ, с своей стороны, „всегда готов" к восстанию, как пушкинский Онегин—к дуэли, то революционная борьба приобретает исключительно „политический" характер. А так как, кроме того, у нас нет возможности „соединить в хорошо—организованный, дисциплинированный союз забитую, невежественную массу трудящегося люда"; нет возможности создать рабочую литературу и не было бы даже пользы в ее создании, то выходит, что эту политическую борьбу должны вести вовсе не рабочие. Об этом должна позаботиться та самая „немногочисленная интеллигентская революционная партия", сила которой заключается в ее социалистических идеалах и в бессилии ее врагов. Но этому сильному чужим бессилием меньшинству, как по современным русским условиям, так и по самой сущности его отношений ко всем прочим общественным силам,—не остается ничего другого, как создавать тайную организацию и подготовлять coup d'état в ожидании благоприятных для решительного удара обстоятельств „военных поражений" России, „одновременных бунтов в нескольких губерниях" или „восстания в резиденции". Другими словами, изверившийся в „прогресс" бакунизм

самым прямым путем приводит нас к заговору с целью ниспровержения существующего правительства, захвата власти и организации социалистического общества с помощью этой власти и „прирожденных, традиционных“ склонностей русского крестьянства к коммунизму. (X).

Организация заговора с целью захвата власти становится главною практическою задачею пропаганды газеты, а потом журнала „Набат“. Параллельно с этим идет пропаганда террора и возвеличение „так называемого заговора“ на счет кружков пропагандистов. „Для нас, революционеров, не желающих долее сносить несчастий народа, не могущих долее терпеть своего позорного рабского состояния, для нас, не затуманенных метафизическими бреднями и глубоко убежденных, что русская революция, как и всякая другая революция, не может обойтись без вешания и расстрела жандармов, прокуроров, министров, купцов, попов, словом, не может обойтись без „насильственного переворота“, для нас, материалистов-революционеров, весь вопрос сводится к приобретению силы власти, которая теперь направлена против нас“. Эти строки, напечатанные в 1878 году, когда никто еще не думал о создании „партии Народной Воли“, с достаточною ясностью показывают, где нужно искать источника тех практических идей, пропаганду которых приняла на себя эта партия. Мы думаем поэтому, что редакция „Набата“ была по своему права, когда, констатируя в 1879 году „полнейшее фиаско“ хождения в народ — она с гордостью прибавляла: „Мы первые указали на неизбежность этого фиаско, мы первые... заклинали молодежь сойти с этого гибельного анти-революционного пути и снова вернуться к традициям непосредственно-революционной деятельности и боевой, централистической революционной организации (т. е. традициям нечаевщины). И наш голос не был голосом вопиющего в пустыне“... „Боевая организация революционных сил, дезорганизация и терроризация правительственной власти—таковы были с самого начала основные требования нашей программы. И в настоящее время эти требования стали, наконец, осуществляться на практике“. Увлекшись террористической деятельностью, редакция заявляет даже, что „в настоящее время наша единственная задача — терроризировать и дезорганизовать правительственную власть“ (X).

Теперь-же взглянем на изложенные нами программы с чисто исторической точки зрения и спросим себя — насколько удовлетворительно был ими поставлен и решен вопрос о состоянии русской общины и о способности русского народа к сознательной борьбе за свое экономическое освобождение.

Мы видели, что как М. А. Бакунин, так и П. Н. Ткачев очень много говорили о коммунистических инстинктах русского крестьянства. Ссылки на эти инстинкты составляют исходную точку их социально-политических рассуждений, главное основание их веры в возможность социалистической революции в России. Но ни автор „Государственности и анархии“, ни редактор „Набата“ ни мало не задумывались, повидимому, над вопросом о том, потому-ли существует община, что народ наш „проникнут принципами общинного землевладения“, или потому он „проникнут“ этими „принципами“,

т. е. имеет привычку к общине, что живет в условиях коллективного владения землей? Если-бы они внимательнее отнеслись к этому вопросу, ответ на который не может быть сомнительным, то им пришлось бы перенести центр тяжести своей аргументации их области рассуждений о народных „инстинктах“ и идеалах в сферу исследований о народном хозяйстве. Тогда им пришлось-бы обратить внимание на историю землевладения и вообще права собственности у первобытных народов, на возникновение и постепенный рост индивидуализма в общинах охотничьих, кочевых и земледельческих племен, на социально-политическое влияние этого нового „принципа“, становящегося мало-по-малу господствующим. Применяя результаты такого рода исследований к России, им пришлось-бы сделать оценку тех разлагающих общину условий, значение которых в особенности возрасло со времени уничтожения крепостного права. Эта оценка логически привела-бы их к попытке определить силу и значение индивидуалистического принципа в хозяйстве современной сельской общины в России, так как значение этого принципа — под влиянием враждебных коллективизму условий, — постоянно возрастает, то им нужно было-бы узнать величину ускорения, приобретаемого индивидуализмом в ходе его вторжения в право и хозяйство общинников. Определивши,с возможною в таких случаях точностью, величину этого ускорения, они должны были-бы перейти к изучению свойств и развития той силы, с помощью которой они думали не только предупредить торжество индивидуализма и не только восстановить сельскую общину в ее первобытном виде, но и придать ей новую, высшую форму. При этом возник-бы очень важный, как мы видели, вопрос о том, явится-ли эта сила продуктом внутренней жизни общины или результатом исторического развития высших сословий [1]). Во втором из предположенных случаев, интересующая нас сила была-бы чисто внешнею силою по отношению к общине, и тогда им прежде всего нужно было-бы спросить себя, достаточно-ли одних внешних влияний для переустройства экономической и социально-политической жизни данного класса? Покончивши с этим вопросом, пришлось-бы немедленно считаться с другим, а именно — где должно искать точку приложения этой силы, в сфере-ли условий жизни или в области привычек мысли нашего крестьянства? В заключение им нужно было-бы доказать, что сила сторонников социализма увеличивается с большей быстротой, чем совершается рост индивидуализма в русской экономической жизни. Только сделавши это обстоятельство по крайней мере вероятным, они могли-бы доказать вероятность той социальной революции, которая, по их мнению, не могла встретить в России „никаких“ затруднений.

В каждом из вышеперечисленных случаев им пришлось-бы иметь дело не со статикой, а с динамикой наших общественных отношений, „брать“ народ не таким, „каков он есть“, а таким, каким он становится, рассматривать не неподвижную картину, а соверша-

---

[1]) Несомненная опечатка, хотя сам Плеханов не исправил её в новом издании. Следует—внешних условий (Д. Рязанов).

ющийся по известным законам процесс русской жизни. Им пришлось-бы употребить в дело то самое орудие диалектики, которое уже употреблялось Чернышевским для изучения вопроса об общине в самом абстрактном его виде.

К сожалению, ни Бакунин, ни Ткачев не сумели, как мы видели, подойти с этой, наиболее важной, стороны к вопросу о шансах социальной революции в России. Они довольствовались тем убеждением, что народ наш „коммунист по инстинкту, по традиции", и если Бакунин обращал должное внимание на слабые стороны народных „традиций" и народного инстинкта, если Ткачев видел, что устранить такого рода слабые стороны можно лишь путем учреждений, а не логических доводов, то все-таки ни тот, ни другой из названных писателей не довели дело анализа до конца. Взывая к нашей интеллигенции, они ожидали социальных чудес от ее деятельности и полагали, что ее преданность заменит народную инициативу, ее революционная энергия займет место внутреннего стремления русской общественной жизни в социалистической революции. Народное хозяйство, уклад жизни и привычки мысли нашего крестьянства рассматривались ими, именно, как неподвижная картина, как законченное целое, подлежащее лишь незначительным видоизменениям вплоть до самой социальной революции. В представлении тех самых писателей, которые, конечно, не отказались бы признать современные им формы народной жизни результатом исторического развития,—история как-бы „останавливала свое течение". (X).

Теперь прошло уже десять лет со времени появления важнейших из программ семидесятых годов. Десять лет усилий, борьбы и тяжелых, иногда, разочарований показали нашей молодежи, что организация революционного движения в крестьянстве невозможна при современных русских условиях. Бакунизм и народничество, как революционные учения, отжили свой век и находят теперь радушный прием лишь в консервативно-демократическом литературном лагере. Им предстоит или совершенно утратить свои отличительные черты и слиться с новыми, более плодотворными революционными течениями, или застыть в своем старом виде и служить опорой для политической и социальной реакции. Наши пропагандисты старой пробы тоже сошли теперь со сцены. Не то с теориями П. Н. Ткачева. Хотя в течение целых десяти лет „каждый день приносил нам новых врагов, создавал новые, враждебные нам общественные факторы", хотя социальная революция „встретила" за это время некоторые немаловажные „препятствия", русский бланкизм возвышает теперь свой голос с особенной силой, и, попрежнему уверенный в том, что „современный исторический период особенно благоприятен для совершения социальной революции", он попрежнему обвиняет всех „несогласномыслящих" в умеренности и аккуратности, повторяя на новый лад свою старую погудку: „теперь или очень не скоро, быть может никогда! мы не имеем права ждать, пусть каждый соберет свои пожитки и спешит отправиться в путь", и так далее, и так далее. С этим то окрепшим и, если можно так выразиться, помолодевшим ткачевизмом и приходится иметь дело всякому, кто хотел-бы писать о „разногласиях", существующих в настоящее время в рус-

ской революционной среде. С ним тем более придется считаться при исследовании вопроса о „судьбе русского капитализма“.

Я уже не один раз говорил, что статья г. Тихомирова „Чего нам ждать от революции?“ представляет собою лишь новое, дополненное, хотя в то же время, во многих отношениях, ухудшенное издание социально-политических воззрений П. Н. Ткачева. Если я не ошибся в распознавании характеристических черт русского бланкизма, то литературная деятельность „партии Народной Воли“ сводится к повторению на разные лады ткачевских учений. Разница лишь в том, что для Ткачева „переживаемый нами момент“ относился к началу семидесятых годов, а для публицистов „партии Народной Воли“ он совпадает с концом того-же и началом следующего десятилетия. При полном отсутствии того, что немцы называют „историческим смыслом“, русский бланкизм с большой легкостью переносит и будет переносить это понятие об особенно благоприятном для социальной революции „моменте“ с одного десятилетия на другое. Оказавшись лжепророком в восьмидесятых годах, он с достойным лучшей участи упорством возобновит свои пророчества через десять, через двадцать, через тридцать лет и будет возобновлять их вплоть до того времени, когда рабочий класс поймет, наконец, условия своего социального освобождения и будет встречать его проповедь самым гомерическим хохотом. Для пропаганды бланкизма благоприятен каждый исторический момент, кроме момента, действительно благоприятного для социалистической революции.

Но пора точнее опредeлить употребляемые мною выражения. Что такое бланкизм вообще? Что такое русский бланкизм? (×).

„Бланки, прежде всего, политический революционер, — читаем мы в одной статье Энгельса, — социалист лишь по своим чувствам, симпатизирующий народу в его страданиях, но не имеющий своей особой социалистической теории и не предлагающий никаких определенных мер социального переустройства. В своей политической деятельности он был, главным образом, так называемым „человеком дела“, убежденным в том, что небольшое число хорошо организованных людей, выбравши подходящий момент и произведя революционную попытку, может увлечь народную массу одним—двумя успехами и совершить таким образом победоносную революцию (×).

Ткачевское понимание „насильственной революции“, как чего то „навязанного“ меншинством большинству, есть не что иное, как бланкизм, который можно было-бы назвать самым чистопробным, если-бы редактор „Набата“ не вздумал-бы доказывать, что в России социализм не нужно даже навязывать большинству, коммунистическому „по инстинкту“, „по традиции“.

Отличительной чертой русской разновидности бланкизма является таким образом лишь заимствованная у Бакунина идеализация русского крестьянства. Перейдем теперь к воззрениям г. Тихомирова и посмотрим, подходят-ли они под это определение или представляют собой новую разновидность „русского социализма“. (×)

В своих проектах социалистической организации России г. Тихомиров является бакунистом чистейшей воды. Правда, он не уничтожает государства, но его государство помогает процессу названной организации „с чисто внешней стороны“, оно не создает эле-

ментов такого процесса, оно „только поддерживает их“. Ближайший литературный предок г. Тихомирова, П. Н. Ткачев, полагал, что, захвативши власть, меньшинство должно „навязать“ социализм большинству. Правительство г. Тихомирова „без всякой насильственности“ облегчает народу организацию общественного производства, при чем „приходит на помощь только такому движению“, которое „не может не возникать в стране самостоятельно“. В своих рассуждениях о настоящем г. Тихомиров был верным учеником Ткачева. Его „ожидания“ от будущего представляют собой случай идейного атавизма, возврата к теориям более отдаленного духовного предка.

Анархист Артур Арну писал, как мы знаем: уничтожьте государство, и экономические силы придут в равновесие вследствие простого закона статики. Г. Тихомиров говорит: уничтожьте современное государство, экспроприируйте крупных собственников, и экономические силы России начнут „самостоятельно“ приходить в равновесие. Первый апеллирует „к закону статики“, второй—к „народным понятиям и привычкам“, т. е. к тому-же „народному идеалу“, о котором мы знаем из сочинений М. А. Бакунина. Артур Арну метит в „государство“ и не замечает, что его „критика“ касается лишь государства современного, буржуазно-централистического. Г. Тихомиров хочет создать государство „народное“—и придумывает новый вид мелко-буржуазного государства, такого государства, которое, не отказываясь окончательно от принципа laisser faire, laisser passer, т. е. ничего „не создавая“, умеет, однако, „поддерживать“ самостоятельное „движение истории“ нашего отечества к социалистическому строю.

Бакунизм—не система, это ряд противоречий, которые распределяются между гг. бакунистами и анархистами, сообразно общей совокупности „понятий и привычек“ каждого из них.

Наш автор выбрал ту своеобразную разновидность бакунизма, которая выродилась в „программу“ П. Н. Ткачева.

Но он не остался до конца верным этой программе. Ему слишком памятны были наставления „первоучителя“, он не забыл, что хотя и народ наш „явным образом нуждается в помощи“, но в то-же время „нужно быть слухом царя небесного“, чтобы „пытаться учить народ чему-бы то ни было, или стараться дать его жизни новое направление“. И вот он решился придумать такое революционное правительство, которое помогло-бы народу „с чисто внешней стороны“, которое, не стремясь „ни приневоливать народную массу, ни учить ее“, направило-бы, тем не менее, ее дело к благополучному окончанию. (X)

М. А. Бакунин проповедывал непримиримую ненависть ко всякому государству и советовал нашим революционерам не захватывать власти, ибо всякая власть—от дьявола. П. Н. Ткачев находил, что им нужно захватить власть и надолго удержать ее в своих руках. Г. Тихомиров выбрал золотую середину. Он думает, что захват власти „легко может оказаться полезным и необходимым“, но он полагает, в то-же время, что революционерам следует не удерживать власть на неопределенное время, а только поддержать ее, пока не начнется народная революция.

Из этого неудобного положения между двумя стульями может быть только два выхода. Наш автор может сесть или на бакунинский, или на ткачевский стул; он может сделаться анархистом, может стать решительным последователем (а не тайным только учеником) П. Н. Ткачева. Но едва-ли удастся ему вдохнуть в „народовольскую программу“ действительно новое содержание, едва-ли удастся ему доказать, что та или другая новая идея нашла „признание только с появлением народовольства“. Никогда еще бессодержательный эклектизм не рождал новых могучих теорий, никогда еще робкое нерешительное колебание между двумя старыми „программами“ не открывало новой эпохи в истории революционных идей той или другой страны!

Итак, г. Тихомиров будет последователем Ткачева в „первый день революции“ и превратится в бакуниста немедленно по истечении ее медового месяца.

Но что-же такое бакунизм в его применении к „lendemain de la révolution“? Повторяем, бакунизм—не система. Это смешение социалистических теорий „латинских стран“ с русскими крестьянскими „идеалами“, народного банка Прудона—с сельской общиной, Фурье—со Стенькой Разиным. Такая именно смесь характеризует собою тот „род процесса обобществления труда“, который рекомендует нашему отечеству г. Тихомиров, и которого не только „нигде и никогда не бывало“, но, „нигде и никогда“ не может быть.

Об этом „процессе“ можно без преувеличения сказать словами Фамусова:

Тут все есть, если нет обмана!

Тут есть и община, есть и „переход общины в ассоциацию“, есть и „организация обмена между общинами и союзами общин“, есть даже, кроме всего этого, „самый союз нескольких общин в в целях того или другого производства“; словом, сюда целиком вошла пресловутая бакунинско-анархическая „организация производителей снизу вверх“. Если читатель имеет понятие об этой „организации“, то он не нуждается в дальнейших доказательствах тихомировского бакунизма. Если-же ему не случилось ознакомиться с анархическими теориями (что, конечно, и не составляет особенной потери), то мы рекомендуем ему прочитать небольшую брошюру известного когда-то Гильома—„Idées sur l'organisation sociale“. Ознакомившись с предлагаемым в этой брошюрке „процессом обобществления труда“, он увидит, что революционные теории русских самобытников находятся в очень близком родстве с теориями европейских анархистов.

Русскому интеллигентному человеку трудно уйти от влияния „Запада“. Об'являя „неприменимыми“ к своей стране наиболее передовые теории Европы, русский общественный деятель не спасает этим своей самобытности, а только переносит свои симпатии с серьезного образца на карикатуру. Г. В. В. оказывается родным братом императорско-королевских „штатс-социалистов“, г. Тихомиров—поставленным на голову анархистом.

Но такое неудобное положение нашего автора мало благоприятствует последовательности его мысли. Вот почему он и не доходит до тех выводов, до которых доходил когда-то М. А. Бакунин. Даже самые смелые порывы „революционной фантазии“ г. Тихомирова не простираются до уничтожения выгод предпринимателя. При организации „общественного“ производства, „предприниматель, как инициатор и способный распорядитель (от такой мотивировки не отказался-бы и сам Бастиа), приобретает все-таки некоторые выгоды, меньше, конечно, чем в настоящее время, но единственно ему доступные в то время“. Эта часть проекта „социалистической организации России“ как-то невольно напоминает, с одной стороны, ревнивое отношение мелко-буржуазного социалиста к большим „выгодам“ крупного предпринимателя, а с другой рекомендованное Фурье распределение дохода между трудом, капиталом и талантом. Не даром мы говорили, что некоторые разновидности „русского социализма“ представляют собою не более, как смесь Фурье со Стенькой Разиным.

Однако, во всем этом нет, по крайней мере, обмана, подумает читатель.

Обмана действительно нет, но есть самообман. Нет даже самомалейших дурных намерений, но есть огромная доля наивности. И заключается она ни в чем ином, как в толках о „социалистической организации обмена“. Для всякого понимающего дело эта последняя есть абсурд, „сапоги в смятку“. Только мелко-буржуазные последователи мелко-буржуазного Прудона могли принимать эту нелепость за нечто возможное и желательное. Но зато о Прудоне и говорили, что он столько же понимает в диалектике, сколько дровосек в ботанике. Созданный пролетариатом строй не может иметь ничего общего с обменом, он будет знать только распределение продуктов по потребностям трудящихся. (×)

Кто говорит обмен—говорит товар; кто оставляет товар—тот предполагает все свойственные товару противоречия. И опять таки только монархисты могли думать, со слов Прудона, что существует философский камень, дающий возможность устранить из „социалистического обмена“ все, заключающееся в обыкновенном обмене, „буржуазные“ противоречия.

Такого камня нет и быть не может, потому что обмен есть коренное неотъемлемое свойство буржуазного производства, а буржуазное производство есть необходимое следствие обмена. Карл Маркс еще в конце пятидесятых годов прекрасно выяснил эту сторону дела и тем оставил далеко назади современного движения науки мелко-буржуазные теории анархистов и бакунистов всех цветов и оттенков. Нужно не знать азбуки революционного социализма, чтобы основывать свои ожидания „от революции“ на социалистической организации обмена (×)

Нам важен общий вывод из всего предыдущего, вывод, который может быть формулирован так: все тихомировские ожидания „от революции“ представляют собою одно сплошное недоразумение и возврат передовой русской мысли на избитую дорогу бакунизма. Но „что было, то быльем

поросло, а что будет, то будет не по-старому, а по-новому", как говорит народная песня. Дискредитированный в семидесятых годах, бакунизм не оживет в восьмидесятых. Воскресить его не удастся „витиям" и более „громким", чем г. Тихомиров.

Те из читателей, которым покажется убедительным этот вывод, могут сделать нам новое и последнее возражение. Они могут сказать нам, что вся наша аргументация основывается на том предположении, что г. Тихомиров только подержит власть в своих руках, а не удержит ее на более долгое время. Что будет, если революционеры последуют указаниям Ткачева, а не Тихомирова, если оправдается мнение П. Л. Лаврова, который уже десять лет тому назад говорил, что „диктатуру вырывает из рук диктаторов только новая революция".

(X) Что будет тогда? О, тогда произойдет позорнейшее фиаско русской социалистической партии! Она вынуждена будет взяться за дело такой „организации", для которой у нее не хватит ни сил, ни понимания. Все соединится для того, чтобы нанести ей поражение: собственная неподготовленность, вражда высших сословий и сельской буржуазии, равнодушие народа к организаторским планам, общая неразвитость наших экономических отношений. Русская социалистическая партия даст лишь новый исторический пример для подтверждения мысли, высказанной Энгельсом по поводу крестьянской войны в Германии. „Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, является вынужденная необходимость овладеть властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. Возможное для такого вождя зависит не от его воли, а от уровня, достигнутого противоположностью интересов различных классов, уровня, в свою очередь, зависящего от степени развития материальных условий существования, отношений производства и обмена. С другой стороны, то, что такой вождь должен делать, то, чего требует от него его собственная партия, также зависит не от него, но в то же время и не от степени развития классовой борьбы и не от ее условий; он остается связанным своими прежними доктринами и требованиями, которые также вытекают не из взаимного положения общественных классов в данный момент, не от временных, более или менее случайных отношений производства и обмена,—но обусловливаются способностью этого вождя к пониманию общих результатов социального и политического движения. Таким образом, перед ним неизбежно вырастет неразрешимая дилемма: что он может сделать—противоречит всем его предыдущим поступкам, его принципами непосредственным интересам его партии; что он должен был бы делать—оказывается неисполнимым. Словом, он будет вынужден отстаивать не свою собственную партию, не свой собственный класс, а тот класс, для господства которого уже созрело движение. Он должен будет в интересах именно этого движения отстаивать интересы чуждого ему класса и отделываться от своего собственного класса фразами, обещаниями и уверениями в том, что интересы другого класса являются его собственными интересами. Кто раз попал в это ложное положение—тот пропал безвозвратно".

Отсюда следует, что очень заблуждается г. Тихомиров, воображающий, что захват власти революционерами послужил бы „исходным пунктом революции". Совершенно наоборот: такой „захват" послужил бы лишь сигналом реакции. Он не упрочил бы влияния передовых сил страны, но, истощивши их первой, бесплодной попыткой, он обеспечил бы торжество консервативных и реакционных партий. Русская революция не только отклонилась бы от дорогого и единственно понятного нашим якобинцам образца французской революции, но представляла бы, своим ходом, прямую противоположность этой последней. Между тем, как, до известного времени, каждая новая волна французской революции выносила на историческую арену новую, более крайнюю партию—наши доморощенные якобинцы свели бы к нулю соответствующий период русской революции. Разбитые и дискредитированные, они удалились бы со сцены под градом вражеских обвинений и насмешек, а оставшиеся без руководителей, нестройные и несплоченные массы народа не могли бы одолеть систематического сопротивления своих неприятелей. Народные восстания, в самом лучшем случае, окончились бы лишь низвержением остатков старого режима, не принеся трудящемуся классу тех реформ, которые касаются его интересов прямым и непосредственным образом.

По заключению Маркса, великие события дважды повторяются в истории: в первый раз они являются трагедией, во второй—фарсом. История французских якобинцев представляет собою величественную, полную жгучего интереса, трагедию. История же заговорщицких планов новейших бланкистов (русских и иностранных), несмотря на героизм отдельных личностей, остается фарсом, трагикомизм которого заключается в полной неспособности действующих лиц понять смысл и характер предстоящей рабочей революции.

XV. Реакционность экономических воззрений эпигонов народничества.

(Из статьи Н. Ленина: „От какого наследства мы отказываемся“, в его „Собрании сочинений“. Т. II. М. 1923 г., стр 312—340).

(×) В 1867-м году, в журнале: „Отеч. Записки“ начали печататься публицистические очерки Скалдина под заглавием: „В захолустьи и в столице“. Очерки эти печатались в течение трех лет, 1867—1869. В 1870-м году автор собрал их вместе и издал отдельной книгой под тем же заглавием. Ознакомление с этой книгой, почти совсем забытой в настоящее время, чрезвычайно поучительно по интересующему нас вопросу, т. е. по вопросу об отношении представителей „наследства“ к народникам и к „русским ученикам“. (×).

По характеру воззрений Скалдина можно назвать буржуа - просветителем. Его взгляды чрезвычайно напоминают взгляды экономистов XVIII века (разумеется, с соответственным преломлением их через призму русских условий), и общий „просветительный“ характер „наследства„ 60-х годов выражен им достаточно ярко. Как и просветители западноевропейские, как и большинство литературных представителей 60-х годов, Скалдин одушевлен горячей враждой к крепостному праву и в с е м е г о порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта „просветителя“. Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям,—горячая защита просвещения самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта „просветителя“ это—отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому. Эти три черты и составляют суть того, что у нас называют „наследством 60-х годов“, и важно подчеркнуть, ч т о н и ч е г о н а р о д н и ч е с к о г о в э т о м н а с л е д с т в е н е т. Есть не мало в России писателей, которые по своим взглядам подходят под указанные черты и которые не имели никогда ничего общего с народничеством. При наличности в миросозерцании писателя указанных черт, его всегда и все признают „сохранившим традиции 60-х годов“, совершенно независимо от того, как он относится к народничеству. Никто не вздумает, конечно, сказать, что, напр., г. М. Стасюлевич (×) „отрекся от наследства“,—на том основании, что он был противником народничества или относился безразлично к выдвинутым народничеством вопросам.

Мы взяли в пример Скалдина[1]) именно потому, что, будучи несомненным представителем „наследства“, он в то же время и безусловный враг тех учреждений старины, которые взяли под свою защиту народничество.

Мы сказали выше, что Скалдин — буржуа (×). Необходимо оговориться, что у нас зачастую крайне неправильно, узко, анти-исторично понимают это слово, связывая с ним (без различия исторических эпох) своекорыстную защиту интересов меньшинства. Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на западе и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного. Скалдин недаром цитирует в одном месте своей книги Адама Смита: мы видели, что и воззрения его и характер его аргументации во многом повторяют тезисы этого великого идеолога передовой буржуазии.

И вот, если мы сопоставим практические пожелания Скалдина, с одной стороны, с взглядами современных народников, а с другой стороны, с отношением к ним „русских учеников“, то мы увидим, что „ученики“ всегда будут стоять за поддержку пожеланий Скалдина, ибо эти пожелания выражают интересы прогрессивных общественных классов, насущные интересы всего общественного развития по данному, т. е. капиталистическому, пути. То же, что изменили народники в этих практических пожеланиях Скалдина, или в его постановке вопросов,—является минусом и отвергается „учеником“. Ученики „накидываются“ не на „наследство“ (это—вздорная выдумка), а на романтические и мелко-буржуазные прибавки к наследству со стороны народников. К этим прибавкам мы теперь и перейдем. (×).

Под народничеством мы разумеем систему воззрений, заключающую в себе следующие три черты; 1) признание капитализма в России упадком, регрессом. Отсюда стремления и пожелания „задержать“, „остановить“, „прекратить ломку“ капита-

[1]) Нам возразят, пожалуй, что Скалдин не типичен для 60-х годов по своей вражде к общине и по своему тону. Но дело тут вовсе не в одной общине. Дело в общих всем просветителям воззрениях, которые разделяет и Скалдин. Что же касается до его тона, то он действительно, пожалуй, не типичен по своей спокойной рассудительности, умеренности, постепеновщине и т. д. Недаром Энгельс назвал Скалдина liberal konservativ (либерал-консерватором). Однако, взять представителя наследства с более типичным тоном было бы, во-первых, неудобно по разным причинам, а во-вторых, могло бы породить недоразумение при параллели с современным народничеством. По самому характеру нашей задачи, тон (в противоположность пословице) не делает музыки, и нетипичный тон Скалдина тем резче выделяет его „музыку“, т. е. содержание его взглядов. А нас только это содержание и интересует. Только по содержанию взглядов (отнюдь не по тону писателей) мы и намерены провести параллель между представителями наследства и народниками современной эпохи.

лизмом вековых устоев и т. п. реакционные вопли. 2) Признание самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с его общиной, артелью и т. п. в частности. К русским экономическим отношениям не считают нужным применять выработанные современной наукой понятия о различных общественных классах и их конфликтах. Общинное крестьянство рассматривается, как нечто высшее, лучшее сравнительно с капитализмом; является идеализация „устоев". Среди крестьянства отрицаются и затушевываются те же противоречия, которые свойственны всякому товарному и капиталистическому хозяйству, отрицается связь этих противоречий с более развитой формой их в капиталистической промышленности и в капиталистическом земледелии. 3) Игнорирование связи „интеллигенции" и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов, отрицание этой связи, отсутствие материалистического об'яснения этих социальных факторов заставляет видеть в них силу, способную „тащить историю по другой линии" (г. В. В.), „свернуть с пути" (г. Н—он, г. Южаков и т. д.) и т. п. (×).

Обращаясь к вышеочерченным основным воззрениям народничества, мы должны прежде всего констатировать, что „наследство" совершенно не причем в этих воззрениях. Есть целый ряд несомненных представителей и хранителей „наследства", которые не имеют ничего общего с народничеством, вопроса о капитализме вовсе и не ставят, в самобытность России, крестьянской общины и т. п. вовсе не верят, в интеллигенции и в юридико-политических учреждениях никакого фактора, способного „свернуть с пути", не усматривают. Мы назвали выше для примера издателя-редактора „Вестника Европы", которого в чем другом, а в нарушении традиции наследства обвинять нельзя. Наоборот, есть люди, подходящие по своим воззрениям под указанные основные принципы народничества и при этом прямо и открыто „отрекающиеся от наследства",— назовем хоть того же г-на Я. Абрамова 123, которого указывает и г. Михайловский, или г. Юзова (×). Есть хранители „наследства" не-народники, и есть народники, „отрекшиеся от наследства". Разумеется, есть и народники, хранящие „наследство" или претендующие на хранение его. Поэтому-то мы и говорим о связи наследства с народничеством. Посмотрим же, что дала эта связь.

Во-первых, народничество сделало крупный шаг вперед против наследства, поставив перед общественной мыслью на разрешение вопросы, которых хранители наследства частью еще не могли (в их время) поставить, частью же не ставили и не ставят по свойственной им узости кругозора. Постановка этих вопросов есть крупная историческая заслуга народничества, и вполне естественно и понятно, что народничество, дав (какое ни на есть) решение этим вопросам, заняло тем самым передовое место среди прогрессивных течений русской общественной мысли.

Но решение этих вопросов народничеством оказалось никуда не годным, основанным на отсталых теориях, давно уже выброшенных за борт Зап. Европой, основанным на романтической и мелко-буржу-

азной критике капитализма, на игнорировании крупнейших фактов русской истории и действительности. Покуда развитие капитализма в России и свойственных ему противоречий было еще очень слабо, эта примитивная критика капитализма могла держаться. Современному же развитию капитализма в России, современному состоянию наших знаний о русской экономической истории и действительности, современным требованиям от социологической теории народничество безусловно не удовлетворяет. Бывши в свое время явлением прогрессивным, как первая постановка вопроса о капитализме, народничество является теперь теорией реакционной и вредной, сбивающей с толку общественную мысль, играющей на руку застою и всяческой азиатчине. Реакционный характер народнической критики капитализма придал народничеству в настоящее время даже такие черты, которые ставят его ниже того миросозерцания, которое ограничивается верным хранением наследства. Что это так,—мы постараемся показать сейчас на разборе каждой из отмеченных выше трех основных черт народнического миросозерцания.

Первая черта—признание капитализма в России упадком, регрессом. Как только вопрос о капитализме в России был поставлен, очень скоро выяснилось, что наше экономическое развитие есть капиталистическое, и народники об'явили это развитие регрессом, ошибкой, уклонением с пути, предписываемого якобы всей исторической жизнью нации, от пути, освященного якобы вековыми устоями и т. п. и т. д. Вместо горячей веры в просветителей в данное общественное развитие явилось недоверие к нему, вместо исторического оптимизма и бодрости духа—пессимизм и уныние, основанные на том, что чем дальше пойдут дела так, как они идут, тем хуже, тем труднее будет решить задачи, выдвигаемые новым развитием; являются приглашения „задержать“ и „остановить“ это развитие, является теория, что отсталость есть счастье России и т. д. С „наследством“ все эти черты народнического миросозерцания не только не имеют ничего общего, но прямо противоречат ему. Признание русского капитализма „уклонением с пути“, упадком и т. п. ведет к извращению всей экономической эволюции России, к извращению той „смены“, которая происходит перед нашими глазами. Увлеченный желанием задержать и прекратить ломку вековых устоев капитализмом, народник впадает в поразительную историческую бестактность, забывает о том, что позади этого капитализма нет ничего, кроме такой же эксплоатации в соединении с бесконечными формами кабалы и личной зависимости, отягчавшей положение трудящегося, ничего кроме рутины и застоя в общественном производстве, а следовательно и во всех сферах социальной жизни. Сражаясь с своей романтической, мелько-буржуазной точки зрения против капитализма, народник выбрасывает за борт всякий исторический реализм, сопоставляя всегда действительность капитализма с вымыслом до-капиталистических порядков. „Наследство“ 60-х годов с их горячей верой в прогрессивность данного общественного развития, с их беспощадной враждой, всецело и исключительно направленной против остатков старины, с их убеждением, что стоит только вымести дочиста эти остатки, и дела пойдут как нельзя лучше,—это „наследство“ не

только не при чем в указанных воззрениях народничества, но прямо противоречит им.

Вторая черта народничества—вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и т. п. Учение о самобытности России заставило народников хвататься за устарелые западно-европейские теории, побуждало их относиться с поразительным легкомыслием к многим приобретениям западно-европейской культуры: народники успокаивали себя тем, что если мы не имеем тех или других черт цивилизованного человечества, то за то „нам суждено“ показать миру новые способы хозяйничанья и т. п. Тот анализ капитализма и всех его проявлений, который дала передовая западно-европейская мысль, не только не принимался по отношению к Святой Руси, а, напротив, все усилия были направлены на то, чтобы придумать отговорки, позволяющие о русском капитализме не делать тех же выводов, какие сделаны относительно европейского. Народники расшаркивались перед авторами этого анализа и... и продолжали себе преспокойно оставаться такими же романтиками, против которых всю жизнь боролись эти авторы. Это общее всем народникам учение о самобытности России опять таки не только не имеет ничего общего с „наследством“, но даже прямо противоречит ему. „60-ые годы“, напротив, стремились европеизировать Россию, верили в приобщение ее к общеевропейской культуре, заботились о перенесении учреждений этой культуры и на нашу, вовсе не самобытную, почву. Всякое учение о самобытности России находится в полном несоответствии с духом 60-х годов и их традицией. Еще более не соответствует этой традиции народническая идеализация, подкрашивание деревни. Эта фальшивая идеализация, желавшая во что бы то ни стало видеть в нашей деревне нечто особенное, вовсе непохожее на строй всякой другой деревни во всякой другой стране в период до-капиталистических отношений,—находится в самом вопиющем противоречии с традициями трезвого и реалистического наследства. Чем дальше и глубже развивался капитализм, чем сильнее проявлялись в деревне те противоречия, которые общи всякому товарно-капиталистическому обществу, тем резче и резче выступала противоположность между сладенькими росскаэнями народников об „общинности“, „артельности“ крестьянина и т. п., с одной стороны,—и фактическим расколом крестьянства на деревенскую буржуазию и сельский пролетариат, с другой; тем быстрее превращались народники, продолжавшие смотреть на вещи глазами крестьянина, из сентиментальных романтиков и идеологов мелкой буржуазии, ибо мелкий производитель в современном обществе превращается в товаропроизводителя. Фальшивая идеализация деревни и романтические мечтания насчет „общинности“ вели к тому, что народники с крайним легкомыслием относились к действительным нуждам крестьянства, вытекающим из данного экономического развития. В теории можно было, сколько угодно, говорить о силе устоев, но на практике каждый народник прекрасно чувствовал, что устранение остатков старины, остатков дореформенного строя, опутывающих и по сию пору с ног до головы наше крестьянство, откроет дорогу именно капиталистическому, а не какому другому развитию. Лучше застой, чем капиталистический прогресс—

такова, в сущности, точка зрения каждого народника на деревне, хотя, разумеется, далеко не всякий народник с наивной прямолинейностью г-на В. В. решится открыто и прямо высказать это. „Крестьяне, прикованные к наделам и обществам, лишенные возможности употреблять свой труд там, где он оказывается производительнее и для них выгоднее, как бы застыли в той скученной, стадообразной, непроизводительной форме быта, в которой они вышли из рук крепостного права". Так смотрел один из представителей „наследства" с своей характерной точки зрения „просветителя".—„Пускай лучше крестьяне продолжают застывать в своей рутинной, патриархальной форме быта, чем расчищать дорогу для капитализма в деревне"—так смотрит, в сущности, каждый народник. В самом деле, не найдется, вероятно, ни одного народника, который бы решился отрицать, что сословная замкнутость крестьянской общины с ее круговой порукой и с запрещением продажи земли и отказа от надела стоит в самом резком противоречии с современной, экономической действительностью, с современными товарно-капиталистическими отношениями и их развитием. Отрицать это противоречие невозможно, но вся суть в том, что народники, как огня, боятся такой постановки вопроса, такого сопоставления юридической обстановки крестьянства с экономической действительностью, с данным экономическим развитием. Народник упорно хочет верить в несуществующее и романтически сфантазированное им развитие без капитализма, и поэтому... поэтому он готов задерживать данное развитие, идущее путем капиталистическим. К вопросам о сословной замкнутости крестьянской общины, о круговой поруке, о праве крестьян продавать землю и отказываться от надела народник относится не только с величайшей осторожностью и боязливостью за судьбу „устоев" (устоев рутины и застоя); мало того, народник падает даже до такой степени низко, что приветствует полицейское запрещение крестьянам продавать землю. „Мужик глуп",—можно сказать такому народнику словами Энгельгардта—„сам собою устроиться не может. Если никто о нем не позаботится,—он все леса сожжет, всех птиц перебьет, всю рыбу выловит, землю попортит и сам весь перемрет". Народник здесь уже прямо „отказывается от наследства", становясь реакционным. И заметьте притом, что это разрушение сословной замкнутости крестьянской общины по мере экономического развития становится все более и более настоятельной необходимостью для сельского пролетариата, тогда как для крестьянской буржуазии неудобства, проистекающие отсюда, вовсе не так значительны. „Хозяйственный мужичек" легко может арендовать землю на стороне, открыть заведение в другой деревне, с'ездить куда угодно на любое время по торговым делам. Но для „крестьянина", живущего главным образом продажей своей рабочей силы, прикрепление к наделу и к обществу означает громадное стеснение его хозяйственной деятельности, означает невозможность найти более выгодного нанимателя, означает необходимость продавать свою рабочую силу именно местным покупателям ее, дающим всегда дешевле и изыскивающим всяческие способы кабалы.—Поддавшись раз во власть романтическим мечтаниям, задавшись целью поддержать и охранить устои вопреки экономическому развитию, на-

родник незаметно для самого себя скатился по этой наклонной плоскости до того, что очутился рядом с аграрием, который от всей души жаждет сохранения и укрепления „связи крестьянина с землей". Стоит вспомнить хотя бы о том, как эта сословная замкнутость крестьянской общины породила особые способы найма рабочих: рассылку хозяевами заводов и экономий своих приказчиков по деревням, особенно недоимочным, для наиболее выгодного найма рабочих. К счастью, развитие земледельческого капитализма, разрушая „оседлость" пролетария (таково действие так-наз. отхожих земледельческих промыслов), постепенно вытесняет эту кабалу вольным наймом.

Другое, пожалуй, не менее рельефное подтверждение нашего приложения о вреде современных народнических теорий дает тот факт, что среди народников обычное явление—идеализация отработков. (X).

Энгельгардт, совершивши свое народническое грехопадение, дописался до того, что „хорошо было бы" развивать в деревне отработки. То же самое находили мы в знаменитом проекте г. Южакова и земледельческих гимназиях („Русское Богатство" 1895 № 5). Такой же идеализации предавался в серьезных экономических статьях сотрудник Энгельгардта по журналу, г. В. В., который утверждал, что крестьянин одержал победу над помещиком, желавшим будто бы ввести капитализм; но беда состояла в том, что крестьянин брался обработать земли помещика, получая за это от него землю „в аренду",— т. е. восстановлял совершенно тот же самый способ хозяйства, который был и при крепостном праве. Это—самые резкие примеры реакционного отношения народников к вопросам нашего земледелия. (X).

Третья характерная черта народничества—игнорирование связи „интеллигенции" и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов—находится в самой неразрывной связи с предыдущими: только это отсутствие реализма в вопросах социологических и могло породить учение об „ошибочности" русского капитализма и о возможности „свернуть с пути". Это воззрение народничества опять таки не стоит ни в какой связи с „наследством" и традициями 60-х годов, а, напротив, прямо противоречит этим традициям. Из этого воззрения естественно вытекает такое отношение народников к многочисленным остаткам дореформенной регламентации в русской жизни, которое ни в каком случае не могли бы разделить представители „наследства". (X).

Отсутствие социологического реализма, кроме указанной в высшей степени важной ошибки народников, ведет также у них к той особой манере мышления и рассуждения об общественных делах и вопросах, которую можно назвать узко-интеллигентным самомнением или, пожалуй, бюрократическим мышлением. Народник рассуждает всегда о том, какой путь для отечества должны „мы" избрать, какие бедствия встретятся, если „мы" направим отечество на такой то путь, какие выходы могли бы „мы" себе обеспечить, если бы мы миновали опасностей пути, которым пошла старуха-Европа, если бы „взяли хорошее" и из Европы, и из нашей исконной общинности и т. д. и т. п. Отсюда полное недоверие и пренебрежение народника к само-

стоятельным тенденциям отдельных общественных классов, творящих историю сообразно с их интересами. Отсюда то поразительное легкомыслие, с которыми пускается народник (забыв об окружающей его обстановке) во всевозможное социальное прожектерство, начиная от какой-нибудь „организации земледельческого труда“ и кончая „обмирщением производства“ стараниями нашего „общества“ (×). По мере расширения и углубления исторического творчества людей должен возрастать и размер той массы населения, которая является сознательным историческим деятелем. Народник же всегда рассуждал о населении вообще и о трудящемся населении в частности, как об об'екте тех или других более или менее разумных мероприятий, как о материале, подлежащем направлению на тот или иной путь, и никогда не смотрел на различные классы населения, как на самостоятельных исторических деятелей при данном пути, которые могут развивать (или наоборот парализовать) самостоятельную и сознательную деятельность этих творцов истории.

Итак, хотя народничество сделало крупный шаг вперед против „наследства“ просветителей, поставив вопрос о капитализме в России, но данное им решение этого вопроса оказалось настолько неудовлетворительным, вследствие мелко-буржуазной точки зрения и сентиментальной критики капитализма, что народничество по целому ряду важнейших вопросов общественной жизни оказалось позади по сравнению с „просветителями“. Присоединение народничества к наследству и традициям наших просветителей оказалось в конце концов минусом: тех новых вопросов, которые поставило перед русской общественной мыслью пореформенное экономическое развитие России, народничество не решило, ограничившись по поводу их сентиментальными и реакционными ламентациями, а те старые вопросы, которые были поставлены еще просветителями, народничество загромоздило своей романтикой и задержало их полное разрешение.

Мы можем теперь подвести итоги нашим параллелям. Попытаемся охарактеризовать вкратце отношения каждого из указанных в заголовке течений общественной мысли друг к другу.

Просветитель верит в данное общественное развитие, ибо не замечает свойственных ему противоречий. Народник боится данного общественного развития, ибо он заметил уже эти противоречия. „Ученик“ верит в данное общественное развитие, ибо он видит залоги лучшего будущего лишь в полном развитии этих противоречий. Первое и последнее направление стремятся поэтому поддержать, ускорить, облегчить развитие по данному пути, устранить все препятствия, мешающие этому развитию и задерживающие его. Народничество, наоборот, стремится задержать и остановить это развитие, боится уничтожения некоторых препятствий развитию капитализма. Первое и последнее направление характеризуются тем, что можно назвать историческим оптимизмом: чем дальше и чем скорее дела пойдут так, как они идут, тем лучше. Народничество, наоборот, естественно ведет к историческому пессимизму: чем дальше дела пойдут так, тем хуже. „Просветители“ вовсе не ставили вопросов о характере пореформенного развития, ограничиваясь исключительно войной против остатков дореформенного строя, ограничиваясь отрицательной задачей расчистки пути для европейского развития России. Народни-

чество поставило вопрос о капитализме в России, но решило его в смысле реакционности капитализма и потому не могло целиком воспринять наследства просветителей: народники всегда вели войну против людей, стремившихся к европеизации России вообще, с точки зрения „единства цивилизации", вели войну не потому только, что они не могли ограничиться идеалами этих людей (такая война была бы справедлива), а потому, что они не хотели итти так далеко в развитии данной, т. е. капиталистической, цивилизации. „Ученики" решают вопрос о капитализме в России в смысле его прогрессивности и потому не только могут, но и должны целиком принять наследство просветителей, дополнив это наследство анализом противоречий капитализма с точки зрения бесхозяйных производителей. Просветители не выделяли, как предмет своего особенного внимания, ни одного класса населения, говорили не только о народе вообще, но даже и о нации вообще. Народники желали представлять интересы труда, не указывая однако определенных групп в современной системе хозяйства; на деле они становились всегда на точку зрения мелкого производителя, которого капитализм превращает в товаропроизводителя. „Ученики" не только берут за критерий интересы труда, но при этом указывают совершенно определенные экономические группы капиталистического хозяйства, именно бесхозяйных производителей. Первое и последнее направление соответствуют, по содержанию своих пожеланий, интересам тех классов, которые создаются и развиваются капитализмом; народничество по своему содержанию соответвтвует интересам класса мелких производителей, мелкой буржуазии, которая занимает промежуточное положение среди других классов современного общества. Поэтому противоречивое отношение народничества к „наследству" вовсе не случайность, а необходимый результат самого содержания народнических воззрений: мы видели, что одна из основных черт воззрений просветителей состояла в горячем стремлении к европеизации России, а народники никак не могут, не переставая быть народниками, разделить вполне это стремление.

В конце концов мы получили, следовательно, тот вывод, который не раз был уже нами указан по частным поводам выше, именно, что ученики—гораздо более последовательные, гораздо более верные хранители наследства, чем народники. Не только они не отрекаются от наследства, а, напротив, одной из главнейших своих задач считают опровержение тех романтических и мелко-буржуазных опасений, которые заставляют народников по весьма многим и весьма важным пунктам отказываться от европейских идеалов просветителей. Но само собой разумеется, что „ученики" хранят наследство не так, как архивариусы хранят старую бумагу. Хранить наследство—вовсе не значит еще ограничиться наследством, и к защите общих идеалов европеизма „ученики" присоединяют анализ тех противоречий, которые заключают в себе наше капиталистическое развитие и оценку этого развития с вышеуказанной специфической точки зрения.

XVI. Рабочее движение 70 и 80-х гг.

(Из статьи Л. Мартова: „Развитие крупной промышленности и рабочее движение до 1892 г.“, в VI т.—„Истории России в XIX в.“. Изд. Гранат, Стр. 118—150).

I.

Стачечное движение в 70—80-х годах.

Условия, при которых совершилось освобождение крестьян, отразились непосредственно на экономическом положении фабрично-заводского пролетариата. Разоренная деревня высылала в города и промышленные центры новые и новые толпы пролетариев, обостряя конкуренцию среди рабочего населения. В то же время быстрое введение усовершенствованных способов производства сокращало относительно спрос на рабочие руки, обесценивало профессиональную квалифицированность рабочего, создавало ему конкурентов в лице женщин и детей и ослабляло силу его сопротивления фабриканту. И то же техническое развитие фабрики, убивая конкурировавшие с нею кустарные промыслы и ремесла, приводило к новому переполнению рабочего рынка избыточными руками.

За первые 20 лет после освобождения крестьян наблюдается крайне слабое движение вверх номинальной заработной платы фабричных рабочих при одновременном возрастании цен на жизненные продукты, являвшемся естественным результатом развития капитализма и городской жизни. Таким образом, реальная заработная плата падала. Так, для Шуйского уезда, Владимирской губернии мы, переводя месячную плату на пуды ржаной муки по ценам соответствующих лет, получим следующее изменение реальной заработной платы различных категорий рабочих:

	1856—57 гг.	1883 г.	% понижения или повышения.
Прядильщики	26,0	14,9	— 43%
Ставильщики	6,2	5,1	— 18%
Набойщики	17,2	11,7	— 32%
Ткачи механич.	20,2	10,7	— 47%
Ткачи ручные	11,9	5,8	— 52%
Кузнецы	16,4	21,4	+ 30%
Слесаря	21,7	19,4	— 10%
Столяры	20,1	26,3	+ 31%
Банкоброшницы	9,8	7,3	— 25%
Мотальщицы	16,1	10,3	— 36%

За исключением кузнецов и столяров, все категории испытали сильное понижение реальной заработной платы. То же мы видим и в г. Иваново-Вознесенске, где заработок механических ткачей, выраженный в пудах хлеба, упал за этот период времени с 23,2 до 13,7 (понижение на 41%), заработок набойщиков с 17,3 до 11,7, а прядильщиков—с 26 до 14,9.

Заработной плате соответствовали и прочие условия фабричного труда. В прядильных и ткацких фабриках Иваново-Вознесенска и Шуи в начале 80-х гг. практиковалась 12-ти часовая работа, а на ситцепечатных фабриках $13^1/_2$ и даже $14^1/_2$ часов; при этом применялись сверхурочные работы, удлинявшие рабочий день фактически до 18—20-ти часов. В Виленском фабричном округе в 1885 году инспекция констатировала, как обычное явление для кожевенных заводов, рабочий день в 13 часов, а для текстильного производства—до 16 часов реальной работы. На спичечных фабриках „рабочий день начинается летом с восходом солнца и заканчивается с его закатом".

В. В. Святловский констатирует, что по 16—17-ти часов в сутки работают мелкие ватные и костопальные заводы, а по 18-ти спичечные, парусино-ткацкие и овчино-шубные в московском и харьковском фабричных округах. В джутовом и кирпичном производствах обычен 15-ти часовой рабочий день, встречающийся также и в шерсто-и бумаго-прядильнях московского округа. Пробочные фабрики обыкновенно работают по 13—14-ти часов в сутки (X).

Ночная работа была распространена чрезвычайно сильно. Ночью работали почти на всех текстильных фабриках московско-владимирского района; в харьковском округе треть всех рабочих (преимущественно на сахарных заводах) работала ночью. В Польше ночная работа была общим правилом в заводах сосновицкого округа и на сахарных заводах.

Воскресный отдых нередко не превышал 12-ти часов, как это было, напр., на фабрике Саввы Морозова в с. Никольском (Орехово-Зуеве).

Во все время пореформенного периода наблюдается развитие системы штрафов на фабрике, являясь, с одной стороны, реакцией фабрикантов на повышающуюся чувствительность и самосознание рабочего; с другой—методом приспособления капиталистов к колебаниям промышленности, позволявшим им ослаблять на счет рабочих действие периодов кризиса или застоя. Штрафование в размере трети месячного заработка было в начале 80-х гг. обычным на заводах Юза. На чудовищное развитие системы штрафов единодушно обращает внимание вся литература конца 70-х и начала 80-х гг., посвященная быту фабрично-заводских рабочих (см. особенно у Янжула, Микулина, Святловского, Пескова), а проф. Янжул прямо высказывает убеждение, что на фабриках средней России штрафы составляют изрядную статью дополнительного дохода фабрикантов. Само правительство в 1886 году признало штрафные операции фабрикантов „неблаговидными" (в мотивировке законопроекта 3 июня 1886 г.).

Не менее, если не более доходную статью составляла система расплаты товарами из хозяйских лавок. Эта система вызвала особен-

ное раздражение рабочих, так как не только чувствительно сокращала их заработок, но и давала повод к постоянным злоупотреблениям худшего рода. Сроки расплаты также давали пищу для неудовольствия рабочих. В начале 80-х гг., по данным Янжула, Пескова и Святловского, только на 11,5% фабрик применялся еженедельный срок расплаты, на 4,4%—2 или 3 раза в месяц, на 40,7%—ежемесячный и на 43,5%—более продолжительный срок или же вовсе неопределенный. К этому надо прибавить систему удерживания конторой части заработка при расплате, весьма распространенную, особенно в центральном районе.

Ужасные гигиенические условия работы и жизни в фабричных казармах дополняют эту картину обстановки промышленного пролетариата в период 60—80-х гг., вместе с профессиональными заболеваниями и чрезвычайным обилием травматических повреждений, после которых рабочие и их семьи не получали обыкновенно никакого обеспечения.

Тягостные сами по себе и, как мы видели, ухудшившиеся условия труда русских рабочих должны были вызвать, и действительно вызвали, с их стороны ряд волнений, которые, за немногими исключениями, носили тот же характер, что и „беспорядки" фабричных рабочих в дореформенную эпоху. Уже в 1865 г. происходят какие-то волнения рабочих в Орехове-Зуеве. В 1870 г. пресса обращает внимание на ряд вспыхнувших в этом году стачек (прядильщики и портные в Петербурге, одна фабрика в Варшаве, ткачи в Белостоке, суконщики в с. Сетунь под Москвой и доковые рабочие в Кронштадте) и впервые заговаривает о „рабочем вопросе" в России, как о вопросе отношений между наемным трудом и капиталом (X).

За этот период, с 1865 до 1877 г., зарегистрированные литературой стачки должны были охватывать около 20 тысяч рабочих. Их главным мотивом являлся протест против особенно вопиющих, из ряда выходящих злоупотреблений фабрикантов, особенно в области штрафов и других вычетов из заработной платы. Характер движения был стихийный и судорожный, элемент сознательности в нем еще очень слаб.

К концу этого периода, впрочем, относится событие, указавшее русскому обществу на наличность более серьезного брожения в рядах рабочих. В организованной революционным обществом „Земли и Воли" демонстрации на Казанской площади в Петербурге (6 декабря 1876 г.) приняло участие до 200 рабочих. Но массы петербургских рабочих эта манифестация, конечно, не коснулась.

Средина 70-х гг. была временем промышленного застоя. С 1878 г. начинается промышленное оживление. Этим, очевидно, об'ясняется учащение стачек, наблюдаемое с 1878 г. Стачки в большинстве случаев продолжают носить со стороны рабочих оборонительный характер, в отличие от стран с развитым и организованным рабочим движением, где периоды промышленного под'ема являются периодами агрессивного экономического движения рабочих. Если, при всей несознательности рабочих масс, в этот период экономического под'ема происходят оборонительные стачки, то причиной этого являлась тенденция капиталистов даже и при благоприятной промышленной

кон'юнктуре посягать на уже установившиеся условия найма (особенно на нормы расценок). С другой стороны, благодаря промышленному процветанию, рабочие, в случаях известных нам за этот период стачек, легче, чем в предыдущий период, добивались удовлетворения всех требований, несмотря на то, что к этому времени введения в разных местах России исключительных правил и учреждения генерал-губернаторств, давление администрации на стачечников проявлялось еще более сурово, чем прежде. В связи с большой легкостью, с которой стачечники добивались успеха, стоит, очевидно, менее значительное, чем в предыдущий период, количество случаев, когда мирная стачка осложнялась разгромом зданий и подобными явлениями массового терроризма.

Не следует также упускать из виду, что рассматриваемый период (1878—1881 гг.) был временем общественного оживления, роста оппозиционного движения имущих классов, студенческих волнений и разгара революционной борьбы „Земли и Воли" и „Народной Воли". Эти обстоятельства несомненно сказались на настроении рабочих масс, обострив их чувствительность, как это, между прочим, видно из некоторых правительственных документов того времени, напр., из всеподданнейшего отчета харьковского губернатора за 1878 г. К тому же на фабриках и заводах крупных центров в то время были рассеяны элементы, входившие в состав революционных обществ и оказавшие на массу то или иное воздействие в моменты брожения.

В 29 стачках, сведения о которых мы могли собрать за период трех лет 1878—1880 гг., приняло участие от 30 до 35 тысяч рабочих (X).

В 1881 г. в промышленности наступает застой, обостренный последовавшими в 1882—1884 гг. кризисами во Франции и Соединенных Штатах. Застой длился вплоть до 1887 г. и вызвал еще неизвестные в России бедствия рабочего класса. В статье „Хроника рабочего труда в России" С. Приклонского приводятся такие данные о состоянии рабочего рынка в 1881 г.: на 4 фабриках и заводах Петербурга из 6700 рабочих рассчитано 4300; в Александровском уезде Владимирской губ. осталось без работы 9000 рабочих, занятых размоткой шелка. На Ярцевской фабрике Хлудова рассчитано 2000 рабочих; в Костромской губ. число рабочих сократилось на $^1/_3$; в пос. Клинцах (Черниговской губ.) на 40%, а заработная плата понижена на $^1/_3$—$^1/_2$. На 20% понижена плата в мануфактурах Твери, где также часть рабочих рассчитана; в Иваново-Вознесенске массовые расчеты и увеличение штрафов, как метод фактического понижения платы; в Ржеве и его округе до 12000 прядильщиков пеньки без работы; сокращение работ на Мальцевских заводах и в селе Павлове, где недельный заработок кустарей упал с 2 р. 50 к. до 80 к. В 1882 г., по свидетельству Туган-Барановского, в Варшаве летом было 20.000 безработных.

За 6 лет (1881—1886) можно найти в литературе упоминание о 48 более или менее значительных стачках, охвативших более 80.000 рабочих. В действительности количество стачек было значительно б о л ь ш и м; есть много данных, указывающих на то, что

специально во Владимирском промышленном районе в средине 80-х гг. происходил ряд стачек, о которых точных сведений в печати не появлялось.

Значительное большинство стачек этого периода имело прямой или косвенной причиной понижение расценок; во втором случае дело шло о борьбе против возрастающих штрафов—скрытая форма понижения платы — или за смену мастеров, применявших штрафы и вычеты (×).

Стачки этого периода отличались и многочисленностью участников, и остротой своей формы. Железно-дорожные мастеровые Варшавско-Венской дороги, забастовав, произвели уличные беспорядки. При стачке в Жирардове в декабре 1882 г. произошло столкновение 8000 стачечников с войсками; солдаты стреляли, убив 3-х и ранив 13 стачечников. Во время стачки в Николаевских мастерских в Москве в январе 1884 г. рабочие избили помощника начальника. Декабрьская стачка того же года на Вознесенской мануфактуре сопровождалась разгромом, были вызваны войска, и 115 стачечников подверглись высылке. Разгром произведен был также ткачами Морозовской мануфактуры в Твери и орехово-зуевскими ткачами Саввы Морозова, а также рабочими завода Кузнецова.

Рядом с этими проявлениями резкого классового возмущения замечается более организованный характер стачек и более сознательное формулирование требований (×).

Пример чрезвычайной для того времени организованности и планомерности представляла собой знаменитая стачка на Никольской мануфактуре Саввы Морозова. Ей предшествовала агитационная деятельность рабочих Мосеенко, Волкова и Иванова, которые явились и руководителями самой забастовки. План стачки был выработан на предварительных собраниях влиятельных рабочих. Прибывшему в начале стачки губернатору Волков, в качестве делегата, пред'явил тщательно разработанные требования стачечников, заключавшие в себе возвращение штрафов за несколько лет, нормировку их в будущем (не свыше 50% заработка), регулирование браковки товара, вознаграждение за забастовку и организованное представительство рабочих в лице избранных ими старост. Во время забастовки вожди стачечников старались поддержать среди них полный порядок: происшедший 9 января разгром был делом безработных и хулиганов. Арест Волкова вызвал попытку отбить его силой. Стачка закончилась двумя судебными процессами и высылкой 800 рабочих, но тетрадь требований, пред'явленная Волковым, послужила материалом для последовавшего фабричного законодательства (×).

Начавшееся в 1887 г. промышленное оживление, вместе с изданием ряда фабричных законов и введением фабричной инспекции, значительно ослабило интенсивность рабочего движения. За период с 1887 по 1889 год количество стачек очень незначительно (×).

II.

Правительство и рабочий вопрос до начала 90-х годов.

Промышленный кризис начала 80-х годов с сопровождавшей его острой безработицей, равно как и многочисленные волнения ра-

бочих и участие отдельных единиц из их среды в сенсационных политических процессах—все это выдвинуло рабочий вопрос на видное место в ряду вопросов, занимавших внимание общества. Периодическая литература впервые посвящает сравнительно много места рабочему вопросу. В январьской книжке умеренно-либеральной „Русской Речи“ за 1881 г. указывается на то, что до последнего времени думали, что рабочего вопроса в России не существует; однако, волнения последних лет и особенно появление на скамье подсудимых по политическим делам таких личностей, как Пресняков, Окладский и Тихонов, показывают, что Россия в этом отношении мало отличается от других стран.

„Долго замалчиваемый у нас рабочий вопрос, — писал С. Приклонский,—как будто вырос из земли и предстал пред нашими глазами в то время, когда продолжительный промышленный кризис ухудшил положение рабочих“.

Вместе с тем усиленное внимание обратило на рабочий вопрос и правительство Александра III. 80-е годы положили начало развитию фабричного законодательства (X).

1 июня 1882 г. издан был закон о работе малолетних, запрещавший фабричную работу для детей, не достигших 12-ти летнего возраста, и ночную, праздничную и воскресную работу детей вообще, а для дневной работы детей в возрасте 12—15 лет установивший 8-ми час. норму, возложив при этом на фабрикантов обязательство предоставить время для посещения школы. Вместе с тем, создана была, наконец, в России фабричная инспекция, но количественный состав ее был настолько незначителен, что она лишь в самой ничтожной степени могла следить за исполнением закона. Введение последнего в действие было, в интересах фабрикантов, отсрочено на 2 года.

Этот первый русский фабричный закон с самого начала оставался позади не только требований гигиенистов, но и пожеланий представителей наиболее передовых отраслей крупной промышленности. Запрещения ночной работы,—и не только для детей, но и для женщин, — требовали представители петербургских бумаго-прядилен, настаивая на том, что лишь такая мера предотвратит возможность чрезвычайного, носящего спекулятивный характер, расширения производства в моменты оживления рынка.

Те же фабриканты находили возможным нормирование рабочего дня взрослых мужчин 70 часами в неделю. Прибалтийские и польские фабриканты держались тех же взглядов. Но капиталистическая буржуазия московско-владимирского района, не вышедшая еще в сфере приемов эксплоатации из периода первоначального накопления, не шла ни на какие реформы, и, так как она составляла в то время один из главных оплотов воцарившейся в правительственных сферах воинствующей реакции [1]), последние не решались пойти дальше того, что составило содержание закона 1882 года, при чем в 1884 г. были еще изданы правила об из'ятиях из этого закона для некоторых производств.

Однако, усиливавшиеся волнения рабочих не позволили остано-

[1]) Связь М. Н. Каткова с крупной буржуазией никогда не прерывалась.

виться на этих полумерах. 4 февраля 1885 г. в отношении к министру финансов глава тогдашнего правительства мин. вн. дел гр. Д. Толстой, писал:

„Исследование местными властями причин... стачек рабочих обнаружило, что они грозили принять размер серьезных волнений и произошли, главным образом, вследствие отсутствия в нашем законодательстве общих постановлений, на основании коих могли бы определиться взаимные отношения фабрикантов и рабочих. Такой пробел в законодательстве, обусловливая разнообразные порядки на фабриках, открывал широкий простор произвольным, клонящимся к ущербу рабочих, распоряжениям фабрикантов и ставил первых в крайне тяжелое положение: несоразмерно высокие штрафы в виду временного упадка промышленной деятельности часто служили в руках фабрикантов способом искусственного понижения заработной платы до того, что рабочий лишался возможности уплатить лежащие на нем повинности и прокормить свою семью; высокие цены в фабричных лавках и недобросовестность приказчиков вызывали справедливый ропот и недовольство рабочих, а недостаток точности при составлении условий с малограмотными людьми порождал постоянные споры в расчетах задельной платы... Совокупность всех изложенных, а также и многих других причин влекла за собою, как показал опыт, возникновение беспорядков, а необходимость для прекращения их прибегать к содействию войск в достаточной степени свидетельствовала о настоятельности приступить к составлению, в развитие действующего законодательства, таких нормальных правил, которые, ограничивая в известной степени произвол фабрикантов, способствовали бы устранению в будущем прискорбных случаев, имевших место в Московской и Владимирской губерниях“.

Вслед затем была создана комиссия под председательством дир. департ. полиции В. К. Плеве для выработки нового закона. Но еще до окончания ее трудов был издан закон 3-го июня 1885 г., воспрещавший временно (на 3 года) занимать женщин и подростков (до 17 лет) ночной работой на хлопчато-бумажных, шерстяных и полотняных фабриках [1]); в том же году расширен штат фабричных инспекторов.

Закон 1885 года, впервые регламентировавший труд взрослых женщин, оказал значительное влияние на ход рабочего движения: с одной стороны, он вызвал у рабочих-мужчин стремление отвоевать себе ту же свободу от ночного труда, особенно, поскольку он резко ставил вопрос о разрушении рабочей семьи, в которой муж должен был работать во время отдыха жены и обратно; с другой стороны, в тех отраслях текстильного производства, где женский труд преобладал, применение этого закона привело фабрикантов к введению двухсменной системы (по 9 часов), сократившей заработки рабочих—отсюда ряд стачек во Владимирской губернии, длившихся с перерывами до середины 90-х г.г.

Комиссия Плеве представила проект общего фабричного закона

---

[1]) В 1886 г. действие закона распространено на другие отрасли текстильного производства.

в Государственный Совет, который и одобрил его. Закон был издан 3-го июня 1886 г. При его обсуждении в Государственном Совете высказывались, что положение рабочих является „прискорбным“, и что „возникающее отсюда раздражение против фабрикантов, при трудности для темного люда отыскивать законным образом защиту своих прав, постоянно поддерживает в рабочих склонность искать восстановления этих прав путем стачек и беспорядков, сопровождающихся грубыми проявлениями своеволия и насилия“.

В отчете Государственного Совета за 1886 г. появление закона 3-го июня комментируется так: „постепенно накопляющееся в классе фабричных рабочих недовольство делает его благоприятной, восприимчивой почвой для преступных учений, стремящихся к уничтожению государственного и общественного строя. Этим об'ясняется тот факт, что представители противоправительственной пропаганды сосредоточивают в последнее время свое внимание на фабричном населении и нередко скрываются в его рядах... В виду этого и в заботе о возможном устранении фабричных стачек и беспорядков, министерство внутренних дел признало необходимым без дальнейших промедлений приступить к пересмотру существующих постановлений Устава о промышленности в смысле урегулирования взаимных отношений между фабрикантами и рабочими“.

Составленная в 1892 году записка министерства финансов „о пересмотре статей закона, карающих забастовки“, прямо заявляет, что „крупные беспорядки в Московской и Владимирской губерниях послужили толчком к изданию специального закона 3-го июня 1886 г.“.

Главные постановления этого закона таковы: 1, обязательность расплаты не реже 1 раза в месяц; 2, запрещение расплаты купонами и товарами; 3, запрещение вычетов для уплаты долгов рабочего конторе на покрытие расходов по врачебной помощи, за освещение и за пользование орудиями труда. Изданные в том же 1886 г. (1 октября) правила о надзоре за исполнением закона вводят обязательные расчетные книжки, регулируют штрафы и операции фабричных лавок. В общем, закон и правила удовлетворяют существенным из требований, выставленных рабочими во время забастовки в Орехове-Зуеве. Вместе с тем были расширены права фабричной инспекции и созданы коллегиальные губернские присутствия по фабричным делам, которым предоставлено штрафовать фабрикантов в размере 300 руб. и издавать, в развитие закона, обязательные постановления. (×)

Новый закон вызвал бурю негодования со стороны капиталистов. Министр финансов Бунге был об'явлен „социалистом“. Правительство пошло навстречу претензиям фабрикантов, воспретив печатание отчетов фабричных инспекторов (эти отчеты не публиковались после 1885 года). Последним пришлось вести упорную борьбу за проведение закона 1886 г. в жизнь; фабриканты всячески обходили закон, особенно в его постановлениях, регулирующих штрафы. Давление фабрикантов и сочувствующей им консервативной прессы несомненно оказало влияние на последовавшее вскоре затем увольнение министра Бунге, замененного Вышнеградским. В начале 1887 года последнему было подано ходатайство Московского отделения общества содействия торговли и промышленности, в котором заявлялось:

„Воззрения инспекции на взаимные отношения между фабрикантами и рабочими построены на совершенно ложном представлении о противоположности интересов сторон. Московское отделение, напротив, видит в сотрудничестве хозяев и рабочих на фабриках союз, основанный на сходстве интересов и различии способностей, дополняющих одно другое“. (×)

Наступившее промышленное оживление и ослабление рабочего движения в его острых формах благоприятствовали фабрикантам. Правительство подвергло „очищению“ состав фабричной инспекции, удалив тех из инспекторов, которые вызвали против себя наибольшее раздражение буржуазии. А 24-го апреля 1890 г. издан новый закон, значительно испортивший реформу 1886 года. Он предоставлял фабричной инспекции дозволять воскресную и праздничную работу малолетних, а фабричным присутствиями или губернаторам—ночной труд женщин; отменил запрещение ночного труда подростков в стеклянном производстве и предоставил министрам финансов и внутренних дел разрешать на известный срок в отдельных производствах наем детей в возрасте 10—12 лет.

Если в развитии фабричного законодательства в собственном смысле слова мы наблюдаем чрезвычайную медленность и колебание, придающие ему зигзагообразное направление, то нельзя того же сказать о правительственной политике по отношению к рабочему движению, как проявлению классовой борьбы. Как в период неутверждаемых проектов, так и в краткую эпоху фабричного законодательства, репрессивная политика правительства развивалась систематически, следуя шаг за шагом за ходом рабочего движения.

В 1866 году, при издании нового Уложения о наказаниях, правда, была выкинута статья 1791 Уложения 1845 года, приравнивавшая „явное неповиновение“ фабриканту к „восстанию“. Она была найдена связанной с кабальными отношениями на фабрике, а потому устаревшей. Зато статья, каравшая арестом в размере от 3 недель до 3 месяцев участников стачек, происшедших в целях повышения заработной платы, была сохранена в силе, как ст. 1358 нового Уложения. Но она не успела еще быть примененной на практике, когда после стачки на Невской бумаго-прядильне в Петербурге последовало (6 июня 1870 г.) высочайшее повеление о том, чтобы губернаторы, в случае стачек на фабриках и заводах, „не допуская дела до судебного разбирательства, немедленно по обнаружении главных зачинщиков, высылали в одну из назначенных для того губерний“. 30 сентября 1871 г. право высылки распространено и на ремесленников.

В 1874 г. было издано дополнение к ст. 318 Уложения о наказаниях, каравшее ссылкой на житье в Сибирь, с лишением прав, или заключением в крепости за принадлежность к сообществу, имевшему целью „возбуждение вражды между хозяевами и рабочими“.

8 августа 1878 года состоялось повеление о предоставлении свободного доступа на все фабрики и заводы чинам полиции и жандармерии, с правом производства обысков и арестов. (×)

Закон 1886 г., удовлетворявший, как мы видели, часть требований рабочих, в то же время усиливал наказания за стачки и расширял сферу преследуемых деяний в этой области. Отныне наказуемыми

становились стачки, направленные не только к возвышению заработной платы, но и других условий найма, а мера наказания повышена для „подстрекателей“ до 4—8 мес. тюремного заключения. В случае осложнения стачки повреждением имущества, наказание повышается до 8—16 мес. для подстрекателей и 4—8 мес. для участников; те же нормы установлены для пытающихся применить насилие против отказывающихся бастовать.

Помимо того, закон 1886 года устанавливает для рабочих уголовную ответственность за досрочное или—при найме на неопределенный срок—совершонное без предупреждения за 2 недели расторжение договора о найме; расторжение договора по ст. 51-й карается арестом до 1 месяца. Между тем, такое же расторжение договора со стороны фабриканта подвергает последнего лишь гражданской ответственности. Эту разницу закон мотивировал имущественной необеспеченностью рабочего. (×)

В том же 1886 году были изданы правила о найме на сельские работы, в которых, рядом с наказанием рабочих за стачки и самовольный уход, заключалось еще несколько репрессивных постановлений, стесняющих личность и свободу сельского рабочего.

III.

Зачатки социалистического рабочего движения.

Вплоть до 90-х годов мы видим только стихийные экономические движения пролетариата, являющиеся непосредственной реакцией рабочих масс против условий жизни, в которые их ставит развитие капиталистических производственных отношений. Лишь в отдельных немногих случаях в этот стихийный процесс привходят известные элементы организованности, как то было в Морозовской стачке 1885 г. Для того, чтобы ясно представить себе картину превращения этого стихийного массового движения в движение организованное и пропитывающееся все большей классовой сознательностью, нам надо бросить беглый взгляд на различные факторы, которые воздействовали на рабочий класс со стороны и тем в той или иной мере способствовали под'ему его интеллектуального уровня. (×)

Среди всех внешних влияний на промышленный пролетариат относительно наибольшее значение имела пропаганда идей утопического социализма, исходившая из тайных обществ, образованных революционной интеллигенцией.

Первые случаи обращения революционных кружков к рабочим относятся к началу 60-х годов в период увлечения интеллигенции воскресными школами. В 1862 г. в официальном органе „Северная Почта“ было напечатано (№ 119 от 3 июня):

„Показаниями фабричных работников на Петербургской стороне обнаружено, что в двух воскресных школах (Сампсониевской на Выборг. стор. и Введенской на Петербургской) преподается учение, направленное к потрясению религиозных верований, к распространению

социалистических понятий о праве собственности и к возмущению против правительства"... (×)

Есть данные о пропаганде среди рабочих членов тайного общества, организованного С. Нечаевым (1869 г.).

С начала 70-х годов социалистическое движение в интеллигенции приняло массовый характер. Тысячи интеллигентов, усвоив идеи социализма, посвятили себя пропаганде этих идей среди народа. (×)

Заполнившая собою первую половину 70-х годов, эта пропаганда имела несомненный успех. Уже начиная с 1872 г. в политических процессах на скамье подсудимых фигурируют рядовые рабочие, выступающие, как убежденные социалисты. В 1875 году в Одессе социалист Заславский основал революционную рабочую организацию „Южно-русский рабочий союз", ставивший своею целью пропаганду среди рабочих социально-революционных идей. Союз охватил несколько десятков рабочих, но затем был разрушен арестами, а члены его подверглись ссылке на поселение по суду. В том же 1875 году группа русских анархистов в Женеве основала газету „Работник", рассчитанную на пропаганду среди городского и сельского рабочего населения. (×)

Выше упоминалось об участии рабочих в демонстрациях 6 декабря 1876 г. на Казанской площади в Петербурге. Общество „Земля и Воля", организовавшее эту демонстрацию, посвящало много сил пропаганде среди рабочих (этой деятельностью особенно занимался, между прочим, Г. В. Плеханов), и под его влиянием находилось в Петербурге много кружков. Члены этих кружков играли активную роль в петербургских стачках 1878 г. Имея во главе весьма интеллигентных и энергичных деятелей, как Виктор Обнорский, Петерсен и особенно Степан Халтурин, эти рабочие кружки в конце 1878 года задались целью создать одну рабочую организацию в Петербурге, которая могла бы затем превратиться в общую организацию пролетариата России. На собраниях 23 и 30 декабря 1878 г. организация была основана, под именем „Северного союза русских рабочих". Вскоре появилась в печати программа Союза. В ее (×) строках говорится (×):

„Северный Союз русских рабочих", тесно примыкая по своим задачам к социально-демократической партии Запада, ставит своей программой":.. следуют пункты программы, заключающие замену существующего политического и экономического строя „свободной народной федерацией общин", уничтожение поземельной собственности и замену ее общинным землевладением, „правильную ассоциационную организацию труда, предоставляющую в руки рабочих-производителей продукты и орудия производства". Вслед затем излагается программа-минимум, включающая свободу слова, печати, собраний и сходок, уничтожение сословных прав и привилегий, введение милиции и т. д., равно как „ограничение числа рабочих часов", запрещение детского труда, отмену косвенных налогов и учреждение производительных ассоциаций и даровой государственный кредит для них и крестьянских общин. Требование политических свобод мотивируется тем, что „политической свободой обеспечивается прежде всего решение социального вопроса".

Программа Союза представляла, таким образом, комбинацию идей революционно-народнических с социал-демократическими в той их, окрашенной лассальянством, форме, в какой они были усвоены в то время германской социал-демократией. Слова о том, что Союз тесно примыкает к социал-демократической партии Запада, очевидно, имели в виду германскую социал-демократию; это указание тем более знаменательно, что в кругу тогдашних русских социалистов, проникнутых идеями бакунинского анархизма, эта партия считалась почти реакционной. Точно так же в разрез со взглядами социалистической интеллигенции шло установление программы-минимум и особенно требование политической свободы в пределах современного государства. Правда, введения парламентаризма программа не требовала, но уже одно ее указание на необходимость политической свободы для разрешения социального вопроса вызвало со стороны органа „Земля и Воля“ полемику, в которой этот орган справедливо указывал на эклектизм разбираемой программы. (X)

Было бы, однако, ошибкой думать, что деятели „Северного Союза“ сознательно стояли на почве учения о классовой борьбе. Воззвание, приложенное к программе и обращенное к рабочим, говорит о миссии „Союза“ „обновить мир, возродить семью, установить собственность, как она должна быть, и воскресить великое учение Христа о братстве и равенстве“.

„Союз“ в 1879 г. включал свыше 200 членов. Дальнейшему его росту препятствовали усилившиеся репрессии, вторжение провокаторов и особенно переход социалистов-землевольцев к террористической борьбе, в которой приняли участие и многие из членов „Союза“. К концу 1879 г. последний распался, не успев выпустить задуманной Халтуриным газеты для рабочих.

Период 1877—1879 г.г. был также временем зарождения социалистических рабочих кружков среди польских рабочих г. Варшавы, где, благодаря большему развитию промышленности, непосредственному соседству с западно-европейскими странами и большей культурности рабочих, успех этой пропаганды был более заметным, чем в остальных частях России. К тому же польские социалисты, хотя и проникнутые, подобно русским, идеями бакунизма, с самого начала стояли на почве рабочего движения и не переживали полосы аграрно-социалистических увлечений. В этом первом периоде социалистического движения в Польше, закончившемся арестами в августе 1879 г., принимали деятельное участие выдвинувшиеся впоследствии Мендельсон, Людв. Варынский, В. Серошевский, Э. Пекарский.

В 1879 г. в Киеве и Одессе вновь образовался „Южно-русский рабочий союз“, распространивший свою деятельность на другие центры Юга и просуществовавший до 1882 г. По своему направлению, этот „Союз“ не имел того самобытного характера, какой отмечал „Союз“ северно-русских рабочих“, и находился всецело под влиянием народнических и народовольческих взглядов, царивших в революционной среде. В Петербурге после распадения общества „Земли и Воли“ на „Нар. Волю“ и „Черн. Передел“ обе организации продолжали пропаганду среди рабочих и издавали для них в 1880 и 1881 г. г. специальные газеты (народовольцы—„Рабочую газету“, чернопере-

дельцы—„Зерно“). Среди народовольцев активную роль, как агитатор в рабочей среде, играл Тимофей Михайлов (под именем Лапина), о котором прокурор Муравьев в процессе о цареубийцах выразился, что он был „апостолом петербургских рабочих“. [1])

В первой половине 80-х годов народовольческие и чернопередельческие рабочие кружки существовали в Петербурге, Москве, Харькове, Таганроге, Ростове-на-Д., Полтаве, Екатеринославе, Новочеркасске, Елизаветграде, Одессе, Киеве, Саратове, Николаеве. Деятельность этих кружков носила чисто-пропагандистский характер и, при незначительности охватываемого ими слоя рабочих, не оказывала влияния на общественную жизнь.

Иначе сложилось дело в Польше, где к началу 1882 г. из остатков кружков 1879 г. создалась социалистическая партия „Пролетариат“ (во главе с Куницким, Яновичем, Варынским, Пухевичем и др.). Эта партия выставила в своей программе принцип классовой борьбы пролетариата и повела довольно широкую агитацию среди рабочих масс в Варшаве, Жирардове, Лодзи, Згерже, Томашове и других фабричных центрах. Ее члены, организованные в многочисленные рабочие кружки, принимали участие в забастовках этого периода, и партии отчасти принадлежала инициатива в возбуждении массовых протестов рабочих (напр., в 1883 г. по поводу распоряжения полицеймейстера Варшавы о подчинении работниц врачебно-полицейскому надзору). Хотя партия „Пролетариат“ и не была чужда бланкизма, представляла себе политическое преобразование в виде захвата власти и официально исповедывала терроризм (на практике, впрочем, не примененный ею), тем не менее, по сравнению с тогдашними и прежними русскими революционными организациями, была в гораздо большей степени проникнута идеями научного социализма и рабочей социал-демократии. (×)

В самой России большая часть рабочих кружков была уничтожена во время тех массовых арестов и судебных процессов, которые, продолжаясь с 1882 по 1887 год, добили и без того клонившееся к упадку революционное движение интеллигенции. Рабочие, об'единившиеся в этих кружках, не успели поэтому ознакомиться с литературной пропагандой „Группы Освобождения Труда“, возникновение которой означало наступление новой эры в судьбах русского социализма.(×)

Так как выступление „Группы Освобождения Труда“ совпало с полным торжеством общественной реакции, то ее пропаганда в первые годы не встречала почти вовсе отклика. Только в Петербурге в 1884 году группа интеллигентов, руководимая Благоевым [2]), пришла более или менее самостоятельно к усвоению социал-демократических идей и до 1886 г., когда была уничтожена арестами, вела в духе этих идей пропаганду среди рабочих, при чем вступила в сношения с „Группой Освобождения Труда“, члены которой (Плеханов и Аксельрод) поместили программные статьи в органе Благоевской

---

[1]) Т. Михайлов был казнен по делу 1 марта. О его деятельности, как агитатора, см. в цитированной брошюре „Из рабоч. движения за Невской заставой“, а также В. Панкратов, „Из деятельности среди рабочих 1880—84 г.“ Изд-во „Молодая Россия“, Москва, 1906 г.

[2]) В настоящее время лидер одной из социалистических фракций в Болгарии.

группы „Рабочий“ (вышло 2 №№). Взгляды Благоева и его товарищей были окрашены в сильной степени лассальянством (требованием государственной помощи для производительных ассоциаций).

Влияние социал-демократической пропаганды „Группы Освобождения Труда“ распространялось только на интеллигенцию, среди которой во 2-й половине 80-х у Плеханова уже имелись последователи. В немногих существовавших в течение 2-й половины 80-х г. г. революционных группах, продолжавших действовать под знаменем „Народной Воли“, находились люди, разделявшие полностью или отчасти марксистские идеи. Косвенное влияние этих идей сказывалось в том, что революционные группы конца 80-х г. г. (в Петербурге, Минске, Киеве, Смоленске, Вильне, Одессе, Харькове, Костроме, Ростове-на-Д.) не прерывали связей с передовыми фабрично-заводскими рабочими и вели среди них некоторую пропаганду, которая часто носила почти только культурно-просветительный характер.

Все эти попытки воздействия социалистической интеллигенции на пролетариат в течение 70-х и 80-х годов имели известное значение для подготовки того массового рабочего движения, которое окрасило собою последнее десятилетие XIX века. (×)

XVII. Северно-Русский Рабочий Союз.

(Из брошюры Г. В. Плеханова: „Русский рабочий в революц. движении“. См. его „Сочинения“. Т. III. Гос. Изд. 1923 г. стр. 181—204).

...В то время рабочее движение росло с небывалой быстротой. Любопытно видеть, как отражалось это явление в тогдашней революционной литературе.

Передовая статья № 4 „Земли и Воли“, вышедшего в свет 20 февраля 1879 г., целиком посвящена была вопросу о роли городских рабочих „в боевой народно-революционной организации“. „Волнения фабричного населения,—говорится в этой статье, — постоянно усиливающиеся и составляющие теперь злобу дня, заставляют нас, раньше чем мы рассчитывали, коснуться той роли, которая должна принадлежать нашим городским рабочим в этой организации. Вопрос о городском рабочем принадлежит к числу тех, которые, можно сказать, самою жизнью самостоятельно выдвигаются вперед, на подобающее им место, вопреки априорным теоретическим решениям революционных деятелей“. Чрезвычайно характерно это невзначай вырвавшееся у народника признание. Рабочий вопрос, действительно, самою жизнью выдвинулся вперед, наперекор народнической догматике. Неудивительно, что разрешить его с помощью этой догматики было совершенно невозможно. Народническая интеллигенция могла лишь, подобно автору указанной статьи, рекомендовать рабочим социалистам „агитацию“, „агитацию“, „агитацию“ и „агитацию“, да упрекать их в том, что они, будто бы забывая об этой агитации, слушают „чтения о каменном периоде или о планетах небесных“. К началу 1879 года рабочее движение переросло народническое учение на целую голову. В виду этого неудивительно, что наиболее развитая часть петербургских рабочих, вошедшая в основанный около того времени „Северно-Русский Рабочий Союз“, в своих политических взглядах и стремлениях значительно разошлась с бунтарями-народниками.

„Северно-Русский Рабочий Союз“ естественным образом возник из того ядра петербургской рабочей организации, которое (×) составилось из „старых“, испытанных революционеров - рабочих. Формальное основание Союза относится, насколько могу при-

помнить, к концу 1879 года. Уже с первых недель своего существования он насчитывал не менее 200 членов, а вокруг него группировалось, по крайней мере, столько же рабочих, сочувствующих, но еще не посвященных в организационную тайну. Большинство членов его принадлежало к числу „заводских". В каждом значительном рабочем квартале Петербурга были особые кружки, составлявшие местную ветвь Союза. Каждая ветвь имела свою кассу и свою „конспиративную" квартиру. Для заведывания ее делами выбирался небольшой комитет. Члены местного комитета были в то же время членами Центрального Кружка, который собирался через известные промежутки времени по общим делам Союза. В распоряжении Центрального кружка находилась особая касса, а также союзная библиотека. Центральная касса, как и местные кассы, пополнялась членскими взносами. Около времени второй стачки на Новой Бумагопрядильне в ней было рублей 150—200. Эта „свободная наличность", как выразился бы русский министр финансов, вся ушла на поддержку стачечников, но члены Союза исправно делали свои взносы, и потому пустою касса его никогда не оставалась. Что касается библиотеки, то ею особенно дорожил и гордился Союз. И действительно, она была самым ценным его достоянием. Составилась она частью из купленных рабочими, а больше из пожертвованных интеллигенцией книг (×).

Возникновению Союза нельзя было не радоваться даже с нашей тогдашней, народнической, точки зрения. Но программа его причинила нам не малое огорчение. В ней—о, ужас!—прямо было сказано, что рабочие считают завоевание политической свободы необходимым условием дальнейших успехов своего движения. Мы, презиравшие „буржуазную" свободу и считавшие ее опасной ловушкой, оказались в положении курицы, высидевшей утят. В особой заметке, посвященной обзору новой программы, редакция „Земли и Воли" мягко, но решительно высказалась против неприятной ей рабочей ереси. В заметке повторены были те доводы, которые обыкновенно выставлялись народниками и бакунистами против „политики". Но членам Союза такие доводы уже перестали казаться убедительными. В ответ на заметку они прислали длинное письмо в редакцию, в котором говорили, что решительно не видят, как может успешно итти рабочее движение при отсутствии политической свободы, и каким образом для рабочих может быть невыгодно приобретение ими политических прав. Тяжело было народникам слышать от рабочих — и каких рабочих! — члены „Союза" составляли сливки революционного рабочего Петербурга—столь „буржуазные" рассуждения. Но еще тяжелее поразило их почудившееся им в письме презрение Союза к крестьянству. Дело в том, что, защищая свое требование политической свободы, авторы письма сказали, между прочим, что ведь они, рабочие, не Сысойки. Это выражение истолковано было революционной интеллигенцией в смысле кичливого презрения к крестьянству. Но правильно ли было подобное истолкование? Конечно, нет. Слова—„мы не Сысойки" свидетельствовали только о том, что русские рабочие уже тогда стояли бесконечно выше того „простонародья", на которое ссылались все социалисты—противники политической свободы. С давних пор наши

социалисты „из интеллигенции“ утверждали, что как у нас в России, так и за-границей, „простонародью“ не нужно свободы печати, потому что книг и газет оно не читает и, следовательно, цензурным уставом не интересуется; что ему не нужно политических прав, потому что, задавленное бедностью, оно политической жизнью своей страны не интересуется; что его интересы затрагиваются только экономическими порядками, политические же формы для него безразличны и т. п., и т. п. Так рассуждал иногда еще Чернышевский, и так же рассуждали мы, когда предостерегали рабочих от увлечения политикой. Но развитому рабочему очень трудно было согласиться с нами. „Как же это так? Простому человеку не нужно свободы печати, потому что он ничего не читает; не нужно политических прав, потому что он не интересуется борьбою политических партий! Что же хорошего в простом человеке, отличающемся подобными отрицательными свойствами? Ведь это дикарь-Сысойка! И ведь пока простонародье будет состоять из дикарей-Сысоек, социализм останется несбыточной мечтой“! (×). Вот—смысл ответного письма Союза и в особенности слов: „Мы не Сысойки“ (×).

Как бы там ни было, будущий историк революционного движения в России должен будет отметить тот факт, что в семидесятых годах требование политической свободы явилось в рабочей программе раньше, чем в программах революционной интеллигенции. Это требование сближало Северно-Русский Рабочий Союз с западно-европейскими рабочими партиями, придавало ему социал-демократическую окраску. Говорю — окраску, потому что вполне социал-демократической программу Союза признать было бы невозможно. В нее вошла не малая доза народничества. Этой прилипчивой болезни трудно было избежать в России, да при том авторы программы, разойдясь с нами по коренному вопросу о политической свободе, не чужды были, кажется желания позолотить пилюлю, порадовав нас целой кучей народнических требований (×).

Известие об основании Союза радостно встречено было рабочими всюду, куда оно проникло. Варшавские рабочие приветствовали петербургскую организацию адресом, в котором говорили, что пролетариат должен быть выше национальной вражды и преследовать общечеловеческие цели. Союз отвечал им в том же духе, выражал надежду на скорую победу над общими врагами и заявлял, что не отделяет своего дела от дела рабочих всего мира. Это был едва ли не первый пример дружеских сношений русских рабочих с польскими.

Союз не думал ограничивать поле своей деятельности одним Петербургом. Самое название его (Северно-Русский Союз) принято было лишь на время, лишь до тех пор, пока не пристанут к нему рабочие провинциальных городов. Идеалом вожаков Союза была единая и стройная всероссийская рабочая организация (×).

Между его членами были люди, которые и по знаниям, и по энергии, и по опытности могли поспорить с любым „интеллигентом“. Таков был, например, Степан Халтурин (×).

Степан Халтурин родился в Вятке. Его родители, бедные мещане, посылали его в детстве в какую-то школу, а затем отдали в ученье к столяру. В начале семидесятых годов он приехал в Петербург, где скоро нашел место на заводе. Не знаю, когда именно и при каких обстоятельствах захватило его революционной волной, но в 1875 — 1876 г.г. он был уже деятельным пропагандистом (X).

Близко сойтись с ним можно было только на деле. Рабочему, вообще, некогда вдаваться в те бесконечные собеседования, которыми любит услаждаться „за чаем“ „интеллигентная“ публика, и в которых собеседники выворачивают друг перед другом всю свою душу. Хотя во внешнем обращении застенчивость его исчезала при более близком знакомстве с человеком, однако она всегда держала его на-стороже, делая для него совершенно невозможным то нравственное состояние, которое обозначается словами: „душа на распашку“. Побеседовать и он был не прочь, и при том не только со своим братом рабочим, но и с „интеллигентами“. Пока он был легальным, он даже охотно селился по соседству со студентами и искал их знакомства, заимствуясь у них книгами и всякого рода сведениями. Нередко за полночь засиживался он у таких соседей. Но и там он мало высказывался. Придет и поднимет разговор на какую нибудь теоретическую тему. Хозяин оживится, обрадованный случаем просветить темного рабочего человека, говорит долго, вразумительно и по возможности „популярно“, а Степан слушает, лишь изредка вставляя свое слово и внимательно, несколько исподлобья, посматривая на собеседника своими умными глазами, в которых по временам появляется выражение добродушной насмешки. В его отношении к студентам всегда была некоторая доля юмора, пожалуй, даже иронии: знаю, мол, я цену вашему радикализму; пока учитесь, все вы — страшные революционеры, а кончите курс, да получите местечки, и как рукой снимет ваше революционное настроение! Подсмеивался он также над студенческим трудолюбием. „Видел я, как они работают, — говаривал он, — разве это работа! Посидит часа два на лекциях, почитает час—другой книжку, — и готово, иди в гости пить чай и разговоры разговаривать!“ К рабочим он относился совсем иначе, подшучивать над ними не позволял ни себе и никому другому, в особенности „интеллигенции“. Как огонь вспыхивал он, когда „интеллигент“ делал при нем какой-нибудь не совсем лестный отзыв о рабочих. В рабочих он видел самых надежных, прирожденных революционеров, и ухаживал за ними, как заботливая нянька: учил, доставал книги, „определял к местам“, мирил ссорившихся, журил виноватых. Его очень любили товарищи. Он знал это и платил им еще большей любовью. При всем том, не думаю, чтобы в обращении с ними его покидала привычная сдержанность. Не знаю, как вел он себя с теми рабочими, которых привлекал к делу, в революционных беседах с глазу на глаз. Может быть тогда он и давал волю всему, что кипело у него на душе. Но на кружковых рабочих собраниях он говорил редко и неохотно. Только в тех случаях, когда дело не клеилось, когда собравшиеся говорили что-нибудь несообразное, или уклонялись от предмета сходки, Степан прорывался. Краснобаем он не был, — иностранных слов, которыми любят ще-

голять иные рабочие, никогда почти не употреблял, — но говорил горячо, толково и убедительно. Его речью и исчерпывались обыкновенно прения (×).

Халтурин отличался большою начитанностью. Это вызывало невольное уважение к нему, но и эта черта не могла особенно удивить человека, знавшего заводских рабочих: страстные любители чтения вовсе не были редкостью между ними. При ближайшем знакомстве оказывалось, однако, что и читал Степан так, как умеют читать только немногие. Он всегда хорошо знал, зачем именно раскрывал такую-то книгу. К тому же мысль постоянно шла у него об руку с делом. У него, например, вовсе не было интереса к естественным наукам, который замечается у многих рабочих. Все внимание его было поглощено общественными вопросами, и все эти вопросы, как радиусы из центра, исходили из одного коренного вопроса о задачах и нуждах нарождавшегося русского рабочего движения (×). Еще задолго до организации „Северно-Русского Рабочего Союза“ он принялся изучать европейские конституции.

— Что это ты так на них набросился?—спрашивали его.

— Да что же, ведь, это интересно,—отвечал он.

Программа союза лучше его об'яснила, почему он набросился на конституцию: он обдумывал политическую программу русских рабочих (×). Он знакомился с интеллигентами, слушал их толки об общине, о расколе, о „народных идеалах“, но народническое учение так и осталось для него чем-то почти совсем чуждым.

— Что ты пишешь теперь? спросил он меня незадолго до своего поступления в Зимний Дворец. Я ответил, что пишу разбор одной только что вышедшей книги по истории общинного землевладения. Это была очень серьезная книга, лично мне оказавшая огромную услугу, так как она впервые и очень сильно поколебала мои народнические воззрения, хотя я и спорил еще против ее выводов. Я был сильно заинтересован ею и подробно изложил Степану ее содержание. Он долго слушал, а потом вдруг сразил меня неожиданным вопросом: „да неужели это действительно так важно“? Община занимала самый почетный, передний угол в моем народническом миросозерцании, а он даже не знал хорошенько, стоит ли из-за нее ломать литературные копья!

Не легко было бы мне теперь определить его тогдашние социально-политические взгляды. Тогда я сам смотрел на вещи далеко не так, как смотрю в настоящее время. Могу сказать одно: в сравнении с нами, землевольцами, Халтурин был крайним западником. Западничество развивалось и поддерживалось в нем как общими условиями исключительно интересной для него рабочей жизни столицы, так, может быть, отчасти и некоторыми случайными влияниями. С лавристами он познакомился раньше, чем с бунтарями, а лавристы умели, как уже сказано, возбудить в рабочих интерес к немецкому социал-демократическому движению. К тому же двое из близких товарищей Степана долго работали за-границей, и западное влияние распространялось через них как лично на него, так и на весь Союз (×).

Тотчас по основании Северного Союза возникла мысль об

издании рабочей газеты (×). При этом Степан был молчаливо и единогласно признан редактором будущей газеты. Таким образом он стал головою дела, почин которого принадлежал всему Союзу.

Будущий редактор держался того мнения, что газета должна иметь чисто агитационный характер. У Союза было много связей в рабочем мире. В достоверных сообщениях о темных сторонах фабрично-заводского быта недостатка быть не могло. Появление их в печати сочувственно встретили бы все рабочие. Таким сообщениям и должно было принадлежать главное место на столбцах газеты. Авторам передовых статей оставалось бы лишь надлежащим образом освещать эти, непосредственно из жизни взятые материалы. С распространением организации на провинциальные города явилась бы возможность обеспечить себе иногородние известия. Все это было очень практично, и казалось бы, что общество „Земля и Воля“ должно было всеми силами поддерживать задуманное рабочими предприятие. Землевольцы много сделали для развития рабочего движения в России. Отстраняться от него теперь, когда оно стало так быстро расти и крепнуть, было бы по меньшей мере странно. Они не отстранялись от него сознательно, но незаметно для них жизнь придавала их деятельности совершенно новый характер. Им некогда было думать о рабочей газете.

Уже к весне 1879 года, т. е. в то время, когда Северно-Русский Рабочий Союз насчитывал едва несколько месяцев существования, общество „Земля и Воля“ из бунтарского, каким оно было прежде, наполовину превратилось в террористическое. Те из его членов, которые остались верны старой программе, жили большею частью „в народе“, „в поселениях“, раскинувшихся в разных местах нижнего и среднего Поволжья, на Дону, в Воронежской и Тамбовской губерниях. Большинство же живших в Петербурге землевольцев с ревностью новообращенных стояло за террористическую деятельность, или, как тогда выражались, за дезорганизацию правительства. „Рабочее дело“ никем не отрицалось в принципе. Но на деле посвящавшиеся ему силы и средства стали убывать очень и очень заметно. Многие молодые революционеры, начавшие свою деятельность „занятием с рабочими“, оставили это занятие под влиянием проповедывавших „дезорганизацию правительства“ землевольцев. Революционное движение интеллигенции принимало, несомненно, более острый характер, но русло его все более и более суживалось. О вовлечении в борьбу народной массы переставали думать. Задача движения сводилась к единоборству между правительством и революционной интеллигенцией (×).

С самого основания своего Северно-Русский Рабочий Союз поставлен был террористической тактикой интеллигенции в довольно затруднительное положение. С каждым новым террористическим актом росли полицейские строгости, умножались обыски, аресты и высылки. Для нелегальных революционеров этот белый террор до поры до времени был почти совершенно безвреден, так как им удавалось скрывать свои следы от самых опытных сыщиков. В ином положении были легальные революционеры, чем-нибудь успевшие обратить на себя неблагосклонное внимание синего начальства. Они

должны были готовиться к самым неприятным неожиданностям. В рабочем Союзе нелегальных было немного: кроме Халтурина, нелегального с 1878 г., еще, может быть, два три человека. Но зато многие, — и часто самые деятельные, опытные и влиятельные — легальные — члены его давно уже находились у полиции на дурном счету. Им плохо приходилось от белого террора. Их хватали, держали в тюрьмах, высылали. Подобные потери тяжело отзывались на неокрепшей еще организации, и неудивительно, что Северно-Русский Рабочий Союз сначала очень неодобрительно относился к новому приему революционной борьбы. „Чистая беда,—восклицал Халтурин,— только-только наладится у нас дело,—хлоп! шарахнула кого-нибудь интеллигенция, и опять провалы. Хоть немного бы дали вы нам укрепиться!“ Но революционный террор все усиливался; усиливался и белый. Провалы учащались. Выстрел Соловьева довел полицейские строгости до неслыханной степени. Вместе с тем он же указывал, повидимому, и выход из невыносимого положения. Падет царь, падет и царизм, наступит новая эра, эра свободы. Так думали тогда очень многие. Так стали думать и рабочие.

Летом 1879 г. кому-то из членов Союза предложено было место столяра в Зимнем дворце. Он сообщил об этом ближайшим товарищам. „Что же, поступай, — заметил один из них, — кстати уж и царя прикончишь“. Это было сказано в шутку. Но шутка произвела на присутствовавших глубокое впечатление, они серьезно задумались о цареубийстве. Призвали на совет Халтурина. На первый раз он высказался неопределенно: посоветовал только не болтать, да разузнать получше о предлагаемом месте. Ему хотелось хорошенько обдумать это дело, при чем он тут же, вероятно, решил, что если найдет его возможным и полезным, то сам же за него и возьмется. А подумать ему было о чем. Как ни жутко приходилось Союзу от белого террора, но его положение все-таки было совсем не безнадежно. Это доказывал уже тот факт, что, несмотря на полицейские строгости, рабочие могли сделать почти все необходимые приготовления к изданию своей газеты. Сношения с провинциальными городами только что начинались и, опять-таки несмотря на все строгости, сулили успех. Намеченные полицией члены Союза высылались один за другим, но на их место являлись новые, не намеченные, которые, при осторожном ведении дела, могли продержаться довольно долго. Новое покушение на жизнь Александра II, в случае неудачи, наверное, причинило бы Союзу новые потери, тем более, что самому Халтурину приходилось итти почти на верную смерть. Он знал, какое растройство внесет его гибель в дела Союза. Но все эти соображения не устояли перед одним: смерть Александра II принесет с собою политическую свободу, а при политической свободе рабочее движение пойдет у нас не по прежнему. Тогда у нас будут не такие союзы, с рабочими же газетами не нужно будет прятаться. Степан недолго колебался. Доступ во дворец был обеспечен. Оставалось запастись взрывчатыми веществами.

Как вел себя Халтурин в Зимнем дворце, — рассказано в Календаре Народной Воли. Читателю известно, вероятно, какую смелость и какое самообладание проявил он там. Арест Квятковского,

у которого найден был план Зимнего дворца, поставил Халтурина по словам автора рассказа, „в истинно каторжное положение". На взятом у Квятковского плане царская столовая была отмечена крестом, и это обстоятельство заставило дворцовую полицию подозрительно относиться к столярам, жившим в подвальном этаже, как раз под столовой. В одной комнате с Халтуриным поместили жандарма; дворцовую прислугу часто и неожиданно обыскивали, динамит приходилось хранить под подушкой; предприятие, а с ним и жизнь Степана, постоянно висели на волоске. С поразительным хладнокровием обошел он все трудности, преодолел все препятствия, и когда приготовления были окончены, когда уже зажжен был роковой фитиль, он „просто восхитил Желябова" тем спокойствием, с которым произнес, „словно фразу из самого обычного разговора", многозначительное—„готово". Только последующее его состояние показало, как страшно был он измучен. Придя после взрыва на приготовленную для него конспиративную квартиру, „усталый, больной, он едва мог стоять и только немедленно справился, есть ли в квартире достаточно оружия. Живой я не отдамся,—говорил он".

„Известие о том, что царь спасся, подействовало на Халтурина самым угнетающим образом. Он свалился совсем больной, и только рассказы о громадном впечатлении, произведенном 5-м февраля на всю Россию, могли его несколько утешить, хотя никогда он не хотел примириться со своей неудачей". Не того ожидал он от своей попытки...

После 5-го февраля он продолжал действовать более двух лет. Пробовал он вернуться к своему любимому „рабочему делу". Но логика раз принятого способа действий ставила свои неотразимые требования. Степан снова пошел на „террор". Известно участие его в убийстве Стрельникова. Он умер на виселице 22 марта 1882 г. При аресте он храбро защищался вооруженной рукой.

Вскоре по поступлении Халтурина в Зимний дворец, я вынужден был оставить Россию. С тех пор о ходе русского рабочего движения я мог знать только по рассказам действовавших после меня товарищей. Автор статьи „Пребывание Халтурина в Зимнем дворце" говорит, что Северно-Русскому Рабочему Союзу удалось таки приступить к изданию газеты, которая, однако, вместе с типографией была заарестована при наборе первого же нумера и не оставила по себе ничего, „кроме памяти о попытке чисто рабочего органа, не повторявшейся уже потом ни разу". Затем прекратилось и самое существование Союза.

Программа „Северно-Русского Союза рабочих“.

(Из „Очерков по истории Р.К.П“. В. И. Невского. Ленинград. 1924 г. Т. I. Стр. 573-5).

Сознавая крайне вредную сторону политического и экономического гнета, обрушивающегося на наши головы со всею силою своего неумолимого каприза, сознавая всю невыносимую тяжесть нашего социального положения, лишающего вас всякой возможности и надежды на сколько-нибудь сносное существование, сознавая, наконец, более невозможным сносить этот порядок вещей, грозящий нам полнейшим материальным лишением и парализациею духовных сил, мы, рабочие Петербурга, на общем собрании от 23 и 30 декабря 1878 г. пришли к мысли об организации обще-русского союза рабочих, который, сплачивая разрозненные силы городского и сельского рабочего населения и выясняя ему его собственные интересы, цели и стремления, служил бы ему достаточным оплотом в борьбе с социальным бесправием и давал бы ему ту органическую внутреннюю связь, какая необходима для успешного ведения борьбы.

Организация Северного Союза Русских Рабочих должна иметь строго определенный характер и преследовать именно те цели, какие поставлены в ее программе.

В члены этого союза избираются исключительно только рабочие и через лиц более или менее известных; числом не менее двух.

Всякий рабочий, желающий сделаться членом Союза, обязан предварительно ознакомиться с нижеследующей программой и с сущностью социального учения.

Все члены Союза должны сохранять между собой полную солидарность, и нарушивший ее подвергается немедленному исключению.

Член же, навлекший на себя подозрение, изобличающее его в измене Союзу, подвергается особому суду выборных.

Каждый член обязан вносить в общую кассу Союза известную сумму, определяемую на общем собрании членов.

Делами союза заведывает комитет выборных, состоящий из 10 членов, на попечении которого лежат также обязанности по кассе и библиотеке. Общие собрания членов происходят раз в месяц, где контролируется деятельность комитета и обсуждаются вопросы Союза.

Собрания уполномачивают комитет только в действиях, являющихся непосредственно в интересах всего Союза. На обязанности комитета лежит также право сношения с представителями провинциальных кружков и фракций рабочих России, принявших программу Северного Союза.

Провинциальные фракции Союза удерживают за собой автономное

значение в сфере деятельности, определяемой общею программою, и подчиняются только решениям общих представительных собраний.

Центральная касса предназначается исключительно на расходы, необходимые для выполнения планов Союза, и на поддержку рабочих во время стачек.

Библиотека имеет целью бесплатно удовлетворять потребностям столичных рабочих, даже и не принадлежащих к союзу.

Расходы на ее содержание и на выписку книг идут из кассы Союза и из сумм, жертвуемых рабочими.

Северный Союз Русских Рабочих, тесно примыкая по своим задачам к социально-демократической партии Запада, ставит своею программою:

1) Ниспровержение существующего политического и экономического строя государства, как строя крайне несправедливого.

2) Учреждение свободной народной федерации общин, основанных на полной политической равноправности и с полным внутренним оуправлением на началах русского обычного права.

3) Уничтожение поземельной собственности и замена ее общинным землевладением.

4) Правильную ассоциационную организацию труда, предоставляющую в руки рабочих-производителей продукты и орудия производства.

Так как политическая свобода обеспечивает за каждым человеком самостоятельность его убеждений и действий, и так как ею прежде всего обеспечивается решение социального вопроса, то непосредственными требованиями Союза должны быть:

1. Свобода слова, печати; право собраний и сходок.

2. Уничтожение сыскной полиции и дел по политическим преступлениям.

3. Уничтожение сословных прав и преимуществ.

4. Обязательное и бесплатное обучение во всех школах и учебных заведениях.

5. Уменьшение количества постоянных войск или полная замена их народным вооружением.

6. Право сельской общины на решение дел, касающихся ее, как-то: размера податей, надела земли и внутреннего самоуправления.

7. Уничтожение паспортной системы и свобода передвижения.

8. Отмена косвенных налогов и установление прямого, сообразно доходу и наследству.

9. Ограничение числа рабочих часов и запрещение детского труда.

10. Учреждение производительных ассоциаций, ссудных касс и дарового кредита рабочим ассоциациям и крестьянским общинам.

Вот в главных чертах та программа, руководиться какою поставило себе задачею общее собрание петербургских рабочих от 23 и 30 декабря.

Путем неутомимой и деятельной пропаганды в среде своих собратьев, Северный Союз надеется достичь тех результатов, которые выдвинут и у нас рабочее сословие и заставят его заговорить о себе, о своих правах; посему на обязанности каждого члена этого Союза

лежит священный долг вести посильную агитацию в угнетаемой и отзывчивой на требования справедливости рабочей массе. Услуга его не останется забытою потомством, и славное имя его, как апостола евангельской истины, занесется в летописи истории.

Рабочие! вас зовем мы теперь, к вашему голосу совести и сознанию обращаемся мы.

Великая социальная борьба уже началась—и нам нечего ждать; наши западные братья уже подняли знамя освобождения миллионов—и нам остается только примкнуть к ним. Рука об руку с ними пойдем мы вперед и в братском единении сольемся в одну грозную боевую силу...

На нас, рабочие, лежит великое дело—дело освобождения себя и своих братьев; на нас лежит обязанность обновления мира, утопающего в роскоши и истощающего наши силы,—и мы должны дать его.

Вспомните, кто первый откликнулся на великие слова Христа, кто первый был носителем его учения о любви и братстве, перевернувшего весь старый мир—простые поселяне... Мы тоже зовемся к проповеди, мы тоже призываемся быть апостолами нового, но в сущности только непонятого и позабытого учения Христа. Нас будут гнать, как гнали первых христиан, нас будут бить и издеваться над нами, но будем неустрашимы и не постыдимся их поруганий, так как одно это озлобление против нас уже покажет нам их бессилие в борьбе с нравственным величием идей, в борьбе с тою силою, какую мы представим собою.

„Вы развращаете мир, скажут нам, вы разрушаете семью, вы попираете собственность и оскверняете религию. Нет, будем отвечать им, не мы развращаем мир, а вы, не мы причина зла, а вы. Напротив, мы идем обновить мир, возродить семью, установить собственность, как она должна быть, и воскресить великое учение Христа о братстве и равенстве...

Рабочие! становитесь смело под наше знамя социального переворота, сомкнитесь в дружную братскую семью и, опоясавшись духовным мечем истины, идите проповедывать свое учение по городам и селам! Ваше будущее лежит в этой спасительной пропаганде, и ваш успех зависит от нравственной силы вашей; с нею мощны вы, с нею вы покорите мир.

Знайте, что в вас заключается вся сила и значение страны, вы—плоть и кровь государства, и без вас не существовало бы других классов, сосущих теперь вашу кровь. Вы смутно сознаете это, но у вас нет организации, нет идеи, которой бы руководились, нет, наконец, нравственной поддержки, столь необходимой для дружного отпора врага. Но мы, рабочие-организаторы Северного Союза, даем вам эту руководящую идею, даем вам нравственную поддержку в сплочении интересов и наконец, даем вам ту организацию, в какой нуждаетесь вы.

И так, за вами, рабочие, последнее слово, от вас зависит участь великого Союза и успех социальной революции в России“.

„Петербургская Вольная Типография“. 12 января 1879 г.

Печатано по просьбе рабочих.

XIX. От «Черного Передела» к социал-демократии.

(Из „Очерков по истории Р.К.П.". В. И. Невского. Т. I. Ленинград, 1924 г. Стр. 176—340).

...Россия уже в начале девятнадцатого века была очень тесно связана в промышленном и торговом отношении с хозяйством капиталистических стран Западной Европы (×). После освобождения крестьян узы, связывавшие русскую экономическую, а, стало быть, и общественную жизнь с европейской становились все крепче и крепче, и, когда в семидесятые годы прошлого века развитие крупной капиталистической индустрии в России было фактом, фактом стало и другое явление, давно уже знакомое западно-европейскому обществу—классовое рабочее движение.

Но в то время, как экономические предпосылки современного рабочего движения были на лицо, идеология тех общественных групп, которые пытались выражать интересы угнетенных классов, — пролетариата и беднейших слоев крестьянства, далеко отставали от опередившей экономической эволюции.

Нельзя сказать, чтобы передовые слои русского общества не прислушивались к тому, что происходит на Западе, и не пытались усвоить последнее слово западно-европейской науки. Еще Белинский ознакомился с журналом, в котором принимал участие К. Маркс. („Deutsch-Französische Jahrbücher", 1844 г.).

„Кетчер писал тебе о парижском Ярбюхере", говорит по этому поводу Герцену Белинский в письме: „и что будто я от него воскрес и переродился. Вздор! Я не такой человек, которого тетрадка может удовлетворить. Два дня я от него был бодр и весел, — и все тут. Истину я взял себе"... Но во времена Белинского, в 1845 году, когда писалось это письмо, в России трудно было мечтать даже такому гениальному разночинцу, как наш великий критик, уже понимавшему под конец своей жизни все революционное значение новых буржуазных отношений и для России, трудно было мечтать о практическом применении своих взглядов. Белинский так и смотрит на это, когда продолжает в том же письме: „Все это так, но ведь я, попрежнему, не могу печатно сказать все, что я думаю и как думаю. А чорт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать?—мертвый капитал"!..

Еще более мертвым капиталом были идеи Маркса и Энгельса в головах тех „русских аристократов", о которых говорит Маркс в своем письме к Кугельману. „По какой-то иронии судьбы,—пишет Маркс,—именно русские, на которых я в течение 25 лет неустанно нападаю не только в немецкой, но и французской, а также английской прессе, всегда были моими доброжелателями. В 1834 — 44 г.г., в Париже, русские аристократы—носили меня на руках. Мое сочинение против Прудона (1847 г.), а также книга, вышедшая у Дункера (1859 г.), нигде не нашли такого сбыта, как в России. И первая чужеземная нация, которая переводит „Капитал", это—опять-таки русская". Д. Б. Рязанов подробно рассмотрел в своей работе, что это за аристократы 40-х годов носили Маркса на руках. Представители либерального дворянства, как П. В. Анненков, или представители нарождающейся либеральной буржуазии, как Боткин, или даже такие люди, как Сазонов, работавший в международном рабочем движении, не могли быть проводниками идей Маркса в России. Один из таких аристократов Я. Н. Толстой оказался даже агентом русского правительства.

Только начиная с 70-х годов прошлого столетия, знакомство русской революционной интеллигенции с сочинениями Маркса и Энгельса становится глубже и плодотворнее (×). Известен в высшей степени лестный отзыв Бакунина о Марксе, как ученом, точно так же, как известно мнение Лаврова о теории научного социализма, сторонником которого считал себя основатель суб'ективного метода в социологии (×).

Все буржуазные и реакционные профессора и публицисты живо отозвались на перевод первого тома „Капитала" и в общем и целом сходились на том, что учение Маркса угрожает существованию буржуазного общества. Ю. Жуковский прямо говорил, что учение Маркса о прибавочной стоимости неправильно и что единственным законным обладателем прибавочного продукта является буржуа; известный профессор Б. Чичерин, не понимая философского учения Маркса, однако же понял, что в сочинениях великого экономиста идет речь ни больше ни меньше, как „о насильственном ниспровержении всего существующего общественного строя"; Н. Бунге прямо заявлял, что осуществление идеалов Маркса означало бы переход „в царство деспотизма большинства и всеобщего рабства". Но все эти отзывы, как и более об'ективные отзывы других русских ученых, (например, киевского проф. А. Антоновича или И. Кауфмана) были небольшими рецензиями на появившийся в русском переводе первый том „Капитала".

Даже Михайловский, казалось бы могущий оценить философские основы учения Маркса, в своей полемике против Ю. Жуковского, неверно понял это учение, и только профессор Н. П. Зибер сначала в своей диссертации „Теория ценности и капитала Давида Рикардо", а затем и в специальной работе „Экономическая теория К. Маркса" (эти сочинения относятся к 1876—77 годам, позднейшие же к 80-м), равно как и в самостоятельных работах, построенных на основе взглядов Маркса, наиболее полно и без искажений познакомил русское общество с учением Маркса в области политической экономии. Но, излагая более или менее правильно экономическое учение Маркса,

Зибер не понял философских основ учения. Впрочем, с русскими экономистами произошел в этом отношении еще больший курьез, так как даже Н.—он, переводчик Маркса, признававший его учение, полагавший, что он пишет исследования в духе Марксова учения, переписывавшийся с самим Марксом и Энгельсом, находил возможным, опираясь на учение Маркса, доказывать совершенно особые пути экономического развития России, не говоря уже о В. В., который все свои сочинения посвятил доказательству неприменимости учения Маркса к развитию хозяйства России. В этом, однако, нет ничего удивительного, так как до самого образования Группы „Освобождения труда", как мы знаем, у нас господствовали в среде русского образованного общества народнические взгляды на особые пути, предуказанные России историей.

Вот почему в первый период истории нашей партии, который можно назвать периодом Группы „Освобождения Труда" за границей и первых русских кружков, — перехода от народничества к марксизму—в России основателям русской социал-демократии приходилось не только производить положительную работу закладки фундамента, но и работу расчистки почвы, борьбы со старыми народническими предразсудками.

Было бы, однако, неправильно предполагать, что Плеханов и его товарищи, эмигрировав за-границу, внезапно превратились в марксистов. Эволюция их мировоззрения началась уже в России; чтобы убедиться в этом, достаточно проследить взгляды, развиваемые Плехановым и его друзьями в „Черном Переделе".

Еще в январе 1879 г. в журнале „Земля и Воля" (№ 3) появилась статья Г. В. Плеханова „Закон экономического развития общества и задачи социализма в России", в которой автор, признавая правильными положения Маркса для развития общественно-экономических отношений на западе, полагал, что утверждение Маркса о том, что общество не может перескочить через естественные фазы своего развития, нужно понимать так. На западе общество напало на след естественного закона своего развития как раз тогда, когда община уже разрушилась и на смену ей вступила сначала феодальная, а затем и буржуазная частная собственность. Там на западе, значит, развитие капитализма и все вытекающие отсюда последствия неизбежны и неотвратимы. У нас не то. У нас община не пала преждевременно, она сохранилась и таит в себе предпосылки к непосредственному переходу в социализм. „Поэтому пока за земельную общину держится большинство нашего крестьянства, мы не можем считать наше отечество ступившим на путь того закона, по которому капиталистическая продукция была бы необходимою станцией на пути его прогресса".

Далее Плеханов развивает обычные народнические взгляды и приходит к выводу, что перед партией „Земли и Воли" стоят те же практические задачи, какие стояли и перед титанами народно-революционной оборовы, — Болотниковым, Булавиным, Разиным, Пугачевым. Здесь в этой статье все еще дышет народническим утопизмом и верой в самобытные пути развития России. Но уже во второй статье, в 4-м номере „Земли и Воли", в феврале того же 1879 года,

Плеханов подробно трактует вопрос о революционной работе среди пролетариата; правда, и здесь нет ни слова о самостоятельной классовой организации рабочих, но уже по тому значению, какое придается пролетариату в революционном движении, можно видеть, как жизнь заставляла наиболее вдумчивых землевольцев обращать свои взоры не в ту сторону, в какую обычно глядели народники. Но уже через год в статье журнала „Черный Передел“ (№ 1) и в особой статье, посвященной специально вопросу об общине („Русское Богатство“, январь) в народнических взглядах Плеханова замечаются колебания и уклонения от прежних непоколебимых положений. Плеханов признает, что „экономические отношения в обществе являются основанием всех остальных“, они суть коренная причина „не только всех явлений политической жизни, но и умственного и нравственного склада его членов“; признавая эти положения, Плеханов, однако, попрежнему считает, что „революционное народничество“ остается незыблемо. Вместе с тем у него уже нет старой непоколебимой веры в безусловное развитие социализма через общину; он уже признает, что „при известной комбинации отрицательных влияний“ разрушение общины, действительно, неизбежное историческое явление. Так было на западе, но будет ли так в России? задает себе вопрос Плеханов и дает ответ на этот вопрос уже не в такой категорической форме, как прежде. Он теперь только говорит, „что поземельная община может иметь прочное будущее при благоприятном стечении обстоятельств“. Больше того, он теперь даже не исключает и такой возможности, в силу которой община разрушится и в России“. „На западе, говорит он, пахотные земли были переделены в наследственную собственность еще задолго до развития крупной капиталистической промышленности; в России община исчезнет, — если только исчезнет,—повидимому уже в борьбе с капитализмом“. Но если это возможно, но если это хотя бы только мыслимо, то как же быть со старой верой в общину, где же тогда искать опору для изменения общественного строя? Как сторонник учения Маркса, видевший основу в экономической структуре общества, Плеханов говорит: „Техника современного производства, начавшись социализацией труда, логически неизбежно ведет к социализации владений, т. е. к практическому осуществлению социалистических учений. Родившись на фабрике, рабочий социализм проникает и в деревню, вслед за исчезновением мелкой поземельной собственности и капиталистической организации земледельческих предприятий. При господстве индивидуального владения землею, социализация поземельного владения может явиться лишь как следствие социализации труда в таких предприятиях. Неудивительно поэтому, что социалистическая пропаганда встречает самый радушный прием в местностях, охваченных процессом капиталистического производства; напротив, мелкие собственники-крестьяне относятся к ней очень враждебно и составляют надежную опору реакционных партий. Классическим примером в этом случае может служить земледельческое население современной Франции. Но и там концентрация поземельного владения в руках крупных собственников рано или поздно вытеснит господствующую ныне систему землевладения, и французское крестьянство, силою экономической необходи-

мости, вынуждено было присоединиться к революционной армии городского пролетариата.

Таким образом, капитализм подготовляет почву социализму и является его необходимым предшественником".

Дойти по признания такого рода мыслей—это означало большой шаг вперед по сравнению со старой народнической теорией; теперь только нужно было признать, что и в России капиталистический строй промышленности стал господствующим, чтобы сделать дальнейший вывод—о необходимости обращаться к рабочим для создания революционной партии, так как крестьяне—мелкие собственники по сути дела мелко-буржуазный отсталый класс. (X)

Таким образом, мы видим, что, уже задолго до образования Группы „Освобождения Труда", чернопередельцы очень сильно отошли от традиционных народнических взглядов. Это особенно наглядно на тех статьях, где чернопередельцы высказывались о работе среди пролетариата и о политической борьбе. (X)

Правда, все эти правильные взгляды чернопередельцев были перемешаны с неправильными чисто утопическими мелко-буржуазными воззрениями чисто народнического характера. Правда, сначала, вскоре после раскола „Земли и Воли", самим чернопередельцам казалось, что принципиальных разногласий, кроме вопроса о терроре, между ними и народовольцами нет. (X).

Согласившись работать в народовольческом журнале (хотя и не в роли редактора), Плеханов послал для напечатания в нем свою статью „Социализм и политическая борьба". Тихомиров согласился напечатать эту статью, но с примечанием. Плеханов согласился и на это, но с условием ответить на это примечание. Последовал отказ, это было началом уже настоящего разрыва, а некоторые мелочи еще более усилили почву для разногласий, и, после захвата писем Стефановича из России чернопередельцами Тихомировым и Ошаниной, разрыв стал фактом[1]). В сентябре 1883 года была образована бывшими чернопередельцами Г. В. Плехановым, Л. Г. Дейчем, В. И. Засулич, П. Б. Аксельродом и В. Н. Игнатовым Группа „Освобождения Труда". Еще работая вместе с народовольцами, участвуя, напр., в „Социально-революционной библиотеке" (было издано: „На родине" 3 выпуска, биографии—Желябова, Перовской, Кибальчича), Плеханов ясно чувствовал, что разногласия между ним и народовольцами уже сглажены быть не могут. (X)

Все эти пункты разногласий, равно как и свою положительную программу, Плеханов изложил в своей замечательной книге „Социализм и политическая борьба", книге, которая по справедливости, может и должна считаться блестящим образцом изложения взглядов Маркса и, главное, применения их к русской действительности.

В первой главе этого произведения Плеханов опровергает анархические взгляды народников 70-х годов, отрицавших необходимость борьбы за политическую свободу. Показав, что эти взгляды, — невмешательства в политическую борьбу и веры в коммунистические идеалы общинника—суть не что иное как отражение мелко-буржуаз-

[1]) Об этих и других обстоятельствах рассказывается в переписке В. И. Засулич и П. Л. Лаврова, опубликованной т. Л. Г. Дейчем.

ного строя нашей деревни и непонимание, что развивающееся товарное производство создает такие же условия, как и на Западе, Плеханов переходит к критике русских бланкистов, ярким представителем которых являлся редактор журнала „Набат“ П. Ткачев. (×)

Вторая глава книги Плеханова целиком посвящена изложению взглядов Маркса, при чем автор, приведя выдержку из всем хорошо известного предисловия „Zur kritik der politischen Oekonomie“, раз'ясняет, что именно только эти основы Марксова учения являются ключем к пониманию нынешнего общественного строя и путеводной нитью в борьбе революционной социалистической партии.

Экономическая структура в конечном счете является основой всякого общества. Классовая борьба в этой смене общественно-политических форм, вызываемых изменением экономического базиса, играет решающее значение. Классовая борьба пролетариата поэтому не может не быть экономической, и в то же время политической, и потому пролетариат, как главная движущая сила революции, ставит своей задачей захват политической власти, диктатуру класса, диктатуру пролетариата. Задачи же, какие ставит себе пролетарская диктатура, сводятся к коренному переустройству общества, т. е. к уничтожению классового общества, покоящегося на основе частной собственности. Развитие человеческого общества ведет именно к торжеству рабочего класса не только в странах западно-европейского капитализма, но и в России и в странах Востока и всего мира, так как капиталистический строй становится международным и, разрушая отсталые формы хозяйства, завоевывая отсталые страны, порождает и в них классовую борьбу пролетариата и буржуазии. И в России капиталистический способ производства становится господствующим, община разрушается и на основах этого капиталистического производства выдвигаются новые силы,—русская буржуазия и пролетариат. Община не может помешать этому промышленному развитию России. В самой общине заложены основы ее разложения: частное хозяйство внутри общины, принудительные приемы земледелия, внедрение капитала в самое общину,—все это разрушает общину, усиливает дифференциацию крестьянства и выбрасывает новые массы пролетариата в города. Так в городах рабочий класс в силу условий производства, эксплуатации и гнета, сосредоточенности в огромных массах в крупных центрах, классового антагонизма между собой и буржуазией—поднимается на борьбу сначало стихийно, а затем и организованно под руководством своей рабочей партии, создание которой и должно быть главной и ближайшей задачей русских революционеров.

В третьей главе Плеханов подвергает критике программу партии „Народная Воля“. Отмечая все положительные стороны этой программы—ее политический характер, раз'ясняющий необходимость добиться политической свободы, Плеханов подвергает критике ее утопические и заговорщические черты, как они наиболее ярко выразились в идее захвата политической власти, развитой особенно резко Тихомировым. (×)

Плеханов в своей критике этих взглядов (развитых еще раньше в „Календаре Народной Воли“) показывает всю утопичность надежд

народовольцев. Если народовольцы не надеются на способность к организации крестьянства, если по мнению народовольцев рабочий класс не в силах играть самостоятельной роли, если в то же время русская буржуазия бессильна и вместе с тем далека от социалистических взглядов, то на кого же рассчитывают опереться революционеры в случае захвата им власти? На крестьянство? Но в силах ли будут революционеры, захватившие власть, не опирающиеся на вполне подготовленный и организованный класс, противостоять мелкобуржуазным стремлениям крестьянства. Экономических предпосылок для немедленного перехода к социализму в России нет и в таком случае все социалистические мероприятия интеллигентской разночинной диктатуры разобьются о разобщенность русских провинций, отсталость деревни и мелко-буржуазную сущность хозяйства в деревне.

Товарное производство в силу присущих ему имманентных законов разобьет все начинания социалистов, ибо никакого реального базиса для развития социалистического хозяйства у группы заговорщиков разночинцев не имеется.

„... Мы не принадлежим,—оговаривается Плеханов,—к числу принципиальных противников такого акта, как захват власти революционной партией. По нашему мнению, он представляет собою последний и притом совершенно неизбежный вывод из той политической борьбы, которую, на известной ступени общественного развития, должен начать всякий класс, стремящийся к своему освобождению. Достигший политического господства, революционный класс только тогда и сохранит за собою это господство, только тогда и будет в сравнительной безопасности от ударов реакции, когда он направит против нее могучее орудие государственной власти. Den Teufel halte, wer ihn hält, говорит Фауст.

Но диктатура класса, как небо от земли, далека от диктатуры группы революционеров-разночинцев. Это, в особенности, можно сказать о диктатуре рабочего класса, задачей которого является, в настоящее время, не только разрешение политического господства непроизводительных классов общества, но и устранение существующей ныне анархии производства, сознательная организация всех функций социально-экономической жизни. Одно понимание этой задачи предполагает развитой рабочий класс, обладающий политическим опытом и воспитанием, освободившийся от буржуазных предрассудков и умеющий самостоятельно обсуждать свое положение. Решение же ее предполагает, кроме всего сказанного, еще и распространение социалистических идей в среде пролетариата, сознание им своей силы и уверенность в победе. Но такой пролетариат и не позволит захватить власть даже самым искренним благожелателям“. Так ставит вопрос о захвате власти Плеханов, указывая, что, даже в случае удачи ,перед революционерами стоит труднейшая задача организовать производство на совершенно новых началах, а это может выполнить только партия, опирающаяся на совершенно развитой сознательный рабочий класс, условие, которого у народовольцев не имеется. Но мыслима ли вообще удача в этом предприятии захвата власти, спрашивает Плеханов и отвечает отрицательно: если заговорщики не на-

деются на рабочих и крестьян, то, несмотря на все их самоотвержение и героизм, одним им это предприятие не под силу; союзников же можно найти только в той части общества, которое состоит из богатых, влиятельных слоев и офицерства; эти элементы могут примкнуть только в целях захватить власть в своих интересах, а не в интересах народа. Таким образом, результаты захвата власти будут выгодны не для трудящегося народа, а опять же для командующих классов. К счастью для русских революционеров, в России уже есть рабочий класс. „Сила же рабочего, как и всякого другого класса, зависит, между прочим, от ясности его политического сознания, от его сплоченности и организованности. Именно эти элементы его силы и подлежат воздействию нашей социалистической интеллигенции. Она должна стать руководительницей рабочего класса в предстоящем освободительном движении, выяснить ему его политические и экономические интересы, равно как и взаимную связь этих интересов, должна подготовлять его к самостоятельной роли в общественной жизни России. Она должна всеми силами стремиться к тому, чтобы, в первый же период конституционной жизни России, наш рабочий класс мог выступить в качестве особой партии с определенной социально-политической программой. (X).

Эти взгляды, высказанные Плехановым в книге „Социализм и политическая борьба“, разделялись и всеми остальными членами Группы „Освобождения Труда“. Книга вышла в свет в 1883 году и, конечно, вызвала большое негодование в среде народовольцев. Во второй книжке „Вестника Народной Воли“ Лавров дал небольшую рецензию на нее и на перевод брошюры Энгельса „Развитие Научного Социализма“. Отозвавшись с похвалой о тех частях брошюры Плеханова, где излагается учение Маркса, Лавров упрекал автора книги за ее политические части, направленные против народовольческих взглядов. В том же втором номере „Вестника“ была напечатана статья Л. Тихомирова, посвященная развитию вопроса о захвате власти.

Группа „Освобождения Труда“ ответила на эти нападки новой работой Плеханова „Наши разногласия“, появившейся в июле 1884 г. в Женеве, и опубликованием своей программы.

„Наши разногласия“ посвящены трем главнейшим вопросам, которые надлежало во что бы то ни стало выяснить пред всеми русскими революционерами, — критике народнических взглядов, изложению основных положений учения Маркса и анализу современной русской действительности, покоившемуся на основе Марксова учения. (X).

Выработав свои новые социал-демократические взгляды, первые русские марксисты поставили своей задачей создание рабочей литературы и критику всякого рода революционных учений, царивших тогда в русской революционной среде. Непосредственная задача—создание партии в России из рабочих—пока была неосуществима, так как главная организационная сила группы, Л. Дейч, был арестован, и перед группой осталось пока только распространение учения Маркса среди русских революционеров и подготовка и создание кадров социал-демократической интеллигенции, которая бы уже в России и приступила к организации партии.

В России, однако, уже созрели условия, которые и помимо группы „Освобождения Труда“ толкали русскую революционную интеллигенцию и русских рабочих к социал-демократии. Происходит незаметный процесс выделения из народнических слоев новых, социал-демократических элементов, которые часто ощупью и медленно, но все же идут к той самой цели, какую поставила себе и группа „Освобождения Труда“. Этот процесс в России начинает усиливаться особенно с середины 80-х годов, когда рабочее движение усиливается повсеместно в стране.

Таким образом, в дальнейшем и необходимо изучать работу группы „Освобождения Труда“ параллельно самостоятельному социал-демократическому движению на фоне стихийно-рабочего движения 80-х и 90-х годов.

В то время как между народниками велись споры о том, является ли политическая борьба с правительством за политическую свободу ближайшей задачей революционной партии, в то время, когда народовольцы напрягали все усилия, подготовляя покушения на жизнь Александра II, независящие от воли людей, экономические причины поднимали на протест уже не одиночек-героев, а целые сотни и тысячи людей, не представителей мелко-буржуазной интеллигенции, а рабочих фабрик и заводов.

Рабочее движение новейшей формации, начавшееся после освобождения крестьян в семидесятых годах, в восьмидесятые годы продолжало развиваться и принимать новые формы. Забастовки рабочих стихийно возникают повсюду, от самых крупных центров до самых незначительных мастерских. Это движение носит стихийный неорганизованный характер,—стачки иногда кончаются погромами и буйством; в нем не видно единой направляющей воли, и характер стачек исключительно экономический: рабочие борются за улучшение условий труда,—повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, уничтожение штрафов и улучшение быта (×).

1885 год нужно считать поворотным пунктом в истории русского рабочего движения: в этом году произошла Морозовская стачка (×).

Морозовская стачка и, главным образом, процесс морозовских стачечников приковал к себе внимание всей России, начиная от рабочих и кончая правящими классами (×).

Правительство прекрасно поняло, что так или иначе надо выбросить кость измученному рабочему в надежде, что эта вынужденная уступка остановит развивающееся недовольство пролетариата. Прямо под непосредственным давлением рабочего движения (нельзя забыть, что в конце того же года произошли большие забастовки все в том же промышленном центральном районе—в Иванове-Вознесенске и в Тверской губ.) правительство спешно выработало закон о штрафах: требования морозовских рабочих были пред'явлены 11 января 1885 г., а меньше чем через год, 3 июня 1886 г., был издан закон, в котором почти буквально были повторены требования морозовских ткачей (×).

Это был факт огромной важности. Плеханов посвятил Морозовской стачке специальную статью во французской газете Жюля Геда.

и Поля Лафарга „Социалист“, где и писал: „Процесс вызвал к себе огромный интерес в России, где он, несомненно, явится исходным пунктом нового фазиса рабочего движения“. Плеханов был прав, когда спешил поделиться с западными товарищами известием о процессе ореховских ткачей: ткачей этих судили за две недели до статьи Плеханова (28 июня), а меньше чем через год (3 июня) был издан закон о штрафах. Плеханов был прав, считая Морозовскую стачку отправным пунктом нового фазиса рабочего движения в России, а Ленин через 10 лет после стачки написал даже специальную брошюру о штрафах, где выяснялось значение победы морозовских ткачей (×). Совершенно верно оценивает Морозовскую стачку Д. Б. Рязанов, когда указывает и на то, что эта стачка происходила в тот момент, когда во Франции стачка углекопов в Деказвиле, руководимая социалистами Дюк Керси и Рошем, тоже обнаружила, как и в России, невиданную эксплоатацию и гнет: в двух странах, с различным историческим прошлым, с различным культурным уровнем, одни и те же экономические условия, один и тот же капиталистический способ производства производили одни и те же следствия, и нужно было совершенно ничего не понимать в революционном движении масс и упорно держаться утопических мелко-буржуазных взглядов, чтобы отрицать наличие капитализма и его последствий в России.

Но Морозовская стачка ознаменовала еще одно замечательное явление, дотоле чуждое и невиданное на Руси: организаторами, вдохновителями и руководителями этого революционного рабочего движения были рабочие и только рабочие. Не только Моисеенок, Волков, Лука Иванов и Шелухин, но и все остальные подсудимые были чистокровные рабочие. На скамье подсудимых сидели не так, как на прежних процессах: дворяне, дети духовных, разночинцы и в лучшем случае с небольшим числом рабочих, на скамье подсудимых сидели только рабочие, ткачи и прядильщики. Правда, руководитель забастовки, Моисеенок, был учеником Плеханова и Халтурина, но этим только устанавливалась преемственная связь между социалистическими рабочими кружками семидесятых годов и новым периодом революционного движения в России, социал-демократическим. И еще одно большое значение Морозовской стачки нужно знать и помнить каждому коммунисту в России: эта стачка была блестящим подтверждением того прогноза, какой давал Плеханов на основании учения Маркса по отношению к России о том, что если у нас будет революция, то эта революция будет рабочая (×).

Само собой понятно, что и непосредственно для развития рабочего движения Морозовская стачка имела большое значение. Слухи о ней быстро проникли в рабочую среду, и не только в центральном промышленном районе, но и за его пределами. Рабочие начинают понимать, что в массе они непобедимая могучая сила (×).

С каждым годом это стихийное рабочее движение охватывало рабочих самых разнообразных отраслей труда и в самых различных пунктах страны, то нося совершенно мирный характер, как, напр., в Костроме, на фабрике Зотова в 1887 г., где неудачно бастовали чесальщики шерсти, то принимая бурный характер, как в Орехове-Зуеве, в 1885 году, или как на шахтах Бахмутского уезда в 1887 г. (×).

Вся масса еще верит в царя, и пройдет после Морозовской стачки еще двадцать лет, прежде чем эта вера будет растреляна самим же царем, но все больше и больше становится таких рабочих, у которых этой веры уже нет и которые, как Моисеенок и Волков, пытаются сорганизовать, сплотить рабочих на борьбу с капиталистом. Самая борьба еще носит примитивный, стихийный разрозненный характер, рабочие частенько громят фабрики, магазины и кабаки, но все чаще и чаще вносится в движение сознательность и организованность. Словом, в самой России независимо от воли отдельных революционных личностей создаются об'ективные условия, благодаря которым все легче и все чаще выдвигаются личности, социалисты, пытающиеся теоретически осмыслить новое невиданное явление на Руси,—массовое рабочее движение. Нельзя сказать, чтобы эти социалисты появились сразу, внезапно. Нет, и народники и народовольцы вели работу среди пролетариата. В сущности говоря работа народовольцев среди пролетариата не прерывалась до середины 90-х годов. В Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Харькове, Ростове на Дону, Саратове и других городах у народовольцев имелись связи с рабочими, были кружки, велась пропаганда. „Народная Воля", как известно, в начале 80-х годов имела рабочую группу, где особенное участие принимали, напр. Коковский. С особенным увлечением, затрачивая много сил, занимались в это время народовольцы пропагандой и организацией среди рабочих, как на экономической, так и на политической почве. Своей деятельности среди рабочих многие отдельные революционеры, вроде Коковского, и целые организации (напр., почти целиком все провинциальные народовольческие организации) отдавали все свои силы и все свое время, и ничто другое не отвлекало их от этих их задач: втянуть рабочую массу в борьбу с правительством было для этих революционеров главной целью их деятельности". Это утверждение „Былого" до известной степени верно, так как работа народовольцев среди пролетариата в Петербурге шла все время до начала 90-х годов. Даже больше того, в рабочих кружках, организованных Благоевым в 1881—5 году, согласно воспоминаниям Ольминского, вел пропаганду не социалист, а народоволец (сам Ольминский). Это был благоевский кружок рабочего Арсения Матвеевича Колодонова, наборщика по профессии. Членами этого кружка были: метранпаж Панов, конторщик Беляев, один шляпник и еще одно лицо, имя которого тоже неизвестно. Точно так же и в начале 90-х годов в кружках, организованных социал-демократами брусневцами, вел пропаганду и даже играл руководящую роль тот же народоволец Ольминский. Работа народовольцев в рабочей среде сталкивалась с работой социал-демократов: не редко и рабочие, считавшие себя социал-демократами или, во всяком случае, не народовольцами, ходили слушать пропагандистов в рабочие кружки, организованные народовольцами. Так, рабочий Н. Д. Богданов ходил в кружок рабочего Крутова, где занимался пропагандой тот же Ольминский. Об этой черезполосице в Петербурге, о внедрении работы только что появившихся социал-демократов в работу народовольцев и обратно, говорят все воспоминания и свидетельства (×).

Об'ективные условия, без сомнения, были главной причиной успеха социал-демократии, да пожалуй и характер народовольческой пропаганды был таков, что рабочие, затронутые ею, при встрече с социал-демократами, сравнивая их новое слово со старой неопределенной проповедью народовольцев, не колебались в выборе. В самом деле, каков был характер народовольческой пропаганды? Обратимся к „программе рабочих членов партии Народной Воли", где изложены главные, основные положения работы среди пролетариата. Не говоря уже о том, что это была все же та же народовольческая программа, программа радикально-революционной партии, остановимся на той ее части, где говорится специально о задачах партии в этой специфической области работы в рабочей среде. В пункте Д и Е программы говорится о формах организации и о задачах рабочих кружков, как силы, подсобной для народовольцев в момент переворота. „Для того, чтобы добиться, говорится в программе, чего бы то ни было, рабочие должны составлять силу, способную напирать на правительство и, при надобности, готовую поддержать свои требования с оружием в руках". Эти слова подчеркнуты и К. Марксом, которому народовольцы послали свою программу.

Но в этой же самой программе сейчас вслед за этим местом следуют такие слова: „Напасть на врагов с надеждою на победу может только вся социально-революционная партия, в которую рабочая организация входит как часть". Рабочая организация только часть партии, это не классовая партия пролетариата, это только необходимая боевая сила народовольцев. Это знакомые нам мысли, это мысли еще революционеров 70-х годов, только яснее, резче сформулированные Желябовым, который и был одним из главных творцов этой программы.

В программе, правда, было и другое место, также подчеркнутое Марксом. „Пользуясь уважением и любовью рабочих", говорится там, „члены кружка поддерживают бунтовской дух в рабочей среде, устраивают где нужно стачки против фабрикантов и готовятся к борьбе с полицейскими и правительственными властями, всегда стоящими за фабриканта". Но, отмечая эту задачу рабочей организации, народовольцы все же рассматривали „рабочие союзы", как они очень часто называли свои рабочие кружки, как часть той социально-революционной партии, которая составляется из людей „всех сословий русского народа" и которая собирает силы „в народе, в обществе". Народовольцы шли в рабочую среду с задачами совершенно противоположными тем, с какими шли социал-демократы: для них рабочий класс только наиболее подходящая среда, откуда можно черпать силы для стоящей вне рабочего класса партии; для социал-демократов это—класс, который должен создать самостоятельную социалистическую классовую партию, свою рабочую партию, с классом связанную, его интересы защищающую и ведущую его на борьбу против всех остальных классов (X).

За всем тем факт остается фактом: социал-демократы приходили нередко в уже достаточно подготовленную среду.

Действительно, вот как, например, рисуется работа среди пролетариата в Ростове на Дону: „О программе в деталях нечего и гово-

рить, ее не было и не могло быть. Я знал, что пропаганда моя среди рабочих, как слоя, как класса, имеющего свои определенные интересы, и прежде всего экономические, должна была опираться или лучше сказать, исходить из этих интересов, как наиболее понятных и близких им, рабочим. Сообразно с этим я думал, что выполню более или менее полно принятую на себя задачу, если: 1) выясню положение рабочих в настоящее время вообще как у нас, так и в других странах, т. е. выясню, что везде и всюду экономические интересы рабочего и капиталиста противоположны и при существующих условиях иначе и быть не могут, и укажу на причины такого положения; 2) укажу, что везде и всюду, а у нас в особенности, политическая власть, т. е. правительство вообще, поддерживает интересы капиталистов и помещиков против интересов рабочих и народа вообще; 3) что, при существовании у нас полного бесправия рабочих (как впрочем и других слоев) изменение экономического положения рабочего класса возможно только с уничтожением этого бесправия (т. е. при борьбе за политическую свободу, за уничтожение самодержавия) и, наконец, 4) ознакомлю с программой деятельности партии Народной Воли, т. е. выясню, что ближайшие цели партии (борьба с самодержавием для осуществления более отдаленной цели—социалистического строя) совпадают с интересами рабочего класса и потому должны быть им поддерживаемы" (Загр. „Былое", № 5—1904 г.).

Пропаганда такого характера, несомненно, была уже большой подготовительной школой для рабочих: чего не договаривал народоволец или из чего он делал неверные выводы, то исправляла жизнь и та классовая борьба, какая закипела по всей России.

Нередко наряду с такими народническими брошюрами, как „Хитрая механика", „Сказка о четырех братьях" и т. п., народовольцы читали в своих кружках соч. Лассаля („Что такое конституция" и др.), брошюры Либкнехта и даже „Коммунистический манифест" Маркса. Сама рабочая среда,—ее потребности, нужды, уровень развития—заставляли народовольцев бросать обычные народнические издания и переходить к книгам, трактующим рабочий вопрос (напр., „Рабочий вопрос" Ланге, „Труд и Капитал" Лассаля, „Паровая машина молотилка", „Экономический вопрос" и т. д.), а общение с рабочей средой, наблюдение жизни рабочих, их гораздо большая, чем у крестьян, сознательность, их солидарность во время стачек и протестов влияли и на мировоззрение самих народников.

Это мировоззрение постепенно изменялось незаметно, неощутительно для самих народовольцев, но изменялось, и многие, через несколько лет работы в пролетариате, вдруг с удивлением констатировали, что они уже не народники, что они ближе к социал-демократам, чем к народникам (X).

Такую эволюцию переживала, напр., „Группа народовольцев", в которую входили: М. С. Ольминский, Н. Л. Мещеряков, Е. М. Александрова, А. А. Федулов, Л. К. Чермак, Н. Н. Фрелих, швея Н. А. Григорьева, А. А. Ергин, А. Н. Никитинский, В. И. Браудо, М. Сущинский и Н. Белецкий.

Уже тогда некоторые члены этой группы были не совсем правоверными народовольцами (речь идет о 1884—5 годах). „Насколько

помню", говорит Ольминский: „в этой пропаганде Благоева и его кружка мы не видели особого принципиального греха; поэтому все время шел разговор о слиянии благоевского и народовольческого кружков, ведущих занятия с рабочими, так как в этой „специальной" области между нами, дескать, нет разногласий. Благоевцы от переговоров не отказывались, но от слияния уклонялись. В работе обособление не было строго проведено". Разногласия, конечно, были, и не маленькие, но был и сдвиг в сторону нового, а этим новым было народившееся рабочее движение и выражающая его интересы социал-демократия (×).

„Партия русских социал-демократов", или группа Благоева, возникла в 1884 году. Один из ее основателей, Дмитрий Николаевич Благоев, болгарин по происхождению, приехал в Россию учиться. Будучи студентом Петербургского университета, он познакомился со многими чернопередельцами, а после 1 марта 1881 года и со многими народовольцами, уцелевшими от разгрома.

„Споры на этих собраниях и сходках", говорит Д. Н. Благоев в письме к социал-демократу Кольцову: „чтение общей литературы по общественным вопросам и специально по революционному движению убедили меня, что ни народовольчество, ни народничество во всех его разновидностях не могут научно быть доказаны... Тогда я обратился к изучению „Капитала" Маркса и сочинений Лассаля. Целый 1883 г. я употребил на штудирование нового мировоззрения"... Уже в конце 1883 года Благоев начал пропаганду учения Маркса, и первыми его товарищами были опять же чернопередельцы, которые вместе с ним и составили группу, назвавшую себя „Партией русских социал-демократов". Наиболее выдающимися и деятельными членами этой партии являлись П. А. Латышев, В. Е. Благославов, В. Г. Харитонов, Н. А. Бородин, П. Н. Шатько, П. Н. Аршаулов, В. А. Кугушев, Андреев и др.

В течение 1884 года „Партия русских социал-демократов" занялась организацией рабочих кружков, которые и начали функционировать почти во всех пролетарских районах Петербурга,—на Васильевском острове, на Шлиссельбургском тракте, на Выборгской и Петербургской стороне. Для обслуживания этих кружков сорганизовали библиотеку легальных и нелегальных книг. Однако нужда особенно в нелегальной литературе была очень велика. Пытаясь завести регулярные сношения с группой „Освобождения Труда", благоевцы в своем письме Плеханову и его товарищам жаловались на недостаток литературы (×).

Этот недостаток литературы отчасти и заставил благоевцев искать связи с группой „Освобождения Труда" и подумать о постановке своей собственной типографии и издании своего органа. Но, конечно, не только нужда в литературе заставляла первых русских социал-демократов обращать свои взоры на Запад: нужна была, главным образом, идейная поддержка в той атмосфере развала и разброда, который чувствовался в рядах умирающей „Народной Воли". Новое течение революционной мысли именно в идейном отношении требовало поддержки, так как именно с этой стороны социал-демократы подвергались нападениям со стороны народничества. Ведь

народовольцы по прежнему продолжали повторять зады и даже почти год спустя, после Морозовской стачки, в передовице „Народной Воли“ (в октябре 1885 г.) писали: „У нас в России никогда не было никаких сословных сил кроме единой и нераздельной народной деревенской массы. И дворянство, и духовенство, и недавно проглянувший из гнили чахлый росток буржуазии, все это было исключительно создаваемо правительством по его усмотрению и по его же усмотрению продолжало существовать, изменялось или вовсе исчезало“. Так писали народовольцы как раз в то время, когда под ударами рабочего движения в тиши правительственных канцелярий, в результате Морозовской стачки, подготовлялся закон о штрафах.

Понятно, что новой группе революционного движения необходимо было позаботиться как о выработке своей программы, так и о постановке своего органа, где можно было бы откликнуться на все важнейшие теоретические и практические вопросы дня. Действительно, благоевцы в течение 1884 года вырабатывают проект своей программы, посылают его группе „Освобождения Труда“ и „Народной Воле“ и подготовляют издание своего органа, который и выходит под названием „Рабочий“ в январе 1885 г.

Группа „Освобождения Труда“, как известно, не одобрила выработанного благоевцами (повидимому, П. А. Латышевым) проекта программы. Анализируя эту программу и сопоставляя ее с программой группы „Освобождения Труда“, мы понимаем теперь, почему это одобрение не было дано: в ней еще нет той принципиальной выдержанности, той марксистской ясности и четкости, какие должны быть присущи программе социал-демократии; в ней, как сознается и сам Д. Н. Благоев, господствовали взгляды, представлявшие „смесь научного социализма с лассальянством и, если хотите, с лавризмом“. В самом деле, если сравнить те идеи, какие высказывают авторы благоевской программы о государстве, с Лассалевскими взглядами, то мы увидим, откуда черпали свои понятия организаторы первой русской социал-демократической группы. Лассаль, пропагандируя свои ассоциации, так определяет современное государство: „Что такое государство? спросил я, и теперь вы видите из нескольких цифр яснее, чем из толстых томов, что государство—это вы, великая ассоциация беднейших классов“! Исходя из этой мысли, Лассаль и полагал, что ассоциация рабочих с помощью государства и выведет рабочих из их бедственного положения (X).

Мы видим, как в только что приведенном определении государства Лассаль был далек от истины, как им не охарактеризована самая сущность современного буржуазного государства,—этой организации, защищающей интересы одного класса,—капиталистов. Беря благоевскую программу, мы также видим, как близко подходят их взгляды к только что приведенным взглядам Лассаля. Указав, что наиболее могучей формой общественной жизни является государство, благоевцы говорят: „Государственный строй, в той или другой форме, всегда является воплощением известного нравственного принципа, но до сих пор государство благодаря узости этих принципов всегда служило интересам отдельных классов в ущерб народу“. (X)

Но кроме этих элементов лассальянства в программе благоевского кружка были и элементы лавризма. Эти элементы особенно ярко выявлены в некоторых статьях благоевского журнала „Рабочий". Уже в первом номере журнала в передовой статье под заглавием: „Чего недостает рабочему народу" автор приходит к заключению, что, кроме пищи, одежды, жилищ, хороших заработков и хороших порядков, рабочему народу недостает знаний. Знания же эти, между прочим, нужны для того, чтобы понять ту истину, что государство может и должно служить интересам всех граждан. Если же нынешнее государство таково, что защищает интересы только кучки привилегированных людей, то его нужно изменить.

„История всякого государства,—говорится в этой статье,—начинается с рабства, с подчинения большинства людей меньшинству. Причины такого несправедливого устройства вовсе не в судьбе, а просто напросто в незнании. Если люди не знают, что государство может и должно служить интересам всех их без исключения, то такое незнание всегда приводит к неправде. Если люди не знают, что интересы всех их согласны между собою и тесно связаны друг с другом, то такое незнание всегда приводит к угнетению слабых сильными". „...Одним словом, незнание всегда приводит к угнетению". А так как, по мнению автора статьи, „государственная жизнь одна только может дать полное счастье, то и нужно изменить государство так чтобы оно давало полное счастье. Но для этого нужно знать, как изменить государство. Народ темен и не знает, как установить лучшие порядки, а потому, „как ни смотри на дело, выходит, что самое главное, чего не достает рабочему народу—знание". Хорошее государство, в которое заложено нравственное начало, и должно было бы давать эти знания народу, но оно их не дает, и потому такую задачу берет на себя, по словам автора статьи, газета „Рабочий". А так как для того, чтобы государство могло давать знания народу, необходимо изменить плохие государственные порядки, которые препятствуют народу приобретать знания, то ближайшими задачами рабочего народа является „в приобретении свободы: преподавания, знания, сходок и общественных собраний, слова и печатания".

Продолжением и более обширным развитием высказанных в этой статье мыслей служит статья второго номера, „Знание и Критика". Здесь уже автор прямо почти повторяет положения о критически-мыслящих личностях.

Автор берет в качестве такой критически-мыслящей личности Пугачева и говорит, что „Пугачев так же, как и окружающие его, вырос среди неправды, весь свой век видел эту неправду, но не махнул на все рукой, не говорил, что все от бога. Он пересилил привычки своего времени, не посмотрел на зло, как на что-то необходимое и неизбежное, а начал доискиваться причин и предложил средства к устранению его. Эта способность доискиваться причин замечаемых нами явлений и разбирать, какие из них способствуют, а какие препятствуют счастию людей,—называются критическою способностью. Это—великая способность человеческого ума. Ведь, чтобы изменить что-нибудь к лучшему, надо сперва сознать, что прежнее

плохо, надо сознать, что можно изменить это плохое, надо указать причины дурных порядков, чтобы знать куда направить свою силу. Все это и делает критика". Но Пугачев, однако, не освободил народа, да и не мог освободить его, потому что он не знал, какие же причины создают того самого помещика, против которого он поднимал народ, и потому теперь народу, если он хочет изменить государственные порядки к лучшему и своей пользе, нужно узнать эти причины, а для этого нужно знать многое и многому учиться. Отсюда „само собою понятно, что дело преобразования не покажется уже таким легким, как в то время, когда человек видел одну только причину всех несчастий (как Пугачев видел причину бедствий только в помещиках)... Как только человек увидит, что всякое общественное явление зависит от множества самых разнообразных причин, он поймет, что не так легко и не так скоро можно изменить эти причины. Пугачев звал за собой народ, говоря: „Перебьем помещиков, и на земле водворится рай". Мы тоже зовем с собой народ, но мы говорим: „Надо долго и упорно работать, учиться и тогда, если не мы, то дети наши вздохнут свободнее, они, а не мы увидят „новые небеса и новую землю, в них же правда живет (Евангелие)".

Стоит только сравнить эти мысли с некоторыми страницами сочинений Лаврова, чтобы убедиться, где лежат корни этих только что приведенных взглядов благоевской группы. (×)

Но, конечно, благоевцы были бы чистыми народниками, если бы они ограничивались только такими идеями в своей программе. Они шли дальше и в той же программе, которую они послали Плеханову, уже имеются в зародыше те основные взгляды, на каких скоро будет построена программа Российской социал-демократической рабочей партии.

Элементы эти следующие. Переход к социалистическому строю от современного индивидуалистического возможен только через развитие крупного производства, через капитализм. Классовое общество и государство может быть уничтожено только развитием классовой борьбы и, стало быть, классового самосознания рабочих. Но так как в России развитие капитализма—процесс запоздалый по сравнению с западноевропейским обществом, то прежде чем добиваться отмены частной собственности на землю и орудия производства и вообще для более успешной борьбы за максимальные требования (за социализм), необходимо добиться того, что уже есть на Западе, т. е. демократического строя со всеми его гарантиями и свободами. Главной силой в этой борьбе является рабочий класс, который и должен стремиться образовать свою самостоятельную рабочую партию. „Рабочий народ", говорится в „программе рабочих", напечатанной в первом номере журнала: „представляет единственную силу, которая может бороться с правительством". (×)

Ясно, почему Плеханов и его товарищи не одобрили программы первых „русских соц.-демократов". Плеханов и высказал свои взгляды на задачи русских социал-демократов в статье, напечатанной во втором номере „Рабочего",—„Современные задачи русских рабочих". Эта по истине блестящая статья в удивительно яркой, хотя и сжатой форме, ставит вопрос о задачах русской социал-демократической ра-

бочей партии в совершенно иную плоскость. Раз'яснив, почему партия должна носить название рабочей и в каком отношении должна она быть с другими непролетарскими элементами страны, Плеханов вскрывает самую сущность капиталистической эксплоатации и устанавливает зависимость и связь политического гнета с угнетением экономическим. Доказывая затем мысль, что всякая борьба экономическая не может не быть в современном государстве в то же время и борьбой политической, он подчеркивает своевременность и необходимость для русских рабочих уже в то время борьбы с самодержавием и указывает, какие огромные выгоды приобретет рабочий класс от завоевания политической свободы. Напомнив об ошибке народников, отвергавших борьбу за политическую свободу, и указав на то, как классовый инстинкт помог „Северно-русскому рабочему союзу" пойти по верному пути, Плеханов говорит, что сила рабочего класса зависит от его сознательности, сплоченности и тактики. Неудачи борьбы рабочего класса в 70-х годах проистекали от недостатка этих трех условий. Поэтому в настоящее время необходимо увеличивать сознательность рабочего класса, т. е. поставить социалистическую пропаганду в рабочих кружках; это, в свою очередь, поможет сплоченности отдельных кружков в единую рабочую партию, которая должна бы выработать такую революционную тактику, которая помогла в каждый данный момент использовать в интересах пролетариата решительно все выгоды данного положения. Здесь Плеханов останавливается на том взаимоотношении классов, какое по его мнению тогда существовало в стране. Резюмируя все сказанное, Плеханов говорит: „Итак, что же вам предстоит делать? 1, Развивать сознательность в среде наших товарищей, 2, организовать и сплочивать их силы, 3, направить эти силы на завоевание тех политических прав, которые дали бы вам возможность добиться некоторых экономических реформ уже в настоящее время, а, главное, облегчили бы вам вашу окончательную победу в будущем". (×)

Но напрасно было думать, что в Петербурге существовала в восьмидесятые годы только одна социал-демократическая организация, носившая название „Партии русских социал-демократов". Почти в одно и то же время, как возникла „Партия русских социал-демократов", в Петербурге же создалась другая социал-демократическая организация, созданная Павлом Людвиговичем Точисским.

Точисский, сын полковника, начальника Екатеринбургской тюрьмы, и матери француженки, с раннего детства вынес ненависть к самодержавному режиму, с самыми мрачными сторонами которого он соприкасался благодаря службе отца. Мать, парижанка по происхождению, вдохнула ему любовь к республике и гуманное отношение к тем борцам за свободу, которых его отец держал под замком в тюрьме. Несомненно, встречи молодого человека с проходящими через Екатеринбург выдающимися революционерами оказали огромное влияние на формирование взглядов Точисского. Еще в гимназии он организовал кружок самообразования, повидимому, народнического характера, но столкновения с гимназическим начальством и, главное, с отцом, который был недоволен направлением сына, довели дело до разрыва с семьей: старик Точисский выгнал сына из дома, и моло-

дой революционер бросает буржуазное общество и поступает чернорабочим на какой-то завод близ Екатеринбурга. „Тяжелая жизнь и новые условия тесно сблизили Точисского с его новыми товарищами“, говорит Брейтфус в своих воспоминаниях. „Здесь он решил окончательно уйти от „ликующих, праздно болтающих“ и посвятить свою жизнь трудовому, забитому и бесправному люду, работать для его раскрепощения, для уяснения ему его неот'емлемых прав человека“. В 1884 году летом Точисский вместе с сестрой Марией (она поступила на Бестужевские курсы) едет в Петербург и поступает на ремесленные курсы для изучения слесарного ремесла (на Выборгской стороне). С этого момента Точисский становится настоящим рабочим-техником и соц.-демократом. Уже осенью 1885 года, т. е. как раз в то время, когда действовала и „партия русских социал-демократов“, образовался и кружок Точисского. В состав этого кружка, кроме его организатора, входили трое братьев Брейтфус: Людвиг, Гейнрих и Эдуард, сестра Точисского—Мария, дочь священника Любовь Васильевна Аркадакская и Елизавета Данилова. Это был, так сказать, центральный кружок. Сначала этот кружок носил название „Общество содействия поднятию материального, интеллектуального и морального уровня рабочего класса в России“, а затем „Товарищество С.-Петербургских мастеров“. Из рабочих, принимавших близкое участие в делах этой организации, были Нил Васильев, „Семеныч“, „Клим“ и „Фомич“, лица, скрывавшие свои действительные имена под конспиративными кличками.

Цели общества, как рисовали их на допросах обвиняемые, были очень скромны и невинны, они сводились к организации как будто бы чисто культурно-материальной взаимопомощи и просвещению своих членов. Для этой цели Точисский организовал библиотеку по преимуществу из книг, дозволенных к обращению, и ссудо-вспомогательную кассу, средства которой составлялись из ежемесячных взносов членов по 25 коп. Но не даром правительство оценило „Товарищество“ Точисского, как организацию, имеющую целью „развитие и поддержание в среде рабочих противоправительственных идей, в интересах революционной партии“.

Действительно, хотя устав „Товарищества“, написанный Точисским, не сохранился (его незадолго до ареста уничтожил Брейтфус), но судя по тому, что говорит об этой организации один из активнейших его членов, Брейтфус, это была настоящая социал-демократическая организация, резко враждебная народовольчеству. Он характеризует взгляды Точисского, как новые взгляды, противоположные его народовольческим взглядам, и продолжает так:

„Мне тогда представлялось (летом 1885 года), что учение революционных народников являлось альфой и омегой человеческих знаний. Поэтому, когда я в Точисском встретил строгого критика народовольчества, я был крайне удивлен и заинтригован. Его абсолютно отрицательное отношение к террору меня поразило. Я считал террор верхом героизма. А он говорит, что террор—рисовка, что адепты террора лишь жаждут славы, что террор,—в конце концов, лишь средство завоевать власть для выростающего класса буржуазии. Народ настолько темен, настолько еще несознателен, что не в состоянии воспользоваться результатами героической борьбы народоволь-

ческой интеллигенции; последняя, борясь во имя якобы народа, лишь могла бы помочь взять власть новым врагам народа. Но к великому огорчению и революционной интеллигенции и алчной буржуазии, тянущейся к власти, террор и все потуги революционной интеллигенции лишь покушение с негодными средствами. Революция и радикальный политический переворот возможны лишь в результате глубинного движения народных масс, и именно той части народа, которая является действительно революционной по отношению к существующему строю. Точисский находил, что в России может быть пригоден для революции только пролетариат, и все революционеры сильно грешили и грешать, игнорируя этот класс, бросаясь то в крестьянскую, то в интеллигентскую среду. Крестьянская масса, несмотря на свою многомиллионность раз'единена не спаяна одними интересами

Считая единственным революционным классом пролетариат, он находил, что в этот класс должны быть брошены все революционные силы страны, создан в нем революционный оплот, на почве экономической борьбы воспитать и приготовить его для политической борьбы.

Но рабочий класс России еще на низкой ступени развития, его классовое сознание находится лишь в потенции. Поэтому без помощи интеллигенции ему не обойтись; последняя должна повести его, дать ему организацию, выявить его классовое сознание.

Интеллигенцию он считал случайным гостем в революции, ибо понимал революцию, как социальную. Он часто говорил: Вы с нами до первого поворота, до первой конституции, которой добиваетесь от правительства и в которой нуждаетесь, а там наши дороги далеко разойдутся". Не реже он повторял слова Христа: „прежде чем петух пропоет три раза, вы (интеллигенция) трижды отречетесь от меня (пролетариата)". Вообще он считал революционную интеллигенцию идеологами буржуазии и старался отсеять от нее лишь действительно революционное ядро. Поэтому он тем не менее привлекал к своей работе интеллигенцию en gros, но не забывал ставить ей на вид, что она терпима только до тех пор, пока в среде рабочего пролетариата не создалась своя интеллигенция, революционная"(X).

Организация Точисского не произвела шума своим появлением и своей ликвидацией, но значение имела, без сомнения, большое. Это значение (X) состояло в том, что в ней, в ее кружках, как и в кружках „партии русских социал-демократов", получали свою теоретическую подготовку, выдающиеся из тех рабочих, на долю которых выпала задача в конце восьмидесятых и начале девяностых годов организовать Брусневскую группу (X).

Эта, так сказать, одна струя идейного влияния на рабочих— интеллигентская, а другая чисто рабочая, идет от старых рабочих, распропагандированных еще народниками и народовольцами; таких рабочих, как организаторов рабочих кружков, мы находим повсюду; о них говорят все участники движения 80-х годов,—Ольминский, Богданов, Шелгунов, Норинский и др. Эти же рабочие получили свое боевое крещение и социалистическую выучку у тех же народников или в „Северно-русском рабочем Союзе" Халтурина и Обнорского, который сам прошел школу интеллигента Заславского (X).

Эти рабочие во второй половине 80-годов сыграли крупнейшую роль в деле формирования российской социал-демократии. Как раз в то время, когда под ударами правительства происходил первый разгром Благоевской группы, в 1886 г. замечательный рабочий Николай Дементьевич Богданов, распропагандированный каким-то народовольцем, постепенно организует свой кружок из рабочей молодежи, близких товарищей. Здесь, в этом кружке из рабочих варшавских железно-дорожных мастерских, Богдановым ведется работа самостоятельно, и только в 1888 году этот кружок связывается с интеллигентом Вл. Переверзиным; связь эта сохраняется до конца 1889 г., когда после ареста Переверзина на его место становится Гавриил Михайлович Родзевич, и, таким образом, богдановский кружок входит в общую Брусневскую организацию. В то же время другой не менее замечательный русский рабочий Василий Андреевич Шелгунов в 1887 г. знакомится с рабочим Егором Афанасьевичем Афонасьевым-Климановым, тоже как и Богданов, занимавшимся самостоятельно с рабочим кружком. В то же время слесарь Балтийского завода Иван Иванович Тимофеев, тот самый, что получил библиотеку от Точисского, организует при помощи Норинского, молодого рабочего того же завода, кружок, в который входят рабочие,—Владимир Фомин, Иван Егоров, Михаил Яковлев, Иван Беляев, Петр Яковлев, Кайзо и другие. Члены этих кружков в свою очередь ведут пропаганду, завязывают новые знакомства, связываются с организацией интеллигентов, и таким образом создается обширная организация, раскинувшаяся по всему Петербургу, имеющая во главе два центра „Рабочую Группу, или Комитет и организацию интеллигентов, что в общей совокупности и известно под именем группы Бруснева.

Каким же путем эти рабочие сумели создать организации, которая охватила все районы столицы и послужила основой дальнейшего движения не только в Петербурге, но и в провинции? Что представляли собой эти пионеры русского рабочего движения? Прежде всего нужно сказать, что эти рабочие представляли именно ту самую пролетарскую интеллигенцию, какую сейчас мы создаем, пользуясь всей мощью государственной рабоче-крестьянской власти. Тогда же эта пролетарская интеллигенция создавалась под страшным гнетом самодержавного государства и под воздействием немногочисленной социалистической интеллигенции (×).

Но прежде, чем перейти к описанию этой группы, необходимо ответить еще на один вопрос: что же в восьмидесятые годы развитие русской социал-демократии ограничивалось только одним Петербургом или это было повсеместное явление в России?

Разработка архивных материалов, касающихся 80-годов, только что начинается, и не подлежит никакому сомнению, что и в Москве, как и в Петербурге, под влиянием времени происходил сдвиг в рабочей среде и интеллигенции, хотя сейчас указать кружки переходного типа в Москве не представляется возможности.

Еще в первой половине восьмидесятых годов в Москве литография Янковской печатала в числе прочих нелегальных брошюр и книг (×) письмо по поводу об'явления Группы „Освобождения Труда“ об издании своей социалистической библиотеки.

Были, стало быть, элементы, уже критически смотревшие на народническую теорию и практику и искавшие другой среды, чем народники, и ставившие другие задачи. Народниками пропаганда среди рабочих в Москве велась искони; пытались эту пропаганду вести в Москве и чернопередельцы. Старейший из московских революционеров-марксистов, С. И. Мицкевич, так говорит по этому поводу: „...И в этот период у интеллигенции заводились кое-какие связи и знакомства с рабочими, по большей части с рабочими высших разрядов труда: монтерами, помощниками машинистов, токарями и т. д. Связи эти носили большей частью культурный характер: рабочим давали читать „хорошие“ книжки и велись за стаканом чая беседы“. (X)

С. И. Мицкевич упоминает также некоторых рабочих, затронутых еще народовольческой пропагандой и помогавших первым социал-демократам организовать первые социал-демократические кружки. Но несомненно одно, что социал-демократическое движение в Москве было развито значительно менее, чем в Петербурге. По крайней мере, Бруснев в своих воспоминаниях, говоря о своей работе в Москве в 1891 году, указывает на то, что даже группа Кашинского, „хотя и стояла на социал-демократическом пути, но еще не отрешилась от некоторых народовольческих взглядов на политическую борьбу“. (X)

Зато в провинции, как это ни странно с первого взгляда, социал-демократическое движение стало, как и в Петербурге, распространяться уже со второй половины 80-х годов.

Одним из первых марксистских кружков в провинции, несомненно, был кружок Н. Е. Федосеева в Казани, организованный еще в 1888 году. Кто был инициатором этого кружка, пока установить не представляется возможным. Некоторые данные позволяют утверждать, что Н. Е. Федосеев совершенно самостоятельно пришел к выводу, что учение Маркса единственно правильная теория научного социализма и что, исходя из нее, только и можно выработать практический и правильный революционный метод и для России. (X)

Насколько можно судить по уцелевшим отрывочным письмам самого Федосеева и по пересказу его ученика Н. Л. Сергиевского, воззрения одного из первых русских марксистов сводились к следующему: „Россия, точно так же, как и Запад, уже вступила на путь капиталистического развития, и в России уже на лицо многочисленный промышленный пролетариат, о чем ярко свидетельствует его стихийное движение. Задача социалиста, стоящего на почве научного социализма Маркса, заключается теперь уже не в одной разработке теоретических проблем материализма и экономики, борьбы с суб‘ективным методом в социологии народников, но и в распространении идейного влияния марксизма на массы, создание революционной пролетарской организации. „Сам Н. Е. никогда не называл себя социал-демократом“, говорит Н. Л. Сергиевский: „как он не называл других марксистов того времени. Он делал различие между марксистом и социал-демократом. Марксист по его терминологии—это теоретик-идеолог рабочего класса, обыкновенно выходец не из рядов класса, а социал-демократ—это практический борец, вождь рабочего класса, преимущественно выходец из того же класса. Поэтому гэдизм—мар-

ксистская организация, немецкая партия — социал-демократия; Каутский—марксист, а Бебель—социал-демократ. Без Бебелей немыслима рабочая партия, потому что у партии не будет действительных вождей класса, кровно заинтересованных в его нуждах и до тонкости понимающих, знающих жизнь класса, одним словом, живущих одной психологией с классом, который они представляют. Только такие вожди в состоянии владеть массой и в нужный момент повести ее в бой. Марксист же должен теоретически обосновать программу и выработать, подготовить Бебелей и Либкнехтов. Для этого марксисту нужно было итти в народ, чтобы выявить русских Бебелей, будущих вождей российской социал-демократии. Нужна программа, но для России нужно не рабски списать прогрмму западно-европейской социал-демократии, а наоборот, исходя из учения Маркса, анализировать русскую действительность и на основе этого экономического анализа и взаимоотношения классов построить программу русской социал-демократической рабочей партии".

Мысль о создании боевой социалистической партии пролетариата в России, таким образом, была не только достоянием одного Плеханова, но родилась и у нас дома совершенно самостоятельно в головах таких теоретиков, как Федосеев и особенно, как это будет показано ниже, Ленина задолго до того времени, как действительно такая партия была создана. (X)

Конечно, не одна Казань была центром выработки нового марксистского миросозерцания. Нижний—Новгород, Саратов и особенно Самара, где с 1889 по осень 1893 года жил и работал В. И. Ульянов-Ленин, (X) являлись умственными ревилюционными центрами, где вырабатывалась новая идеология.

Работа В. И. оказала большое влияние на молодежь, и Самара долго еще после от'езда В. И. Ленина в Петербург служила марксистским центром Поволжья. Во время пребывания Ленина и Скляренки, вокруг них и затем Лалянда образовалась небольшая группа марксистов,—М. И. Семенов, его жена С. А. Семенова, С. М. Моршанская. А. Г. Буянов, его жена Е. Буянова фельдшерица, Ф. И. Казманова, М. В. Беляков, мастер оружейного Воткинского завода Е. А. Вахрушев, С. П. Кузнецова—(Локерман), фельдшерица Р. П. Поморцева, фельдшер земской больницы И. К. Иванов и А. Ф. Иванова (Есырева). В конце 1893 г. этот кружок был арестован, жандармы нашли много нелегальной литературы, и участники кружка поплатились ссылкой на север и надзором полиции, при чем Скляренко получил 3 года Архангельской губернии. Еще в то время, когда в Самаре действовал этот молодой кружок, Самара превратилась в марксистский центр, куда приезжали послушать, поучиться и просто поспорить с новыми людьми, социал-демократами. В провинции еще больше, чем в столицах, царил хаос в революционных кругах. Михайловский, с его теорией „героев и толпы", с его суб'ективным методом в социологии, как теоретик народничества в области философии, экономисты Н—он, В. В., проф. Карышев и целая рать земских статистиков в области экономической, народовольцы и народоправцы в области политической—вся эта пестрая смесь увлекала молодежь, живя еще отблесками былой славы „Народной Воли". (X)

Русским марксистам надлежало, стало быть, прежде всего разбить эти романтические реакционные взгляды и показать, что капитализм уже настолько завоевал русскую деревню и настолько поколебал эти устои, что вопрос шел не о том, как сохранить эти устои, а о том, как использовать все то положительное, что, вместе с страшными бедствиями, принес России капитализм.

Необходимо было доказать на том же самом материале, каким пользовались и экономисты-народники, что выводы из этого материала вытекают совершенно иные, и что путь, какой рисуется на основании этих выводов, не путь сотрудничества пролетариата и крестьянства с буржуазией, а путь борьбы, путь революции.

С этой задачей уже в начале '90-х годов блестяще справился В. И. Ленин. (×)

В 1894 г. он написал замечательную критическую работу под названием „что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов". В этом сочинении показана вся несостоятельность „суб'ективного метода социологии" Н. К. Михайловского и его последователей и вскрыта вся реакционная сущность разложившегося народничества.(×)

Указав на то, что ошибка прежних экономистов в том и состояла, что они „не понимали природы экономических законов, когда сравнивали их с законами физики и химии", и что заслуга Маркса в том и заключается, что он сумел подойти к рассмотрению истории общества, как естественно-исторического процесса, Ленин вскрывает абсолютное невежество Михайловского в области философии и в частности в области диалектики Гегеля.

Он берет излюбленную идею народников о том, что „в состав нравственно-политических идеалов" необходимо „вводить принадлежность земли земледельцу и орудий труда производителю", и показывает, что под этими хорошими словами народников скрывается нечто иное, как увековечение мелко-буржуазных отношений русской деревни.

В своей полемике против марксистов Михайловский, пользуясь тем, что русские социал-демократы не могли отвечать на критику своих взглядов в легальной печати, позволил себе исказить взгляды своих противников настолько, что эти взгляды можно было принять за взгляды самых от'явленных буржуа, и утверждал, что существуют марксисты, которые радуются и даже активно содействуют разорению крестьян.

Отмечая эти недостойные выпады, Ленин на богатейшем цифровом материале земской статистики показывает, что „капитализм представляет из себя не противоречие „народному строю", а прямое ближайшее и непосредственное продолжение и развитие его". Приведя цифры, рисующие дифференциацию крестьянства, и показав, что кустарная промышленность в большинстве случаев организована капиталистически, что разложение деревни создает внутренний рынок, что в России, вследствие развития капитализма, происходит в гигантских размерах процесс экспроприации крестьянства. Ленин говорит о той теоретической работе, какую уже проделали социал-демократы. (×).

„Русские социал-демократы срывают с нашей деревни украшающие ее воображаемые цветы, воюют против идеализаций и фантазий, производят ту разрушительную работу, за которую их так смертельно

ненавидят „друзья народа“,—не для того, чтобы масса крестьянства оставалась в положении теперешнего угнетения, вымирания и порабощения, а для того, чтобы пролетариат понял, каковы те цепи, которые сковывают повсюду трудящегося, понял, как куются эти цепи, и сумел подняться против них, чтобы сбросить их и протянуть руку за настоящим цветком. Когда они несут эту идею тем представителям трудящегося класса, которые по своему положению одни только способны усвоить классовое самосознание и начать классовую борьбу, тогда их обвиняют в желании вываривать мужика в котле.

И кто обвиняет?

Люди, которые сами возлагают свои упования относительно освобождения трудящихся на „правительство“ и „общество“, т. е. органы той самой буржуазии, которая повсюду и сковала трудящихся!

Последнюю, третью часть своей работы В. И. Ленин посвятил разоблачению реакционной сущности политической программы „друзей народа“.

„...Как настоящие идеологи мещанства, они хотят не уничтожения эксплоатации, а смягчения ее, хотят не борьбы, а примирения. Их широкие идеалы, с точки зрения которых они так усердно громят узких социал-демократов, не идут далее „исправного“ крестьянства, отбывающего „повинности“ перед помещиками и капиталистами, лишь бы только помещики и капиталисты справедливо к ним относились“.

Раз‘яснив сущность революционного народничества, Ленин описывает постепенную эволюцию двух струй этого народничества,—одной, превратившейся в борьбу радикалов с правительством за политическую свободу, и другой, которую он характеризует так: „... это совсем не народничество (в старом привычном значении слова), и этот успех и это громадное распространение в ширь достигнуты ценой опошления народничества, резко оппозиционного нашему либерализму, в культурнический оппортунизм, сливающийся с этим либерализмом, выражающий только интересы мелкой буржуазии“.

Ленин характеризует народнические программы Кривенки, Южакова, Михайловского, как программы реакционные, потому что все эти „друзья народа“ не понимали, что „никаких других общественно-экономических отношений, кроме буржуазных и отживающих крепостнических, в России не было и нет, что поэтому не может быть и иного пути к социализму, как через рабочее движение“.

И поскольку мелкая буржуазия и народники, выражающие ее интересы, борются с остатками крепостничества, постольку пролетариат и социал-демократы будут итти в этой борьбе рядом с радикальной демократией, поскольку же эта радикальная демократия и мелкая буржуазия выдвигают программы мещанского социализма, в сущности отстаивающие интересы буржуазии, постольку социал-демократы должны отмежеваться от этого мещанского социализма и об‘явить ему беспощадную борьбу.

Ленин нисколько вместе с тем не отрицает важности демократизма и даже говорит, что „вообще русским коммунистам, последователям марксизма, более чем каким-нибудь другим следует именовать себя социал-демократами и никогда не забывать в своей деятельности о громадной важности демократизма“.

Но делать это нужно совсем не потому, что демократизм последнее слово революционной борьбы, а потому, что и в борьбе за уничтожение самодержавия и достижение демократизации русской жизни пролетариат и его партия является также передовым борцом, могущим в момент революции повести за собой все революционные элементы страны.

Это, однако, нисколько не означает ни того, что социал-демократы должны забыть коммунистические основы своего учения, ни того, что они должны, забыв о своей программе, примкнуть к „союзу" всех фракций революционеров для завоевания политической свободы.

Ленин замечает, что это „об'единительное" течение, этот союз не социал-демократических элементов „выражает собой одну из последних стадий" „...процесса превращения боевого, революционного народничества в политически-радикальный демократизм", и указывает, что это об'единение возможно будет только тогда, когда русская демократия раз навсегда покончит с самобытничеством, т. е. с верой в коммунистические начала общины, с отрицанием капиталистического развития России и с мелко-буржуазным социализмом, по сути дела прикрывающим далеко не социалистические вожделения.

Показав затем, что, как и весь строй России, российская интеллигенция претерпела большое развитие и классовое расслоение, Ленин показывает, что должна делать социалистическая интеллигенция.

„Социалистическая интеллигенция только тогда может рассчитывать на плодотворную работу, когда покончит с иллюзиями и станет искать опоры в действительном, а не желательном развитии России, в действительных, а не возможных общественно-экономических отношениях. Теоретическая работа ее должна будет при этом направиться на конкретное изучение всех форм экономического антагонизма в России, изучение их связи и последовательного развития; она должна вскрыть этот антагонизм везде, где он прикрыт политической историей, особенностями правовых порядков, установившимися теоретическими предрассудками. Она должна дать цельную картину нашей действительности, как определенной системы производственных отношений, показать необходимость эксплоатации и экспроприации трудящихся при этой системе, показать тот выход из этих порядков, на который указывает экономическое развитие".

Где же та опора, на какую должна опереться социалистическая интеллигенция в своей практической работе? Это не буржуазия, это не либералы, это, наконец не мелкая буржуазия с мелко-буржуазной народнической интеллигенцией—это передовой отряд революции—пролетариат. Работа среди пролетариата это и есть та практическая работа, какая стоит пред социал-демократами.

„Studieren, propagandieren, organisieren". Изучать, пропагандировать и организовать—вот что нужно делать социал-демократам. (X).

Самый важный факт этого периода (т. е. начального периода русского марксизма. СВ.) возникновение и упрочение теории и программы российской социал-демократии.

Она, как мы видели, возникла, как естественный и неизбежны результат тех экономических изменений, какие в результате развития производительных сил пережила страна. Вместе с ростом капитализма, вместе с классовой дифференциацией страны, вместе с появлением на историческую арену новой силы—рабочего класса, возникает и в России теоретическое обоснование его революционной роли и значения. Формируются новые революционные силы, создается программа русской социал-демократии.

Ее теоретическое обоснование выковывается совершенно самостоятельно и провозглашается раньше за-границей группой „Освобождения Труда", а затем в России работающими на местах марксистами. Сначала эти марксисты идут ощупью, им приходится самим „сжечь то, чему они поклонялись", стряхнуть с себя народнические предрассудки и традиции, им приходится сделать много ошибок и ложных шагов, но постепенно шаг за шагом их попытки становятся увереннее и их теоретическая мысль правильнее, реже, выпуклей и сильнее. Они проходят увлечение лассальянством, от их программ отдает еще лавризмом, они невольно отдают дань народничеству и „народной воле", они иногда еще говорят обо всех оппозиционных элементах, они иногда переоценивают роль интеллигенции и крестьянства, но чем дальше, тем больше и больше они отбрасывают эти ошибки и, наконец, становятся революционными социал-демократами, ортодоксальными учениками Маркса и Энгельса.

От „партии русских социал-демократов" Благоева в Петербурге с его лавризмом и лассальянством, от промежуточных народнических программ вроде Мельниковской в провинции, через группу Бруснева, через интеллигентские программы кружков саморазвития, русские социал-демократы приходят к взглядам Федосеева, Скворцова и, наконец, В. И. Ульянова-Ленина, в работе которого („Что такое друзья народа"), наконец, и происходит это упрочение теории и программы российской социал-демократии.

Л. Б. Каменев в высшей степени удачно указывает на сущность и значение этой работы Ленина.

„...Работа Ленина, говорит он, явилась не только первой формулировкой марксизма на русской почве, она явилась вместе с тем и лучшей, наиболее отвечающей и революционному духу марксизма, и специфическим условиям России формулировкой задач пролетарского социализма". (×).

Не говоря уже о том, что в работе были нарисованы для русской социал-демократии перспективы, далеко выходящие за пределы ближайших лет развития, перспективы, к осуществлению которых мы подошли только теперь, четверть века спустя, в ней были отчетливо и ясно формулированы и задачи ближайших лет,—создание боевой классовой социалистической рабочей партии.

Авгиевы конюшни народнических, мелко-буржуазных, оппортунистических, а подчас и реакционных взглядов и предрассудков были расчищены, теоретические основы программы социал-демократии созданы, вехи предстоящего пути указаны—нужно было действовать,—создавать партию.

XX. Легальный марксизм.

(Из статьи П. Орловского (Воровского): „К истории марксизма в России“ в сб. „Памяти Карла Маркса“. Спб. 1908 г. Стр. 367-374).

Начало 90-х годов прошлого века знаменуется глубоким поворотом в общественной мысли передовых кругов России. Наступает—и притом весьма резко—кризис в господствовавшей до тех пор народнической идеологии. В деле разрушения старых верований сыграли решительную роль два фактора, имевшие общие корни в социально-экономическом развитии России предшествовавших десятилетий: с одной стороны, крупный рост промышленного пролетариата и пролетаризации крестьянства, с другой разочарование интеллигенции в спасительных свойствах „народного“ производства, после голода 1891 г., раскрывшего истинную картину деревенской жизни.

С этого времени начинают расти и умножаться марксистские кружки—и интеллигентские, и рабочие. Идет подготовительная работа к выступлениям—литературному 1894—5 гг., боевому 1896 года. Зарождение и постоянное неприятное присутствие в обществе нового, враждебного народничеству, образа мыслей начинает все заметнее сказываться на той нервозности, с которой реагирует оно на—пока только возможное—выступление марксизма. Сдержанно-доброжелательное прежде отношение к марксизму, даже к его „произвольным гипотезам“, превращается теперь в полемику, принимающую все более и более сердитый и обиженный тон. Весьма характерно, что тяжелая артиллерия была выдвинута против марксизма еще задолго до того, как начали появляться в русской литературе печатные произведения марксистов. [1]) Первая схватка с молодым поколением марксистов в экономической области носила, так сказать, международный характер, ибо завязалась она из за немецкой статьи г. Струве.

Собственно поворот к марксизму не произошел так неожиданно и вдруг, как могло бы казаться. Не говоря уже о систематическом влиянии литературы группы „Освобождение Труда“, особенно в конце 80-х годов и в период голода 91-го года, следует отметить ряд легальных проявлений марксизма в публицистике и науке. Статьи Г. Валентинова (×), статьи А. Скворцова, появлявшиеся в 1890 году, а также его книга „Влияние парового транспорта на сельское хозяйство“—все это подготовляло почву для дальнейших шагов марксизма. [2])

---

[1]) Н. К. Михайловский занял вполне боевую позицию (и сильно расходящуюся с его позицией 1887 г.) еще в январьском и февральском №№ „Русского Богатства“ за 1894 г., между тем как первая марксистская книжка—„Критические заметки“ П. Струве—появилась в свет к сентябрю того же года. То же самое проф. Кареев в своих многозначительных статьях против „экономического материализма“.

[2]) В сущности г. А. Скворцова только условно можно назвать марксистом Мы упоминаем его здесь, лишь поскольку он выступал против народнической идеологии.

В № берлинского журнала „Socialpolitischer Centralblatt“ от 2-го октября 1893 г. появилась статья г. П. Струве „Zur Beurtheilung der Kapitalistischen Entwicklung Russlands“, в которой он выступил, главным образом, против „Очерков“ г. Николая—она. Задетый им попутно, г. Кривенко поспешил возразить в 12-й книжке „Русского Богатства“ за тот же год. („По поводу культурных одиночек“). В первых двух №№ следующего, 1894, года появились статьи Н. К. Михайловского („Литература и Жизнь“), направленные против социологического учения Маркса. В первой статье разбирался вопрос об экономической необходимости пролетаризации крестьянства в России и развития капитализма, во второй речь шла о диалектике. В этих статьях была положена основа всей дальнейшей полемики против марксизма как со стороны самого Михайловского, так и со стороны его единомышленников. Здесь он более полно развил ту мысль (×), что последовательный марксист „должен радоваться разлучению труда и собственности“, что марксизм заставляет русского человека способствовать насаждению капитализма, а в лучшем случае обрекает его на косность. Вместе с тем, к своему прежнему мнению, что гегелианство можно снять с марксизма „как крышку“, он прибавил теперь оговорку: исключая одного пункта. Именно необходимость перехода от капитализма к социализму у Маркса доказывается-де только при помощи „триады“ Гегеля.

В области экономики выступил против молодого, или, как выражался Н. К. Михайловский, против нео-марксизма, г. Николай—он. В июньской книжке „Русск. Бог.“ за тот же год он напечатал большую статью об условиях развития народного хозяйства в России. В своей двойной роли „истинного марксиста“ и противника „нео-марксистов“, он одновременно выступил против г. Слонимского и против г. Струве (против его немецкой статьи) (×).

Но вот в сентябре 1894 г. выходит в свет нашумевшие „Заметки“ г. Струве [1]). С их резкой критикой социологического и экономического учения народничества, с их безапелляционным, несколько утрированным, разжалованием личности, эти „заметки“ явились для народнического течения тем же, чем красная тряпка для быка. Особенно пресловутые заключительные слова книги: „нет, признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму“—вызвали бурю негодования.

Началась отчаянная борьба. Тотчас по выходе книги в октябрьском номере „Русск. Бог.“ появилась статья Михайловского, мелочные придирки и личные выпады которой свидетельствовали, насколько больно била марксистская критика старое мировоззрение. [2])

Но книга г. П. Струве не только била народничество; она таила в себе и элементы грядущего ревизионизма. В предисловии он вполне

---

[1]) „Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России“. Спб. 1894.

[2]) Возражения на книгу г. Струве посыпались, как из рога изобилия. В том же № „Русск. Бог.“ была напечатана заметка (личная) г. Кривенко. Н. К. Михайловский в „Литературе и жизни“ (октябрь, 1894 г.); Ник.—он: „Апология власти денег, как признак времени“ (январь—февраль 1895 г.); г. В. В. в „Неделе“ (№ 47—49; 1894 г.) и т. д., и т. д. Были и отдельные брошюры, напр. И. Гофштеттера „Доктринеры капитализма“. Спб. 1897 г.

откровенно заявил, что „примыкая по некоторым основным вопросам к совершенно определившимся в литературе взглядам (т.е. к марксизму. П. О.), он нисколько не считал себя связанным буквой и кодексом какой-нибудь доктрины. Ортодоксией он не заражен, если только под ортодоксией не разуметь стремления к последовательному мышлению". Особенно рельефно сказалась эта свобода от ортодоксии в критике народнической философии истории и изложении марксистской. По мнению автора, „чисто философское обоснование этого учения (т. е. экономического материализма) еще не дано", это учение „еще не справилось с тем огромным конкретным материалом, который представляет всемирная история. Нужен, очевидно, пересмотр фактов с точки зрения новой теории; нужна критика теории на фактах. Быть может, многие односторонности и слишком поспешные обобщения будут оставлены". Однако, сам г. Струве не обратился к тому „пересмотру" (в Германии это называлось „ревизией") и к той „критике", которые считал „нужным". В своей книге он просто „дополнил" Маркса и Энгельса аргументами А. Риля и Г. Зиммеля.

С г. Струве повторилась та же история, что с „марксистами" первого периода: он тоже принял экономическое учение Маркса, не приняв, или, вернее, не усвоив его социологического учения и главное—его метод мышления. Но за спиной экономистов 70-х годов не стоял пробуждающийся пролетариат, а потому их догматическое, профессорское отношение к экономике Маркса не могло принести большого вреда. Формально оно являлось даже плюсом по сравнению с господствовавшей школой, разжижавшей Ад. Смита учениями французских вульгарных экономистов. В совершенно другом положении очутился г. Струве. Его книга, таившая под личиной марксизма совершенно анти-марксистское явление, не могла не заражать ядом еще не окрепшую мысль подроставшего поколения социал-демократов.

Это обстоятельство заставляло революционных марксистов отмежеваться от г. Струве, хотя и приходилось вести с ним рука об руку борьбу против господствовавшего народничества. С определенной и резкой критикой струвинизма выступил К. Тулин (Н. Ленин) в статье: „Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве" [1]). „Основная черта рассуждений автора, — писал Тулин, — отмеченная с самого начала, это — его узкий об'ективизм, ограничивающийся доказательством неизбежности и необходимости процесса и не стремящийся вскрывать в каждой конкретной стадии этого процесса присущую ему форму классового антагонизма, — об'ективизм, характеризующий процесс вообще, а не те антагонистические классы в отдельности, из борьбы которых складывается процесс". Исходя из этой общей оценки, К. Тулин подверг критику г. Струве тщательному пересмотру, отмечая каждый шаг отступления от марксизма и противопоставляя его ошибочным положениям правильные положения „ортодоксии".

---

[1]) „Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития", сборник, Спб. 1895 г. Перепечатано у Вл. Ильина „За 12 лет". Спб., 1908 г.

Менее определенную позицию занял другой представитель революционного крыла марксистов—Н. Бельтов. По поводу книги г. Струве он в то время ясно не высказывался, считая, повидимому, полемику неудобной. Однако, по тем приемам, которыми он защищал эту книгу от Михайловского и др., видно, насколько для него была невозможна прямая ее защита. По поводу пресловутой заключительной фразы г. Струве Бельтов говорит, что г. Струве все-таки очень неосторожно выразился". Но эта „неловкость", по его мнению, „причинена благородным увлечением западника" (здесь приводится пример из жизни Белинского). „Шуметь по ее поводу,—продолжает Бельтов,—позволительно только тому, кому нечего возражать, например, на экономические доводы этого писателя" [1]). Эта ссылка „на экономические" доводы явно прикрывает нежелание ссылаться на философские и социологические его доводы [2]). Не менее двусмысленно и то якобы защитительное примечание, которое брошено в другой статье. „Мы не говорим о книге г. П. Струве,—пишет здесь Бельтов,—потому, что она г. Николаю — ону неприятна. Но напрасно г. Николай — он так решительно называет эту книгу никуда негодной. В споре с г. Николаем—оном г. П. Струве очень и очень постоит за себя [3]). Однако сборник, в котором была напечатана статья Тулина и последняя цитированная статья Бельтова, был сожжен цензурой, и немногие уцелевшие экземпляры не могли стать достоянием широкой публики. А с другой стороны, в легальной литературе продолжалось дружное сотрудничество г. Струве с Ильиным, Бельтовым и др., чем не мало подготовлялась почва для последующего ревизионистского шатания.

Крупным вкладом в молодую легальную марксистскую литературу была вышедшая в начале следующего 1895 года книга Н. Бельтова „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю,—ответ г.г. Михайловскому, Карееву и комп.". Здесь впервые в русской литературе были развиты последовательным марксистом основные положения диалектического материализма и был он резко отмежеван, с одной стороны, от диалектического идеализма, с другой—от метафизического материализма. Бельтов заговорил совсем другим языком, чем Струве. „Действие,—писал он,—об'ясняет материалисту-диалектику историческое развитие разума общественного человека. К действию же сводится вся его *практическая философия. Диалектический материализм есть философия действия*". Вместе с тем Бельтов дал и более глубокую критику социологического метода суб'ективистов, вскрыв всю противоречивость их своеобразного марксизма. „Вы признаете *экономические* взгляды Маркса,—писал он,—отрицая его историческую теорию, говорите вы. Надо сознаться, этим сказано очень

---

[1]) „Еще раз г. Михайловский и еще раз „Триада". Приложение „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", изд. 2-е, Спб.. 1905 г., стр. 249.

[2]) Это умолчание о философском диссидентстве г. Струве со стороны Н. Бельтова было тотчас же замечено и использовано Н. К. Михайловским („Русск. Бог.", январь, 1895, стр. 138).

[3]) „Несколько слов нашим противникам", первоначально под псевдонимом Утиса, в „Материалах к характеристике нашего хозяйственного развития". Перепечатано в приложении II-м ко 2-му изданию „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю etc.", стр. 281.

много, а именно: *этим сказано, что вы не понимаете ни исторической его теории, ни его экономических взглядов*".

Книжка Бельтова, понятно, вызвала новую бурю протестов в народническом лагере [1]). А так как ее выход в свет отделяли всего три-четыре месяца от появления книги г. Струве, и, следовательно, противники не успели еще о ней вполне высказаться, то на первые месяцы 1895 г. приходится наиболее ожесточенная полемика. Это был кульминационный пункт общей полемики, когда встали друг против друга во весь рост две системы мировоззрения. Вся дальнейшая борьба сводилась уже, главным образом, к частичным аттакам на отдельные позиции. Мы не имеем возможности проследить здесь эту полемику, растянувшуюся на целые годы и мало-по-малу захватившую все прогрессивные журналы. Сосредоточенная сперва почти исключительно в „Русском Богатстве, она переходит постепенно в „Русскую Мысль", в „Новое Слово", а там и в „Мир Божий" и в „Научное Обозрение", не считая других журналов, где она отражалась эпизодически, или где она была использована в совершенно посторонних целях (например, в „Русском Вестнике" и т. п.).

Что касается специально марксистской литературы, то последующий период был ею довольно беден. Кроме нескольких переводов (например, „Происхождение семьи, частной собственности и государства" Энгельса) следует отметить статью Ушакова (Бельтова) в „Русской Мысли" [2]) и книжку Волгина против г. В. В. [3]).

Но это не значило, что исчерпались или исчезли силы марксизма. От общей, первоначальной схватки предстояло перейти к детальной очистке умов от верований, взглядов и предрассудков народничества. Для этого нужен был орган, что по тогдашним временам представляло большую трудность. Только весной 1897 года марксистам удалось получить в свои руки журнал „Новое Слово", служивший до тех пор народническому направлению [4]). Здесь сосредоточились все силы марксистов обоих поколений—и группы „Освобождение Труда", и девятидесятников. Будущие ревизионисты, а впоследствии идеалисты, как г. Струве или г. Булгаков, выступали здесь под бдительным контролем ортодоксов и „не портили ансамбля". Журнал просуществовал только до конца года. Декабрьская книжка его была конфискована, а журнал закрыт. Новую попытку создать свой орган удалось только

---

[1]) Из критических статей отметим: „Литература и жизнь" Н. К. Михайловского (январь 1895 г.); „Что же значит „экономическая необходимость" Ник—она (март 1895 г.); „На высотах об'ективной истины" Н. Кудрина (март 1895 г.).

[2]) „Несколько слов в защиту экономического материализма" (открытое письмо к В. А. Гольцеву). Перепечатано в сборн. „За 20 лет", Спб. 1906. Изд. 2-ое, стр. 403.

[3]) А. Волгин „Обоснование народничества в трудах г. Воронцова (В. В.)" Спб. 1896.

[4]) „Новое Слово" в марксистской редакции выходило с апреля по декабрь 1897 года. Главнейшие статьи перепечатаны: Бельтова в „За 20 лет"; Вл. Ильина в „Экономические этюды и статьи", Спб. 1899 г.; В. Засулич в „Собр. Сочинений", Спб. 1906; П. Струве в „На разные темы", Спб., 1901; К. Булгакова в „От марксизма к идеализму", Спб.; А. Потресова в „Этюдах о русс. интеллигенции", Спб. 1906.

через год. С января 1899 г. приступили к изданию журнала „Начало“, просуществовавшего лишь пять месяцев [1]). К этому времени начали все яснее сказываться ревизионистские тенденции, нашедшие себе место и на страницах „Начала“, от которого были фактически отстранены в силу различных обстоятельств наиболее активные марксисты ортодоксального крыла [2]). Наступил кризис русского марксизма, затянувшийся на несколько лет и окончившийся полным разложением так называемого „легального“ марксизма.

---

[1]) Двойная книжка за январь-февраль, затем мартовская и майская книжки. Апрельская была конфискована. Статьи некоторых авторов вошли в указанные выше сочинения (см. предыдущее примечание).

[2]) Провал Петерб. „Союза борьбы“ забросил главное ядро социал-демократических литераторов в ссылку.

XXI. Стачечное движение рабочих в 90-е годы и «экономизм».

(Из брошюры В. Астрова: „Экономисты, предтечи меньшевиков". М. 1923 г. Стр. 11—40 и 88—100).

I.

„Наступательные" стачки 90 годов и их итоги.

„Не до жиру, быть бы живу",—эта пословица примерно выражает собой настроение, владевшее широкой массой русских рабочих в 90 годах. Не до политики, когда нечего есть,—так рассуждал этот рабочий. И нужно было ему пройти через горький опыт упорной и почти бесплодной экономической борьбы, нужно было почувствовать на себе жесткую лапу кризиса, чтобы из того факта, что нечего есть, рабочий заключил: „долой самодержавие".

В начале 90 годов рабочий день тянулся 12—14, а то и 18 часов. В пятой части всех промышленных заведений применялся ночной труд, часто отсутствовал воскресный отдых. Средняя заработная плата в 92 году для взрослого рабочего была 15 р. 70 к. в месяц, для женщин вдвое, а для детей втрое меньше. До какого уровня доходили жизненные условия текстильщиков, можно видеть из доклада Ярославской Большой мануфактуры на Нижегородской выставке: из 100 родившихся детей у рабочих до года умирало 65. Туберкулез у московских работниц-текстильщиц доходил до 134 на тысячу. Статистика увечий поражает своими цифрами: на Соколовской мануфактуре за два года среди ткачей было 67 изувеченных на 1000, среди чесальщиков 250, слесарей 535, токарей 625 на 1000, а среди котельщиков 750, т. е. из 4 уцелел от увечий 1. На заводах, строившихся на скорую руку, в особенности на юге, происходила эпидемия взрывов котлов, кончавшихся увечиями.

Фабричная инспекция была бессильна уже по своему количеству. Ее положение даже в центральной Московской губ. в 99 году, по докладу обер-полицмейстера Трепова, было таково: „Всех фабричных инспекторов 15 человек, никаких помощников, канцеляристов и делопроизводителей у них не имеется. Всех подчиненных им промышленных заведений около 1800 (т. е. на каждого инспектора по 120). Техническому надзору фабричной инспекции подчинено 2.600 котлов". Всего автор насчитывает 25 обязанностей инспектора и заключает, что для исполнения их недостаточно обыкновенных человеческих сил. Но суть была не столько в малочисленности, сколько в самом характере инспекции, как органа полицейского правительства. Ми-

нистр Вышнеградский обещал фабрикантам превратить фабричных инспекторов в „становых приставов“ на фабрике. Как выполняли инспектора обещание министра, может иллюстрировать деятельность старшего фабричного инспектора Петербургской губ. Лебедева, обращавшегося к фабрикантам с предложением присылать ему списки замеченных в неблагонадежности рабочих для сообщения в охранку (X). На фабрике Варвары Морозовой около Твери фабричный инспектор возражал хозяевам, которые уже согласились уступить рабочим, так: „Раз будет сделана уступка, поднимется вся губерния, и победа рабочих послужит сигналом к целому ряду весьма крупных забастовок“.

При таком надзоре, хозяйский произвол царил неограниченно при браковках, расплатах, увольнениях, особенно при штрафах. На Обуховском заводе, например, в 98 году штрафовали на 17 руб. за сломанный „митчик“, который стоил новый 1 р. 30 к. На Ярославской мануфактуре Гандуриных штрафовали за выброшенный машиной челнок; если он попадал в голову, то штрафовали и того, кому он попал (не подставляй головы). На Тульском оружейном заводе рабочему, приходившему за заработком в 75 р., администрация говорила: „э, как много“, зачеркивала и писала 40; в каждой мастерской это повторялось десятки раз. На заводе Берда (на реке Пряжке) вычитали четверть рабочего дня на подарок посетившему Россию французскому президенту, а за прогульные дни по случаю его приезда не заплатили, и т. д., и т. д. Еще закон 86 года запретил расплату с рабочими товаром, но фабричные лавки до самого XX столетия занимают почетное место в системе эксплоатации. (X)

Таково было экономическое и правовое положение русских рабочих в огромном большинстве, сообщившее такую силу стачечному движению 90 годов. Перейдем теперь к общему очерку этого движения.

„Начавшееся с 1887 года промышленное оживление,—пишет Мартов,—приостановилось в течение 91—92 года, частью вследствие общего застоя на мировом рынке, частью же благодаря голоду этих лет, отразившемуся особенно на текстильной промышленности, которая работает преимущественно на сельского потребителя“. Действительного промышленного кризиса не было, и число рабочих на фабриках и заводах продолжало расти. „Однако, это увеличение числа занятых рабочих сопровождалось колоссальным наплывом в города безработных, выгнанных голодом из деревни. Благодаря этому, заработная плата подвергалась понижению, в то время, как, благодаря неурожаям, цены на хлеб и на другие продукты потребления сильно возрасли. Отсюда острое недовольство и беспокойство, охватившее рабочее население городов“. Перечисляя стачки за период 91—93 годов (Урал, Петербург, Юзовка и др.), цитируемый автор отмечает, что „в промышленном центральном районе рабочим приходилось отстаивать заработную плату от попыток понижения ее фабрикантами“, т. е. стачки носили оборонительный характер. В общем стачки кончаются поражением рабочих (кроме виленских ремесленников).

Итак, отправная точка рабочего движения 90 годов рисуется нам в виде *оборонительных* стачек, при неблагоприятной для рабочих

кон'юнктуре „заминки“. Но это не больше, как *отправная* точка. С 93 года заминка прекращается, но стачечное движение растет, уже меняя свой характер. Рост движения рисуется так, в цифрах бастовавших рабочих:

1894 год	17.000 чел.	1897 год	102.000 чел.
1895 „	48.000 „	1898 „	87.000 „
1896 „	67.000 „	1899 „	130.000 „

Итого за 6 лет 452.000 стачечников, а если сюда прибавить еще 300.000 бастовавших ремесленников, то цифра приблизится к полумиллиону. Большая половина стачек приходится на предприятия, насчитывающие от 100 до 1.000 рабочих и выше, при чем главная масса стачечников падает на текстилей (177.000) и металлистов (107.000). Процент участвовавших в стачках рабочих за десятилетие (90-900 г.г.) В хлопчато-бумажном производстве 47,3 и в металлическом 46,4. Для прочих производств он значительно ниже: шелковое—5,0, питательных веществ—7,7, обработка дерева—8,8, минералов—10,5, писче-бумажное—11,7, химическое—18,1, шерстяное—14, обработка льна и пеньки—19,7. В крупнейших предприятиях (свыше 1.000 чел.) стачками захвачено 89,7% рабочих, в предприятиях с 500-1000 рабочих бастовало 49,9%.

Движение идет главным образом под *экономическими* требованиями повышения заработной платы и сокращения рабочего дня. Политических требований у массы стачечников в центральной России мы почти не встречаем. К экономическим требованиям присоединяются фабрично-правовые. Рабочие протестуют против произвольных штрафов, браковок, грубого обращения мастеров, злоупотреблений администрации, приглашения мастеров-иностранцев, расквартирования казаков, наемной полиции, обысков, арестов, непризнания рабочих организаций. Столкновения с полицией, неизменно сопровождающие стачки, в глазах массы еще не принимают политического характера столкновений со всем самодержавным режимом. Крупнейшая за данный период стачка 30-35 тысяч петербургских ткачей в 96 году выставила следующие требования: „1) чтобы рабочий день продолжался от 7 ч. ут. до 7 ч. веч., а не от 6 до 8; 2) чтобы на обед давали полтора часа; 3) чтобы расценки были повышены; 4) чтобы шабашили по субботам везде в 2 ч. д.; 5) чтобы хозяева самовольно не останавливали машин и не пускали в ход раньше времени; 6) чтобы заработок за первую половину месяца выдавали во-время; 7) чтобы сполна заплатили за коронационные дни“.

Официальная правительственная статистика дает следующие данные об успешности стачек за десятилетие 94-904. Всего из 100 стачек победой рабочих кончались 28,2; взаимными уступками—21,8; победой хозяев—45,4 (в остальных случаях исход неизвестен). Выше всего процент выигранных стачек при требованиях изменений в условиях внутреннего распорядка—34,3 (в частности, в стачках, вызванных условиями быта и довольствия, процент успеха 72). Стачки из-за рабочего времени давали 31,7% успеха, из-за заработной платы 29,2. Меньший успех имели стачки из-за штрафов и вычетов (23) и из-за действий фабричной администрации (27).

Итак, даже правительственная статистика принуждена была констатировать, что из общего числа стачек *поражением* рабочих кончалась меньшая половина (45,4% против 50% побед полных и частичных). Здесь совершенно не учтен результат сокращения рабочего дня по закону 97 года, завоеванному Петербургскими стачками. Кроме того, эти данные включают 900-904 годы, менее успешные для рабочих по условиям наступившего кризиса. Подсчеты социал-демократов были более оптимистичны. Отчет российской с.-д. делегации международному конгрессу в Париже (1900 г.), приводя за последнее пятилетие XIX века сведения о 220 стачках и определяя половину их участников в 200.000 человек, указывает, что из 160 стачек, исход коих известен, окончились успехом 120, т. е. *три четверти*. Этот большой процент успешности характеризует нам стачечное движение, как *наступательное движение периода промышленного под'ема*. Приостановка предприятий капиталистам была крайне невыгодна в тот момент, когда каждый день нес добрые барыши. Они предпочитали уступить, чем отвечать локаутом на забастовки. Чувствуя *податливость*, массовое движение тем охотней направлялось по линии экономических требований.

В то же время, в движении мы видим и *оборонительную* струю. По данным за 94-904 гг. на стачки за увеличение платы падает 22,9%, а за сокращение рабочего дня 18,8% участников, итого 41,7% (58,9% стачек), Сопротивлялись понижению платы 14,5% стачечников, увеличению рабочего времени 5,2%, итого 19,7% (9,6% стачек). Из сопоставления процента стачек и стачечников мы видим, что оборонительные стачки были крупнее наступательных. В то же время оборонительные стачки оканчивались большим успехом:

Требования.	Успех.	Компромисс.	Неуспех.
Сокращение рабочего дня.	24,29%	22,88%	52,81%
Увеличение зараб. платы	18,16%	31,43%	40,05%
Против увеличения раб. дня	63,41%	12,19%	24,39%
„ понижения зараб. платы	46,87%	23,33%	29,68%

Самая необходимость оборонительных стачек диктовалась уже приливом в города ищущих работы из деревни, протекавшим непрерывно и позволявшим предпринимателям даже в дни под'ема частично ухудшать условия труда и найма (X).

Наступивший кризис ухудшил условия экономической борьбы рабочих. Если мы не замечаем при этом резкого повышения рабочего дня в широком масштабе, то это об'ясняется общим сокращением работ. Наоборот, имеет место повсюду сокращение рабочего времени, но это уже не „завоевание“ рабочих, а спутник безработицы. То, что в период под'ема завоевывалось рабочими, теперь обращалось против них самих. Вместе с тем, повсеместное и резкое снижение заработной платы вынимает всю „душу“ из короткого рабочего дня, как формы борьбы за понижение нормы эксплоатации. (X).

Количество рабочих, выбрасываемых на улицу из закрывающихся предприятий, по годам таково:

1900 г.	550 предпр.	20.083 рабочих
1901 „	350 „	34.774 „
1902 „	840 „	33.274 „
1903 „	682 „	23.339 „

Но здесь только закрывавшиеся предприятия. Между тем, очень многие фабриканты сокращали производство, рассчитывая часть своих рабочих. Нефтяные промыслы юга сокращают число рабочих на 30%. Путиловский завод рассчитывает из 12.000 рабочих 4.000. Прохоровская мануфактура 900, Катовская 1.200, Тульский завод свыше 600, Златоустовский на Урале—500 (×).

Если судить только по цифрам стачек, то можно ошибочно заключить о падении рабочего движения с 900 года. Мы имеем цифры правительственной статистики, значительно преуменьшенные (напр. в 99 году они дают 97 тыс. стачечников против 130 по вычислениям Мартова), но дающие полную возможность судить о ходе движения:

1899 г.	97.948	стачечников.
1900 „	29.389	„
1901 „	32.288	„
1902 „	36.871	„
1903 „	86.832	„

Но факт падения стачек говорит лишь о большем сознании, которое проявляют рабочие. Они воздерживаются от борьбы, сознавая *невыгодность* для себя промышленной кон'юнктуры. На смену стачек выступает *новая форма* движения—*демонстрация*. При этом, и стачки все более и более окрашиваются в *политический цвет*, предвещая великую октябрьскую стачку 1905 года.

Политический элемент *был в стачках 90-х годов* (×).

Уже рогатки самодержавия, которые оно ставило массовому экономическому движению, превращали его в политическое. Раньше всего это вылилось на Западной окраине. С начала 90 годов здесь идут уже майские забастовки. Стачки и волнения часто оканчиваются жертвами (91 г.—Жирардов, 92—Лодзь и т. д.). В 1899 г. в Либаве и Вильне происходят первые майские демонстрации.

Во внутренней России *первая майская* забастовка происходит в 98 году на Северной мануфактуре в Петербурге. В декабре того же года *ткачи Максвелля и Паля* пред'являют, на ряду с другими требованиями, требование политических свобод. Студенческие беспорядки в феврале 1899 г. в Казани, в Харькове проходят при участии рабочих. 1 мая 1899 года бастуют рабочие Брянского завода в Екатеринославе. Но этот завод в 99 году уже захвачен кризисом.

Демонстрационный период открывается Харьковом в маевку 1900 г., где происходит демонстрация и забастовка механических рабочих, ремесленников и железнодорожников. Требования свободы печати, слова, союзов, стачек, *участия народа в управлении* (впервые), 8-часовой рабочий день и повышение платы. Арестовано 400 человек, отпущенных по требованию толпы.

Рабочие участвуют в студенческом движении 1901—2 годов. В мае 1901 года в Петербурге происходит известная обуховская оборона и столкновения на Выборгской стороне, у Сампсониевского моста. В 1902 г. первомайское празднование впервые принимает всероссийский характер. В ноябре того же года происходит знаменитая Ростовская стачка, с демонстрациями политического характера, а в 1903 году летом разражается первая *всеобщая* стачка на юге, считавшая участников десятками тысяч.

От стачки к демонстрации, от демонстрации к стачке, все сильнее начинает звучать лозунг: *„долой самодержавие!“*

Итак, рабочее движение на рубеже XX века не просто „эволюционировало“, не постепенно, шаг за шагом, переходило от преобладания в нем экономической борьбы—к политической. Оно совершило некоторый *скачек*, послушно следуя за развитием кризиса из под‘ема. Кризис развился из под‘ема диалектически, его противоречия в дни под‘ема существовали в форме еще скрытой от сознания рабочих масс (точно так же и от сознания царских министров, заверявших уже в момент начавшегося кризиса о „процветании промышленности и финансов“), но доступной сознанию революционных социал-демократов, которые, в лице Ленина, в 1897 году предсказали процветавшей промышленности близкий крах (в брошюре „Задачи русских социал-демократов“).

(X) Вот что здесь писал т. Ленин:

„В настоящее время мы переживаем, видимо, тот период капиталистического цикла, когда промышленность „процветает“, торговля идет бойко, фабрики работают во всю и, как грибы после дождя, появляются бесчисленные заводы, новые предприятия, акционерные общества, железно-дорожные сооружения и т. д. Не надо быть пророком, чтобы предсказать неизбежность краха (более или менее крутого), который должен последовать за этим „процветанием“ промышленности. (X). *Русские с.-д. должны позаботиться о том, чтобы этот крах застал русский пролетариат более сознательным*, более об‘единенным, понимающим задачи русского рабочего класса, способным дать отпор классу капиталистов, пожинающих нынче гигантские барыши и стремящихся всегда сваливать убытки на рабочих,—*способным вступить во главе русской демократии в решительную борьбу против полицейского абсолютизма*, связывающего по рукам и ногам русских рабочих и весь русский народ“ (X).

Итак, поскольку все движение в целом на рубеже XX века проделывает путь от экономической борьбы к политической, мы можем заметить, что новую окраску ему придают не рогатки самодержавия сами по себе, а рогатки самодержавия в условиях кризиса. Формы рабочего движения не *„саморазвиваются“*—от экономической стачки и стачки за фабричные права, к политической стачке и демонстрации,—а их развитие диктуется им *изменением экономической* кон‘юнктуры. Это нам чрезвычайно важно запомнить для уяснения себе природы основных тактических заблуждений „экономизма“.

2.

Социальные корни „экономизма“ в рабочем движении.

Отправной точкой для „экономизма“ служили *те материальные завоевания*, которые рабочая масса делала в рамках промышленного под‘ема и в рамках царского строя. Мы видели, что эти завоевания были невелики и недолговечны. Иллюзия возможности этих завоеваний, существовавшая в рабочей массе и среди части социал-демократов, невероятным образом *переросла* их действительные размеры. В исторической перспективе, поэтому, „экономизм“ кажется огромным и нелепым заблуждением, которое на один момент стало почти всеобщим. И как идеологическая форма всегда несколько отстает от своей экономической базы, так и „экономизм“ захватил почти все социал-демократические организации уже на закате промышленного под‘ема, в 98—900 годы, когда уже чувствовался кризис, и завоевания рабочих ставились под вопрос. Это еще больше подчеркивает нелепость „экономизма“, рисуя его в чудовищную карикатуру, в какой-то посторонний нарост на социал-демократию.

В классических формах оппортунизма на западе, в английском трэд-юнионизме, например, мы ясно видим его солидный материальный фундамент. Широкие верхушечные слои отечественного пролетариата буржуазия систематически подкупает лучшей заработной платой за счет усиленной эксплоатации колониальных рабов. Когда на основе промышленного под‘ема в конце XIX века в германской с.-д. возникает ревизионизм, то и под ним лежит солидная материальная база. Русская же буржуазия на пороге XX века не с‘умела даже в дни под‘ема, хотя бы на несколько лет, обеспечить своих рабочих прожиточным минимумом. И все-таки оппортунизм господствует в социал-демократии в течение этих лет.

Довольно просто понять тот факт, когда прилично обеспеченный и к тому же политически свободный рабочий, почти равноправный с буржуазией гражданин, отказывается от социальной революции. Но совсем иного порядка явление, когда уже восставший, но все еще закованный в цепи голодный пролетарий не понимает необходимости эти цепи разорвать. Таким образом, мы имеем перед собой значительно исправленное „самобытными“ чертами издание западно-европейского оппортунизма.

Ключа к его пониманию не дает одна голая ссылка на промышленный под‘ем, к которой обычно прибегают. Это видно хотя бы уж из того, что в 1912—14 г.г. был под‘ем не меньший, а стачки на его основе окрасились в ярко-политический цвет. С другой стороны, в начале 80-х годов был кризис, а стачки были чисто экономическими. Для понимания „экономизма“ надо от исследования об‘ективной обстановки еще обратиться к его суб‘ективным предпосылкам в рабочем движении, к самому действующему лицу—пролетариату и здесь поискать причин, почему иллюзии оппортунизма так значительно переросли свою материальную базу.

Прежде всего, насколько, в итоге первых крупных шагов рус-

ского капитализма, рабочий класс отдифференцировался от других классов? Здесь первым делом бросается в глаза тот факт, что за десятилетие 90—900 г.г. фабрично-заводской пролетариат удвоился. Рост этот шел в подавляющем большинстве за счет деревни. Полуторамиллионная крестьянская масса притекла в город за годы стачечного движения, и, значит, в бой шли, в той или иной степени, „свежие“ эшелоны.

Каким же вступал русский пролетариат в 90-е годы? Нет никакого сомнения, что чистый, лишенный собственности и живущий исключительно на заработную плату и даже потомственный пролетариат уже был. Статистические исследования 84—85 г.г. показали, что больше чем у половины (у 55% из опрошенных 18.576 ч.) рабочих Московской губернии отцы работали на фабриках. На полевые работы уходило с фабрик в страдную пору только 14,1%, остальные же работали круглый год (хотя 94% числились „крестьянами“ по паспорту). Важнейшей причиной к разрыву связи с землей оказывался переход от ручного производства к механическому. Все это марксистская литература с полным правом противопоставляла в свое время утопической болтовне народников об отсутствии пролетаризации и капитализма в России. Но та же марксистская литература не закрывала глаза на оборотную сторону медали, не преувеличивала „европеизации“ русских рабочих. Тем более мы обязаны придерживаться этих традиций и после цифр, говорящих за пролетариат, привести цифры, говорящие против пролетариата.

Связь его с землей не исчерпывалась уходом на страду. На ситценабивной фабрике Цинделя, типичной для Московского района, в 1898 году мы имеем такое выражение степени связи рабочих с землей.

1. Уходящих на полевые работы и ведущих самостоятельное хозяйство	11,9%
2. Не уходящих, но ведущих самостоятельное хозяйство при помощи семей	61,4%
3. Не ведущих хозяйства, но сдающих надел в аренду . .	12,3%
4. Не имеющих надела, но имеющих постройки в деревне	3,6%
5. Не имеющих с деревней никакой связи	10,8%
	100%

Полукрестьянский элемент висел балластом на ногах русского пролетариата прежде всего в чисто экономическом отношении, снижая заработную плату. Уходящий на заработки в город крестьянин часто смотрел на это, как на занятие не основное, подсобное к своему деревенскому хозяйству, и мирился с более низкой оплатой своего труда (X).

Но полукрестьянин неизбежно накладывал отпечаток консервативности и на самые формы рабочего движения. (X)

Рабочий еще настроен ждать облегчения от кого-то свыше. Закон 97 года особое значение имел для провинциальных фабрик. Когда известие о нем пришло на Кренгольмскую мануфактуру в

Нарве, то рабочие, с согласия директора, отслужили молебен за здравие петербургских рабочих, завоевавших им сокращение рабочего дня (здесь стачки не было). Рабочие хотели даже послать благодарственную телеграмму царю, который, по их мнению, стоит за бунтовавших, но им отсоветывали. Когда положение вынуждает самому искать исхода, то полукрестьянин сначала поступает так, как кирпичники Брянского завода в Екатеринославе: придя к хозяевам, они не находят других средств, кроме просьбы о прибавке со слезами на глазах.

На стачку и бунт он решается не сразу: в Ростове, например, поденщиков и обойщиков при забастовке в ж.-д. мастерских в 94 году рабочие других цехов сгоняли с работ каменьями. Земля, мелкая собственность в цепких лапах держит полурабочего, вместе со спутником „деревенского идиотизма"—невежеством. Зато, как только впервые порывается крестьянская пуповина, рабочий тем сильнее начинает бунтовать, чем ниже тот уровень „необходимого продукта", получаемого от капиталиста, который он сам вчера еще поддерживал в качестве полукрестьянина. Его вчерашний день кажется ему уже далеким невозвратимым прошлым, которое он способен даже ненавидеть.

Но в какие же формы выливается первый стихийный протест рабочего? В тех же Сормовских волнениях 99 года необычайно ярок элемент неорганизованного бунта. Разгром квартиры директора, канцелярии пристава, электрической станции, ренскового погреба о-ва потребителей и, в довершение всего,—расправа с наиболее ненавистными заводскими служащими, шнырявшими в толпе, подслушивавшими разговоры рабочих и подстрекавшими к разгрому. В результате, вмешательство властей, войска и суд.

Здесь больше сходства с разгромом помещичьей усадьбы, чем со стачкой трэд-юниона. (X)

Крестьянина уже с 60—70 годов гнал в город процесс разорения и расслоения деревни. Это, в свою очередь, зависело от податного гнета и развития капитализма. В 90 годах голодовки (91—92 и 97—98) приняли характер массового разорения карликовых хозяйств, подкармливавшихся отхожими заработками. Таким образом, лопалась пуповина, связывающая городского рабочего с землей, и он должен был переходить к существованию на одну только заработную плату. Промышленный под'ем давал возможность начать немедленную и отчаянную борьбу за получение рабочими „необходимого продукта" полностью из рук капиталиста. Стряхивая с ног груз мелкой собственности, описываемый слой рабочих (который, смело можно сказать, составлял большинство, хотя еще далеко не в большинстве участвовал в стачках активно), освобождал для борьбы энергию не только свою, но и тех рабочих, чьи условия труда и найма он ранее снижал. Косвенно, это не могло не отразиться на всех группах рабочих без исключения и тем усилило общий стачечный натиск. Но, становясь „классом в себе", пролетариат не сразу становится классом „для себя". В русских условиях это получило свое выражение в том, что вчерашний крестьянин, активное выступление которого оказало такое сильное влияние

на ход стачек, становясь экономически рабочим в полном смысле слова, по своей психике еще оставался некоторое время крестьянином. С низким уровнем материальных и культурных интересов, не привыкший еще в рядах пролетариата шагать в такт, мало поддающийся организации и дисциплине, он попытался на фабрике провести, примерно, деревенский уклад: чечевичную похлебку, с иконой и царским портретом в углу. Что его классовый интерес рабочего лежит гораздо дальше, об этом он узнал далеко не сразу. Его мелко-буржуазное заблуждение и послужило основой для „экономизма", за счет которой последний так уродливо перерос свою материальную базу. Отраженно, мелко-буржуазная психология, в свою очередь, переходила на прочие группы рабочих, ибо непосредственный ее носитель давил своим количеством, и тем усиливала те иллюзии, которые вызывал под'ем и успех стачек у всего пролетариата в целом.

Но идеология не отстает от экономики надолго. Кризис разрушил недолговечные заблуждения, через несколько лет тот же самый рабочий требует, чтобы его учили, „как в бой итти, как в бою воевать". (X)

Наш очерк был бы односторонен, если бы мы не задались вопросом о другом полюсе русского фабрично-заводского пролетариата, о другой группе „маленьких буржуа" (по выражению Каутского)— о рабочей „аристократии" [1]). Какова ее роль в возникновении „экономизма?" Участник деятельности „Союза Борьбы" Я. К. передает, как один из наборщиков императорских театров, выслушав „подходы" пропагандиста, заметил ему; „чего мне нужно добиваться? Вы хотите 8-часового рабочего дня, а я 7 часов работаю, и жалованья мне хватает". В других типографиях, добавляет автор воспоминаний, наборщики были податливее. М. Лядов приводит споры в Москве с представителями лучше оплачиваемой части заводских рабочих—машинистов, токарей, модельщиков—по вопросу о кассе. Модельщики завода Гоппера, имея свою кассу, не хотели вступить в общую, мотивируя тем, что центральная касса может предложить им бастовать, когда им невыгодно. Этим модельщикам Гоппер первым ввел добровольно 9-часовой рабочий день в 96 году. Групповой интерес у них явно преобладает над классовым (X).

Таким образом, „рабочая аристократия" также составляла соцпальный базис для „экономизма". Говоря о ней, нельзя не иметь в виду того, что ряд крупных заводов были связаны с поставками на казну и в момент кризиса особенно интенсивно получали „внеуставные" ссуды, им искусственно создавались заказы, затевалась постройка дорог и пр. С 900 года монопольное право на исполнение заказов по монопольным ценам было передано 15 предприятиям. Ясно, что эти предприятия лучше переживали кризис: тем самым, группа рабочих попадала в привиллегированное положение по отношению к прочим.

---

[1]) Может итти речь, как о привиллегированной верхушке пролетариата, о приказчиках и торговых служащих. Эти издавна имели организации (о-ва взаимопомощи и пр.), созданные буржуазией под покровительством князей и архиереев. К „экономизму" эти организации прямого отношения не имели. Впрочем, подобные же организации имелись среди печатников и ремесленников.

Но здесь мы имеем дело с чисто групповым, а не профессиональным признаком. Квалифицированные рабочие тех же профессий в других предприятиях терпели последствия кризиса, снижение расценок и безработицу, в полной мере. Среди участников Обуховской обороны, этого наиболее яркого эпизода борьбы в самые первые годы кризиса, в массе металлистов мы находим и высоко квалифицированных рабочих. Передовую роль в ней играла пушечная мастерская. Очевидно, значительная часть „верхушки" проделывала эволюцию вместе со всем рабочим классом. Вообще же, эта „верхушка" выделяла интеллигентных рабочих, как ранее в с.-д. кружки, так и экономистам" и „искровцам", т. е. революционным с.-д.

Прослойка „чистой", обуржуазившейся рабочей „аристократии" была очень узка и приходилась главным образом, на заводы, связанные с казной. В сущности, только для этой узкой прослойки рабочих „экономизм" и имел свой настоящий смысл трэд-юнионизма. Ее материальный интерес был бы огражден при проведении в жизнь программы „чисто рабочей" политики, т. е. свободы экономической борьбы, которую „экономисты" выдвигали для всего рабочего класса. Но, по условиям момента, ее лозунги нашли себе гулкое эхо в огромной массе вчерашних крестьян.

Потуга натянуть на плечи русского рабочего европейский костюм, притом худшего покроя,—вот что такое представляла из себя программа „экономистов". Неудивительно, что когда рабочий повел плечами, то эта лакейская ливрея раздалась по швам. (×)

3.

Политическая программа „Credo".

Кускова и Прокопович, оба перешли к социал-демократам из народоправцев, и через несколько лет возвратились „во-свояси" к „освобожденцам"-либералам. Эти „захожие" социал-демократы сумели лучше всего формулировать распространенные воззрения „экономистов", при чем с большой попыткой на „научный", теоретический подход. Оба они играли видную роль в заграничном „Союзе русских социал-демократов".

„Credo" (т. е. „верую", символ веры) принадлежит перу Кусковой, но редактировано и другими экономистами. Оно было опубликовано впервые, помимо воли автора, 17 ссыльными социал-демократами вместе с их протестом против него (по инициативе Ленина). Кроме „Credo", Плехановым в „Vademecum'е" были опубликованы частные письма Кусковой (псевдоним—М. М.), Прокоповича (NN) и Г. (один из видных деятелей Бунда), тоже без их согласия, за что Плеханов подвергся обвинениям чуть ли не в разглашении конспиративных тайн. На деле эти письма имеют лишь отношение ко взглядам экономистов, а не к личностям. „Экономисты", пренебрегавшие „теорией" вообще, берегли свою собственную теорию, как секретную болезнь. (×)

Рассмотрение документов начнем с „Credo", попутно справляясь с письмами, опубликованными Плехановым.

В основе „Credo" лежит совершенно не марксистский, принадле-

жащий буржуазной исторической науке, взгляд на ход развития буржуазных революций на Западе. Там, якобы, „рабочий класс не завоевывал демократических учреждений: он ими пользовался“.—„Конституции 48 года были завоеваны буржуазией и мелкими мещанами, артизанами“ (ремесленниками). Получив политическую свободу из рук буржуазии, пролетариат пошел по линии политической борьбы, как по „линии наименьшего сопротивления“. Экономическая же борьба давалась ему „с страшным трудом“, и до сих пор она не развита должным образом. Исходной точкой политической борьбы рабочих явилась борьба парламентская, с перспективой захвата власти. Эта тактика изложена в „Коммунистическом Манифесте“, который автор считает устаревшим. Теперь, по его мнению, в политической борьбе „исчерпана вся энергия“, вести ее на Западе дальше „трудно и невозможно“. Линия наименьшего сопротивления, каковую автор считает „основным законом“ рабочего движения, указывает в сторону экономической борьбы. Это изменение направления выражается в кризисе марксизма, в котором победит бернштейнианство и победит как „коренное изменение практической деятельности“. Изменение это произойдет в стороны: 1, более интенсивной экономической борьбы и 2, сближения с либеральными оппозиционными партиями. „Стремление к захвату власти преобразуется в стремление к реформированию современного общества в демократическом направлении. Марксизм нетерпимый, марксизм отрицающий, марксизм примитивный (пользующийся слишком схематичным представлением классового деления общества) уступит место марксизму демократическому“... и т. д.

И так, перед нами полная апология бернштейнианства. Не революция, а реформа, представление о классовом делении слишком „примитивно“, борьба классов уже перестает быть политической, т. е. классовые противоречия сглаживаются,—здесь главнейшие положения ревизионизма. Из них следуют выводы для России: „линия наименьшего сопротивления никогда у нас не будет направлена в сторону политической деятельности“, а следовательно „разговоры о самостоятельной рабочей политической партии суть не что иное, как продукт переноса чужих задач на нашу почву“. „Для русского марксиста исход один: участие, т. е. помощь, экономической борьбе пролетариата и участие в либеральной оппозиции“. На первый взгляд, эти выводы для России кажутся неожиданными: ведь „чем ночь темней, тем звезды ярче“, чем суровее режим, тем сильнее протест против него? Но это рассуждение, слишком обыкновенное для автора, которое не допускается „законом“ о линии наименьшего сопротивления. Он рассуждает далее, логически исходя из высказанных им положений: демократические учреждения русский пролетариат может получить только от русской буржуазии. А хочет ли она их? В этом весь вопрос. Если она не хочет, то „политической деятельности“ пролетариата—не быть.

В своем письме к Аксельроду Кускова пишет: „у нашей буржуазии свобода уже есть, ей не приходится разбивать средне-вековые рамки цехового строя“. Стало-быть, сколько-нибудь серьезной борьбы

с самодержавием за политическую свободу в России не будет. даже если,—продолжает автор,—наиболее оппозиционное крыло буржуазии добьется от самодержавия конституции, то и эта конституция не явится „этапом", на котором можно было бы отдохнуть рабочему", т. е. конституция и не нужна. (×) Так, по Кусковой, рисуется гармония классовых интересов: буржуазии политической свободы достаточно, а пролетариату она не нужна.

Но почему же не нужна? Посмотрите на Бельгию, Германию, Англию,—говорит автор. „Там даже во время существования буржуазной конституции рабочие борются за политические права". Зачем же стремиться к конституции, если мы и сейчас можем позволить себе то же самое занятие: „Остается, ничего не ожидая, ни на кого не возлагая надежд, самим рабочим при существующей форме правления теперь, немедленно, шаг за шагом добиваться политических прав".

Г. пишет: „В России товарищи многие толкуют и пишут о политической борьбе, но никто мне толком не об'яснил, в чем она заключается и должна заключаться. Правильнее всех этот вопрос ставят виленцы: в своей прокламации они указывают, что единственным и главным средством политической борьбы пока является только неустанная, широкая массовая борьба на почве экономической, так как в данном случае рабочие нарушают то, что запрещено законом, (×) и фактически, таким образом, ставят свои насущные требования. Устраивая тайные союзы и собрания, стачки, распространяя нелегальное слово, рабочие, фактически, ведут политическую борьбу. Другой формы я абсолютно не знаю".

„Можно ли этот рабочий класс, глубоко тонущий в общенародном варварстве и невежестве, стоящий на низкой ступени интеллектуального развития, не имеющий политических знаний и опыта,—восклицает Прокопович,—звать на борьбу с абсолютизмом?" „Мы должны не допускать попыток беспочвенной политической агитации так же, как мы избегаем провокаторов".

Г. заявляет, что „толковать рабочей массе в России об уничтожении капитализма, о социализме, наконец, о свержении самодержавия вообще—нелепость".

Кускова считает, что „говорить теперь, пропагандировать рабочим свержение самодержавия—а значит просто-на-просто революцию—это значит подвергать их величайшей опасности, которая была только возможна в истории". Революция рисуется ей „кровавым морем", которое надолго затопит нарождающееся движение". Краски, как видим, самые недвусмысленные. И эти либералы, как и всякие либералы, были сильно напуганы возможностью революции.

„Рабочая масса,—пишет Г. на знакомый уже нам мотив,—берет из программы интеллигенции только то, что ей насущно необходимо и что может быть достижимо в настоящем, отбрасывая все остальное, как ненужную для нее идеализацию и игнорируя ее". А Кускова доходит до геркулесовых столпов в следующих строках: „Пропаганда будущего социализма и всего прочего (так и сказано!) может пока служить хорошим средством для привлечения отдельных лиц из интеллигенции и рабочей среды (в

большинстве случаев малосознательных и сентиментальных), но никогда массы". Дальше и „ехать некуда": сознательные последователи социализма об'явлены (ну, конечно,—пока что) „малосознательными и сентиментальными" людьми в устах не сентиментальной м-м Кусковой".

Впрочем, мы ошиблись. Что можно „заехать" еще дальше, это нам демонстрирует Прокопович, который не допускает пропаганды социализма („и всего прочего") не только в России, но и вообще нигде, по чисто принципиальным соображениям. Он считает, что „ненаучно говорить о будущей форме общества". „Мы можем говорить об ограничении капиталистической эксплоатации, говорить даже (и то еще вопрос!) о ее уничтожении, но и только. Но о форме этого идеала мы не имеем права говорить". „Ставить в программу обобществление орудий труда, или толковать о „Zukunftstaats"—утопично и ребячество".

Собственно говоря, эти слова совершенно похоронили Прокоповича как социалиста. Что же это за социализм, который нельзя ни поставить в программу, ни говорить о нем с уверенностью, что он будет осуществлен и положит конец капиталистической эксплоатации?

Во всяком случае, этот единственный в своем роде „социализм" есть нечто, в корне отличное от марксистского научного социализма, который стоит в „программах", и в осуществлении которого его последователи не сомневаются. Поищем в „Vademecume" точного определения: что же именно авторы разумеют под словом социализм? Может быть тогда, идя за этой нитью, нам легче будет распутать, насколько это возможно, клубок „идей", именовавшийся „экономизмом".

4.

„Теоретические" основы „экономизма".

Письмо Кусковой (М. М.) начинается так: „С теоретической точки зрения, генезис и развитие имущественного интереса рабочего класса даст нам точку опоры, с которой только и возможно понять как политические стремления рабочих, так и многоразличные и часто противоречивые формы организаций, создаваемых рабочим классом в его развитии. С этой точки зрения социализм является логически вытекающим из интересов (т. е. из имущественных интересов, так как выше именно эти интересы являются исходным пунктом рассуждения. В. А.) класса фабричных рабочих".

Таким образом, главное действующее лицо в „экономических" воззрениях нами найдено. Это—имущественный интерес рабочего класса. Что же экономисты вкладывают в термин „интереса" („имущественный"—это более или менее понятно)? Здесь нам будет удобнее всего пригласить на помощь Г. В. Плеханова, автора предисловия к документам.

Кускова писала: „Верно указанный путь борьбы порождает новый интерес". „Как порождает?"—спрашивал Плеханов.—Уча рабочих, указывая на препятствия,—отвечал он словами Кусковой.—„Указать рабочим на препятствия и научить их бороться, значит—развить их самосознание. Выходит, что интересы рабочих порождаются разви-

тием их самосознания. Автор письма думает, что сознание данного интереса тождественно с его порождением. Это — идеалистическая точка зрения".

По письму Кусковой, „понять интерес данной минуты" значит прежде всего понять „ту активно-психическую базу, которая явится двигателем массы". „Там, где мы начинаем с экономии, — говорит Плеханов,—автор начинает с психологии. Содержание нашей проповеди определяется экономическими и социально-политическими отношениями, которые мы стараемся уяснить рабочему классу. А у тех людей, которые стоят на точке зрения автора, содержание пропаганды определяется, как говорит он сам, уже сознанными интересами рабочих. Указание пути на почве этих интересов есть—опять таки по выражению автора—единственная задача социал-демократии. Отсюда он делает тот совершенно логический вывод, что не следует „говорить теперь, пропагандировать рабочим свержение самодержавия". Он заговорит об этом только тогда, когда сама масса уже будет проникнута ненавистью к самодержавию".

„Не выходит ли из слов автора письма, что „единственная" задача социал-демократии заключается в том, чтобы, по известному выражению, ломиться в открытую дверь? Его идеализм приводит его в тупой переулок".

Не всех идеалистов их идеализм приводит к консерватизму и „трезвенности": „французские идеалисты XVIII века были убежденными революционерами, не боялись стучаться в закрытые сердца и умели отворять их своим вдохновенным словом. Если автор письма консервативен, то в этом виновато, главным образом, то обстоятельство, что он не только идеалист, но вдобавок идеалист, фальсифицированный марксизмом. Он слышал, что по теории Маркса в основе великих общественных движений лежат великие общественные интересы, на которые должна опираться пропаганда, желающая иметь шансы на успех". Но он „отожествил интерес с известным состоянием сознания".

То же заблуждение обнаруживает Плеханов и в писаниях Прокоповича (NN). В брошюре, направленной против „Группы Освобождения Труда", NN писал довольно запутанно.

„Совокупность общественных отношений—экономических, правовых, политических etc.—определяет, какие интересы могут быть у рабочих, но не определяет, какие интересы уже сознаны рабочими и вошли в жизнь".

— „Как это вошли в жизнь?—спрашивал Плеханов.—Повышение заработной платы, конечно, имеет огромный „интерес" для рабочих, который прекрасно сознается всеми ими. Но вошел ли этот интерес в жизнь? Я не знаю".

NN продолжал: „С помощью социального опыта, житейской практики etc. сознание рабочих масс постоянно нагоняет общественные отношения, никогда не отожествляясь с ними". — „Зачем написано это? — спрашивал Плеханов. — Разве кто-нибудь из противников NN утверждал, что сознание масс может „отожествиться" с реальными общественными отношениями?.. Он не замечает логической невозможности подобного „отожествления". Это плохой знак".

NN заключал: „Поэтому-то нам и приходится делать столь решительное и коренное различие между интересами, которые „мы“ (интеллигенты) приписываем рабочим, и интересами, действительно имеющимися у них“.

„Теперь посмотрите, что у нас выходит, — говорит Плеханов. — Прежде у нас были, во-первых, реальные интересы рабочих, определявшиеся всею совокупностью общественных отношений, и во-вторых, более или менее ясное сознание рабочими этих реальных интересов. Теперь у нас получились, во-первых, интересы, приписываемые рабочим нами (интеллигентами), и во-вторых, интересы, действительно имеющиеся у рабочих. В чем же отличительные признаки интересов второго рода? В том, что они сознаны рабочими. Значит, действительно имеются у рабочих только те интересы, которые сознаны рабочими“.

И напрасно, стало-быть, марксистская теория „ненаучно“ приписывает рабочим какие-то другие интересы...

Оценивая идейную глубину „экономической“ теории, после этого поневоле хочется привести ироническое замечание того-же Плеханова, что он согласен называть „экономизм“ этим названием, но в том смысле, в каком говорят об „экономических путешествиях“ и об „экономической кухне“, т. е. когда слово „экономический“ значит дешевый, недорого стоящий.

Возвратимся теперь к той цитате из письма Кусковой, которую мы избрали в начале главы и ключ к которой мы берем из рук Плеханова.

Если интерес—известное состояние сознания, то имущественный интерес, в понимании „экономиста“, должен быть сознанием рабочими своих имущественных интересов, или, проще, имущественными стремлениями рабочих. „Генезис и развитие“ (чуть ли не „саморазвитие“) имущественных стремлений рабочего класса—вот источник социализма и политических стремлений. Другого источника не указано.

Соответствует ли духу марксизма, приверженцами которого все же считали себя авторы „Credo“, это понимание социализма и освободительной борьбы пролетариата? Оставлено ли в этом определении социалистического сознания место для революционной и научной теории? (×).

Принижая человеческое сознание в своем отрицании всякого значения теорий общественного развития, оно отправляется в об'яснение этого развития от сознания же, правда, не от научного, а от стихийного сознания масс. На практике это приводило „экономистов“ к тому, что они мелко-буржуазное сознание, от которого еще не освободился в массе рабочий, приняли за социалистическое сознание и пошли в хвосте у массы. Устраняясь от активного руководства массой, они обрекали себя на тактику квиетизма, пассивности, приспособления (×).

Чтобы покончить с очерком „теоретической“ путаницы „экономистов“, упомянем еще об одном эпизоде из теоретической полемики Плеханова против Струве. „Экономизм“ и „струвизм“, как мы увидим, и здесь были близнецами.

Плеханов находит у Струве и у авторов „Credo“ общие заблуждения и посвящает им целых три главы (6, 7 и 8-ю) в третьей статье под общим заглавием „Критика наших критиков“, которые он печатает в „Заре“. Критикуя положение Струве, что наша „конечная цель“ может быть для нас только предметом „веры“, Плеханов останавливается на следующих словах Струве:

„Движение есть исторический prius. Социализм всегда обладает реальностью в той мере, в какой он заключается в движении, порождаемом современным хозяйственным порядком“. То, что „не заключается“ в этом движении, Струве признает „утопией“, в противоположность „реальности“.

Это можно понимать двояким образом, говорил Плеханов: 1) или социализм заключается во взглядах и чувствах людей, участников движения,—тогда он реален, потому что к нему уже стремится большое количество людей; 2) или он заключается в движении постольку, поскольку он может быть осуществлен в настоящий момент стремящимися к нему людьми. Но тогда все, что не может быть осуществлено сейчас, немедленно, есть утопия, т.-е. не только социализм, но вообще сколько-нибудь отдаленные цели.

„Струве преподносит нам,—говорил Плеханов,—в несколько измененном виде ту мнимо-реалистическую путаницу понятий, которая наиболее ярким образом выразилась в печальной памяти „Credo“ и которая сводится к повторению на разные лады (но всегда „с ученым видом знатока“) той мысли, что наша конечная цель перестанет быть утопией только тогда, точнее, только в том случае, если весь рабочий класс, процессом самобытного развития, без всякого участия в этом процессе интеллигентной „бациллы“, будет приведен к тому убеждению, что его интересы требуют немедленного осуществления этой цели.

В основе заблуждения авторов „Credo“ и Струве лежит неправильное толкование предисловия Маркса к „Критике политической экономии“ в том месте, где говорится, что „человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить“... Сама задача только тогда выдвигается, когда существуют уже материальные условия, необходимые для ее разрешения, или когда они, по крайней мере, находятся в процессе возникновения“.

Нельзя забывать последних (подчеркнутых здесь) слов и мыслить метафизически: „да-да, нет-нет“, материальные условия решения данной задачи или существуют, или не существуют. По Марксу, они могут находиться в процессе возникновения. А начинают это понимать, конечно, не все люди сразу.

„Представьте себе,—говорит Плеханов,—что, чем раньше дальнозоркие люди заговорят, положим, о том доме, который стоит на пути и в котором путников ожидает необходимый им отдых, тем скорее они к нему приблизятся, потому что тем более они станут торопиться. В таком случае дальнозоркие не могут заговорить слишком рано, если только путники дорожат своим временем“. Люди, понявшие раньше историческую необходимость данного явления, отличаются от дальнозорких в этом примере лишь тем, что они ближнюю дорогу видят не хуже, а лучше близоруких.

XXII. О социальных корнях «экономизма».

(Из статьи Н. Батурина в № 2 „Пролетар. Революции“ за 1924 г., стр. 110—113).

Т. Астров вполне правильно отмечает, что „экономизм“, как оппортунистическое течение, мог опираться, с одной стороны, на отсталые полукрестьянские массы рабочих, с другой — на высоко квалифицированную „верхушку“ рабочего класса, на его „аристократию“. (X)

Создавая и проводя в жизнь свою „теорию стадий“, свою „тактику-процесс“, „экономисты“, конечно, имели в виду широкие и отсталые полукрестьянские слои наших рабочих, и в этом смысле на них опирались и их „отражали“. Однако же, природу этого влияния и его отличие от влияиия „верхушки“ т. Астров изображает далеко неудовлетворительно. На стр. 131 своей книжки он пишет: . . . „меньшевизм так же, как и „экономизм“, опирается на слои рабочих, близких к мелкой буржуазии, питается мелко-буржуазными настроениями в рабочей среде. Два основных типа рабочих, связанных с мелко-буржуазной средой—вчерашний крестьянин и лучше оплачиваемая верхушка пролетариата, в общем и целом, остаются и впредь базисом меньшевистского влияния. В той или иной степени меняется лишь соотношение между ними. В то время, как „рабочая аристократия“ в лице печатников или „госзнаковцев“, а затем и примкнувших к рабочему движению служащих разного рода, составляет более или менее постоянный оплот меньшевизма и революционизируется даже при обострении классовой борьбы довольно туго, широкая масса вчерашних крестьян легко поддается резким колебаниям влево. Если первая группа отражает в себе неподвижность и консервативность городского мещанина (городской мелкий буржуа часто также выступает за меньшевиков), то вторая—неустойчивость разоряющейся деревенской бедноты, мелкобуржуазные иллюзии которой рассеиваются так же скоро и неизбежно, как неизбежно ее превращение в чистый пролетариат“.

Начнем с „широкой массы вчерашних крестьян“. Мы уже сказали выше, что эта масса оказала несомненное влияние на „тактику-процесс“ наших экономистов именно своей отсталостью. Однако ведь отсталость может только задерживать движение, но еще не определяет его направления. Т. Астров правильно указывает, как на характерный классовый признак этого слоя (поскольку он не порвал связи с крестьянством), на его неустойчивость, на его колебания влево (нужно только прибавить—и вправо). Ходатайства по начальству, 9 января, Кронштадтское восстание и т. п. характерны для этого слоя так же, как и разнос фабрик, расправа с фабричным началь-

ством и пр.). Политически этот мелко-буржуазный характер полукрестьянской массы у нас, как и на Западе, выражался анархическим уклоном в рабочем движении. В эпоху I Интернационала мелко-буржуазный состав рабочей массы определял даже не уклон, а преобладающее направление в международном рабочем движении (кроме английского). Но „экономизм", так же, как и меньшевизм, был законным детищем II Интернационала, уже в самом начале своего существования успешно закончившего борьбу с анархическими поползновениями. И самый строгий критик „экономизма" не только не найдет в нем этого анархического уклона, но даже должен признать, что он, „экономизм", этому уклону, в меру своего разумения, противодействовал. Но, борясь против отсталых форм движения полукрестьянских масс, „экономизм" не хотел видеть его революционного содержания и нередко глушил революционные порывы этих масс водой либерального филистерства. Для „экономизма" характерно здесь не столько то, что он отражал (по своему) мелко-буржуазную стихию, сколько то, что он совсем не отразил, не выявил, не учел революционного значения полукрестьянских масс, как революционную силу при условиях царизма, в обстановке неразрешенных задач буржуазной революции. Революционный блок пролетариата с деревенской беднотой был выдвинут и четко обоснован уже в борьбе с меньшевиками, в противовес их упорному тяготению к блоку с либералами. (X)

Существенно иным было влияние на „экономизм" „верхушки" рабочего класса. В приведенной цитате т. Астров нащупывает эту разницу (неустойчивость и колебания полукрестьянских масс и консерватизм „верхушки"). Но, различая эти две разнородные группы рабочих, он, как в приведенной выше цитате, так и во многих других местах своей книжки, совершенно неосновательно сваливает обе эти группы в одну общую „мелко-буржуазную" кучу, повторяя при этом широко распространенную ошибку.

Под мелкой буржуазией нужно прежде всего разуметь мелкого собственника, мелкого производителя. Полукрестьянские рабочие массы подходят под это понятие (да и то лишь крестьянской стороной своего двуединого классового бытия). Но говорить о „мелко-буржуазности" высококвалифицированного, обыкновенно „потомственного" пролетария крупного капиталистического предприятия можно только по недоразумению, только судя по „одежке" и т. п. внешним признакам, ничего общего не имеющим с его производственной ролью, с его классовыми интересами.

„Аристократические" интересы „верхушки" в важнейших вопросах экономической жизни (колониальная политика, покровительственные пошлины, государственные заказы и пр.) всегда связывались с интересами не мелкой, а крупной буржуазии.

Если полукрестьянские рабочие массы обнаруживали анархический уклон, то „верхушка" была проводником другого антипролетарского уклона, уклона либерального. „Экономизм", поскольку он опирался на „рабочую аристократию", был выражением именно этого либерального уклона. Даже самое воздержание „экономистов" от „политики" было не чем иным, как определенной политикой в

интересах либеральной буржуазии, как это откровенно разболтали авторы „Credo“.

Как проводник буржуазного влияния в рабочем движении, „экономизм“ был также плотью от плоти II Интернационала. Успешно преодолев анархические поползновения, прочно поставив рабочее движение на рельсы организованной политической борьбы, этот Интернационал, как известно, основательно увяз в либеральной политике. Разумеется, что социальной базой этого либерального уклона II Интернационала была совсем не мелкая буржуазия.

Самым классическим образцом „верхушечного“, либерального уклона в рабочем движении был английский „экономизм“ (трэд-юнионизм средины XIX в.). Его „социальным корнем“ была не тонкая прослойка „рабочей аристократии“, а весь английский рабочий класс. Но в виду особого, монопольного положения промышленного капитала Англии, ее рабочий класс можно целиком приравнять к „верхушке“ международного пролетариата.

В одном из своих писем к Марксу (1858 г.) Ф. Энгельс, удрученный этим длительным и прочным антипролетарским уклоном английского рабочего движения, писал: „Мне думается, что новый поворот Джонсона (вождя чартистов. Н. Б.)... стоит в связи с тем, что английский пролетариат становится фактически все больше и больше буржуазным, так что эта самая буржуазная из всех наций, видимо, хочет добиться, чтобы рядом с буржуазией была бы буржуазная аристократия и буржуазный пролетариат. Нация, эксплоатирующая весь мир, имеет вполне законное основание этого желать“. Энгельс видит таким образом в английском „экономизме“ влияние не мелкой, а крупной буржуазии, той буржуазии, которая „эксплоатирует весь мир“. Русский „экономизм“ испытал и другие влияния, но, поскольку дело идет о его „верхушечном“ корне, он также отнюдь не мелко-буржуазного свойства.

XXIII. „Credo“ *) Е. Кусковой.

(Из брошюры В. Астрова: „Экономисты“, предтечи меньшевиков. М. 1923 г. Приложение 2).

„Существование цехового и мануфактурного периода на Западе положило резкий след на всю последующую историю, в особенности, на историю социал-демократии. Необходимость для буржуазии завоевать свободные формы, стремление освободиться от сковывающих производство цеховых регламентаций сделали буржуазию революционным элементом; она повсюду на Западе начинает с liberté, egalité, fraternité с завоевания свободных политических форм. Но этим завоеванием она, по выражению Бисмарка, выдавала вексель на будущее своему антиподу—рабочему классу. Почти повсюду на Западе рабочий класс не завоевал демократических учреждений: он ими пользовался. Нам могут возразить, что он участвовал в революциях. Исторические справки опровергают это мнение, так именно в 1848 г., когда произошло на Западе упрочение конституций, рабочий класс представлял из себя ремесленно-городской элемент, мещанскую демократию, фабричный же пролетариат почти не существовал, а пролетариат крупного производства (ткачи Германии—Гауптман—ткачи Лиона) представлял из себя дикую массу, способную лишь к бунтам, но отнюдь не к выставлению каких-либо политических требований. Можно прямо сказать, что конституции 1848 г. были завоеваны буржуазией и мелким мещанством, артизанами. С другой стороны, рабочий класс (артизаны и рабочие мануфактур, типографщики, ткачи, часовых дел мастера и проч.) с средних веков еще привык участвовать в организациях—в кассах взаимопомощи, религиозных обществах и пр. Этот организационный дух до сих пор еще живет у обученных рабочих Запада и резко отличает их от фабричного пролетариата, плохо и медленно поддающегося организации и способного лишь к так называемому lose organisation, а не к прочным организациям с уставами и регламентами. Эти же мануфактурно обученные рабочие составили ядро социал-демократических партий. Таким образом, получилась следующая картина: сравнительная легкость и полная возможность политической борьбы с одной стороны, с другой—возможность планомерной организации этой борьбы с помощью воспитанных мануфактурным периодом рабочих. На этой почве вырос на Западе теоретический и практический марксизм. Исходной его точкой явилась парламентская борьба с перспективой (только по внешности сходной с бланкизмом,

*) Credo—символ веры.

по происхождению совершенно другого характера) захвата власти, с одной стороны, Zusammenbruch'a—с другой. Марксизм явился теоретическим выражением господствующей практики политической борьбы, превалирующей на экономической. И в Бельгии, и во Франции, особенно в Германии рабочие с невероятной легкостью организовали политическую борьбу и с страшным трудом, с огромным трением—экономическую. И до сих пор экономические организации по сравнению с политическими (не касаюсь Англии) страдают необычайной слабостью и неустойчивостью и повсюду lassent, à desirer quelque chose. Пока энергия в политической борьбе не была вся исчерпана,—Zusammenbruch являлся необходимым организующим Schlagwort'ом, которому суждено было сыграть огромную историческую роль. Основной закон, который можно вывести при изучении рабочего движения—линия наименьшего сопротивления. На Западе такой линией являлась политическая деятельность и марксизм, в том виде, в каком он был формулирован в Коммунистическом Манифесте, являлся как нельзя более удачной формой, в которую должно было вылиться движение. Но когда в политической деятельности была исчерпана вся энергия, когда политическое движение дошло до такой напряженности, дальше которой вести его было трудно и почти невозможно (медленный рост голосов за последнее время, апатия публики на собраниях, унылый тон литературы), с другой стороны бессилие парламентской деятельности и выступление на арену черной массы—неорганизованного и почти не поддающегося организации фабричного пролетариата—создали на Западе то, что носит теперь название бернштейниады, кризиса марксизма. Более логического хода вещей, чем период развития рабочего движения от Коммунистического Манифеста до бернштейниады трудно себе представить, и внимательное наблюдение всего этого процесса может с точностью астронома определить исход этого „кризиса". Речь идет здесь, конечно, не о поражении или победе бернштейниады—это мало интересно, речь идет о коренном изменении практической деятельности, которое уже давно понемногу совершается в недрах партий. Изменение это произойдет не только в сторону более энергичного ведения экономической борьбы, упрочения экономических организаций, но главное, и это самое существенное, в сторону изменения отношения партии к остальным оппозиционным партиям. Марксизм нетерпимый, марксизм отрицающий, марксизм примитивный (пользующийся слишком схематичным представлением классового деления общества) уступит место марксизму демократическому, и общественное положение партии в недрах современного общества должно резко измениться. Партия признает общество, ее узко-корпоративные, в большинстве случаев, сектантские задачи расширяются до задач общественных и ее стремление к захвату власти преобразуется в стремление к изменению, к реформированию современного общества в демократическом направлении, приспособительно к современному положению вещей с целью наиболее удачной, наиболее полной защиты прав (всяческих) трудящихся классов. Содержание понятия „политика" расширится до истинно общественного значения, и практические требования минуты получат больше веса, могут рассчитывать на большее внимание, чем это было до сих пор. Не трудно из этого

краткого описания хода развития рабочего движения на Западе сделать вывод для России. Линия наименьшего сопротивления у нас никогда не будет направлена в сторону политической деятельности. Невозможный политический гнет заставит много говорить о нем, именно на этом вопросе сосредоточивать внимание, но никогда не заставит и он практически действовать. Если на Западе слабые силы рабочих, будучи вовлечены в политическую деятельность, окрепли на ней и сформировались, у нас—слабые силы эти, наоборот, стоят перед стеной политического гнета и не только не имеют практических путей для борьбы с ним, а, следовательно, и для своего развития, но даже систематически душатся им и не могут пускать даже слабых ростков. Если прибавить к этому, что рабочий класс наш не получил в наследие того организованного духа, каким отличались борцы Запада, то картина получится удручающая и способная повергнуть в уныние самого оптимистического марксиста, верящего в то, что лишняя фабричная труба, уже одним фактом своего существования, несет великое благополучие. Трудна, бесконечно трудна и экономическая борьба, но она возможна, она, наконец, практикуется самими массами. Приучаясь в этой борьбе к организации и поминутно наталкиваясь в ней на политический режим, русский рабочий создаст, наконец, то, что можно назвать формой рабочего движения, создаст ту или те организации, которые наиболее подходят к условиям русской действительности. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что русское рабочее движение находится еще в амебовидном состоянии и никакой формы не создало. Стачечное движение, существуя при всякой форме организации, не может еще быть названо кристаллизованной формой русского движения, а нелегальные организации уже чисто с количественной точки зрения не заслуживают внимания (не говорю о их полезности при настоящих условиях). Вот положение. Если прибавить сюда еще голодухи и процесс разорения деревни, способствующий Streikbrecher'ству и, следовательно, еще большую трудность под'ема рабочих масс на более сносный культурный уровень, то... Что же тут делать русскому марксисту? Разговоры о самостоятельной рабочей политической партии суть не что иное, как продукт переноса чужих задач, чужих результатов на нашу почву. Русский марксизм пока печальное зрелище. Его практические задачи в настоящем мизерны, его теоретические познания, поскольку он пользуется ими не как орудием исследования, а как схемой деятельности—не имеют цены для выполнения даже этих мизерных практических задач. Кроме того эти схемы, взятые с чужого плеча, в смысле практики являются вредными. Забыв, что на Западе рабочий класс выступил уже на расчищенное политическое поле деятельности, наши марксисты более, чем это нужно, относятся с презрением к радикально или либерально оппозиционной деятельности всех других не рабочих слоев общества. Малейшая попытка сосредоточивать внимание на общественных проявлениях либерально-политического свойства вызывает протест ортодоксальных марксистов, забывающих, что целый ряд исторических условий мешает быть нам марксистами Запада и требует от нас иного марксизма, уместного и нужного в русских условиях. Отсутствие у каждого русского гражданина политического чувства и чутья не мо-

жет, очевидно, быть искуплено разговорами о политике или воззваниями к несуществующей силе. Это политическое чутье может быть дано лишь воспитанием, т. е. участием в той жизни, как бы она не была немарксистична, которую предлагает русская действительность. Насколько „отрицание“ было уместно (временно) на Западе, настолько у нас оно вредно, потому что отрицание, исходящее от чего-то организованного и имеющего фактическую силу—одно, а отрицание, исходящее из бесформенной массы разрозненных личностей—другое. Для русского марксиста исход один: участие, т. е. помощь экономической борьбы пролетариата и участие в либерально-оппозиционной деятельности. Как „отрицатель“ русский марксист пришел очень рано, а это отрицание ослабило в нем ту долю энергии, которая должна направляться в сторону политического радикализма. Пока все это не страшно, но если классовая схема помешает деятельному участию русского интеллигента в жизни и отодвинет его слишком далеко от оппозиционных кругов—это будет существенный ущерб для всех, кто вынужден бороться за правовые формы не рука об руку с рабочим классом, еще не выдвинувшим политических задач. Политическая невинность русского марксиста-интеллигента, скрытая за головными рассуждениями на политические темы, может сыграть с ним скверную штуку.

XXIV. Легальный марксизм и экономизм.

(Из брошюры Н. Ленина: „Что делать". 1902 г. См. его сб. статей: „За 12 лет". Т. I. Птр. 1918 г. Стр. 203—223).

1. *Социальная сущность легального марксизма и „экономизма".*

Основная особенность России (X) состоит в том, что уже самое начало стихийного рабочего движения, с одной стороны, и поворота передового общественного мнения к марксизму, с другой, ознаменовалось соединением заведомо разнородных элементов под общим флагом и для борьбы с общим противником (устарелым социально-политическим мировоззрением). Мы говорим о медовом месяце „легального марксизма". Это было вообще чрезвычайно оригинальное явление, в самую возможность которого не мог бы даже поверить никто в 80-х или в начале 90-х годов. В стране самодержавной, с полным порабощением печати, в эпоху отчаянной политической реакции, преследовавшей самомалейшие ростки политического недовольства и протеста, внезапно пробивает себе дорогу в подцензурную литературу теория революционного марксизма, излагаемая эзоповским, но для всех „интересующихся" понятным языком. Правительство привыкло считать опасной только теорию (революционного) народовольчества, не замечая, как водится, ее внутренней эволюции, радуясь всякой направленной против нее критике. Пока правительство спохватилось, пока тяжеловесная армия цензоров и жандармов разыскала нового врага и обрушилась на него,—до тех пор прошло не мало (на наш русский счет) времени. А в это время выходили одна за другой марксистские книги, открывались марксистские журналы и газеты, марксистами становились повально все, марксистам льстили, за марксистами ухаживали, издатели восторгались необычайно ходким сбытом марксистских книг. Вполне понятно, что среди окруженных этим чадом начинающих марксистов оказался не один „писатель, который зазнался".

В настоящее время об этой полосе можно говорить спокойно, как о прошлом. Ни для кого не тайна, что кратковременное процветание марксизма на поверхности нашей литературы было вызвано союзом людей крайних с людьми весьма умеренными. В сущности, эти последние были буржуазными демократами, и этот вывод (до очевидности подкрепленный их дальнейшим „критическим" развитием) напрашивался кое перед кем еще во времена целости „союза" *).

*) Здесь имеется в виду статья К. Тулина (псевдоним Н. Ленина) против Струве, составленная из реферата, который носил заглавие „Отражение марксизма в буржуазной литературе".

Но если так, то не падает ли наибольшая ответственность за последующую „смуту“ именно на революционных социал-демократов, которые вошли в этот союз с будущими „критиками“? Такой вопрос, вместе с утвердительным ответом на него, приходится слышать иногда от людей, черезчур прямолинейно смотрящих на дело. Но эти люди совершенно неправы. Бояться временных союзов хотя бы и с ненадежными людьми может только тот, кто сам на себя не надеется, и ни одна политическая партия без таких союзов не могла бы существовать. А соединение с легальными марксистами было своего рода первым действительно политическим союзом русской социал-демократии. Благодаря этому союзу была достигнута поразительно быстрая победа над народничеством и громадное распространение вширь идей марксизма (хотя и в вульгаризированном виде). Притом союз заключен был не совсем без всяких „условий“. Доказательство: сожженный в 1895 г. цензурой марксистский сборник „Материалы к вопросу о хозяйственном развитии России“. Если литературное соглашение с легальными марксистами можно сравнить с политическим союзом, то эту книгу можно сравнить с политическим договором.

Разрыв вызван был, конечно, не тем, что „союзники“ оказались буржуазными демократами. Напротив, представители этого последнего направления—естественные и желательные союзники социал-демократии, поскольку дело идет о ее демократических задачах, выдвигаемых на первый план современным положением России. Но необходимым условием такого союза является полная возможность для социалистов раскрывать рабочему классу враждебную противоположность его интересов и интересов буржуазии. А то бернштейнианство и „критическое“ направление, к которому повально обратилось большинство легальных марксистов, отнимало эту возможность и развращало социалистическое сознание, опошляя марксизм, проповедуя теорию преступления социальных противоречий, об‘являя нелепостью идею социальной революции и диктатуры пролетариата, сводя рабочее движение и классовую борьбу к узкому трэд-юнионизму и „реалистической“ борьбе за мелкие, постепенные реформы. Это вполне равносильно было отрицанию со стороны буржуазной демократии права на самостоятельность социализма, а, следовательно, и права на его существование; это означало на практике стремление превратить начинающееся рабочее движение в хвост либералов.

Естественно, что при таких условиях разрыв был необходим. Но „оригинальная“ особенность России сказалась в том, что этот разрыв означал простое удаление социал-демократов из наиболее всем доступной и широко распространенной „легальной“ литературы. В ней укрепились „бывшие марксисты“, вставшие „под знаки критики“ и получившие почти что монополию на „разнос“ марксизма. Клики: „против ортодоксии“ и „да здравствует свобода критики“ (повторяемые теперь „Р. Делом“) сделались сразу модными словечками, и что против этой моды не устояли и цензора с жандармами, это видно из таких фактов, как появление трех русских изданий книги знаменитого (геростратовски знаменитого) Бернштейна, или как рекомендация Зубатовым книг Бернштейна, г. Прокоповича и проч. („Искра“, № 10). На социал-демократов легла теперь трудная сама по себе и неве-

роятно затрудненная еще чисто внешними препятствиями задача борьбы с новым течением. А это течение не ограничилось областью литературы. Поворот к „критике“ сопровождался встречным влечением практиков-социал-демократов к „экономизму“.

Как возникла и росла связь и взаимозависимость легальной критики и нелегального экономизма,—этот интересный вопрос мог бы послужить предметом особой статьи. Нам достаточно отметить здесь несомненное существование этой связи. Пресловутое „Credo“ потому и приобрело такую заслуженную знаменитость, что оно откровенно формулировало эту связь и проболтало основную политическую тенденцию „экономизма“: рабочие пусть ведут экономическую борьбу (точнее было бы сказать: трэд-юнионистскую борьбу, ибо последняя об‘емлет и специфически рабочую политику), а марксистская интеллигенция пусть сливается с либералами для „борьбы“ политической. Трэд-юнионистская работа „в народе“ оказывалась исполнением первой,—легальная критика второй половины этой задачи. Это заявление было таким прекрасным оружием против экономизма, что если бы не было „credo“,—его стоило бы выдумать.

„Credo“ не было выдумано, но оно было опубликовано помимо воли и, может быть, даже против воли его авторов. По крайней мере, пишущему эти строки, который принимал участие в извлечении на свет божий новой „программы“, приходилось слышать жалобы и упреки по поводу того, что набросанное ораторами резюме их взглядов было распространено в копиях, ярлык получило „Credo“ и попало даже в печать вместе с протестом! Мы касаемся этого эпизода потому, что он вскрывает очень любопытную черту нашего экономизма: боязнь гласности. Это именно черта экономизма вообще, а не одних только авторов „Credo“: ее проявляли и „Р. Мысль“, самый прямой и самый честный сторонник экономизма, и „Р. Дело“ (возмущаясь опубликованием „экономических“ документов, в „Vademecum'е“), и Киевский комитет, не пожелавший года два тому назад дать разрешение на опубликование своего profession de foi,—вместе с написанным против него опровержением, и многие, многие отдельные представители экономизма.

Эта боязнь критики, проявляемая сторонниками свободы критики, не может быть об‘яснена одним лукавством (хотя кое-когда, несомненно, не обходится и без лукавства: нерасчетливо открывать для натиска противников неокрепшие еще ростки нового направления!) Нет, большинство экономистов совершенно искренно смотрит (и, по самому существу экономизма, должны смотреть) с недоброжелательством на всякие теоретические споры, фракционные разногласия, широкие политические вопросы, проекты сорганизовывать революционеров и т. п. „Сдать бы все это за-границу!“—сказал мне однажды один из довольно последовательных экономистов, и он выразил этим очень распространенное (и опять-таки чисто трэд-юнионистское) воззрение: наше дело—рабочее движение, рабочие организации здесь, в нашей местности, а остальное — выдумки доктринеров, „переоценка идеологии“ (X).

2. *Стихийность масс и сознательность социал-демократии.*

Мы отметили (×) повальное увлечение теорией марксизма русской образованной молодежи в половине 90-х годов. Такой же повальный характер приняли около того же времени рабочие стачки после знаменитой петербургской промышленной войны 1886 года. Их распространение по всей России явно свидетельствовало о глубине вновь поднимающегося народного движения, и если уже говорить о „стихийном элементе", то, конечно, именно это стачечное движение придется признать прежде всего стихийным. Но ведь и стихийность стихийности—рознь. Стачки бывали в России и в 70-х и в 60-х годах (и даже в первой половине XIX века), сопровождаясь „стихийным" разрушением машин и т. п. По сравнению с этими „бунтами" стачки 90-х годов можно даже назвать „сознательными" — до такой степени значителен тот шаг вперед, который сделало за это время рабочее движение (×). Взятые сами по себе, эти стачки были борьбой трэд-юнионистской, но еще не социал-демократической, они знаменовали пробуждение антагонизма рабочих и хозяев, но у рабочих не было, да и быть не могло, сознания непримиримой противоположности их интересов всему современному политическому и общественному строю, т. е. сознания социал-демократического. В этом смысле, стачки 90-х годов, несмотря на громадный прогресс по сравнению с „бунтами", оставались движением чисто стихийным.

Мы сказали, что социал-демократического сознания у рабочих не могло быть. Оно могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание трэд-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости об'единиться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п. *). Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции. К тому времени, о котором у нас идет речь, т. е. к половине 90-х годов, это учение не только было уже вполне сложившейся программой Группы Освобождения Труда, но и завоевало на свою сторону большинство революционной молодежи в России.

Таким образом, налицо было и стихийное пробуждение рабочих масс, пробуждение к сознательной жизни и сознательной борьбе, и наличность вооруженной социал-демократическою теориею револю-

*) Трэд-юнионизм вовсе не исключает всякую „политику", как иногда думают. Трэд-юнионы всегда вели известную (но не социал-демократическую) политическую агитацию и борьбу.

ционной молодежи, которая рвалась к рабочим. При этом особенно важно установить тот часто забываемый (и сравнительно мало известный) факт, что первые социал-демократы этого периода, усердно занимаясь экономической агитацией (и вполне считаясь в этом отношении с действительно полезными указаниями тогда еще рукописной брошюры „Об агитации"), не только не считали ее единственной своей задачей, а напротив, с самого начала выдвигали и самые широкие исторические задачи русской социал-демократии вообще и задачу ниспровержения самодержавия в особенности. Так, например, той группой петербургских социал-демократов, которая основала „Союз борьбы за освобождение рабочего класса", был составлен еще в конце 1895 г. первый номер газеты под названием „Рабочее дело" (×). Передовая статья этой газеты (×) обрисовывала исторические задачи рабочего класса в России и во главе этих задач ставила завоевание политической свободы (×). Таким образом, этот, если не ошибаемся, „первый опыт" русских социал-демократов 90-х годов представлял из себя газету не узко-местного, тем более не „экономического" характера, стремившуюся соединить стачечную борьбу с революционным движением против самодержавия и привлечь к поддержке социал-демократии всех угнетенных политикой реакционного мракобесия. И никто, хоть сколько-нибудь знакомый с состоянием движения в то время, не усомнится, что подобная газета встретила бы полное сочувствие и рабочих столицы, и революционной интеллигенции и получила бы самое широкое распространение. Неуспех же предприятия доказал лишь, что тогдашние социал-демократы оказались не в силах удовлетворить насущный запрос момента вследствие недостатка у них революционного опыта и практической подготовленности. (×) Но для того, чтобы воспользоваться опытом движения и извлечь из этого опыта практические уроки, необходимо дать себе полный отчет о причинах и значении того или другого недостатка. Поэтому крайне важно установить, что часть (может быть, даже большинство) действовавших в 1895—1898 гг. социал-демократов вполне справедливо считали возможным тогда же, в самом начале „стихийного" движения, выступать с самой широкой программой и боевой тактикой. Неподготовленность же большинства революционеров, будучи явлением вполне естественным, никаких особенных опасений возбуждать не могла. Раз постановка задач была правильная, раз была энергия на повторные попытки осуществить эти задачи, — временные неудачи представляли из себя полбеды. Революционная опытность и организаторская ловкость—вещи наживные. (×)

Но полбеды сделалось настоящей бедой, когда это сознание стало меркнуть (а оно было очень живо у деятелей названных выше групп), когда появились люди, — и даже социал-демократические органы, — которые недостаток готовы были возвести в добродетель, которые попытались даже теоретически обосновать свое раболепство и преклонение перед стихийностью (×).

Прежде, чем переходить к литературным проявлениям этого преклонения, отметим следующий характерный факт (сообщенный нам из упомянутого выше источника), который бросает некоторый свет на то, как в среде действовавших в Петербурге товарищей возникла и росла

рознь будущих двух направлений русской социал-демократии. В начале 1897 г. А. А. Ванееву и некоторым из его товарищей пришлось участвовать, перед отправкой их в ссылку, на одном частном собрании, где сошлись „старые“ и „молодые“ члены „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“. Беседа велась, главным образом, об организации и, в частности, о том самом „уставе рабочей кассы“, который в окончательном своем виде напечатан в № 9—10 „Листка Работника“ (стр. 46). Между „стариками“ („декабристами“, как их звали тогда в шутку петербургские социал-демократы) и некоторыми из „молодых“ (принимавшими впоследствии близкое участие в „Раб. Мысли“) сразу обнаружилось резкое разногласие и разгорелась горячая полемика. „Молодые“ защищали главные основания устава в том виде, как он напечатан. „Старики“ говорили, что нам нужно, прежде всего, вовсе не это, а упрочение „Союза борьбы“ в организацию революционеров, которой должны быть соподчинены различные рабочие кассы, кружки для пропаганды среди учащейся молодежи и т. под. Само собою разумеется, что спорившие далеки были от мысли видеть в этом разногласии начало расхождения, считая его, наоборот, единичным и случайным. Но этот факт показывает, что возникновение и распространение „экономизма“ шло и в России отнюдь не без борьбы со „старыми“ социал-демократами (это часто забывают нынешние экономисты). И если эта борьба не оставила, по большей части, „документальных“ следов, то причина этого единственно та, что состав работающих кружков менялся невероятно часто, никакая преемственность не устанавливалась, а потому и разногласия не фиксировались никакими документами.

Возникновение „Раб. Мысли“ вывело экономизм на свет божий, но тоже не сразу. Надо конкретно представить себе условия работы и кратковременность жизни массы русских кружков (а конкретно представляет себе это только тот, кто это пережил), чтобы понять, как много случайного было в успехе или неуспехе нового направления в разных городах и как долго ни сторонники, ни противники этого „нового“ не могли, буквально таки не имели никакой возможности, определить, действительно ли это особое направление или просто выражение неподготовленности отдельных лиц. Например, первые гектографированные номера „Раб. Мысли“ остались даже совершенно неизвестны громадному большинству социал-демократов, и если мы теперь можем ссылаться на передовицу первого ее номера, то только благодаря перепечатке ее в статье В. И—а (Листок Работника“, № 9—10, стр. 47 и сл.) (X) А на передовице этой стоит остановиться— настолько рельефно выразила она весь дух „Раб. Мысли“ и экономизма вообще.

Указав на то, что руке в синем обшлаге не удержать развития рабочего движения, передовица продолжает:.. „Такой живучестью рабочее движение обязано тому, что рабочий сам берется, наконец, за свою судьбу, вырвав ее из рук руководителей“, и этот основной тезис подробно развивается дальше. На самом деле, руководители (т. е. социал-демократы, организаторы союза борьбы) были вырваны полицией из рук, можно сказать, рабочих, а дело представляется так, будто рабочие вели борьбу с этими руководителями и освободились

от их ига! Вместо того, чтобы звать вперед, к упрочению революционной организации и расширению политической деятельности, стали звать назад, к одной трэд-юнионистской борьбе. Провозгласили, что „экономическая основа движения затемняется стремлением постоянно не забывать политический идеал“, что девиз рабочего движения — борьба за экономическое положение (!) или, еще лучше, „рабочие для рабочих“; об'являлось, что стачечные кассы „дороже для движения, чем сотня других организаций“ (сравните это относящееся к октябрю 1897 года утверждение с спором „декабристов“ с молодыми в начале 1897 года) и т. п. Словечки в том роде, что во главу угла надо ставить не „сливки“ рабочих, а „среднего“ рабочего, массового рабочего, что „политика всегда послушно следует за экономикой“ *) и т. д., и т. д., сделались модой и приобрели неотразимое влияние на массу привлекаемой к движению молодежи, знакомой в большинстве случаев только с обрывками марксизма в легальном его изложении.

Это было полным подавлением сознательности стихийностью, стихийностью тех „социал-демократов“, которые повторяли „идеи“ г-на В. В., стихийностью тех рабочих, которые поддавались тому доводу, что копейка на рубль ближе и дороже, чем всякий социализм и всякая политика, что должны вести „борьбу, зная, что борются они не для каких-то будущих поколений, а для себя и своих детей“ (передовая № 1 „Р. Мысли“). Подобные фразы составляли всегда излюбленное оружие тех западно-европейских буржуа, которые, ненавидя социализм, сами работали (в роде немецкого „социал-политика“ Гирша) над пересаживанием английского трэд-юнионизма на родную почву, говоря рабочим, что только профессиональная борьба есть именно борьба для самих себя и своих детей, а не для каких-то будущих поколений с каким-то будущим социализмом,—и теперь „В. В. русской социал-демократии“ принялись повторять эти буржуазные фразы. Важно отметить здесь три обстоятельства, которые нам очень пригодятся при дальнейшем разборе *современных* разногласий.

Во-первых, указанное нами подавление сознательности стихийностью произошло тоже *стихийным путем*. Это кажется каламбуром, но это—увы! — горькая правда. Оно произошло не путем открытой борьбы двух совершенно противоположных воззрений и победы одного над другим, а путем „вырывания“ жандармами все большего и большего числа революционеров—„стариков“ и путем все большего и большего выступления на сцену „молодых“ „В. В. русской социал-демократии“. (X)

Во-вторых, уже на первом литературном проявлении экономизма мы можем наблюдать, (X) что сторонники „чисто-рабочего движения“, поклонники самой тесной и самой „органической“ (выражение „Раб. Дела“) связи с пролетарской борьбой, противники всякой не-рабочей интеллигенции (хотя бы это была социалистическая интеллигенция)

*) Из той же передовицы первого номера „Рабочей Мысли“. Можно судить по этому, какова была теоретическая подготовленность этих „В. В. русской социал-демократии“, которые повторяли грубое опошление „экономического материализма“ в то самое время, когда в литературе шла война марксистов против настоящего г. В. В, давно уже прозванного „реакционных дел мастером“ за такое же понимание отношения политики и экономики!

вынуждены прибегать для защиты своей позиции к доводам *буржуазных* „только трэд-юнионистов". Это показывает нам, что „Р. Мысль", с самого своего начала, принялась—бессознательно для самой себя—осуществлять Credo. Это показывает (чего никак не может понять „Р. Дело"), что *всякое* преклонение пред стихийностью рабочего движения, всякое умаление роли „сознательного элемента", роли социал-демократии *означает* тем самым,—*совершенно независимо от того, желает ли это умаляющий или нет,—усиление влияния буржуазной идеологии на рабочих.* Все, кто толкует о „переоценке идеологии", о преувеличении роли сознательного элемента и т. п., воображают, что чисто-рабочее движение само по себе может выработать и выработает себе самостоятельную идеологию, лишь бы только рабочие „вырвали из рук руководителей свою судьбу". Но это глубокая ошибка. В дополнение к сказанному выше приведем еще следующие глубоко справедливые и важные слова К. Каутского, сказанные им по поводу проекта новой программы австрийской социал-демократической партии:

„Многие из наших ревизионистских критиков полагают, будто Маркс утверждал, что экономическое развитие и классовая борьба создают не только условия социалистического производства, но также и непосредственно порождают *сознание* (курсив К. К.) его необходимости. И вот эти критики возражают, что страна наиболее высокого капиталистического развития, Англия, всего более чужда этому сознанию. На основании проекта можно было бы думать, что этот якобы ортодоксально-марксистский взгляд, опровергаемый указанным способом, разделяет и комиссия, выработавшая австрийскую программу. В проекте значится: „чем более капиталистическое развитие увеличивает пролетариат, тем более он вынуждается и получает возможность вести борьбу против капитализма. Пролетариат приходит к сознанию возможности и необходимости социализма. В такой связи, капиталистическое сознание представляется необходимым непосредственным результатом пролетарской классовой борьбы". А это совершенно неверно. Разумеется, социализм, как учение, столь же коренится в современных экономических отношениях, как и классовая борьба пролетариата, столь же, как и эта последняя, вытекает из борьбы против порождаемой капитализмом бедноты и нищеты масс, но социализм и классовая борьба возникают рядом одно с другим, а не одно из другого, возникают при различных предпосылках. Современное социалистическое сознание может возникнуть только на основании глубокого научного знания. В самом деле, современная экономическая наука настолько же является условием социалистического производства, как и современная, скажем, техника, а пролетариат при всем своем желании не может создать ни той ни другой; обе они возникают из современного общественного процесса. Носителем же науки является не пролетариат, а *буржуазная интеллигенция* (курсив К. К.): в головах отдельных членов этого слоя возник ведь и современный социализм, и ими уже был сообщен выдающимся по своему умственному развитию пролетариям, которые затем вносят его в классовую борьбу пролетариата там, где это допускают условия. Таким образом, социалистическое сознание есть нечто извне внесенное (von Aussen hineingetragenes) в классовую

борьбу пролетариата, а не нечто стихийно (urwüchsig) из нее возникшее. (×)

Раз о самостоятельной, самими рабочими массами в самом ходе их движения вырабатываемой идеологии не может быть и речи*), то вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо никакой „третьей“ идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда вне-классовой или над-классовой идеологии). Поэтому *всякое* умаление социалистической идеологии, *всякое отстранение* от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной. Толкуют о стихийности. Но *стихийное* развитие рабочего движения идет именно к подчинению его буржуазной идеологии, *идет именно по программе* credo, ибо стихийное рабочее движение есть трэд-юнионизм, есть Nur Gewerkschaftlerei, а трэд-юнионизм означает как раз идейное порабощение рабочих буржуазией. Поэтому наша задача, задача социал-демократии состоит *в борьбе со стихийностью*, состоит в том, чтобы *совлечь* рабочее движение с этого стихийного стремления трэд-юнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко революционной социал-демократии. Фраза авторов „экономического“ письма в № 12 „Искры“, что никакие усилия самых вдохновенных идеологов не могут совлечь рабочего движения с пути, определяемого взаимодействием материальных элементов и материальной среды, *совершенно равносильна* поэтому *отказу от социализма*, и если бы эти авторы способны были продумать то, что они говорят, до конца бесстрашно и последовательно, как должен продумывать свои мысли всякий, кто выступает на арену литературной и общественной деятельности, то им ничего не осталось бы, как „сложить на пустой груди ненужные руки“ и... и предоставить поле действия г.г. Струве и Прокоповичам, которые тянут рабочее движение „по линии наименьшего сопротивления“, т. е. по линии буржуазного трэд-юнионизма, или г.г. Зубатовых, которые тянут его по линии поповско-жандармской „идеологии“. (×)

Но почему же,—спросит читатель,—стихийное движение, движение по линии наименьшего сопротивления идет именно к господству буржуазной идеологии? По той простой причине, что буржуазная идеология по происхождению своему гораздо старше, чем социалистическая, что она более всесторонне разработана, что она обладает

---

*) Это не значит, конечно, что рабочие не участвуют в этой выработке. Но они участвуют не в качестве рабочих, а в качестве теоретиков социализма, в качестве Прудонов и Вейтлингов, участвуют, другими словами, лишь тогда и постольку, поскольку им в большей или меньшей степени удается овладевать знанием своего века и двигать вперед это знание. А чтобы рабочим *чаще удавалось это*, для этого необходимо как можно больше заботиться о повышении уровня сознательности рабочих вообще, для этого необходимо, чтобы рабочие не замыкались в искусственно суженные рамки *„литературы для рабочих“*, а учились бы овладевать все больше и больше *общей литературой*. Вернее даже было бы сказать вместо „замыкались“ были замыкаемы, потому что рабочие-то сами читают и хотят читать все, что пишут и для интеллигенции, и только некоторые (плохие) интеллигенты думают, что „для рабочих“ достаточно рассказывать о фабричных порядках и пережевывать давно известное.

неизмеримо большими средствами распространения,[1]) И чем моложе социалистическое движение в какой-либо стране, тем энергичнее должна быть поэтому борьба против всех попыток упрочить несоциалистическую идеологию, тем решительнее надо предостерегать рабочих от плохих советчиков, которые кричат против „преувеличения сознательного элемента“ и т. п. Авторы экономического письма громят, в унисон с „Раб. Делом“, нетерпимость, свойственную младенческому периоду движения. Мы ответим на это: да, наше движение действительно находится в младенческом состоянии, и для того, чтобы скорее возмужать, оно должно именно заразиться нетерпимостью по отношению к людям, задерживающим его рост своим преклонением пред стихийностью. Нет ничего смешнее и ничего вреднее, как корчить из себя стариков, давно уже переживших все решительные эпизоды борьбы!

В третьих, первый номер „Раб. Мысли“ показывает нам — что название „экономизм“ (от которого мы не думаем, разумеется, отказываться, ибо так или иначе, а эта кличка уже установилась) недостаточно точно передает сущность нового направления. „Раб. Мысль“ не отрицает совершенно политической борьбы: в том уставе кассы, который напечатан в № 1 „Раб. Мысли“, говорится о борьбе с правительством. „Рабочая Мысль“ полагает лишь, что „политика всегда послушно следует за экономикой“ (а „Рабочее Дело“ варьирует этот тезис, уверяя в своей программе, что „в России более, чем во всякой другой стране, экономическая борьба неразрывна с политической“). Эти положения „Рабочей Мысли“ и „Рабочего Дела“ совершенно неверны, если понимать под политикой социал-демократическую политику. Очень часто экономическая борьба рабочих бывает связана (хотя и не неразрывно) с политикой буржуазной, клерикальной и проч., как мы уже видели. Положения „Раб. Дела“ верны, если понимать под политикой политику трэд-юнионистскую, т. е. общее стремление всех рабочих добиваться себе от государства тех или иных мероприятий, направленных против бедствий, свойственных их положению, но еще не устраняющих этого положения, т. е. не уничтожающих подчинения труда капиталу. Это стремление действительно обще и английским трэд-юнионистам, враждебно относящимся к социализму, и католическим рабочим, и „зубатовским“ рабочим и проч. Есть политика и политика. Таким образом, мы видим, что и по отношению к политической борьбе „Раб. Мысль“ проявляет не столько отрицание ее, сколько преклонение пред ее стихийностью, пред ее бессознательностью. Вполне признавая стихийно вырастающую из самого рабочего движения политическую борьбу

---

[1]) Часто говорят: рабочий класс стихийно влечется к социализму. Это совершенно справедливо в том смысле, что социалистическая теория всех глубже и всех вернее определяет причины бедствий рабочего класса, а потому рабочие и усваивают ее так легко, если только эта теория сама не пассует пред стихийностью, если только она подчиняет себе стихийность. Обыкновенно это подразумевается само собою, но „Раб. Дело“ как раз забывает и извращает это подразумеваемое. Рабочий класс стихийно влечется к социализму, но наиболее распространенная (и постоянно воскрешаемая в самых разнообразных формах) буржуазная идеология тем не менее стихийно всего более навязывается рабочему.

(вернее: политические пожелания и требования рабочих), она совершенно отказывается от самостоятельной выработки специфической социал-демократической политики, отвечающей общим задачам социализма и современным русским условиям.

3. Кустарничество экономистов и организация революционеров.

Для „экономической борьбы с хозяевами и с правительством“ совершенно не нужна,—а потому на такой борьбе не может и выработаться,—общерусская централизованная организация, об'единяющая в один общий натиск все и всяческие проявления политической оппозиции, протеста и возмущения, организация, состоящая из революционеров по профессии и руководимая настоящими политическими вождями всего народа. Да это и понятно. Характер организации всякого учреждения естественно и неизбежно определяется содержанием деятельности этого учреждения. Поэтому „Раб. Дело“ своими (×) утверждениями освящает и узаконяет не только узость политической деятельности, но и узость организационной работы. И в этом случае, как и всегда, оно является органом, сознательность которого пасует пред стихийностью. А между тем преклонение пред стихийно складывающимися формами организации, отсутствие сознания того, насколько узка и примитивна наша организационная работа, какие еще мы „кустари“ в этой важной области, отсутствие этого сознания, говорю я, представляет собою настоящую болезнь нашего движения. Это не болезнь упадка, а болезнь роста, само собою разумеется. (×)

Мы уже указали на повальное увлечение марксизмом учащейся молодежи этого периода. Это увлечение относилось, разумеется, не только и даже не столько к марксизму как к теории, а как к ответу на вопрос: „что делать?“ как к призыву итти в поход на врага. И новые ратники шли в поход с удивительно первобытным снаряжением и подготовкой. В массе случаев не было даже почти никакого снаряжения и ровно никакой подготовки. Шли на войну, как мужики от сохи, захватив одну только дубину. Кружок студентов, без всякой связи с кружками в других местностях или даже в других частях города (или в иных учебных заведениях), без всякой организации отдельных частей революционной работы, без всякого систематического плана деятельности на сколько-нибудь значительный период, заводит связи с рабочими и берется за дело. Кружок развертывает постепенно более и более широкую пропаганду и агитацию, привлекает фактом своего выступления сочувствие довольно широких слоев рабочих, сочувствие некоторой части образованного общества, доставляющего деньги и отдающего в распоряжение „Комитету“ новые и новые группы молодежи. Растет обаяние комитета (или союза борьбы), растет размах его деятельности, и он расширяет эту деятельность совершенно стихийно: те же люди, которые год или несколько месяцев тому назад выступали в студенческих кружках и решали вопрос: „куда итти?“ которые заводили и поддерживали сношения с рабочими, изготовляли и выпускали листки, заводят связи с другими группами революционеров, раздобывают литературу, берутся за издание местной

газеты, начинают говорить об устройстве демонстрации, переходят наконец к открытым военным действиям (при чем этим открытым военным действием может явиться, смотря по обстоятельствам, и первый агитационный листок, и первый номер газеты, и первая демонстрация). И обыкновенно первое же начало этих действий ведет за собою немедленно полный провал. Немедленно и полный именно потому, что эти военные действия являлись не результатом систематического, заранее обдуманного и исподволь подготовленного плана длинной и упорной борьбы, а просто стихийным ростом традиционно ведущейся кружковой работы; потому, что полиция, естественно, почти всегда знала всех главных деятелей местного движения, „зарекомендовавших" себя еще со студенческой скамьи, и только выжидала самого удобного для нее момента облавы, нарочно давая кружку достаточно разростись и развернуться, чтобы иметь осязательный corpus delicti, и нарочно оставляя всегда нескольких известных ей лиц „на разводку" (как гласит техническое выражение, употребляемое, насколько мне известно, и нашим братом и жандармами). Такую войну нельзя не сравнить с походом вооруженных дубинами шаек крестьян против современного войска. И надо только удивляться жизненности движения, которое ширилось, росло и одерживало победы, несмотря на это полное отсутствие подготовки у сражавшихся. (×)

Мы должны теперь остановиться на вопросе, который наверное напрашивается уже у всякого читателя. Можно ли ставить в связь это кустарничество, как болезнь роста, свойственную всему движению, с экономизмом, как с одним из течений в русской социал-демократии? Мы думаем, что да. Практическая неподготовленность, неумелость организационной работы обща действительно всем нам, в том числе и тем, кто с самого начала неуклонно стоял на точке зрения революционного марксизма. И за неподготовленность само по себе никто не мог бы, конечно, и винить практиков. Но кроме неподготовленности в понятие „кустарничества" входит еще нечто другое: узкий размах всей революционной работы вообще, непонимание того, что на этой узкой работе и не может сложиться хорошая организация революционеров, наконец—и это главное—попытки оправдать эту узость и возвести в особую „теорию", т. е. преклонение пред стихийностью и в этой области. Раз только обнаружились такие попытки, — стало уже несомненным, что кустарничество связано с экономизмом и что мы не избавимся от узости нашей организационной деятельности, не избавившись от экономизма вообще (т. е. узкого понимания и теории марксизма и роли социал-демократии и политических задач ее). А попытки эти обнаружились в двояком направлении. Одни стали говорить: рабочая масса не выдвинула еще сама таких широких и боевых политических задач, которые ей „навязывают" революционеры, она должна еще бороться за ближайшие политические требования, вести „экономическую борьбу с хозяевами и с правительством" (а этой „доступной" массовому движению борьбе естественно соответствует и „доступная" даже самой неподготовленной молодежи организация). Другие, далекие от всякой „постепеновщины", стали говорить: возможно и должно „совершить политическую революцию, но для этого нет никакой надобности в создании

крепкой организации революционеров, воспитывающей пролетариат стойкой и упорной борьбой; для этого достаточно, чтобы мы все схватились за „доступную“ и знакомую уже дубину. Говоря без аллегорий—чтобы мы устроили всеобщую стачку или чтобы мы возбудили „вялый“ ход рабочего движения посредством „эксцитативного террора“. Оба эти направления, и оппортунисты и „революционисты“, пасуют пред господствующим кустарничеством, не верят в возможность избавления от него, не понимают нашей первой и самой настоятельной практической задачи: создать организацию революционеров, способную обеспечить энергию, устойчивость и преемственность политической борьбы. (X)

Вспомните, с каким несравненным, по-истине „Нарцисовским“ высокомерием поучали эти мудрецы Плеханова: „рабочим кружкам вообще (sic!) недоступны политические задачи в действительном практическом смысле этого слова, т. е. в смысле целесообразной и успешной практической борьбы за политические требования“ (Ответ ред. „Р. Д.“, стр. 24). Есть кружки и кружки, господа! Кружку „кустарей“, конечно, недоступны политические задачи, покуда эти кустари не сознали своего кустарничества и не избавились от него. Если же эти кустари, кроме того, влюблены в свое кустарничество, если они пишут слово „практический“ непременно курсивом и воображают, что практичность требует принижения своих задач до уровня понимания самых отсталых слоев массы,—то тогда, разумеется, эти кустари безнадежны, и им, действительно, вообще недоступны политические задачи. Но кружку корифеев, в роде Алексеева и Мышкина, Халтурина и Желябова, доступны политические задачи в самом действительном, в самом практическом смысле этого слова, доступны именно потому и постольку, поскольку их горячая проповедь встречает отклик в стихийно пробуждающейся массе, поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией революционного класса. Плеханов был тысячу раз прав, когда он не только указал этот революционный класс, не только доказал неизбежность и неминуемость его стихийного пробуждения, но и поставил даже перед „рабочими кружками“ высокую и великую политическую задачу. А вы ссылаетесь на возникшее с тех пор массовое движение для того, чтобы принизить эту задачу, для того, чтобы сузить энергию и размах деятельности „рабочих кружков“. Что это такое, как не влюбленность кустаря в свое кустарничество? (X)

Если понятие политической борьбы для социал-демократа покрывается понятием „экономической борьбы с хозяевами и правительством“, то естественно ожидать, что понятие „организация революционеров“ будет для него более или менее покрываться понятием: „организация рабочих“. И это действительно случается, так что, разговаривая об организации, мы оказываемся буквально говорящими на разных языках. Как сейчас помню, например, разговор с одним довольно последовательным экономистом, которого мне не доводилось знать раньше. Речь зашла о брошюре: „Кто совершит политическую революцию?“ и мы быстро сошлись на том, что ее основной недостаток—игнорирование вопроса об организации. Мы воображали уже, что мы солидарны друг с другом—но... разговор идет дальше, и

оказывается, что мы говорим про разное. Мой собеседник обвиняет автора за игнорирование стачечных масс, обществ взаимопомощи и т. п., я же имел в виду организацию революционеров, необходимую для „совершения“ политической революции. И как только обнаружилось это разногласие,—я не запомню уже, чтобы мне приходилось вообще по какому бы то ни было принципиальному вопросу соглашаться с этим экономистом!

В чем же состоял источник наших разногласий? Да именно в том, что экономисты постоянно сбиваются с социал-демократизма на трэд-юнионизм и в организационных, как и в политических, задачах. Политическая борьба социал-демократии гораздо шире и сложнее, чем экономическая борьба рабочих с хозяевами и правительством. Точно так же (и вследствие этого) организация революционной социал-демократической партии неизбежно должна быть иного рода, чем организация рабочих для такой борьбы. Организация рабочих должна быть, во-первых, профессиональной; во-вторых, она должна быть возможно более широкой; в-третьих, она должна быть возможно менее конспиративной (я говорю, разумеется, здесь и ниже, имея в виду только самодержавную Россию). Наоборот, организация революционеров должна обнимать прежде всего и главным образом людей, которых профессия состоит из революционной деятельности (потому я и говорю об организации революционеров, имея в виду революционеров-социал-демократов). Пред этим общим признаком членов такой организации должно совершенно стираться всякое различие рабочих и интеллигентов, не говоря уже о различии отдельных профессий тех и других.

Оглавление.

Стр.

Предисловие 3

I. Кризис барщинного хозяйства, как основа, и Севастопольский разгром, как исходный момент крестьянской реформы (Из „Русской истории“ **М. Н. Покровского.** Т. IV. Изд. 4. М. 1922. Стр. 44—67). 5

II. Ход крестьянской реформы и борьба вокруг нее различных общественных групп (Из „Русской истории“ **М. Н. Покровского.** Т. IV. Изд. 4. М. 1922. Стр. 64-65). 14

III. Влияние реформы 19-го февраля на капиталистическое развитие России. (Из „Очерка истории русской культуры“ **М. Н. Покровского.** Вып. I. М. 1915. Стр. 166-185). . . . 35

IV. Эволюция сельского хозяйства в пореформенной России. (Из „Очерков аграрной эволюции России“ **П. И. Лященко.** Т. I. С.П.Б. 1908. Гл. VI-VIII). 41

V. Пролетаризация крестьянства и выделение кулачества. (Из книги **Р. Гвоздева:** „Кулачество-ростовщичество. Его общественно-экономическое значение“. С.П.Б. 1899 г. Стр. 30—144). 68

IV. Переход землевладельцев от барщинного хозяйства к капиталистическому. (Из работы **Н. Ленина:** „Развитие капитализма в России“. См. т. III. Собр. соч. **Н. Ленина.** М. и П. 1923. Стр. 142-190). 85

VII. Развитие фабрично-заводской промышленности с 60-х по 90-е годы. (Из „Русской фабрики“ **М. И. Туган-Барановского.** Т. I. Изд. 3. С.П.Б. 1907. Стр. 307-383). 102

VIII. Промышленный под'ем 1890-х годов. (Из книги **А. Финна-Енотаевского:** „Современное хозяйство России 1890-1910 г.г.“ С.П.Б. 1911. Стр. 45-62). 126

IX. Торговля и кредит. (Из статьи **В. А. Мукосеева,** под тем же заглавием, в I т. изд.: „Общественное движение в России в начале XX в.“. С.П.Б. 1909. Стр. 96-149) 140

X. Государственное хозяйство России в пореформенную эпоху (Из статьи **Н. А. Рожкова** во II т. его сборн. статей: Из „Русской истории“. Птгр. 1923. Стр. 149-183). 193

XI. Финансовая политика правительства в исходе XIX в. (Из статьи **М. Боголепова,** в I т. изд.: „Общественное движение в России в начале XX в.“. С.П.Б. 1909. Стр 158-177). 190

XII. Политическая позиция командующих классов—дворянства и буржуазии. (Из „Русской истории“ **М. Н. Покровского.** Т. V. Изд. 2. Стр. 215-227). 202

XIII. Социальные условия, породившие народническую идеологию. (Из статьи **М. Ольминского**, в его сборнике статей: „Из прошлого". Москва—1919 г. Стр. 14—59). 209

XIV. Вожди народничества: Бакунин, Ткачев и Тихомиров. (Из работы **Г. В. Плеханова**: „Наши разногласия". См. его „Сочинения". Т. II. М. и П. 1923 г. Стр. 113-331). 225

XV. Реакционность экономических воззрений эпигонов народничества. (Из статьи **Н. Ленина**: „От какого наследства мы отказываемся", в его „Собрании сочинений". Т. II. М. 1923 г. Стр. 312-340). 246

XVI. Рабочее движение в 70-х и 80-х г. г. (Из статьи **Л. Мартова**: „Развитие крупной промышленности и рабочее движение до 1892 г." в VI т. „Истории России в XIX в.". Изд. Гранат. Стр. 118-150). 255

XVII. Северно-Русский Рабочий Союз. (Из брошюр **Г. В. Плеханова**: „Русский рабочий в революционном движении". См. его „Сочинения". Т. III. Гос. Изд. 1923 г. Стр. 181-204). 269

XVIII. Программа Северно-Русского Союза Рабочих. (Из „Очерков по истории Р. К. П." **В. И. Невского**. Ленинград. 1924 г. Стр. 573-5). 277

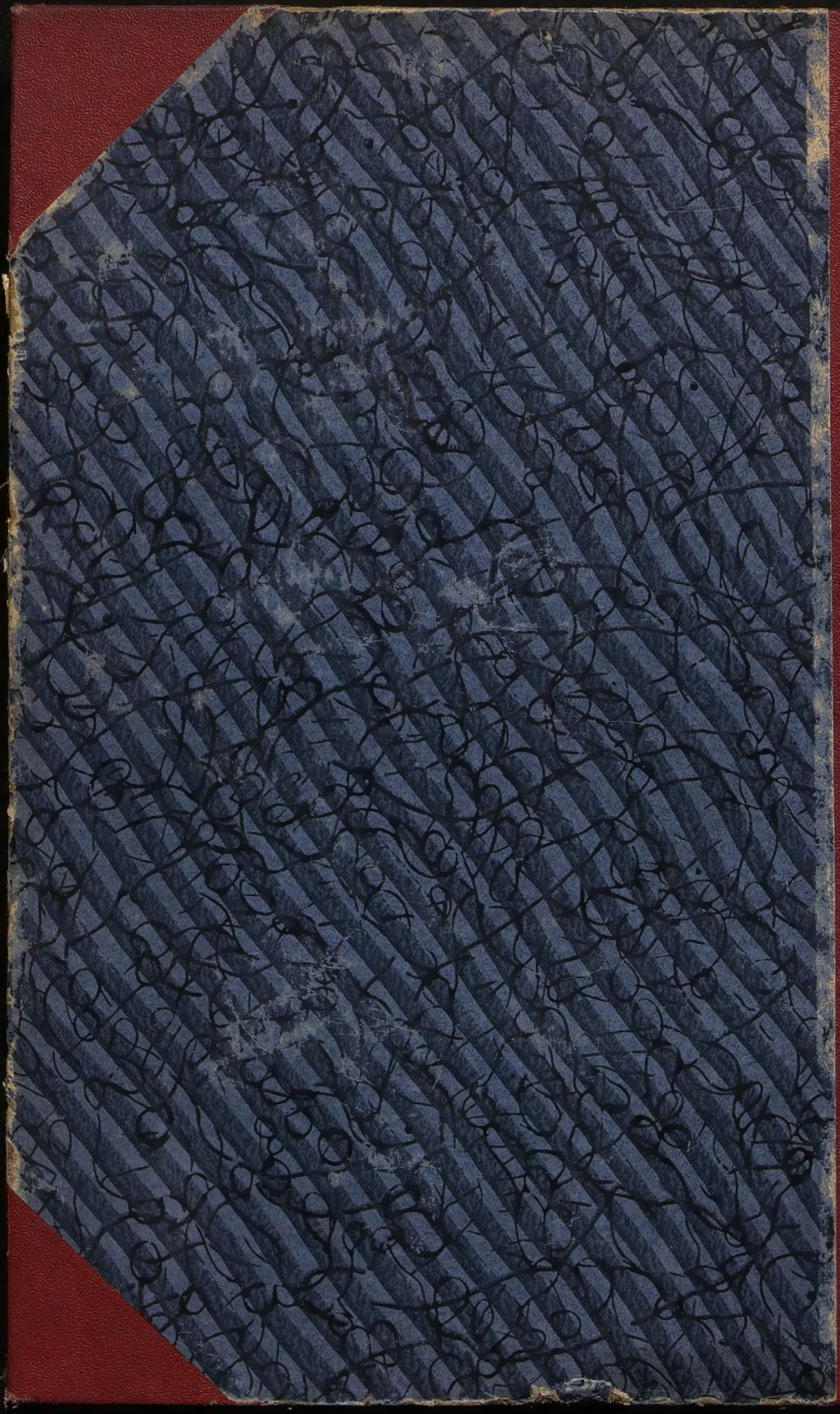
XIX. От „Черного Передела" к социал-демократии. (Из „Очерков по истории Р. К. П." **В. И. Невского**. Т. I. Ленинград. 1924 г. Стр. 176-340). 280

XX. Легальный марксизм. (Из статьи **П. Орловского (Воровского)**: „К истории марксизма в России", в сборнике „Памяти Карла Маркса". С.П.Б. 1908 г. Стр. 367-374). 307

XXI. Стачечное движение рабочих в 90-е годы и „экономизм". (Из брошюры **В. Астрова**: „Экономисты предтечи меньшевиков". М. 1923 г. Стр. 11-40 и 88-100). 313

XXII. О социальных корнях „экономизма" (Из статьи **Н. Батурина** в № 2 „Пролетарской Революции за 1924 г. Стр. 110-113). 330

XXIII. „Credo". **Е. Кусковой**. (Из брошюры **В. Астрова**: „Экономисты предтечи меньшевиков". М. 1923 г. Приложение 2). 233

XXIV. Легальный марксизм и экономизм. (Из брошюры **Н. Ленина**: „Что делать" 1902 г. См. его сборн статей: „За 12 лет". Т. I. Птр. 1918 г. Стр. 203-223). 337

Учебн. тип. I-го Дома-Коммуны, Мойка, 54. Ленинградский Гублит № 14929—6000.—22 п. л.